



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

Slav 4353.7



Harvard College Library

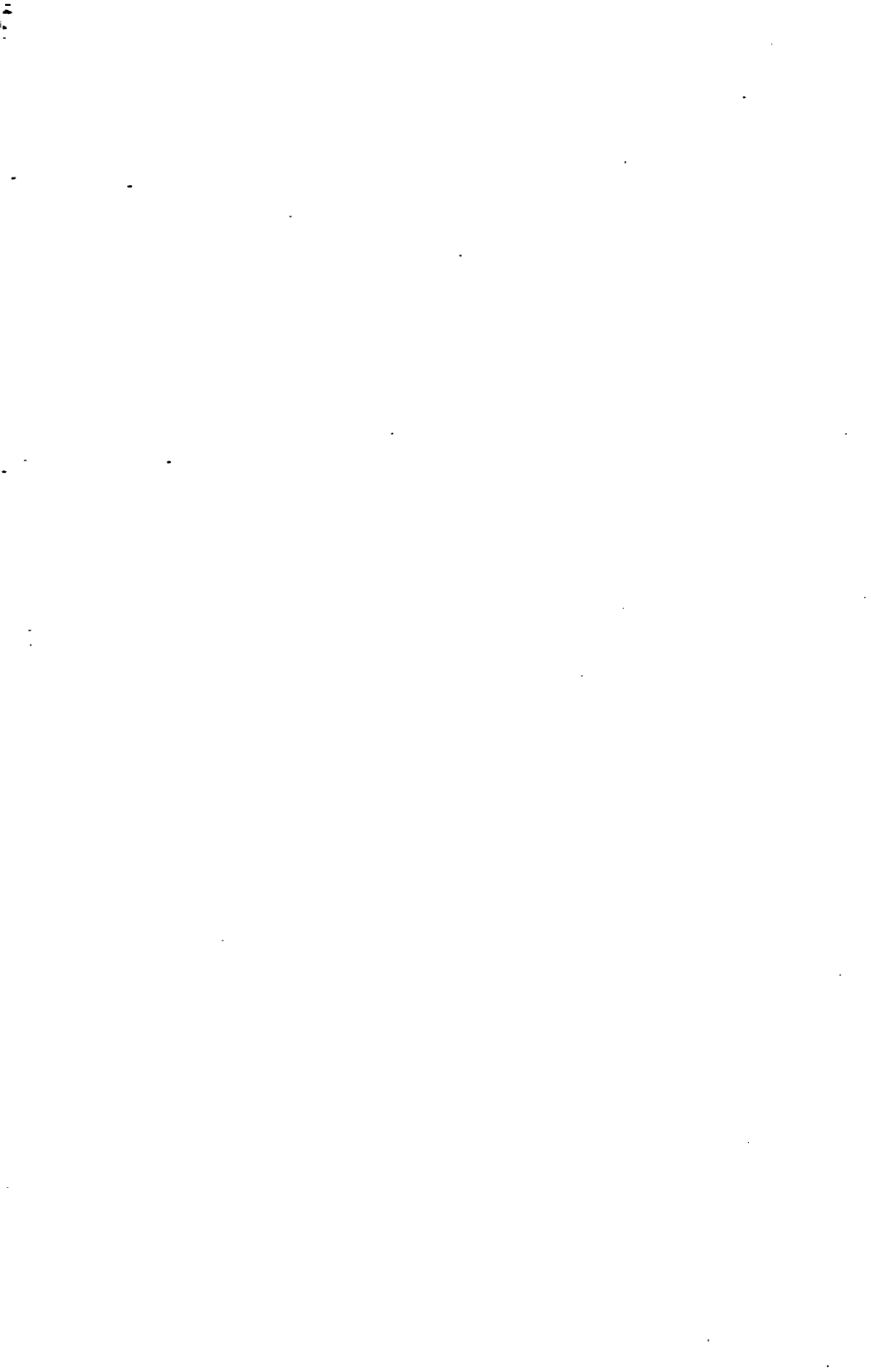
BOUGHT WITH INCOME

FROM THE BEQUEST OF

HENRY LILLIE PIERCE,
OF BOSTON.

Under a vote of the President and Fellows,
October 24, 1898.

23 June 1899





СТИХОТВОРЕНІЯ

И. З. Сурикова.



СТИХОТВОРЕНІЯ
Иван Суриковъ
И. З. СУРИКОВА.

1863—1880.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

Съ портретомъ автора, гравированнымъ въ Лейпцигѣ, факсимиле,
фотографическимъ снимкомъ памятника съ могилы покойнаго поэта

и

БІОГРАФИЧЕСКИМЪ ОЧЕРКОМЪ ЖИЗНИ ЕГО

Н. А. Соловьева-Несмѣлова.

ИЗДАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ (ПОСМЕРТНОЕ)

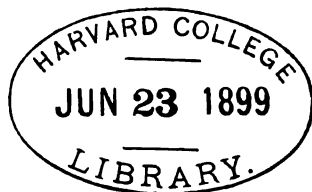
Н. М. Солдатенкова,

МОСКВА.

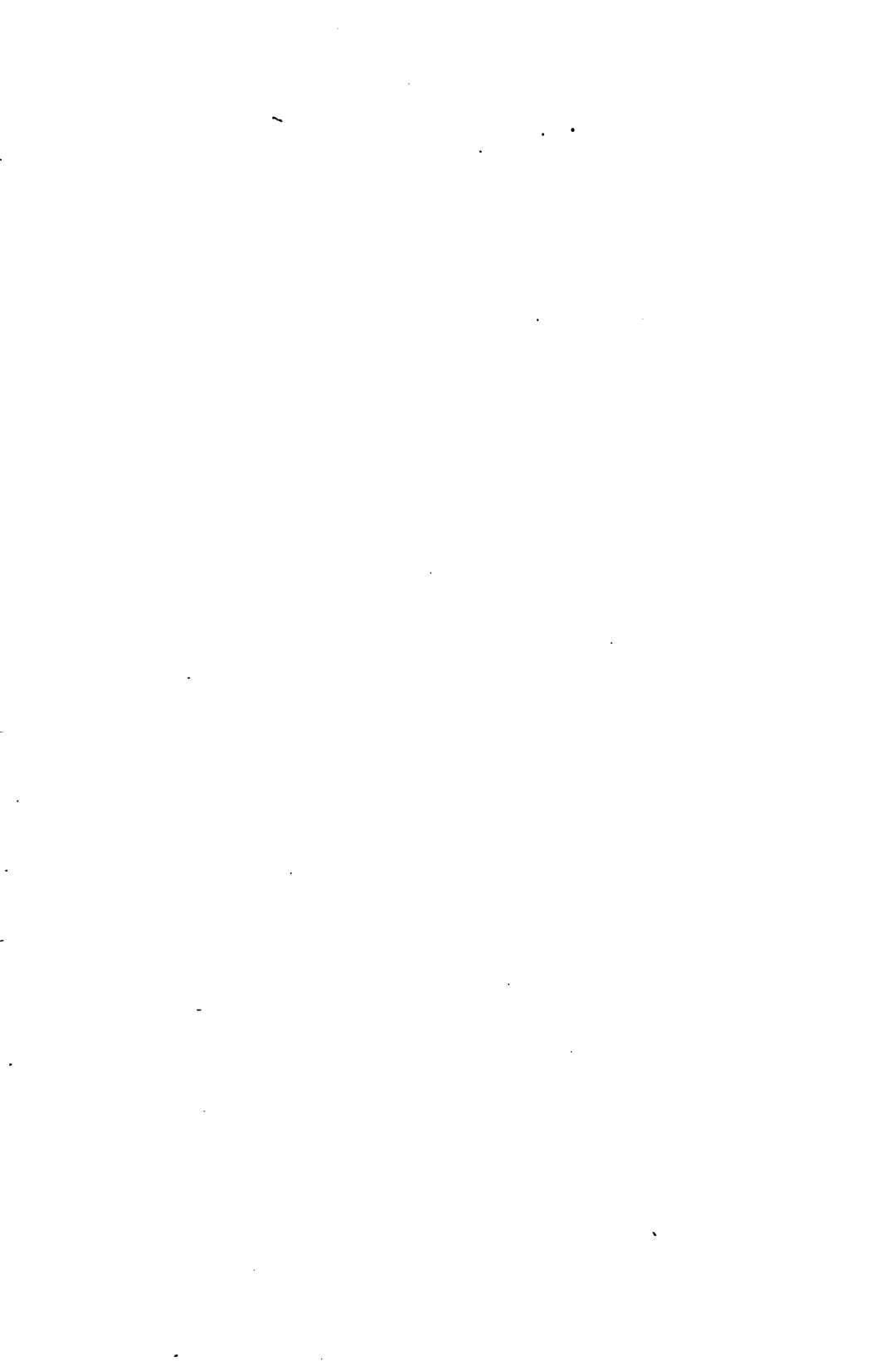
Типографія В. О. Рихтеръ, на Тверской ул., д. Лесотниксвй.

1884.

S lar 4353.7



Pierce fund





H. Cypriotti

በግሪክ ስርዓት ስለሚገኝ
የጥንታዊው ስርዓት ስለሚገኝ
የጥንታዊው ስርዓት ስለሚገኝ
የጥንታዊው ስርዓት ስለሚገኝ

የጥንታዊው ስርዓት ስለሚገኝ
የጥንታዊው ስርዓት ስለሚገኝ
የጥንታዊው ስርዓት ስለሚገኝ
የጥንታዊው ስርዓት ስለሚገኝ

ጥንታዊ ስርዓት



Wm. L. G. 1850

Не проси отъ меня
Свѣтлыхъ пѣсенъ любви;
Грустны пѣсни мои,
Какъ осенніе дни!

Звуки ихъ—шумъ дождя,
За окномъ вѣтра вой;
То рыданья души,
Стоны груди больной.

И. Суриковъ.



the same time, the fact that the same person can be both a subject and an object of a relation, and that the same relation can be both a subject and an object of a relation, is a fact that is not captured by the traditional logic. This is because the traditional logic is based on the assumption that the subject and the object of a relation are distinct entities, and that the relation itself is a distinct entity. However, in the modern logic, the subject and the object of a relation are not necessarily distinct entities, and the relation itself is not necessarily a distinct entity. This is why the modern logic is able to capture the fact that the same person can be both a subject and an object of a relation, and that the same relation can be both a subject and an object of a relation.

Another important feature of the modern logic is its ability to handle the concept of self-reference. In the traditional logic, self-reference is considered to be a logical error, because it leads to a contradiction. However, in the modern logic, self-reference is not considered to be a logical error, because it does not lead to a contradiction. This is because the modern logic is able to handle the concept of self-reference by using the concept of a self-referential relation. A self-referential relation is a relation that is both a subject and an object of itself. For example, the relation "is a subject of" is a self-referential relation, because it is both a subject and an object of itself. This is why the modern logic is able to handle the concept of self-reference without leading to a contradiction.

БІОГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.



«Ты лежишь въ гробу тесовомъ,
«Другъ нашъ дорогой,
«До лица закрытъ покровомъ
«Желтый и худой.
«Не дома твоя дорога
«Скорбная была;
«До могильнаго порога
«Рано довела.
«На погостъ мы гробъ печальный
«Отнесемъ съ тоской
«И почтимъ тебя прощальной,
«Теплою слезой.
«Пусть бездушный и холодный
«Трупъ въ землю уснетъ!
«Умеръ ты,—но благородный
«Духъ твой не умретъ.
«Завѣщалъ ты намъ трудиться
«До-поту лица
«И съ судьбой упорно биться,
«Биться до конца.
«Словъ твоихъ мы не забудемъ,
«Ихъ не потаимъ;
«Твой завѣтъ всѣмъ честнымъ людямъ
«Мы передадимъ».

И. Суриковъ.

ИВАНЪ ЗАХАРОВИЧЪ СУРИКОВЪ.

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

„Мнѣ доставались нелегко
„Моей души больные звуки.
„Страдалъ я сердцемъ глубоко,
„Когда слалась пѣсня муки.

„Я въ пѣснь жилъ не головою,
„А жилъ скорбящею душою,—
„И оттого мой стонъ больной
„Звучитъ тяжелою тоскою“.

И. Суриковъ.

Въ пасхальную субботу 1880 года на Пятницкомъ кладбищѣ, въ Москвѣ, тихо опустили въ моилу замолкшаго пѣвца грустной пѣсни—И. З. Сурикова. Товарищи и почитатели молчаливо проводили до этой моилы съ душевной тоскою бранные останки сердечнаго, искренняго человѣка. Столичная печать сочувственно отзывалась о скорбной утратѣ рано унасиаго поэта,—и все, по обычаю, смолкло. Московскіе друзья-пріятели покойнаго—даже тѣ, съ которыми онъ, встрѣчаясь ежедневно, дѣлилъ горе и немногую радости,—молчали и молчатъ... Никто изъ нихъ ни печатно, ни устно не проронилъ ни слова изъ своихъ воспоминаній — ни лавра, ни тернія:

чѣмъ жива память о людяхъ, оставившихъ насъ, чѣмъ свѣжа и мила могила дорогихъ покойниковъ, которые боролись, страдали, искали свѣта, падали, поднимались и въ самой удушливой атмосферѣ находили въ себѣ силы будить ближнихъ искреннимъ, горячимъ словомъ,— ихъ образы, ихъ звуки носятъ среди живыхъ, ободряютъ въ борьбѣ, направляя впередъ на пути къ вѣчнымъ идеаламъ... Нѣтъ и Сурикова И. З.,— онъ ушелъ намученный, изболѣвший; но не потерявшій свѣтлой вѣры... „Его ужъ нѣтъ, онъ спитъ скорбей не зная; но пѣсня та, что спѣлъ поэтъ, звучитъ еще, рыдая“.* — Припоминая неразъ эти замирающіе звуки послѣднихъ дней покойнаго, намъ казалось, что сотоварищи не замолчатъ отсутствующаго друга, припомянутъ его „стихъ болѣзненный, скорбящій“, имъ вспомнится и самъ „грустный поэтъ“, вспомнятся часы и дни, проведенные въ его общество, бесѣды, ихъ общія надежды, ихъ стремленія... Мы ждали такихъ воспоминаній, усердно искали ихъ въ печати, обращались къ нѣкоторымъ изъ этихъ «друзей» и получали—отъ однихъ— „будемъ писать!..“ — отъ другихъ— „сообщимъ!..“ Терпеливыя четырехлѣтнія ожиданія не увѣнчались ничѣмъ и намъ осталось одно: представить при настоящемъ четвертомъ изданіи произведеній покойнаго поэта только то, что мы лично знаемъ о немъ и какъ понимаемъ его, относясь къ близкому когда-то намъ человеку, теперь удаленному могилою и временемъ, по возможности объективно.

*) Эти двѣ строки, какъ и выраженіе—„стихъ болѣзненный, скорбящій“—взяты изъ стихотворенія И. З. Сурикова, написаннаго на карточкѣ И. И. Б.—одному изъ немногихъ друзей—за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти.

И. З. Суриковъ въ большинствѣ своихъ произведеній—лирикъ. Этотъ родъ поэзіи вытекаетъ прямо изъ непосредственнаго чувства и дѣйствуетъ всецѣло на нашу сердечность. Человѣкъ, поставленный близко къ природѣ, воспринимая неотразимо чарующія явленія ея, издавна выражалъ ихъ въ лирическихъ произведеніяхъ. Душа его переполнялась, нервы приходили въ трепетъ—онъ пѣлъ. Пѣсня явилась у всѣхъ народовъ, какъ выраженіе чувства, нервнаго подъема, горячаго лирическаго настроенія. Цѣлый рядъ лирики сложился изъ личной жизни человѣка, изъ его сердечныхъ отношеній къ близкимъ людямъ, къ обществу, къ природѣ. Послѣдовательно явились пѣсни—колыбельныя, улаждающія слухъ ребенка, который вноситъ въ родную семью новую жизнь, радость, свѣтлыя надежды, — пѣсни — похоронныя, оплакивающія дорогихъ людей, уходящихъ въ невѣдомый міръ, — пѣсни чувствъ любви, теплыя, чистыя, мечтательныя, какъ сама молодость, свивающая съ отрадой, незнакомой запыленной старости, уютный, тихій уголокъ семьи, рода, — пѣсни—семейныя, бытовыя, застольныя, — пѣсни, проникнутыя

энтузіазмомъ къ выдающимся героямъ,—пѣсни и гимны—религіозныя. По мѣрѣ того, какъ чувство охватывало болѣе и болѣе явленія природы, личную и общественную жизнь, переходя наслѣдственно, воспитываясь въ новыхъ поколѣніяхъ народа, оно росло, становилось сложнѣе, міросозерцаніе дѣлалось полнѣе, — развились и новые роды поэзіи, которые у каждою народа проявлялись своеобразно, самобытно, съ чисто субъективной окраской содержанія и силой творчества, что каждый можетъ прослѣдить на образцахъ какъ отдѣльныхъ народовъ, такъ и единичныхъ поэтовъ—общечеловѣческихъ, міровыхъ и національныхъ. Съ внутреннимъ ростомъ человѣческаго чувства разнообразится, развивается и самая форма, тоны — словесный ритмъ этого чувства. Прослѣдивъ напр. въ послѣдовательномъ теченіи произведенія творчества нашего народа и образцы нашей искусственной лирики, мы ясно увидимъ, какъ поэзія, захватывая свою обширную область, пріобрѣтаетъ—и въ стихѣ большее изящество, образность, простоту,—и въ чувствѣ—тонкость и глубину мысли.

Представители непосредственной народнаго творчества потерялись въ отдаленномъ прошломъ, передавши своимъ потомкамъ, такъ называемую, народную, безыскусственную пѣсню; затѣмъ, при болѣе высшемъ развитіи націй, народъ сталъ выдѣлять прямо, непосредственно изъ среды своей поэтовъ искусственной пѣсни, искусственной лирики.

Наши русскіе народные пѣвцы вышли со своей грустной, скорбною пѣснью, съ намученными отзвуками горькой жизни,—они являлись прямыми или косвенными выразителями горя-злосчастій, нужды и инета, особенно властно и крѣпко державшихъ народъ нашъ въ ежовыхъ рукави-

цахъ и на страшной цѣти крѣпостничества до 19 февраля — свѣтлаго дня воскресенія русскаго села, русской деревни, — да и личная жизнь ихъ, жизнь ихъ среды не давала имъ свѣтлыхъ картинъ, обстановка ихъ была далеко непоэтичная: оттого сумма пережитаго, пере-
чувствованнаго ими—страданіе. И они искренно говорятъ въ лицѣ покойнаго И. З. Сурикова:

„Мы родились для страданій...

.

„Въ темной чащѣ испытаній

„Наши пѣсни мы слали.

„Въ этихъ пѣсняхъ миллионы

„Мукъ душевныхъ мы считаемъ...

Въ пѣсняхъ этихъ творцевъ—муки; они пѣли, потому что нервы ихъ были потрясены, душа ихъ скорбѣла и въ такихъ скорбяхъ слалась и зрѣла пѣсня. Изъ чуткихъ натуръ переживаемая скорби выходятъ наружу въ живыхъ образахъ, картинахъ. Эта чуткость души даетъ канву, тонъ и силу пѣснѣ, которая волнуетъ не только „мягкія сердца“, но умиляетъ и жесткія натуры. Потокъ, сжатый грубыми камнями, пробившись на волю, бьетъ сильнѣе, кипучѣе и поражаетъ большимъ блескомъ искрометныхъ капель. Что выходитъ искренно, горячо изъ наибольшей души, то непременно западетъ глубоко въ человеческое сердце. У большинства людей жизненные муки опыляются, умиротворяются компромиссами мелкихъ наслажденій, доступныхъ успѣховъ, самообольщеній,—другіе замираютъ со своими муками, пряча ихъ въ глубинѣ,—у иныхъ онѣ проходятъ едва-ли неминутно въ какой-то, подавляющей наблюдателя, дремотѣ. Для боль-

шей или меньшей чувствительности необходима известная степень нервной восприимчивости и больше или меньше живучесть ея въ организмъ. Душа поэта въ высшей степени чутка, нервы его до чрезвычайности тонки, восприимчивы, мысли полны образовъ; въ минуты творчества онъ выходитъ изъ русла обыденности, — онъ не ищетъ словъ и выражений для переживаемаго, у него — „въ первомъ наитіи сила“, — остальное приходитъ само собою, иначе онъ не потрясетъ ничьихъ нервовъ, не задѣнетъ ничьей наболѣвшей души, не вызоветъ ни свѣтлой улыбки восторга, ни грустнаго раздумья. Недаромъ еще римляне говорили: „poetae nascuntur, oratores fiunt“. Старый міръ надѣлялъ поэтовъ музами, смотрѣлъ на поэзію какъ на даръ боговъ; новый міръ смотритъ на поэзію какъ на явленіе особаго рода нервности, на высшее духовное возбужденіе и за немногими признаетъ эту силу сладкаго творчества. Наша современная критика холодна и безпощадна къ стихотворцамъ; она требуетъ оригинальности и мысли, и образовъ, и мотивовъ, — вообще новыхъ образцовъ въ этой живучей художественной области. Время покойнаго В. Г. Бѣлинскаго, восхищавшагося до слезъ, до умиленія однимъ удачнымъ стихотвореніемъ, какое встрѣчалось у выступавшаго при немъ поэта — прошло, — наша литература выросла, выросли и ея требованія.

Полное собраніе произведеній покойнаго И. З. Сурикова даетъ возможность читателямъ понять сердцемъ ихъ силу, теплоту и оцѣнить личнымъ чувствомъ, личной впечатлительностью ихъ художественную простоту и жизненную правду. Дѣло честной критики дать имъ и ихъ творцу мѣсто въ ряду нашей лирики и нашихъ лириковъ.

Среда, давшая у насъ поэтовъ-самоучекъ, какимъ былъ и покойный И. З. Суриковъ—это мѣщанство, т. е. безземельное крестьянство, оторванное социальнымъ порядкомъ вещей отъ производительной природы, отъ земли и брошенное въ душину городскую жизнь, идъ оно служитъ ради жалкаго существованія изо дня въ день мелочнымъ промысламъ, торговому факторству, тяжелому посредничеству между спросомъ города и сбытомъ села. Что тутъ встрѣтитъ чуткая натура, ищущая гармоніи, правды, свѣта,—узкій эгоизмъ, мелкія плутни, счеты и расчеты городского торгашества—съ одной стороны; съ другой—печали деревни, села, рѣзко бьющія въ глаза отъ стѣнаго армяка, забитой физиономіи до бѣдной сѣруи малорослой лошаденьки, притаившейся со своимъ хозяиномъ на крикливый рынокъ, куда только нужда гонитъ нашего крестьянина—этого терпеливаго кормильца города и города.

И. З. Суриковъ сынъ крестьянина. Судьба къ нашимъ поэтамъ изъ народа безжалостна. И Кольцовъ, и Никитинъ, и Суриковъ съ дѣтскихъ лѣтъ сжаты городомъ. Птицы вольнаго простора засажены въ тѣсныя клѣтки городской мелкой торговли, крайней нужды, семейнаго разлада. Это пѣвцы плѣнники города.

„На ширь глухихъ полей, подъ тѣнь лѣсовъ
пустыхъ

„Душа моя рвалась,—измучена тревогой,—

„И, можетъ быть, вдали отъ горькихъ слезъ людскихъ,

„Я создалъ бы въ тиши здѣсь свѣтлыхъ пѣсень
много;

„Но жизнь моя прошла въ заботы городской—

„И силъ моихъ запасъ изсякъ въ борьбу суровой“ ...

*„Все убито во мнѣ суетой и нуждой,
„Все закидано грязью столицы;
„Въ кнѣжъ жизни моей нѣтъ теперь ни одной
„Освѣжающей душу страницы“... **

Общая канва жизни покойнаго И. З. Сурикова проста и грустна.

^{*)} Изъ стихотвореній—„На берегу“, „На дорогѣ“—И. З. Сурикова.

I

„Дѣтства прошлаго картины!

„Только вы сътылы:

„Выступаете вы ярко

„Изъ сердечной млы“.

„Дѣтство — нѣтъ тебѣ возврата!

„Пронеслось, прошло;

„Только въ памяти живешь ты

„Ярко и сътло“.

И. Суриковъ.

1841 годъ; мартъ шелъ къ концу; являлась новая весна; солнце пріятно припѣвало, сionя рыхлый снѣгъ съ горы, припороковъ и долинъ, — всюду шумѣли ручьи и потоки. Села и деревни оживали отъ зимнихъ мятелей, пурги и морозовъ. Маленькая деревенька Новоселово *, забравшись на самый откосъ высокой горы, совсѣмъ освободилась отъ снѣга; одиннадцать избенокъ ея — бѣлыхъ, сѣрыхъ, шатровыхъ — подъ новой, старой соломой и тесомъ, казалось, и сътылыми окнами, и узкими выцвѣтшими стеклами пристально всматривались въ свѣтлую даль, идѣ за равниною, покрытой сплошнымъ лѣсомъ, темнѣли проталины; а тамъ дальше, сливаясь съ голу-

*) Деревенька Новоселово Юхтинской волости, Углицкаго уѣзда—„11 дворовъ, 55 душъ мужеска пола“; ее окружаетъ десятокъ другихъ такихъ же поселковъ—на три, на четыре версты отъ церкви и деревни отъ деревни. Земли и поселки всей Юхтинской волости—владѣніе графовъ Шереметевыхъ. Ни въ какой учебникъ географіи, ни на какія малыя и боль-

бой половою неба, чуть—чуть синѣло ледяное поле. Новоселовцы — старые и малые день за днем ждали минуты, — вотъ-вотъ проснется широкая Воля, зашумятъ далекимъ шумомъ по тихой равнинѣ льдина за льдиною, ворча, негодую на безпокойное движеніе вольной рѣки. Ихъ небольшая рѣченка Новоселка, проснувшись рано и переполнившись по-весеннему, пыжилась, бросалась какъ угорѣлая изъ стороны въ сторону и, выбившись изъ гортъ и пригортковъ, неудержимо мчалась къ ближайшей рѣкѣ Юхтѣ, плавно кашившей свои воды къ хмурымъ льдамъ Воли, неся ей свои и сосѣднихъ ключей и потоковъ дани... Заповѣдный глухой лѣсъ, охватившій десятокъ стѣрыхъ деревень, полонъ шепота и шума, — оттуда слышались съ ранняго утра и до поздней ночи сотни голосовъ суетливыхъ птицъ. Дни стояли красные; скворцы звонко трещали по всему Новоселову; грачи давно уже задумчиво похаживали по сырымъ бороздамъ пахотной земли, изрѣдка внушительно перекликаясь другъ съ другомъ; жаворонокъ рѣялъ въ голубой выси и изъ солнечныхъ лучей лилась на землю его восторженная пѣсня; вѣсьмъ дышалось отрадно... Весна была ранняя. Новоселовцы, какъ Ярославцы—Уличчане, народъ бойкій, больше промысловый, собрались къ свѣтлымъ праздникамъ въ свои семьи изъ большихъ городовъ и столицъ съ подарками, разсказами о городской жизни, съ забавными исторіями, шутками. Деревни всей Юхтенской волости оживились...

Чуть забрѣжило утро 25 марта, зазудѣлъ колоколъ

шія ланкарты деревня Новоселово, какъ и множество нашихъ мелкихъ поселковъ, не занесена. Она теряется въ обширныхъ русскихъ владѣніяхъ, какъ ничтожная песчинка, — хотя тамъ люди наражаются, живутъ, множатся, исполняютъ всякія повинности, умираютъ, ведя свою нить жизни тихо, истинно по-русски.

на каменной церкви Васи́лія Великаго, бѣлѣвшей съ холмистой площади среди вѣтхъ ея приходскихъ деревень и поселковъ. Въ утреннемъ затишѣ тихые колокольные звуки разносились далеко. Деревни проснулись; съ Новоселовской горы, по холмамъ и по равнине мигали огни, слышались голоса, по извилистымъ дорожкамъ мелькали чуйки, чапаны, пестрые платки, фыркали лошади, стучали телеги... Большой праздникъ—день Благовѣщенія,—«птица не вѣетъ инѣзда»,—всѣ собирались въ церковь: ребяташки, наскоро накинувъ на плечи, что попало, бѣжали первые; старики, охарашивая бороды, не спѣша, выползали изъ воротъ и калитокъ; бабы наряжались дольше друиыхъ, выходили послѣдними. Изъ Новоселова съ горы спускался пышій народъ ближней тропой мимо пруда, крестясь, разговаривая...

— «Бабушка Анисья, здравствуй! погоди-ка»... окликнула полная женщина въ яркомъ французскомъ платочкѣ худенькую сгорбленную старушку, тихо, какъ тѣнь, пробравшуюся по берегу пруда, вблизи бань.

Старушка приостановилась на минуту, повернула желтое сморщенное лицо съ острымъ птичьимъ носомъ, прищурила маленькіе слезливые глазки и прошамкала еле слышно:

— Кто—это?... А-а, Марья!... Здорово!.. Что, родная?..

— «Ты, бабушка, не слыхала—у дѣда Андреана Сурикова кто родился?... Проходила это я мимо ихней избы—младенчикъ пицалъ... таково жалостно»...

— Пицалъ... стало, родился... Захаръ вечерось пови-тушку къ себѣ велъ,—наши бабы видали, сказываютъ, въ ожиданьи были... Дай Богъ,—дай Богъ! утѣху имъ... Захаръ-аѣтъ, знаешь, временной у нихъ въ домъ, больше въ Москву все робитъ,—дѣдушкѣ Андреану, и матери,

и бабкѣ будетъ радость... веселье съ дитемъ зиму-то коротать... Ребятъ у нихъ пока не было — это первенькій...

— Еще бы не радость; человѣчьей-то души не радоваться, какъ явится она въ міръ Божій!... Тихонько, бабушка,—гляди не оступись—вишь все кочки тутъ...

— И то ляжу, милушка...

Идутъ дальше то молчкомъ, то толкуя:—«Слыхала?.. У Алафы-то Сибнихи теленочекъ задавился... Ей и такъ-то тоинехонько,—шутка ли; а тутъ Никита пѣстъ ее поѣдомъ... баба совѣсть рехнулась»... — Охъ-охъ-хо-о!..—«У Безпалыхъ мальченокъ было въ рѣкѣ утопъ,—поди ты и шустрый, и рѣченка-то, что въдь—не Воля; а еле въ жизнь привели»...—Бѣды-ы!..—«У Завихрявыхъ Василій вчера изъ Москвы пришелъ,—сколько добра всѣмъ нанесъ: и французскаго ситцу, и плису, и платковъ, и позументу,—стра-асть!.. Немудряцій былъ человѣкъ; а вотъ выровнялся, въ люди вышелъ... деньгу робитъ шибко... Вишь, при буфетѣ въ Москвѣ состоитъ, въ трактиръ»... —Извѣстно, Ярославцы, наши Улички ловки!..имъ городъ, милушка, что рыба море!.. пояснила старуха и продолжительно закашлялась. Далеко пронесся ея удушливый кашель въ утренней свѣжей тиши.

Въ эту минуту деревенскихъ собесѣдницъ догонялъ твердою поступью коренастый старикъ съ бѣлой волнистой бородой, низко опускавшейся на широкую грудь, — пріятная борода придавала умному лицу сію мягкость и ясность. Проницательный, нѣсколько восторженный взглядъ старика устремленъ на плывшія по окраинѣ неба мелкія облачка, то матово-бѣлыя, то нѣжно-желтыя отъ тихаго свѣта луны, прятавшейся минутами въ легкой облачной зыби. Луна дльднѣла и потухала подъ утро.

— «Дядушка Андреанъ, здравствуй!» обратилась Марья къ проходившему мимо старику; ее подмывало женское любопытство ранне друиыхъ узнать, что имъ Богъ далъ: «мальченокку или дѣвченку»...

— Благодаримъ на привѣтливомъ словѣ, касатка!... отозвался тотъ пріятно.

— Съ чѣмъ тебя проздравить?..

— Со вну-комъ!.. со вну-комъ!.. весело повторялъ старикъ, снимая новую шляпу, которую привезъ ему сынъ изъ Москвы въ подарокъ.

— Дай ему Богъ расти да крѣпнуть на радость! пожелала словоохотливая Марья.

— Будемъ блюсти да молиться; можетъ Господь и услышитъ насъ грѣшныхъ,—продлитъ ему вѣку, наградитъ своими милостями.

Вотъ и бѣлая церковь... Съ разныхъ сторонъ стекался сюда пѣшій и конный народъ; зеленая спица низкой орады пестрѣли темными шляпами, шапками; вошелъ за друими и дядушка Андреанъ, повѣсилъ ближе къ сторожкѣ на свободное мѣсто шляпу и, покрестившись предъ входомъ на паперти, прошелъ къ ктитору.

— Да-ка мнѣ, Власичъ, пяточекъ трехкопѣчныхъ свѣчекъ! наклонившись низко къ ящичку, сказалъ шепотомъ дядушка Андреанъ.

Звякнули мѣдные пятаки; старикъ протѣснился въ цустой массъ до иконостаса; тамъ, долю молился на коленяхъ, разставилъ свѣчи и наконецъ занялъ мѣсто въ цѣлу, за лѣвымъ клиросомъ, предъ иконою Угодника Николая, прося его милостей новорожденному внуку.— «Онъ, Милостивецъ, хранитель селъ и деревень русскихъ... Онъ знаетъ нужду — горе крестьянское, предстоитъ и

молитъ за простой народъ предъ престоломъ Христа»... Такова твердая вѣра дѣда Андреана—эта вѣра и всей его семьи... Не разъ потомъ и бабушка Дарья Васильевна, жена Андреана Егоровича Сурикова, въ простотѣ душевной рассказывала внуку, когда онъ сталъ подростать и, какъ пытливый ребенокъ, спрашивалъ обо всемъ, что занимало и тревожило его дѣтскій умъ:—«Все отъ Бога пошло, встѣмъ Онъ правитъ — и яснымъ солнышкомъ, и водами, и землей, — все подъ Богомъ ходитъ, живетъ и дышетъ... Онъ открываетъ намъ цѣлиныя сокровенное черезъ своихъ угодниковъ,—они къ Нему ближе... Молись, внучатка, Николь Угоднику,—Онъ, батюшка, все тебѣ откроетъ... Онъ къ намъ милостивъ, — самъ невидимо ходитъ посреди народа по селамъ и деревнямъ въ сѣренкомъ армячкѣ, лычкомъ подпоясанъ... Угодникъ встѣхъ видитъ, и тебя видитъ, и не оставитъ»...—«А его можно видѣть, бабушка»?...—«Можно, родной; только не всякому это дано... однимъ праведнымъ, кои крестьянина сѣраго, калѣку хилаго, младенца сѣраго пуще себя возлюбили, кои ютovy жизнь за нихъ положить, кои душу блюдутъ въ тиxости,—такимъ-то, внучекъ, въ видѣніяхъ Онъ, Милостивецъ, престоитъ и указываетъ правыя пути»... Ребенокъ смолкаетъ, задумывается, усердно молится въ морозную ночь,—такъ-какъ продолжительные разговоры съ бабушкой у него бывали больше на печи въ длинные зимніе вечера,—потомъ онъ домо не можетъ заснуть, и, въ полудремотѣ, при сильномъ трескѣ намерзавшихъ оконъ, или при свистѣ вѣтра, быстро вскакиваетъ, пристально вглядывается въ движущіяся по стѣнамъ полосы луннаго свѣта, — не тутъ ли, не вошелъ ли невидимо въ ихъ избу Никола Милостивый въ сѣренкомъ армячкѣ, подпоясанный старенькимъ лычкомъ...

Кончилась утренняя; вышелъ народъ; дѣдушка Андреанъ съ поклономъ подошелъ къ батюшкѣ, принялъ благословеніе.

— Что скажешь, старецъ?

— До вашей милости о. Протасій... Господь предъ заутренями внучка даровалъ,—такъ потревожить вотъ хотимъ—обмолитвить ребеночка-то...

— Что же христіанское дѣло... На лошадекъ прибылъ?

— Я-то пѣшій; а конь тутъ есть; сынокъ опослѣ приналъ...

— Доброе дѣло... Здоровое дите?... когда крестить думаешь?..

— Дитя справное; а въ вѣру ввести нынче бы желали,—послѣ, выходитъ, обѣденъ...

— Отецъ-то изъ столицы явился?

— Какъ же, батюшка, къ такой-то радости ему тутъ не быть... и праздники, знаешь, большіе... Почитай около недѣли будетъ безъ малаго Захаръ въ семействѣ...

— Что-й-то не видно его было...

— Заботы... онъ у насъ домохозяинъ, да и семью-то давненько не видалъ,—ну, къ другимъ-то и не показывался еще... Къ заутри, видно, съ хлопотами тамъ малость запоздалъ... какъ пришелъ, сзади прѣлъ, — ты его и не примѣтилъ.

— Сію минуту, старецъ, ѣдемъ; только эпитрахиль захвачу и требникъ...

О. Протасій, низенькій, тщедушный, съ блѣдными впалыми щеками, съ рѣденькой бородкой, былъ уже въ юдахъ, говорилъ неспѣшно, пѣвуче и всегда ласково. Крестьяне и графы Шереметевы, богатые владѣльцы Новоселова и другихъ смежныхъ поселковъ, его любили и находили своими милостями.

Заря разливала яркій румянецъ; весеннее утро проснулось свѣжо и бодро; ни облачка, ни тучки; воздухъ чистъ, неподвиженъ; чуть слышны вдали воркотня рѣченки Новоселки, да идѣтъ-то перекликающіеся голоса ребятшекъ и глухой скрипъ новыхъ воротъ... Въ этой благодати пріятно дышалось дѣду Адреану, когда они съ батюшкой взбирались шагомъ на сытой буланой лошади въ гору къ дымившему низкими трубами Новоселову.

— Ну, что какъ твой Захаръ, старецъ,—какъ тамъ въ Москвѣ-то златолавой дѣла дѣлаетъ,—не сбивается ли съ пути правого?..

— Благодарить Бога, о. Протасій, понемножку да помаленьку все ладится,—въ домъ робитъ... Теперь вотъ сыночекъ у него родился, —заботы, выходитъ, прибавилось,—полностью семья-то... Гляди въ оба... Совѣтъ держимъ—какъ бы это выползти въ свое дѣло... по людямъ-то толкаться вѣкъ-ать, — у—тошненько!.. и обвязи тебѣ нѣтъ... Свое дѣло и махонькое,—корни пуститъ въ плусть: и ночь, и день стоитъ въ головь... баловать и недосужно...

— Умно, старецъ, умно!.. Давай Богъ устъхъ!.. Да-а, въ городѣ большіе человѣку бываютъ соблазны... большіе... Трудно тамъ соблюдать себя въ строгости... въ чистотѣ нрава...

У дѣда Адреана на минутку сдвинулись нависшія брови и по ясному лицу неуловимо скользнула грустная тѣнь при мысли о неизвѣстномъ будущемъ... «Гдѣ лучше? какъ лучше?.. а жить надобно, пока Богъ длитъ твой вѣкъ»!.. прошло въ головь тутъ же; но при образѣ новорожденнаго внука, лицо его опять прояснилось... Темное облачко скрылось... Онъ вѣритъ: дѣтьми крѣпка семья,—во внука и внукахъ его свѣтлыя надежды...

Подъѣзжая къ шатровому дому и поглядывая на высокую скворешню, идѣ счастливо заливался скворчикъ, распустивъ крылья, выпятивъ вольно грудку, старикъ мягко высказалъ:

— Вишь, малая птишка счастлива, батюшка, при инъздышкѣ,—радостью дышетъ въ ожиданіи дѣтушекъ; а придутъ они — и въ заботахъ, а радостна... въ заботахъ радостна... Такъ-то и мы, іръшныя...

Скрипнула тяжелая калитка; широкій дворъ чистъ; на высокомъ крылечкѣ, усыпанномъ желтымъ пескомъ, стоялъ Захаръ въ пливовомъ жилетѣ; короткая, темно-каштановая борода обрамляла кругомъ его полное, румяное лицо съ легкимъ загаромъ; большая голова съ вьющимися густыми волосами упира глубоко въ плечи; стѣрые глаза, нѣсколько изъ подлобья, смотрѣли умно, весело; часть непокорныхъ кудрей, отбившись отъ висковъ и прямого ряда, шириво разметалась на низкомъ лбу. Захаръ крѣпко скроенъ, прочно сиитъ; всѣ черты лица его крупны, но мягки; движенія медленны, мышковаты, хотя общая манера и показываетъ болѣе горожанина, съ пріемами человека, входящаго понемногу въ средній купеческій міръ. Склонивъ голову, онъ принялъ благословеніе.

— Миръ честному дому!.. Съ сыномъ, молодой хозяинъ...

— Покорно благодаримъ, батюшка.

Дверь широко распахнулась въ стѣни съ чуланами и показала путь въ свѣтлую избу. Высокая изба съ бѣлой развальнѣй печью прибрана; столъ накрытъ городской скатертью въ шоколадныхъ цвѣточкахъ по желтому полю; длинныя лавки по стѣнамъ чисто вымыты; передъ высокой божницей ярко мигаетъ тихій свѣтъ лампадки

съ бѣлымъ голубкомъ. Все просто; но виденъ достатокъ и порядокъ въ домъ. Въ юреникъ за тонкой дощатою перегородкой слабо, будто въ просонь, колебался дѣтскій плачь, похожій на печальный скрипичный звукъ— и тутъ же затихъ. Ребенокъ лежалъ у груди блѣднотлицей женщины, которая не сводила съ него радостнаго взора; густые золотистые волосы ея небрежно разбросаны по громадной кубовой подушкѣ; въ улахъ тонкихъ носинъвишихъ цубъ пряталось что-то печальное; а въ прекрасныхъ голубыхъ глазахъ стояла свѣтлая улыбка любящей матери, которая одна «до гроба помнить будетъ» милаго сыночка и, разставаясь съ жизнью, унесетъ святую любовь въ темную могилу. Маленькое, красное существо все прильнуло къ груди, ничего еще не понимая кругомъ, сонно хлопало глазенками, то расширявъ, то ссуживъ припухшія вѣки. За перегородку заглянула низенькая сгорбленная старушка и мелкими шажками, подѣтски, подлетѣла къ лежавшей на кровати снохѣ. Это была бабушка Дарья Васильевна.

— Ну, Ѳеклуша, батюшка пришелъ, — давай ребеночка обмолитвить...

— Ты ужъ, бабушка, имячко попроси ему хорошее, — небожно, знаешь, мудреное!.. тихо обратилась Ѳекла Григорьевна.

— Лежи, знай, покойно... выберемъ имя простое... настоящее...

— То-то... первенькій вѣдь... можетъ ихъ, друиныхъ-то, и не будетъ...

Живая, подвижная бабушка Дарья быстро вынесла внука къ священнику, который, надѣвъ эпитрахиль и держа въ рукахъ темный требникъ, ожидалъ младенца въ переднемъ углу, у божницы. Дѣдъ и Захаръ стояли

въ сторонкѣ въ почтительномъ отдаленіи, ближе къ перегородкѣ.

— Какое имя новорожденному надумали, — скажите?! обратился батюшка.

— Какое ужъ получше, кормилецъ! отвѣтила старушка.

— И поближе къ рожденью, — прибавъ... Примѣтливые люди сказываютъ -- это счастье приноситъ человѣку!.. дополнилъ дѣдъ Андреанъ Егоровъ.

— Завтра Гавріила архангела, потомъ Иларіона и Евстратія преподобныхъ, дальше — Марка епископа, Кирилла діакона, Іоанна писателя мѣствицы, Іпатія епископа, Іоны митрополита Московскаго, Тита чудотворца, Поликарпа священномученика, Никиты преподобнаго, Елпидифора мученика, Іосифа пѣснопѣвца, Георгія, Платона, — склонивъ голову на бокъ, тѣвуче перебиралъ по трѣбнику о. Протасій имена святыхъ подрядъ, не останавливаясь, съ 26-го марта и перешелъ уже на апрѣль мѣсяцъ; наконецъ, глубоко вздохнувъ, дополнилъ: — Вотъ имена — угодниковъ, мучениковъ, преподобныхъ за десять дней отъ рожденія младенца впередъ, — какое же имя — избирайте!..

— Такъ бы гадать Осифъ, Иванъ — изъ этихъ, батюшка! первый заявилъ дѣдъ.

— Іона — вотъ митрополитъ Московскій тоже... вѣдь что не говори, а ему въ Москвѣ придется тянуть жизнь... какой ужъ онъ сохачъ, деревеничина... Отецъ отъ сохи ушелъ и сынъ за нимъ потянетъ, извѣстно... А тамъ мощи св. угодника Іоны... въ горѣ оно къ нимъ пойдетъ искать силъ... Такъ надо говорить... рѣдко, слово-за-слово изложилъ свое мнѣніе отецъ новорожденнаго.

— Избирайте... и мать спросите, — ее желаніе узнайте... Родные матери человѣку нѣтъ человѣка на свѣтѣ...

— Ну, хозяйка, сказывай, какъ ты пожелаешь имя-то дать мальченокъ—Осифомъ, Иваномъ, Ионой!.. Закинувъ за перегородку кудрявую голову, окликнулъ Захаръ Андреанычъ.

— Ива-а-нуш-ка—пускай будетъ!.. слышался болтливый голосъ изъ-за перегородки.

Дядь перекрестился, вперивъ глаза на иконы...

— «Святой лѣствичникъ Иванъ поведетъ его слабаго въ Божьемъ міръ... Онъ, батюшка, не оставитъ!»... громко проговорилъ старикъ.

Прочитаны молитвы надъ новорожденнымъ; дано ему имя Иванъ; батюшка, передавая его бабушкѣ, предрекъ: „ти-хо-е будетъ дитя“!.. Дѣйствительно, за все это время ребенокъ не подавалъ голоса, хотя и переходилъ изъ рукъ въ руки: отъ священника къ бабкѣ, отъ бабки опять къ священнику, высоко поднимавшему его передъ родительскими иконами; потомъ бралъ его и отецъ, бралъ и дядь... Вотъ опять онъ у груди матери, шепчущей, склоняясь надъ нимъ, одно только слово: „Ива-а-нуш-ка... Ва-нюш-ка... Ва-ня“!.. но сколько тоновъ, сколько сердечнаго содержанія слышалось въ этомъ шепотѣ,—сколько звучало душевныхъ переливовъ въ ласкающемъ голосѣ—и нѣжныхъ, и скорбныхъ, полныхъ вѣры и заветныхъ надеждъ.

Батюшка ушелъ, потолковавъ минутъ пять съ Захаромъ Андреанычемъ о Москвѣ, ея храмахъ, мудромъ митрополитѣ Филаретѣ, котораго онъ, смиренный іерей, удостоился видѣть, бывши какъ-то лѣтомъ въ Троице-Серіевоу Лаврѣ...—„Орлиный взоръ... орлиный... проникновенный у сего святителя“!.. повторялъ онъ, выходя уже за ворота, куда провожали его дядь и Захаръ съ не покрытыми головами. Тетка новорожденнаго, Аксинья

Федоровна, повезла батюшку на томъ же буланомъ конѣ обратно къ церкви. Захаръ пошелъ повѣщать о крестинахъ послѣ обѣденъ родныхъ, знакомыхъ, намыченныхъ ранѣе и уже приглашенныхъ кума и куму—Ивана Аникьевича и Матрену Тимовеевну Суриковыхъ—дальнихъ родственниковъ. Дѣдъ, присѣвши на крылечкѣ, не отводилъ глазъ отъ неумолкаемо щелкавшихъ скворцовъ. Первые лучи плавно восходящаго солнца ласково играли и на бѣлой, новенькой скворешнѣ, и на трепещущихъ птичьихъ грудкахъ, и на темнокоричневыхъ перьяхъ звонко щелкавшихъ тѣнуновъ, и на соломенныхъ, тесовыхъ крышахъ, и на умилennomъ лицѣ дѣда Андреана...— „Хо-ро-ша-а жизнь... больно хороша-а... и—горюшка въ ней не мало“!.. казалось у него невольно... Низко, почти надъ головою старика, порхнула стая голубей, обвѣявъ улыбающееся лицо легкимъ холодкомъ, и опустилась на дворъ... Заворковали голубки, принялись бѣгать туда-сюда по сырой, потной землѣ, выискивая зерна... Поднялся старикъ, прошелъ въ амбарушку, вынесъ оттуда въ лоточекъ—пиенца, ржи, пшенички, — размашисто бросилъ прямо въ голубиный кругъ... — „Нате-ка вамъ, Божіи птицы, клюйте себѣ здравіе новаго человѣка... внука Иванушки... Гу-ли, гу-ли, гу-ли“!.. подзывалъ дѣдъ голубей, разлетѣвшихся было въ разныя стороны, когда обдали ихъ вдругъ хлѣбныя зерна... — „Гу-у-ли“!.. росло протяжное подзыванье во дворъ. Голуби одинъ за однимъ бѣжали, какъ ручныя, на этотъ добрый голосъ къ зернамъ, и смѣло, съ жадностью нападали на нихъ, сбившись въ кучу... Потянулось безконечное воркованье... Дѣдъ, опустивъ лотокъ, любовался, какъ ребенокъ, улыбаясь искренно, и все тише и тише шепталъ:— „Гу-у-ли, гу-ли“!..

Изъ стѣнъ вылянула стѣдая голова Дарьи Васильевны.

— Старикъ, будетъ младенчить,—радуйся и дѣла не забывай!.. Ишь время нашелъ съ птицей игры играть... махонькій!.. право, махонькій!..

— Что-что, Суета Тимовевна, скажешь?.. Какое - такое тамъ дѣло стало... Радостенъ я, души отвожу!..

— Гдѣ Захаръ-атъ, ушелъ-ли къ кумамъ?.. А ты бы до дѣячка дошелъ, пригласилъ бы дѣячиху-то на крестины... она до насъ радѣльна!..

— Захаръ знаетъ, что ему надо... Званные на радостяхъ нашихъ будутъ... время есть... А ты, вижу, зря путлякаешься, старуха,—туды-сюды по избѣ топчешься... Сама вишь не обрядилась, до друиыхъ въ заботы пошла... Вотъ что сказать надо... Ты пироги-атъ зашибай съ солененькой рыбкой... и въ печи, что тамъ слѣдуетъ... Мы кличъ кликнемъ... юсти избу-то знаютъ!..

Старуха молча скрылась. Она, дѣйствительно, отъ радости не находила мѣста; то въ чуланчикъ сунется,—въ одинъ, другой, бормоча: „зачѣмъ, бишь, я?.. дай Богъ память“!.. выйдетъ ни съ чѣмъ, вернется за перегородку, взяagnetъ на внучка... — „Ты, матка, гляди не плотно прижимай къ грудямъ... тебѣ это впервой... молоко-то зальетъ... захлебнется дите“!.. Та только, молча, тихо улыбнется, отвѣчая продолжительнымъ взлядомъ: „можно ли это“?.. То бросится старуха къ коробу, пошевыряетъ тамъ холсты, набойки, платки,—вытянетъ зачѣмъ-то цвѣтной фартукъ, кинется къ печи, — „охъ, батюшки, юршики-то не ушли-ли“?!.. бормочетъ, да тамъ на посудной полкѣ и забудетъ фартукъ, не доумывая потомъ, какъ онъ туда попалъ изъ короба...

Ванюшка принесъ радость въ родной домъ. Никто изъ членовъ семейства: отецъ, мать, дѣдъ, бабка не загадывали—чѣмъ онъ будетъ,—какой будетъ?... а, просто

были рады, что онъ есть, что онъ явился и лежитъ вотъ-тутъ, за свѣтлой перегородкой, у родимой груди... Рады, когда онъ даже изрѣдка пискнетъ...— „Вишь... вишь... юлосъ подастъ... здоровенькій“!.. встрепенется дѣдъ, повторяетъ бабка; у отца выплываетъ улыбка на крупныхъ мясистыхъ губахъ и погладитъ онъ жилетъ самодовольно, покупчески...

Кончилась обѣдня; народъ цустой толпою валитъ изъ церкви; въ притворѣ многіе бросали робкіе, тоскливые взоры на поражающую вървующія души картину „Страшную Суда“, идѣ стонущихъ грѣшниковъ тянутъ за языки злобные духи,—

«Мучатъ бѣсы ихъ проворные,—

«Евѣоны—видомъ черные

«Припекаютъ, рѣжутъ, жгутъ...

«Воютъ грѣшники въ прискорбіи,

«Цѣти ржавыя грызутъ.

«Тѣ на длинный шестъ нанизаны,

«Тѣ горячій лижутъ полъ»... *)

Тутъ кипятъ котлы смолы кипучіе и въ нихъ варятся люди вѣки доліе... Страшно, жутко на сердцѣ, глядя на эти ужасы, страхи ада,— жалко скорбной душой тихихъ горестныхъ „несчастненькихъ заключенниковъ“; а глазъ все-таки не можетъ оторваться... Слышны вздохи—тяжкіе, доліе... Противъ этой картины давно уже стояли Иванъ Аникѣевичъ и Матрена Тимофеевна, а рядомъ съ ними молодой русоголовый мущина въ синей длинной чуйкѣ,—сильно намащенные волосы, высокіе са-

(*) Изъ стихотворенія Н. А. Некрасова—„Власъ.“—

пои съ бураками, толстые перстни на полныхъ пальцахъ, цветной клѣтчатый платокъ, которымъ онъ то и дѣло отиралъ въ нетерпѣливомъ ожиданіи обильный потъ съ раскраснѣвагося лица — ясно говорили о сельскомъ фронтѣ, явившемся въ Новоселово только на время изъ столицы, — это былъ тоже одинъ изъ близкихъ семейству Суриковыхъ.

— Что, Инатъ Власычъ, душно!.. спросила сію женщина лѣтъ подъ тридцать, стоявшая вблизи, наряженная во все цветное, яркое.

— Очень даже томительно, Марья Ивановна!.. А долготько, видно, еще поморитъ насъ отецъ святой въ храмъ!..

— Намъ что?.. дѣло христіанское въ вѣру крещеную ввести новаго чловѣка... Младенчика вотъ принесли рано, какъ бы онъ, касатикъ, выдержалъ... Бабушка, что Ванчика-то дышетъ?.. взляни-ка!.. обратилась она къ старушкѣ Суриковой, стоявшей тутъ же, о-бокъ съ ребенкомъ на рукахъ.

— Ничего, сударка, — вишь тихъ... глазками только поводитъ... Что же ему?.. дите негосподское...

Инатій Власычъ подозвалъ проходившаго мимо сторожа, въ сотый разъ спросилъ о купели — и все ли готово, и скоро ли о. Протасій приступитъ къ крещенію младенца.

— Не сомнѣвайтесь, ваше степенство, — все въ лучшемъ видѣ... Батюшка Св. Дары потребляетъ — и сейчасъ, сію минуточку, выйдетъ... Купель ужъ стоитъ у ящика ктитора — готова и свѣчи пятикопѣечныя возжены...

— Нельзя-ли тепленькой водички подбавить въ купель-то... какъ бы дите не застудилось... Кумъ отбла-

ударить!.. просила Марья Ивановна, мельничиха съ Юхты.

— И это можно, ежели пожелаете... у моей старухи горячая вода въ сторожку имѣется, — степлимъ малость...

— Не грѣшно ли это будетъ, милушка, — живую воду портить?! не приминула вступить въ советъ бабушка...

— И-и, что вы, Дарья Васильевна, всегда такъ-то дѣлается въ хорошихъ домахъ, въ городѣ... Ребеночекъ, что ангелъчикъ, развѣ можетъ ему отъ теплой воды порча быть...

— Какъ знаете, родная... Мы люди простые, городскихъ-то порядковъ не въдаемъ... У насъ по деревенскому все крестятъ въ настоящихъ водахъ...

Рѣшено „подтеплить“ воду, и Тихонычъ вскорѣ проносъ полуведерко, изъ котораго лѣниво клубился бѣлый паръ.

Ребенокъ и во время крещенія былъ тихъ, только при троекратномъ погруженіи хлипалъ губенками; но не кричалъ... Всп, конечно, этому удивлялись; всп говорили въ этотъ день о тихости ребенка, стараясь угадать: нѣтъ ли тутъ чего указующаго и что именно это pronostитъ. Дѣдъ стоялъ на одномъ: „известно, дите крестьянское... не понимаетъ, а чувствуетъ: кричи — не кричи, легче не будетъ... Жизнь не matka родная, — принимай, что жалуетъ, и больше смалкивай“!.. Въ просторную избу Суриковыхъ на крестины собралось много гостей. Тутъ были — кумъ, кума, Инатій Власычъ „молодецъ“ ихъ же деревни, изъ откупившихся графскихъ крестьянъ, перешедшій въ мѣщане и бойко торговавшій разными мелкими товарами; Марья Ивановна —

жена мельника, жениcina бойкая, говорунья, знающая юродскіе порядки, сельская модница; дьячекъ Иванъ Дмитричъ, глубокомысленный, любившій обо всемъ поразсудить; его жена, жениcina тихая, болѣзненная; разные кумовья, кумы, сваты, сватьи; графскій садовникъ Титъ Миронычъ, словоохотливый, поэтъ въ душѣ... Столъ былъ обильно уставленъ яствами и питьями; бесѣда лилась отъ сердца. Всѣ поздравляли и поздравлялись. Расторопная бабушка-повитушка, какъ шаръ, кружила неугомонно около юворливаго стола. Послѣ юродскаго „травничка“, юсти скоро оживились.

— „Чудеснѣйшая настойка!.. скажу вамъ“... смаковалъ дьячекъ третій стаканчикъ, медленно поглаживая длинную - предлинную бороду, възсядая на почетномъ мѣстѣ, въ переднемъ углу... „Въ разсужденіи сею и онаю, стомаха - ради и радости - для подкрѣпимъ себя и пожелаемъ младенцу скорѣе стать на бойкія ноги и пойти умственно рѣзво... Дитя что?.. дитя — все: жизнь и благо... благословеніе домоу и обществу споспѣшникъ!.. А-а, рыбка Московская“!.. переводя глаза и руки отъ большаго рубчатаго стаканчика къ жирной теши, продолжалъ сельскій философъ... „Чудесно!.. мудръ и угадливъ молодой хозяинъ—всѣми благами запасся къ торжеству дома сею“...

— Марья Ивановна... старая кумушка, откушайте за новорожденнаго-то... рюмочку красненькаго, чтобы ему красно, свѣтло жилось!.. цюцалъ Захаръ Андреанычъ.

— Не трудите себя, Захаръ Андреанычъ... не могу; сію минутку въ голову ударить... не привычна я къ эфтому... Насъ у тятеньки, знаете, въ строгостяхъ со-

держали... кромѣ квасу, меду сытоваго ничего не до-
пускалось... и „самъ“ меня не неволитъ!..

— Это, что квасъ, кумушка,—и цвѣтъ-атъ Москов-
скихъ квасовъ—малиновый.. самое тоисъ легонькое... Анд-
рей Васильичъ, муженекъ кумушки дорогой, помоги мнѣ
уфросить ее откушать!..

— Ну, что же модничаешь, Маша,—не обижай его...
Отпей... нынѣ день небожновенный!..

— Хоть пригубьте, кума...

— Желаю крестничку... Охъ, какое крѣпкое, кумъ,—
такъ сразу краска и бросила въ лице!.. О-охъ!.. обмахива-
ясь бѣленькимъ платочкомъ, конфузливо жеманилась
Марья Ивановна...

— Рыбки вотъ—балычка провеснаго... икорки паисной...
откушайте безъ стѣсненія... Нынѣ все это полагается,—
день Благовѣщенья... Будьте по родственному!.. стоялъ
надъ ней хозяинъ.

— Много благодарна!.. не утруждайтесь... Я и такъ,
какъ у себя въ юрницъ...

— А вы какъ о магноліи полагаете, — поэтизиро-
валъ Титъ Миронычъ, поясняя сосѣду мельнику, что
это за растеніе,—цвѣтокъ нѣжный... уходъ за каждымъ
требуется съ душой.. Али примѣрно роза, — ихъ тоже
породъ много... ранжирейный цвѣтокъ... о-о!.. тутъ
мазъ нуженъ, чтобы ты строга былъ къ себѣ, догляд-
ливъ; а то чуть-что—и она тебя не то что бутономъ
обрадовать, здоровенькимъ листочкомъ не наградитъ...
Травки, цвѣточки всѣ тоже дышутъ и душевность тре-
буютъ, нѣжность, знаешь, — потому сами нѣжи полны,
словно бы малыя дѣти... Уходъ, призоръ есть—улыбкой
дарятъ; чуть сплосалъ, забвенію предался, — хиреніе,

хворь нападеть,—весь завянетъ... И цвѣты ссть дички, вольно тамъ въ поляхъ, лѣсахъ по мѣсяцамъ выбѣгаютъ, — каждый свое время знаетъ, когда ему ласку небо шлетъ... ранжирейные — особо, — эти, что господа-дворяне, при дядькахъ, тѣстунахъ, при хорошемъ уходѣ только и живутъ...

— Въ цвѣтахъ я, Титъ Миронычъ, надо прямо сказать, не того.. сердца къ нимъ не имѣю... нѣмы они... этимъ у меня хозяйка занимается,—ихъ дѣло женское, кропотливое: глазъ у нихъ отъ природы ужъ лѣзетъ большіе къ красочкамъ тамъ, колерамъ... цвѣтамъ, — ну, и пушай ихъ трещатъ, поливаютъ. Я до птицъ охочъ — стра-астъ!.. Заходи какъ-нибудь... Какой у меня ке-норъ! новый... вотъ кеноръ,—цѣны ему нѣтъ... Голосъ—ма-асло чистое... ведетъ - ведетъ это струну, — конца ей, кажется, нѣтъ!.. въ слезу тѣбя вонитъ,—вотъ какъ!.. Скворцы тѣпереча у меня насупротивъ его окна свою квартиру на выикъ заняли... Щелкаютъ-щелкаютъ; а заведетъ онъ — сію минуточку ни-гу-гу!.. Молчатъ и слушаютъ его... Птица вотъ и та истинную цѣну другъ дружкѣ даетъ... и почтеніе имѣетъ къ своей сестрѣ...

— Андрей Васильичъ!.. Титъ Миронычъ!..хоть и сладкой бѣсъдой заняты, а столъ рушить нельзя,—пирожка-то съ рыбкой, съ пищенкомъ сорочинскіимъ отъѣдайте... Сынокъ-атъ вишь откудова везъ добро... изъ самой Москвы-бѣлокаменной... и старуха моя тѣсто добрила... Уважьте!.. съ поклономъ обратился, къ ушедшимъ въ тонкую область поэзіи о цвѣтахъ и птицахъ, горячимъ собесѣдникамъ дѣдушка Андреанъ...

— Славный пирогъ!.. славный!.. какая ты, бабушка Дарья, мастерица!.. хвалила пирогъ съ пріятной улыбочкою мельничиха Марья Ивановна.

— Еще бы былъ не хороишъ!.. для внучка радѣла!.. обронуилъ благосклонное словечко Игнатій Власъичъ.

— Вкушайте, родные,—вкушайте здравіе его, макова цвѣтика!... говорила старушка и, отступивъ въ сторону, шепнула подвернувшейся бабкѣ-повитухѣ:

— Хлопочи о кашъ... собирай свою дань... Пора; совсѣмъ, мать моя, закружилась ты, я вижу...

Скоро зазвенѣло серебро, мѣдь... Игнатій Власъичъ, не глядя, положилъ «крестовикъ»...—«Миткальцу еще подарю... приляди хорошенько за рожаницей-то!»... въупоръ поглядывая въ глаза бабкѣ, сказалъ онъ внушительно; та только низко поклонилась... Мельничиха разщедрилась двумя-тремя серебряными монетами и передала цвѣтной платочекъ, прибавивъ: «отъ чистаго сердца это тебѣ»!..

Сидѣніе за столомъ тянулось доло; угощались много. Молодого отца потчивали кашей, одобренной разной разностью—солью, перцемъ и т. п. при общемъ возластѣ:—«вкушай, отецъ, да не морщишься, чтобы здоровъ былъ сынокъ-атъ и крѣпокъ!»... Захаръ Андреановичъ ѣлъ, покрѣкивалъ; но не морщился...

Поздно, въ сумерки довольные юсти съ цѣлованіемъ и пожеланіями оставили счастливый въ эти минуты домъ; за воротами доло слышались веселые голоса; наконецъ все стихло...

И пошла обычная ровная жизнь въ семействѣ Суриковыхъ.

Семейство Суриковыхъ—старикъ Андреанъ Егоровичъ, его жена Дарья Васильевна, ихъ сыновья—Иванъ, Яковъ и Захаръ Андреановичи. Старшій братъ Иванъ въ 1841 году имѣлъ свою овощную лавочку въ Москвѣ въ Каретномъ ряду, на углу Знаменскаго переулка, вблизи Петровскихъ казармъ; братъ Яковъ служилъ въ гвардіи ря-

довымъ Измайловскаго полка; младшаго брата Захара братъ Иванъ взялъ мальчикомъ въ Москву и „пустилъ по овощной части“. Когда родился Ваня, Захаръ Андреановичъ служилъ у Пискарева въ одномъ изъ овощныхъ погребовъ, противъ Лобнаго мѣста. Дѣло у Пискарева было большое, торгоя шла бойко на этомъ шумномъ, прибойномъ мѣстѣ, служащихъ подручныхъ, мальчиковъ было немало. Захару Андреановичу шелъ двадцать второй годъ—родился сынъ,—онъ подумывалъ открыть свою овощную лавочку, вести самостоятельное дѣло по той отрасли промышленности, которая ему хорошо известна,—походилъ онъ по чужимъ людямъ довольно, на-терпѣлся немало; но былъ увѣренъ въ себѣ и эта увѣренность молодыхъ лѣтъ давала чувствовать подъ ногами прочную почву. Семейство Суриковыхъ было нераздѣленное—одинъ общій домъ въ Новоселовѣ, въ которомъ постоянно жили при старикѣ Андреанѣ Егоровичѣ—его старуха и двѣ снохи—Аксинья Ѳедоровна, жена Якова, находившаяся въ Петербургѣ, въ царской службѣ, и Ѳекла Григорьевна, жена Захара—младшая въ домѣ, молодая еще женщина. У Якова Андреановича дѣтей не было. Братъ Иванъ со своей семьей жилъ въ Москвѣ. Сидѣли Суриковы на оброкѣ, какъ вообще и всѣ крестьяне графовъ Шереметевыхъ; платили они въ господскую контору по тридцати рублей въ годъ съ мужской души и прочихъ повинностей еще падало рублей по десяти на брата; пользовались землею, которой было довольно.... «Жили, прямо сказать, потому крестьянскому времени, въ достаткѣ: была и пара коней, корова, телушка тамъ годовалая, малость овецъ и прочее,—все какъ есть полностью хозяйство.... По всей домашности работа тогда падала на бабъ... Мы наѣзжали изъ Москвы временно;

онъ вели весь домъ... Старикъ слабѣлъ, часто припадалъ»... Заносимъ эти краткія свѣдѣнія со словъ Захара Адриановича.

Вскорѣ послѣ Пасхи Захаръ Адриановичъ опять отправился въ Москву. Маленькій Ваня росъ при матери, дѣдѣ бабушкѣ и теткѣ. Отецъ въ своихъ письмахъ въ мѣсяцъ разъ, присылая поклоны и малость денегъ, приписывалъ: «еще шлю мое родительское благословеніе на вѣки нерушимое сыну Ванѣ и берсите его глазо»... Иногда слѣдовало добавленіе: «гостинчикъ посылаю ему—ситнику цвѣтнаго на рубашку, пряникъ печатный и крендельковъ, съ оказіей»...

Черезъ годъ Адрианъ Егоровичъ скончался. Мякій, добросердечный старикъ; но подверженъ былъ слабости—любилъ выпить; а выпьетъ—совсѣмъ размякнетъ: больше плачетъ и изливаетъ душу. Хотя это бывало и не часто; но приносило немало печали всѣмъ окружающимъ его женщинамъ—старухѣ Дарѣ Васильевнѣ, Оеклѣ Григорьевнѣ, матери Вани, и Аксиньѣ Федоровнѣ, женѣ Якова Адриановича. Женщины вели почти все хозяйство, когда ослабѣвалъ дѣдушка Адрианъ, что иногда тянулось мѣсяцами. Старикъ, идѣ-то размякъ, застудился, получилъ юрячку и въ мартъ 1842 г. отошелъ изъ этого міра.

Ребенокъ остался на рукахъ однѣхъ женщинъ,—ничей не давилъ его...

Шелъ годъ за годомъ. Ваня выляннулъ уже на улицу, идѣ ребята приняли его — кто покровительственно, какъ новичка, кто свысока, какъ непонимающаго еще радостей и утѣхъ вольной улицы; двое - трое рѣшились тутъ же испытать, чтобы потомъ впустить въ свой кругъ и посвятить во всѣ тайны шрѣ, — они принялись щипать и дергать его кто за уши, кто

за синій шугайчикъ, стелившійся по земль,—эта старая одежда попала на него съ материнскаго плеча.... Ваня захныкалъ; ему сказали: — «Молчи; иль не видишь, играють съ тобой... шутки шутятъ; а то больно прибьютъ!...» Ваня замолкъ; но нашелся возразить:—«Бабушкѣ скажу!...»—«Больнѣе прибьютъ... не примутъ играть,—и сиди съ бабушкой на печкѣ... Молчи, язычный!... Ишь ты, жаловаться... Бока-то у тебя не свои что ль»?!. Ваня задумался, смолчалъ и ходилъ по улицѣ за швашиими ребятами пока въ хвостъ. Въ первый день выхода изъ душиной избы на просторъ улицы, онъ испыталъ не мало. Къ вечеру, когда Ваня, набродившись, упорно лазилъ на зеленые ставни крайняго дома богатѣя всей деревни,—вдругъ косматая Сърка, сорвавшись съ цѣпи, съ хриплымъ лаемъ бросилась въ полуотворенную калитку, разомъ повалила растерявшагося мальчика и помчалась внизъ къ пруду. Ваня не крикнулъ, онъ будто обмеръ отъ испуга, и лежалъ безъ движенія, пока выскочившая со двора женщина не привела его въ чувство, спрыснувъ изъ ковшичка водицей; потомъ отвела домой, идъ напала на мать, на бабушку; зачѣмъ пускаютъ далеко... „еще за такихъ въ отвѣтъ попадешь... цѣпъхъ возьмешь на душу«!.. Мать и бабушка растерялись; журили Ваню домо, не слушая его тихихъ возгласовъ: — «я цѣлъ; глядите — цѣлъ... малость поцарапала«!.. Потомъ мать ласкала, радостно плакала, уговаривала сидѣть въ избѣ; а ужъ ежели душно, то отъ своихъ воротъ ни шагу. Три дня послѣ этой исторіи Ваня не выглядывалъ изъ избы,—на четвертый—какъ устоять, когда такіе красные дни и юлоса ребятъ звономъ звенятъ по улицѣ — онъ опять за воротами, опять бѣгаетъ въ хвостъ за кучей босоногихъ мальченокъ и дѣвчатъ, накрикиваетъ

юлось, знакомится съ разными играми, съ рѣченкой, съ прудомъ; бѣжитъ на встрѣчу стаду, не можетъ ни по-пасть къ полисаднику богатаго мужика, куда примани-ваютъ и серебристый тополь, и бузина, и яркій макъ, и душистая резеда, — да мало ли тамъ пестрыхъ цвѣ-товъ—душистыхъ, красивыхъ... Ребята любятъ этотъ полисадникъ,—около него весной и лѣтомъ постоянно слышенъ ихъ гамъ.

Еще и еще канулъ годъ. Ваня на вольной улицѣ въ играхъ, въ состязаньи со сверстниками — товарищами окрѣпъ физически, освоился со вѣтмъ окружающимъ — съ юрками, припорками, лужками и ближнимъ лѣсомъ. Те-перь его уже не напугаетъ какая-нибудь Сѣрка... Онъ неразъ побывалъ и на мельницѣ, слушалъ тамъ съ сер-дечнымъ замираніемъ рѣдкаго «кенора», любовался кра-сивыми щеглами, пѣлъ вкусныя булочки, подолгу прислу-шивался къ неумолкаемому шуму мельничныхъ колесъ и, подъ эту безконечную стукотню, въ сторонѣ отъ лю-дей, усиливался подражать щебетанію то той, то дру-гой интересной птички. Заглядывалъ онъ въ Юхту *), идъ выискивая графскій домъ, окруженный курттинами цвѣтовъ, идъ тянулся безконечный паркъ и куда манили его пре-красныя оранжереи. Пріятель Титъ Мифонычъ съ боль-шой словоохотливостью посвящалъ его въ жизнь рѣдкихъ растений,—тамъ мальчикъ совсѣмъ притихалъ и задумы-вался надъ каждымъ цвѣточкомъ, надъ каждымъ дерев-цемъ, наполовину не слыша, что садоводъ повѣствовалъ ему о розѣ, левкоѣ, разжирѣвшемъ и выползшемъ вонъ изъ кадки кактусъ... Въ этихъ оранжереяхъ, подъ стек-

(*) Юхта—небольшое село, или сельце съ красивымъ домомъ-полудвор-цемъ и паркомъ графовъ Шереметевыхъ—находится на разстояніи пяти верстъ отъ Новоселова, съ каменной церковью во имя св. Троицы.

лянными куполами, скрывались все такія растительныя дива то по цвѣту, то по запаху, то по листьѣ, какихъ онъ не встрѣчалъ ни въ знакомомъ лѣсу, ни въ полѣ. Ваня посѣщалъ и дѣячку Ивана Дмитривича *), — тамъ у него былъ дружскъ, Сеня, почти однихъ съ нимъ лѣтъ, — смѣлый, бойкій... Къ дѣячку на праздники прѣзжали старшіе сыновья, семинаристы въ длиннополохъ сюртукахъ, рослые ребята, которыхъ Ваня робѣлъ, — но все-таки, идѣ-нибудь въ уюлокъ, прислушивался къ ихъ разговорамъ объ ученѣ, о юродѣ, — мудреныя названія и постоянныя разсказы о битѣ, — «закатили сто лозъ, онъ и не крякнулъ, голоса не подалъ!.. Пороли на снѣгу, снѣгъ подъ нимъ весь протаялъ, а онъ лезитъ себѣ, какъ на перинѣ»!.. приводили Ваню въ ужасъ... Потомъ, онъ одинъ-на-одинъ нерѣшительно спрашивалъ прѣтеля:

— И тебя, Сенюшка, повезутъ въ ученье?!..

— Повезутъ...

— И битъ будутъ?!..

— Будутъ...

— Ты смолчишь?!..

— Смолчу...

— Я бы убѣждалъ.

— Поймаютъ, больше прибьютъ...

— Я сталъ бы кричать, бабушку звать, мамыньку, чтобы отняли...

— Бабушка далеко, крику не услышитъ; а тебя застыкутъ... Одного вонъ съ крикомъ-то, братцы говорили, такъ и застыкли... Они сказываютъ: на то и ученье, — всѣ въ ученьи съчены... безъ того и въ попы не ставятъ!...

(*) Ив. Дм.—дѣячекъ приходской церкви Новоселова, что находится въ трехъ верстахъ отъ деревни.

— Я въ попы не пойду... Попы сладко пьютъ да съ малыхъ лѣтъ стѣчены... Меня дома никто за вихры не деретъ — ни бабка, ни мама... Разъ тятя изъ Москвы на праздникахъ былъ, — подиулялъ, бабка сказывала, — и возьми за вихры, — мама въ слезы, бабушка стала кричать, — тятя сейчасъ изъ избы вонъ... На другой день все ко мнѣ ластился и пряникомъ, и булкой добрилъ...

Подобныя разговоры велись позднимъ лѣтомъ далеко за полдень подъ старымъ дуплистымъ вязомъ, въ тихомъ, укромномъ мѣстѣ, идѣ обмельзшая Новоселка чуть струилась тонкой, свѣтлой полоской по песочку и журчала еле слышно, будто въ просоньѣ. Сюда Ваня и Сеня любили скрываться отъ жары, повѣрять другъ другу дѣтскія тайны, радости, печали; тутъ разсказывали они сказки, слышанныя отъ дѣдовъ и бабокъ, сказанья и «сказы» странниковъ, странницъ, бродившихъ черезъ Новоселово въ Уличъ къ мощамъ царевича Дмитрія, въ пустыни и древніе монастыри. Такіе пилиримы — наши вѣчные «скитальцы» изъ народа, много натерпѣвшіеся въ жизни и постоянно ищущіе правды, попадая въ Новоселово, нерѣдко дневали-ночевали въ привѣтливомъ домѣ Суриковыхъ, или у дѣячака Ивана Дмитріевича, тогда дѣти слушали по цѣлымъ часамъ медоточивыя рѣчи странниковъ, странницъ, притаивъ дыханіе съ замираніемъ сердца; собиравшіяся по этому случаю въ избу или на завалину старухи охали, вздыхали, иныя плакали отъ подступающаго подъ сердце своего и чужого горя — и легче становилось натерпѣвшейся душить... О какихъ земляхъ, о какихъ людяхъ не повѣствовали старцы и старицы, — вездѣ-то страданія, всюду тягота, неправда!.. Слушая ихъ, ясныя голубыя глаза Вани туманились непрошеной слезой, — онъ всегда былъ мяокоъ сердцемъ, крайне

впечатлителенъ и нервенъ; пухленькое личико, съ чуть замѣтными веснушками у остраго носа, румянилось отъ всего, что волновало теплую душу; что другой, обтертѣвшійся съ колыбели, пропускалъ мимо ушей, оттого Ваню бросало то въ жаръ, то въ холодъ и вихоръ красныхъ волосъ, небрежно сбившихся на бѣлый выпуклый лобъ, поднимался рѣзко вверхъ и круто щетинился... Такимъ онъ былъ ребенкомъ, такимъ оставался и во всю жизнь...

Въ это мѣто подъ старымъ вязомъ Ваня неразъ заводилъ жаркій разговоръ о городѣ, о трудномъ ученѣ, потому что, ввертываясь въ юренику дѣячка, онъ все чаще и чаще сталъ слышать:

— Сенюшку, мать, съ осени надо плотнѣе засадить за часословъ... Кажись, ему седьмой доходитъ.. Черезъ годъ придется въ училище малаго сдавать... Будетъ ему шоболы бить... Улицу онъ у тебя все пылитъ, собакъ юняетъ, задеря хвостъ... Охъ, Господи, Господи!.. дѣти, тяжело съ вами!.. совсѣмъ животы изводятся...

— Ну, что же, ты отецъ,—и покажи ему страхъ... тебя онъ больше боится... Видишь у насъ ребята все идутъ-идутъ,—переводу имъ нѣтъ... зыбка съ крюка не сходитъ... Совсѣмъ я съ ними смаялась... Гдѣ мнѣ за Сенюшкой съ хворостиной юняться!.. Припуни его самъ...

Дѣячекъ затихалъ, погружался въ какое-то печальное раздумье, землистое лицо его нервно подергивалось и, склонивъ голову на волосатые руки, слабо опиравшіяся на твердый столъ, онъ смежалъ красныя припухшія вѣки, впадая въ тоскливую полудремоту; среди неуютнаго жужжанія мухъ, докучливо сновавшихъ надъ косматой головой, едва слышенъ былъ шопотъ: «охъ, Господи, Господи!..» Весь раскраснѣвшійся Ваня, ввернувшись въ

эти минуты въ комнатку, робко всматривался въ осунувшуюся пожилую фигуру, смутно понимая всю тяжесть придавленной жизни; но маленькое сердце его щемило, ныло неподътски... Доло онъ смотритъ, чутко вслушивается въ шепотъ,—и, наконецъ, незамѣтно ускользаетъ въ полуотворенную дверь на пустынный дворъ, бросается къ церкви и, дальше къ рѣкѣ—ему жутко,—вздохи, шепотъ не покидаютъ его уха въ этомъ томительномъ затишь... Ваня у рѣченки,—тамъ ребята... Двѣтри бѣловолосыхъ дѣвченокъ, въ коротенькихъ рубашенкахъ, ловятъ старой рокожей въ болѣе глубокихъ мѣстахъ огольцевъ, пискарей, темныхъ вьюновъ, кишащихъ стаями. Мальченки, кто переионяясь, кто скача другъ за другомъ на одной ногѣ по накаленному песку, острятъ, смѣются надъ молчаливыми дѣвчатами.

— Эй, ловцы!.. придержите ладошкой дыру-то въ рокожь... Рыбу совсѣмъ запугали... Гляди—гляди, ребята, она, бѣдная, мѣста въ рѣкѣ не найдетъ, мечется какъ чужная!..

— Молчи, парень,—въ эту самую дыру она къ нимъ идетъ,—иль не видишь... догадки у тебя нѣтъ,—на то онъ такую рокожу и поддѣли... у дѣвчатъ-то смѣлка не то что у парней!..

— Не кричи, Андрюшка, подѣ руку,—разгонишь рыбу... уши не дадутъ... да и дыра-то махонькая,—много-много дѣвъ юловы ихнихъ пролѣзетъ; а рыбища, знаешь, какая у насъ водится!.. Что юлецъ!.. Что пискарь,—первый сортъ, крупнина!..

Дѣвчаты серьезны; всецѣло погружены въ свое занятіе, какъ будто и не слышатъ этихъ остротъ, вылетающихъ на воздухъ болѣе отъ скуки, бредутъ себѣ осторожно, тихо...

Общій смѣхъ дрожитъ по открытому мѣсту, не-
сется за пригорки, звенитъ за перелѣскомъ; но и этотъ
смѣхъ не веселитъ Ваню; онъ юркнулъ въ широкое дуп-
ло вяза и тамъ о чемъ-то шепчется съ Сеней...

Прошла и сырая, дождливая осень. Ваня шелъ седь-
мой годъ далеко за половину. Онъ сдѣлался какимъ-то
мѣшковатымъ, вялымъ въ движеніяхъ,—былъ сосредото-
ченъ, молчаливъ. Сенюшку засадили въ горенку; Ваня
бродилъ одинъ. Крестный Иванъ Аникьевичъ Сури-
ковъ, чтобы утѣшить крестника, мастерилъ къ этой
зимѣ салазки; онъ доло возился надъ ними въ избѣ и
подъ старымъ навѣсомъ. Ваня вертѣлся тутъ же и не-
разъ спрашивалъ:

— Крестный, это ты кому?..

— «Попову Сережѣ!.. Давно ужъ я обѣщаніе далъ
батьюшкѣ да, вишь, все было недосужно!.. хитро улы-
баясь, отвѣчалъ Иванъ Аникьевичъ.

Ваня и вѣрилъ этому, и черезъ минуту не вѣрилъ,—
несерьезно какъ-то говоритъ крестный и что-то все
улыбается, какъ будто подсмѣивается...

Вдругъ, послѣ Михайлова дня, сразу заковало землю...
День-другой и запустило въ воздухъ, да какъ запустило
бѣлыми, цустыми хлопьями снѣга—все побѣлѣло кругомъ...
За одну ночь дворы, улица, горы, пригорки, рѣченка и
крыши избъ, избенокъ покрылись пухлой бѣлой пеленой...
Бѣлое утро и бѣло все кругомъ, пятнышка нѣтъ темнаго...

— Вставай, Ванюшка, — гляди-кась, новая зима къ
намъ на розвальняхъ прибыла. . Покатимъ-ка мы съ то-
бой съ горки подъ горку по первопутку на новенькихъ
салазочкахъ... Ошмыгаемъ полозки-то!.. говорилъ мягко,
зашедшій къ нимъ въ избу, крестный, наклонившись надъ
головой крестника...

— На какихъ, крестный!.. протирая заспанные глаза, шепталъ Ваня.

— Аль забылъ,—вѣдь я давно изготавилъ тебѣ...

— Это ты мнѣ, разъ?!..

— Тебѣ... тебѣ, касатикъ!.. А то кому же другому?!..

Ваня прыгъ съ печки, идѣ ютился подѣ бокомъ у бабки; наскоро умылся, наскоро покрестился на божницу и живо юркнулъ въ сосѣдній дворъ Ивана Аникѣевича... Съ какимъ вниманіемъ онъ олядывалъ, ощупывалъ и полозя, и рѣзные бока, и лубочное сидѣнье у салазокъ, переводя долей, ласковый взоръ то на крестнаго, то на его рѣдкій подарокъ... И на души его было тепло, празднично; онъ, вывозя салазки изъ хлѣвушка на снѣжокъ, похлестывалъ ихъ по бокамъ тонкимъ концемъ длинной бичевки, приюваривая:—«А ну-ну, трогайся живо»!.. и тѣмъ тѣшилъ крестнаго, которому, видимо, припоминалось его далекое невозвратное дѣтство, когда и его сгорбленный дѣдъ тоже баловалъ новыми санками. И крестный, и крестникъ смѣялись искренно, отъ души... Имъ обоимъ было хорошо, тепло, хотя на дворѣ и морозило...

Сколько эти салазки, эта зима принесли радости Ванѣ!..

По цѣлымъ днямъ каталъ онъ съ крутой горы прямо къ пруду, закованному льдомъ. Сколько было разговоровъ объ этихъ салазкахъ на улицѣ у ребятъ, которые возились съ уродливыми ледянками, старыми надтреснутыми лыжами.

— Поди-ка у Вахурки Сурика какія ростисныя салазки, лучше поповичей... настоящія, городскія!..

— Смотри, отецъ изъ самой Москвы прислалъ...

— Нѣтъ-тъ!.. онъ сказывалъ: крестный, вишь, смас-терилъ...

— Враки, идѣ Никѣву до такихъ дойти.. Тутъ ну-

женъ инструментъ,—топоромъ-то тянь-лянь не выйдетъ карапъ—все пешное полно... Вотъ что скажи!..

— Долото, вишь, у него имъется... и пила есть...

— Ну, ужъ и долото, и пилу выискалъ... прыткій!..

Ребята обсуждали съ разныхъ сторонъ эту новинку.

Самъ Сеня сталъ чаще и чаще ускользать изъ горенки къ пріятелю. Они съ Ваней въ перемежку рыскали на новыхъ салазкахъ... Иззябнутъ, дрожатъ, не соинутся пальцы; а, знай себѣ, катаютъ съ шумной горы... Сколько разъ взволнованный дьячекъ встряхивалъ сына за вихры!.. Сколько разъ ворчалъ:—«Ужъ этотъ Иванъ Никъевъ, и баловникъ же... совсѣмъ совратилъ съ пути ребятъ... Старый младенецъ,—право, старый младенецъ!.. Погоди вотъ,—прижму хвосты обоимъ... изловлю и Вахурку,—надеру красные-то вихры... выискались товарищи... Что уставилъ буркалы-то,—пойми: онъ одинъ въ семьѣ; а у меня, вишь ты, васъ что дубья въ лѣсу... ему жить мужикомъ и помирать мужикомъ; а тебѣ, садовая голова, въ люди выходить надо»!.. Но всѣ эти ворчанья, всѣ эти родительскія потасовки пролетали мимо ушей, были ни къ чему... Какъ только отецъ отлучался изъ горенки, «садовая голова» часословъ и указку въ сторону—хмыль на улицу и тамъ, на снѣжной горѣ, идѣ все забыто... Свистятъ полозья, несутся вихремъ бойкія салазки вкривъ, вкось, прямо,—только порошитъ въ глаза мелкая, мокрая пыль, обгоняя бѣлымъ снѣжнымъ облакомъ довольнаго сѣдока... Пылаютъ щеки,—духъ занимается... Гдѣ тутъ усидѣть малому въ тѣсной, душной горенкѣ!.. И, много спустя, за тридцать уже лѣтъ своей жизни, сидя въ зимнее время въ низенькой каморкѣ, на одной изъ окраинъ суетливой Москвы, когда-то маленькій Ваня—уже поэтъ Иванъ Захаровичъ Суриковъ—съ

удовольствіемъ, съ душевной усладою воспоминаетъ это
счастливое дѣтство, это лучшее свое время,—и въ про-
стыхъ звучныхъ стихахъ картинно передаетъ:

Вотъ моя деревня;	Весь ты перезабнешь,
Вотъ мой домъ родной;	Руки не согнешь,
Вотъ качусь я въ санкахъ	И домой тихонько,
По горѣ крутой;	Нехотя бредешь.
Вотъ свернулись санки,	Ветхую шубенку
И я на бокъ—хлопъ!	Скинешь съ плечъ долой;
Кубаремъ качуся	Заберешься на печь
Подъ гору, въ суробъ.	Къ бабушкѣ съдой.
И друзья-мальчишки,	И сидишь, ни слова...
Стоя надо мной,	Тихо все кружомъ;
Весело хохочутъ	Только слышишь,—воетъ
Надъ моей бѣдой.	Вьюга за окномъ.
Все лице и руки	И начну у бабки
Залѣпилъ мнѣ снѣгъ...	Сказки я просить;
Мнѣ въ суробъ—горе,	И начнетъ мнѣ бабка
А ребятамъ смѣхъ!	Сказку говорить.
Но межъ тѣмъ ужъ стало	Слушаю я сказку,—
Солнышко давно;	Сердце такъ и мретъ;
Поднялася вьюга,	А въ трубѣ сердито
На небѣ темно.	Вѣтеръ злой поетъ.

И какія сказки говорила ему по зимамъ старая бабка!..
Въ разныхъ мѣстахъ на Руси онѣ сказываются разны, по
своему.. Много ихъ переходитъ изъ устъ въ уста по русскимъ
сламъ и деревнямъ въ разныхъ варіантахъ, съ разной окра-
ской въ каждой мѣстности... Въ то время наши народныя
крѣстьянскія сказки мало собирались, мало записывались,—

народники и собиратели сороковыхъ лѣтъ только еще нарождались; чуть-чуть, робко выступали...

Неугомонный сверчекъ пилитъ за печкой; усаые тараканы—черные, желтые, шуриа, будто переиештыва-
ясь, снуютъ то тутъ, то тамъ по темной матицѣ, по
потолку, перебираясь партіями одни на стѣны, другіе
къ печи.. Стучитъ прялка, прыгаетъ ириво веретенце
въ рукахъ Ѳеклы Григорьевны, поируженной молчаливо въ
безконечныя думы... Тихо въ избѣ; а на печи лѣтся плавно,
какъ ручей, сказка старушки; Ваня, опериши локоткомъ
на синій шуай, смотритъ прямо въ глаза разскащицы,
не сминетъ...—...«Далеко это было... далеко... въ нашей,
а можетъ и не нашей землѣ, только, сказываютъ, въ
той землѣ вѣки свои велъ большой народъ—тягущей,
христіанскій... святыхъ почиталъ, вѣру соблюдалъ, сре-
ды-пятницы, а при недостаткахъ и всѣ недѣли, мяс-
наго не вкушалъ... Этотъ самый народъ при царѣ жилъ
строгомъ, сильномъ... Въ тѣ-то. давнія времена въ одной
деревнѣ народился мальченокъ слабенькій, хиренькій, въ
чемъ только духъ держался,—но Господь, видно, его
блужъ... Мальченокъ сталъ на ноги, окрѣпъ; всѣмъ онъ
взялъ—и лицомъ красенъ, и умомъ прытокъ, а ростомъ,
вишь, не великъ... Года быгутъ за годами,—всѣ одно-
лѣтки въ настоящій ростъ вошли, а онъ все отъ земли
и на ариши не поднимется... Всѣ сверстники и за бо-
роны, и за сохи взялись, а нашъ чернявый богатырь все
тѣломъ немощенъ, малъ.. За умъ-разомъ вся деревня
его чититъ, а помощи родителямъ отъ него ни-ни, ни
съ маковую росинку. И сталъ онъ, голубъ мой, въ ту
пору у родителей просить благословенія на путь-дорогу
дальнюю...—«Батюшка, матушка милые, кровные отпу-
стите меня малаго искать себя счастія въ иныхъ мѣ-

стахъ!..» Родители въ путь-дорогу сію отпустили, мѣд-нымъ крестомъ, хлѣбомъ-солью надѣлили...“

„Помолился онъ на храмъ Божій, поклонился земно дому родительскому, уронилъ слезу горючую, — и побрелъ куда глаза глядятъ... И всѣ въ одно слово на деревнѣ сказали: «плутявый!..» — ни въ мать, ни въ отца, ни въ свой родъ-племя вышелъ... Идетъ плутявый лугомъ, съ травками рѣчь ведетъ: — «какъ вы, травушки, жизнь свою, въкъ свой коротаете?..» И шепчутъ ему травушки дол-ныя: — «ростемъ, ростемъ, косы ждемъ, — наряднетъ она со стономъ - эхомъ, — прощай наша жизнь, прощай краса!.. Стонутъ надъ нами косари, стонемъ и мы сто-номъ зеленымъ»... Идетъ плутявый полемъ-логомъ — зо-лотится, колышется рожь-пшеница зернистая... — «Хлѣ-ба-хлѣба, силушка человѣчая, какъ вы жизнь ведете?..» — «Зорькой, солнышкомъ любимся, росой умываемся, — чѣмъ ли не живѣе, — отъ птичекъ намъ пѣсня, отъ всѣхъ привѣтъ; а пройдетъ красно лѣтечко, — и рѣжутъ насъ, и мнутъ — бьютъ, и въ пыль изотрутъ... Живемъ мы работничкамъ на труды-тяготы, — бѣлымъ, пухлымъ рученькамъ на сладость, на радость!..» Идетъ плутявый песками сыпучими, горами высокими, камни рѣжутъ но-женки, идетъ — не знаетъ устали, несетъ страды великія... Вотъ синѣетъ предъ нимъ не то что рѣка большая, глу-бокая, не то океанъ — море широкое... стонъ по бережку, кромъишный стонъ человѣческій; тянутъ суда за судами бурлаченъки, тянутъ, ойкаютъ, — всѣ запутаны»...

Старушка замолкла... Ваня ждетъ; проходитъ мину-та — дружая; глубокое молчаніе... Ваня просительно окли-каетъ бабушку Дарью.

— Бабушка, что же дальше-то?.. сказывай, что плу-тявый видѣлъ еще...

— Много, дитячко, много видѣлъ... Сказка эта долгая... Вишь, онъ счастья-радости искалъ, а разъ скоро ихъ найдеши... не всякому онъ въ руку даются... Птицу малую и то вонъ несразу словишь,—а это, шутка ли, не птица...

— Нашелъ онъ ихъ, бабушка?

— А-а?!.. зъвая, говоритъ бабка... Кого ихъ?..

— Да счастье, радость-то?

— Нашелъ... Посмъ это, въ концѣ...

Не сти; сказывай, идъ нашелъ...

— Въ царствіи небесномъ...

— А въ горахъ былъ?

— Былъ...

— Тамъ не нашелъ?

— Не нашелъ...

— До царя доходилъ?

— Доходилъ...

— Пустили его къ царю-то?

— Пустили; какъ же не пустить предъ свѣтлыя очи по правому дѣлу?! ..

— Ну-у!..

— Принялъ раба своего разумнаго царь-батюшка, самъ вышелъ, допросилъ, выслушалъ слово вѣрное, идъ и какъ народъ его живетъ, и отъ чего горе-нужду терпитъ; волю связаннымъ обѣщалъ... Счастье, говоритъ, прибудетъ, пусть мои вѣрные сыны малость сидятъ-переждутъ... Вотъ съ невѣрными народами управлюсь, басурмана смирю и по своей землѣ все на счастье, на радость налажу ..

— А-а... я, бабушка!..

— Ну, что ты...

— У царя бы заплакалъ...

— Зачѣмъ тамъ плакать, — нельзя...

— Просить бы сталъ слезно приказъ дать: не бить поповичей... а то вонъ скоро и Сенюшку бить будутъ... Отецъ-то его говоритъ: всю шкуру спустятъ; а какъ онъ безъ шкуры-то живъ будетъ?!...

— Да зачѣмъ плакать-то, глупенькій; всѣхъ бьютъ, — не однихъ поповичей, — разъ есть небитые?!..

— А плутявый-то вонъ просилъ царя...

— Такъ онъ счастья, дурашка, просилъ, вольной волюшки... достатковъ, — и не плакалъ...

— Да я больно слезливъ, бабушка...

— Голубъ ты робкій, идъ тебѣ до друиыхъ, самого то-и знай забираютъ, отъ двчатъ отбиться не можешь...

— Ну-ну; лучше сказывай дальше, бабушка... сказывай!..

— Что сказывать-то?!.. вдругорядъ... Сонъ клонитъ старую... вишь, и тетка укладывается...

— А мама сидитъ...

— Мама молодая... Спи; назябся на улицѣ и спи съ Боюмъ...

Стихла старушка, затихъ и Ваня, думаетъ — не спится ему... Пропѣли первые пѣтухи; Ваня все возится съ боку на бокъ по теплomu войлоку... Ночная темнота уже борится съ бѣловатыми волнами предутренняго просвѣта; а звѣзды все еще ярко мигаютъ въ морозномъ воздухѣ. На печи послышался тихій стонъ бабушки Дарьи, а за нимъ пронесся печальный возгласъ по всей избѣ: «плутявый, плутявый, возьми меня съ собой!...» Это бредитъ Ваня въ просонѣ... И опять все тихо, — только бользненно верещитъ сверчекъ, да глухо шушукуются по стѣнамъ тараканы...

Холодное утро не удержало Ваню въ избѣ; онъ, по

обычаю, выбѣжалъ на улицу, повидаль пріятелей, сообщилъ имъ новую сказку, которая не давала ему покоя...

Прошли крѣпкіе Авонасьевскіе морозы; зашумѣла по улицѣ Новоселова голосистая веселая Масляница,—смѣхъ, пѣсни, шумныя катанья оглашали цѣлые дни оттеплевшій воздухъ и далеко разливались по снѣговымъ суробамъ; ребячья игра галѣла галчинымъ гамомъ, напоминающая вечерній шабашъ, когда эти крикливыя птицы слетаются на ночлегъ; ребята видѣли, что снѣгъ рыхлѣетъ и скоро совсѣмъ изчахнетъ, — и прощай — прощай зимній радости, — уже скоро придетъ и Алексѣй Божій человекъ, а съ нимъ и за нимъ побѣдутъ съ горъ болтливыя ручьи и пѣнистые потоки,—уйдутъ на долій покой бойкія салазки, строптивыя лыжи, совсѣмъ умрутъ до новой зимы вертлявыя ледянки, — хотѣлось вдоволь накататься, и теперь только поздняя ночь заюняла ихъ въ копотныя избы. На горъ шли толки, какъ будутъ провожать соломенную масляницу, всѣ ждали этого торжества... Въ субботу прибыла къ Суриковымъ на блины кума, говорливая мельничиха, навезла съ собой маслянистыхъ приженцовъ, сердцевидныхъ розончиковъ, съ сладкимъ изюмомъ внутри, разсыпчатыхъ лепшекъ, пухлыхъ булочекъ, городскихъ пряниковъ, ореховъ—волоцкихъ, грецкихъ и любимыхъ рожковъ,—все это въ десяткахъ узелковъ, узелочковъ. Сани съ подрѣзами, со свистомъ и громомъ бубенцевъ, подкатали къ воротамъ; пара сытыхъ, взмыленныхъ коней, съ лентами въ косматыхъ гривахъ, пофыркивая, въѣхала во дворъ; ростисная высокая дуга съ пѣвучимъ колокольчикомъ никакъ не подходила подъ старый сарай съ опущенной соломенной крышей. Дорогую гостью встрѣтили на крыльцѣ и бабушка Дарья, и Ѳекла Григорьевна, и тетка Аксинья Ѳедоровна...

— Здравствуйте, милые, здравствуйте!.. Нате-ка юстинчиковъ...

— И-и, кума, зачѣмъ это?.. говорила Оекла Григорьевна, качая головой и цѣлуясь съ прибывшей.

— Нельзя, сударка... какъ же съ пустыми руками... такъ не полагается... Да идѣ у васъ Ваничка-то, сизый юлубъ,—здоровъ-ли?

— Здоровъ, благодаренье Богу; козыремъ летаетъ... Не сходитъ съ горы,—тамъ, почитай, и днюютъ, и ночуютъ теперь ребята!.. заявила бабушка...—Сходи, Аксинья, покличь ея!.. обратилась она къ снохѣ.

И Аксинья Оедоровна, накинувъ наскоро на плечи шубейку, бѣгомъ бросилась къ спуску горы, издали выкликая:

— Ва-ня я!.. Ва-ню-ю-ша!..

— Что-о, те-тя?!.. отозвался голосокъ съ горы.

— Подъ ско-рѣй!.. Марья Ивановна пріѣхала, пожела-ла тебя видѣть!..

— Сей-часъ, те-тя, — только разочекъ скачусь!.. былъ отвѣтъ, и Ваня затерялся въ толпѣ ребятъ; а тетка Аксинья опять повернула къ дому; ей то-и-знай преграждали дорогу сани, развальни съ нарядными бабами, дѣвицами...

— Ну, Сенюшка, бери салазки; а я на минутку сбѣю въ избу, повидаюсь съ мельничихой,—и живо сюды... Смотри, бичевочку-то не оборви,—вишь, она размякла!.. сказалъ Ваня, вползая съ салазками на гору и передавая ихъ изъ рукъ въ руки пріятелю...

— Зна-ю-ю!.. пресерьезно отвѣтилъ тотъ.

Ваня въ припрыжку поскакалъ домой и, прошмыгнувъ черезъ дорожку, почти подъ мордой какой-то пьюй лоша-денки, пронесшейся бойко съ легкими развальнями, откуда мелькали красные, пестрые бабы платки; женскій звон-

кій голосъ, то высоко уходя, то разомъ падая внизъ, тянулъ и тремилъ: «Снѣ-ги бѣ-лы-е сы-пу-чі-е не снѣ-жи-те ме-ня мо-ло-ду!.. Вих-ри буй-ны-е за-лет-ны-е не кру-жи-те дѣ-ви-цу... Нѣтъ у ней на-де-жи-ба-тюш-ки; нѣтъ за-сту-пы дру-ж-ка ми-ла-го»,—таяла и звенѣла пѣсня на улицѣ; ее вдругъ заглушилъ грубый голосъ въ догонку Вань:

— Эхъ, чтобъ тебя, шальной... Безголовый что ль,—такъ и лѣзетъ подѣ-лошадь... Чуть было не придавили... Лови,—держи; догоню, вихры натреплю!..

Но Ваня юркнулъ уже въ калитку; на снѣгу видны были только слѣды его новыхъ праздничныхъ сапогъ.

— А-а, Ваничка милый, здравствуй!.. На-ка юстинчику, отвѣдай нашего печенья!.. цѣлуя запыхавшагося мальчика, передала ему узелокъ разфранченная мельничиха... Посиди минутку съ нами, я погляжу на тебя; что къ намъ давно не бывалъ, а у насъ новыя птички и какъ трещатъ цѣлые дни ..

— Бабушка не ѣдетъ; а одного не пускаютъ, и бо-язно,—неблизко до тебя...

— А ты бы къ бабушкѣ-то подластился, попросилъ хорошенечко и поюстилъ у насъ денекъ-другой... и Аня моя объ тебѣ соскучилась,—говоритъ: привези Ваничку, онъ сказки хорошо рассказываетъ... забылъ ты ее, видно; а она тебя помнитъ?...

— Нѣтъ, не забылъ; и Фидельку помню, какъ она орѣхи грызетъ, на заднихъ лапкахъ ходитъ, передней лапой умывается,—смѣхи-и!.. словно махонькій ребенокъ... Сказки я Нютъ припасъ новые, хорошіе сказки... Вишь, бабка не везетъ...

— Что ты, Ваня, наладилъ: не везетъ, не везетъ,—вишь, бабушкѣ не до того; а ты бы спросилъ Марью

Ивановну, что къ намъ Аннушка-то съ ней не прибыла.. Это выйдетъ ладнѣе!.. поправляла Ѳекла Григорьевна сына.

— Что ты Нюту не привезла и Фидельку?... Я бы Нютъ салазки показалъ... первые салазки въ деревнѣ,—самъ крестный сладилъ... и сказку бы ей сказалъ..

— Ужъ безъ сказки какъ же... нельзя... Кто о чемъ, а нашъ Филатъ все на свой ладъ... Любитель сказокъ!.. Что ни вечеръ новую ему подавай, бабка!.. съ мягкой улыбочкой пополнила старушка.

— Нюта съ отцемъ осталась хозяйничать, и Фиделька при нихъ,—нельзя встѣмъ изъ дому-то отлучаться по нынѣшнимъ днямъ... Праздники, гулянки,—народу рабочаю у насъ много,—доглядокъ не будетъ, какъ разъ что и набѣдятъ... А ты, Ваничка, розончикъ-то скушай... съ изюмцемъ... и приженецъ хорошъ,—положи въ ротъ—растаетъ... сама манность!.. Любимые твои рожечки, орѣшки погрызи...

— Баловница ты, Марья Ивановна, погляжу,—закормишь!.. весело улыбаясь, говорила довольная вниманіемъ ко внуку Дарья Васильевна...

— А ты, Ваня, и себя не обдѣли, и насъ угости!.. поправляя блѣдной рукой золотистые волосы сына и охорашивая его, тихо сказала Ѳекла Григорьевна.

— Я, мама, и Сенюшкѣ дамъ рожечковъ, печенья, и Гришѣ, и Дашѣ, и... и Никиткѣ!..

— Какъ же, извѣстно, со встѣми подѣлись пріятелями-то, касатикъ... Все себѣ одному собить, хуже звѣря быть,—и птица съ птицей дружка съ дружкой зерномъ дѣлятся. На міру жить,—встѣмъ помогой быть,—это по-Божьи... Ты посиди малость въ избѣ, устѣеши еще улизнуть на улицу...

— Вотъ, лошади немного вздохнутъ,—покатаемся по

деревнѣ и въ полѣ, послѣ сытныхъ блиновъ... Ты не уходи надолго, Ваничка!.. обратилась опять къ мальчику добродушная мельничиха...

— И съ бубенцами, съ колокольчикомъ? тетя Маша.

— Какъ же, нынче маслица,—ужь гуляютъ, такъ гуляютъ со звонами!..

— Я духомъ оборочу, только салазки свезу во дворъ, Сенюшка теперь на нихъ катаетъ...

— То-то, не проворонь,—безъ тебя укатимъ!.. смѣялась въ смѣхъ ему Марья Ивановна.

Ваня одѣлалъ юстинцами на горѣ всѣхъ пріятелей, сообщилъ имъ съ торжествомъ, что сейчасъ мельничиха будетъ катать его по деревнѣ и до самой церкви съ бубенчиками, съ колокольчикомъ лихо...

— И ты, Сенюшка, поѣдемъ съ нами... Дружекъ, нельзя безъ тебя!.. заглядывая участливо въ глаза пріятелю, обратился Ваня.

Сенюшка только размашисто отъ удовольствія, вмѣсто слова благодарности, ударилъ друга по плечу, и они тихо пошли отъ горы, сцепившись рука съ рукой, подеривая за веревочку мокрая салазки, которыя вили и туда, и сюда сзади.

Всѣ въ домъ Суриковыхъ нагулялись блинами, лакомствами—и мельничиха съ Ѳеклой Григорьевной, Аксиньей Ѳедоровной, Ваней и Сеней выпхали «со звонами» на катанье; многіе ребята, намаявшись на горѣ, бродили вдоль улицы, глядя на катающихся; теперь они въ драку цѣплялись позади саней мельничихи, покрытыхъ цвѣтнымъ ковромъ,—последнее-то, кажется, особенно ихъ и привлекало къ себѣ; самые маленькіе, сцепившись одной рукой въ задокъ, съ пріятной улыбкой поглаживали и теребили другой рукою свѣсившійся

конецъ ковра, видимо, испытывая оттого не описанное удовольствіе; съ нѣкоторыхъ падали шапченки,—ребятишки ловко прыгали въ сторону, встряхивали бѣловолосыми головами и, наскоро, на-бѣгу, схвативъ потерянную шапку, опять съ крикомъ летѣли за сѣнями; на ихъ мѣста, какъ стаи черныхъ, сѣрыхъ пролетныхъ птицъ, опускались на задокъ другіе удалыцы, тоже продѣлывая надъ ковромъ, съ веселымъ смѣхомъ, показывая рядъ бѣлыхъ зубовъ, которымъ позавидовала бы любая красавица роскошной юстинной... Сани катили ровной рысцей дальше; насѣдавшіе ребята отъ суетни постоянно кого-либо сталкивали; полетѣвшій кубаремъ не хныкалъ, привскакивалъ какъ мячъ, опять мчался вдогонку; а сзади саней уже качалась новая мелюзга. Ваню все это смѣшило до слезъ; Сеня былъ серьезенъ,—онъ, казалось, чувствовалъ себя важнымъ баринкомъ, развалившись небрежно, смотрѣлъ больше на небо, покрытое цѣлымъ стадомъ бараниковыхъ облаковъ, тихо плывшихъ рядами другъ за другомъ,—онъ на окружающее близкое не обращалъ вниманія и, насупясь, какъ философъ, размышлялъ о чемъ-то отдаленномъ...

Ваня неразъ обращался къ мельничихѣ:

— Кабы всѣхъ, тетя Марья, посадить въ сани—любо!.. Смѣху-то, смѣху!..

— Большой надо, милый, сани да и свезутъ ли лошади!.. смѣясь отзывалась мельничиха.

— Свезутъ; наши ребята не тяжелы, хоть и прытки, смѣются у насъ на улицѣ...

— Прытки-то, что и говорить, прытки и не пухъ, поди... Ты что, Сенюшка, смолкъ!.. обратилась она къ мальчику, напустившему на себя серьезность.

— Облачка считаю, тетенька...

-- Много ли насчиталъ?..

— Не кончилъ...

-- Мудреный,—весь въ отца!..

Всѣ разхохотались и невольно окинули быстрымъ взглядомъ облачное небо...

Катались домо, даже изжелтоблѣдное лице *Θеклы* Григорьевны покрылось яркимъ румянцемъ; полная мельничиха совсѣмъ раскраснѣлась; Ваня сталъ крайне подвиженъ,—онъ то подсаживался къ матери, то къ *Марьѣ Ивановнѣ*...

-- Мама, какъ лице у тебя разгорѣлось, отъ вѣтру что ль?.. шепталъ онъ матери на ухо.

— Помолодѣла, сынокъ,—отъ цулянокъ да пріятностей кто не помолодѣетъ!..

Возвратились опять въ избу, идѣ на столъ, накрытомъ бѣлой скатертью, шипѣлъ и клокоталъ самоварчикъ. Бабушка *Дарья* осторожно возилась съ росписными чашками...

— Ну, матушка, ты ужъ сама распорядись тепленькимъ,—мы къ этому непривычны. Вотъ еще когда *Захаръ* бываетъ изъ Москвы, такъ чай да сахара заводимъ!.. молвила старушка, прилашая гостью къ самовару.

Мельничиха успѣлась въ передній уголъ, заварила чай; всѣ размѣстились кругомъ нея потеплить себя чайкомъ; ребята вертѣлись тутъ же, пощелкивая молчаливо орѣшки... Бесѣда послѣ одной-другой чашки чая оживилась; *Дарья Васильевна* сообщила, что сынокъ пишетъ изъ Москвы:

— Открылъ, вишь, свою овощную лавку, заторговалъ хорошо и *Θеклушу* съ Ваней думаетъ взять туды...

Однѣ, видно, мы тутъ останемся съ Аксиньей домою править...

— Дай-то Богъ, дай-то Богъ!.. хоть намъ и жалостно будетъ съ Григорьевной разстаться да что дѣлать...

— Какъ все сладится, Богъ знаетъ...

Ваня, услышавъ эту новость и не дожидаясь сладкаго рожка, вдругъ въ слезы...

— Что ты, что ты, лупенькій?!.. Принялась ласково уговаривать бабушка...

— Какъ я безъ тебя-то буду и съ Сенюшкой разлучать...

— Съ матерью, съ отцемъ будешь, а Сенюшку-то и такъ скоро въ городъ свезутъ въ ученье...

— ... И лужковъ нѣтъ въ Москвѣ-то, и бьютъ тамъ...

У Вани подѣ влияніемъ рассказовъ семинаристовъ ставилось, кажется, единственное представленіе о городѣ:—«тамъ бьютъ»,—и дальнѣе его безпокойная фантазія строила: «чѣмъ больше городъ, тѣмъ больше бьютъ; Москва, по словамъ тяти, самый большой городъ,—стало быть, бьютъ тамъ чаще и сильнѣе другихъ городовъ»!...

— Кто тебя будетъ бить-то, разъ мать дастъ кому въ обиду... да и то сказать: «когда это Улита еще ѣдетъ да прѣдетъ»; а ты не видалъ никакого страху — и въ слезы!..

Ваня понурился и, сдерживая нервное всхлипываніе, теръ кулакомъ то глаза, то пылавшіе щеки. Всѣ сразу какъ-то замолкли; невольно набѣжали тѣни на души сидѣвшихъ...

На другой день Дарья Васильевна, чтобы развлечь внука, на маленькихъ санкахъ покатила съ нимъ на мельницу къ Марѣ Ивановнѣ; тамъ Ваня прѣусердно занялся сказками, пересказывая одну за другой Аннѣ, —

дѣвочкѣ на годъ старше его, очень бойкой и подвижной. Аня сообщила ему много новаго о проказахъ Фидельки, ученнаго щегла, который какъ только выпустятъ его изъ клѣтки, тутъ же налетаетъ на дремлющую идѣ-нибудь въ углу кота и такъ тормозитъ бѣднаго, что онъ мѣчится какъ угорѣлый, а щеголъ вспорхнетъ и трещитъ себѣ, точно смѣется... Ваня слушалъ, слушалъ эту живую болтовню,—и, вдругъ тихо сказалъ, оглядываясь по сторонамъ, какъ бы опасаясь, чтобы не подслушали его:

— Проща-й, Аня; скоро совсѣмъ не увидимся.

— Что такъ?..

— Да, бабушка сказывала, въ Москву ѣдемъ.

— Зачѣмъ?..

— Не знаю; а ѣдемъ.

— Ну, мы съ мамой ѣздитъ къ вамъ прѣдемъ...

— Это недалеко, не рукой подать, какъ мельница.

— Можетъ, и мы будемъ жить въ Москвѣ...

Дѣти замолчали и имъ больше не говорилось...

Вообще съ этого дня Ваня сдѣлался крайне грустнымъ, даже проводы масляницы, — высокой соломенной чучелы, поставленной на сани, украшенной пестрыми тряпками, которую возили почти до сумерекъ по улицѣ, въ масляничное воскресенье, на малорослой лошадекѣ, увѣшенной тоже всевозможнымъ тряпьемъ, съ цвѣтными лентами въ гривѣ, — не развлекли его вниманія; онъ ходилъ за крикливой толпой, слушалъ и не слышалъ причитанія, приговоры: — «масляница, масляница, веселая, раздольная, не гнѣвись, не сердись, что тебя хоронимъ, тебя поминъ творимъ; выпей да блинкомъ закуси; свернись да на годокъ засни»!.. И мало ли чего не приговаривалъ, не причиталъ веселый народъ, провожая соломен-

ную масляницу со штофами, полуштофами зеленого вина, домашнимъ сытовымъ медомъ и хмѣльной брагой. Какой-нибудь проказникъ подносилъ стаканчикъ за стаканчикомъ къ головъ чучелы и, тутъ же, шутиливо остря:— «не желаешь,—мы за тебя откупаемъ»!.. — живо самъ вытывалъ этотъ стаканчикъ вина, или браги, отъ котораго еще большіе нападали на него говорливость и своеобразное остроуміе... Толпа двигалась съ шумомъ, гамомъ; манинально двигался за ней и Ваня; онъ былъ разспянь,—у него въ голову, въ какихъ-то несвязныхъ обрывкахъ, клочками выплывали виды Москвы, какъ онъ слышалъ о ней по отрывочнымъ рассказамъ отца и бабушки: то поднимается колокольня Ивана Великаго и растетъ—растетъ до самаго голубаго неба, упираясь въ снѣговую облачную гору,—то звоны звенятъ сотни, тысячи колоколовъ, скачетъ, движется толпами народъ, говоритъ громко, крикливо; а не слышно ни одного человѣческаго звука... Ваня затыкаетъ уши, ему ясно чуждятся эти звоны, олушаютъ, подавляютъ его; ему кажется, что въ этой широкой Москвѣ, раскинутой, какъ спящее большаго паука, онъ пропадаетъ, теряется, какъ муха, залетѣвшая нечаянно въ липкія паутинныя тѣнѣта, — этотъ страшный паукъ, многотысячный народъ, высасываетъ его свѣжую, молодую кровь, иссушаетъ мозгъ, холодитъ горячее сердце и, испепеливши всѣ силы, бросаетъ преждевременно изможденный сухой остовъ въ темную сырость, яму... Ваня дрожитъ какъ въ лихорадкѣ,—съ нимъ дурно, онъ падаетъ на мягкій снѣгъ у горы и бредитъ...

Цѣлую ночь провозились надъ Ваней мать, бабушка,—то спрыскивали его водицей съ уголька, то поили тепленькой богородкой травкой,—Ваня былъ въ жару. Оекла

Григорьевна затосковала, отстала отъ хлѣба,—пуливыя мысли тревожили ее поминутно; бабушка бродила по избѣ, по двору, какъ потерянная,—поглядитъ на Ванюшку тоскливо, посидитъ возлѣ него и, молча, ходитъ не слышными шагами; опять поидетъ, погладитъ внука по горячей головѣ, отвернется, скрывая набѣжавшія, непрошенныя слезы...

— Не крушись, Оеклуша,—милостивъ Господь,—отведетъ бѣду!.. успокоиваетъ старушка растерянную Оеклу Григорьевну, не глядя ей прямо въ глаза, пряча отъ нея скорбный вздохъ, тяжелую слезу...

Такъ тянулось это недѣли три; наконецъ горячка оставила мальчика, — тогда всѣ въ семьѣ Суриковыхъ ожили. Ваня исхудалъ; но, полулежа, полусидя, уже рассказывалъ то матери, то бабкѣ, — какъ было ему хорошо, сладко на душѣ въ это время, какія чудныя видѣнія слетили къ нему, какъ приходили сама Божія Матерь и Никола Милостивый...

— Онъ, бабушка, съденькій старичекъ, лысенкій,—ликъ добрый и рѣчь тихая, такъ за-сердце и беретъ... Ходи, говоритъ, по землѣ,—это онъ мнѣ-то, сказалъ,—и узнай скорби; я тебя не оставляю...

— Вишь, и не оставилъ, нашъ Милостивецъ, — оживилъ на радость всей семьѣ!.. ласково заключила краткій рассказъ внука Дарья Васильевна.

Прошелъ великій постъ; Ваня въ красные пасхальные дни вылянулъ на улицу, былъ въ церкви; Сенюшка радъ, что другъ его на ногахъ,—и они катали яйца у мірскаго амбара почти ежедневно. Захаръ Андреановичъ въ этотъ прїѣздъ по цѣлымъ днямъ толковалъ съ домашними, что съ осени Оеклъ Григорьевнъ и Ваня надобно перѣхатъ въ Москву,—дѣло пошло у него «слава

Богу,—жить можно»!.. Дарья Васильевна «неперечила»,—они во всемъ говорились съ сыномъ. Ваня, казалось, успокоился, помирился съ мыслию, что придется оставить Новоселово и сживаться съ блококаменной Москвой, идъ, тятя говоритъ: «чего-чего только нтъ въ лавкѣ... А какія сайки тамъ,—нигдѣ нтъ такихъ сакъ,—бѣлыя, высокія,—что за вкусъ,—языкъ проглотишь!.. Чаи будутъ пить безперечь»?!..

Теперь Ваню стали занимать больше и больше окрестности родного Новоселова,—можетъ быть, долго онъ не увидитъ ихъ,—а, кто знаетъ, пожалуй и никогда; особенно подманивала его и Сенюшку голубая водная полоса Воли, которая больно уже соблазнительно играла на солнцѣ извилистой лентой изъ-за мелкаго перельска, въ безоблачной дали, когда они, подому стоя съ пріятелемъ на высокой макушкѣ своей горы, не могли оторвать глазъ отъ этого пункта.

— А что, братъ, махнемъ-ка мы туда, Ваня, какъ-нибудь съ утра... Оглядимъ все доподлинно, — налюбуемся вдоволь... Любо!.. торжественно рѣшилъ Сеня, размахнувъ энергично рукою.

— Махнемъ!..

— Когда же?!..

— Вотъ какъ тятя уѣдетъ въ Москву...

— А скоро это?..

— Скоро; ужъ собирается; послѣ родительской...

— Ладно... Смотри, никому не сказывай, а то не пустятъ...

— Извѣстно... Молчекъ!..

— Молчекъ; то-то, не проболтайся!..

— Нѣтъ!..

Въ среду на Ожиной недѣль уѣхалъ обратно въ Мо-

скву Захаръ Андреановичъ; ребята день за днемъ сговаривались «махнуть» на Волю, — путь былъ не близокъ. Ровно черезъ недѣлю, чуть только забрежжила зорька, Ваня и Сеня сошлись у знакомаго вяза на рѣчкѣ; оба захватили по краюшкѣ чернаго хлѣба, «солъцы» — и только. Молча перевалили они первую горку, молча любовались со второй, третьей горки на привлекательную голубую ленту многоводной русской рѣки. Раздольная ширь, сладкій весенній воздухъ, пестрота цвѣтовъ, пробудившійся лѣсъ, мягкіе лучи восходящаго солнца, тающая тѣсня въ безбрежной выси воздушнаго жаворонка — все охватило ихъ разомъ, все манило ихъ дальши и дальши, — они, какъ легкія серны, перескакивали ручьи, собирали камешки въ оврагъ — и только къ полудню добрались до дальняго заповѣднаго лѣса. Тутъ путешественники почувствовали голодъ, утомленіе и даже сонливость, скорѣй сошли отъ сосенъ и елей, съ колеиной дороги, на первую попадающуюся полянку, устлись подъ бѣлой березкой. Ваня, опустившись подъ кудрявую зелень, еле переводя дыханіе, заговорилъ первый:

— А далеко еще до Воли-то, Сенюшка... дойдемъ ли?!

— Дойдемъ, ежели вышли; али притомился? .

— Притомился малость.

— Ну, попишь да полежи... Цвѣтовъ-то, цвѣтовъ сколько, — духъ какой, зелень... и птица трещитъ, — рай!.. Отдохнемъ — и дальши, — ноги-то свои, не нанимать статъ!..

— Такъ-то такъ, да какъ не оборотимъ къ вечеру ко дворамъ, мама голову потеряетъ и бабушка затоскуетъ...

— А ты пишь, — это впереди...

— И то пьмъ...

Молчаніе; тишь; не шелохнетъ ни одинъ листъ, ни одна травка; каждый цвѣтокъ повернулъ свою яркую головку къ ласковому солнышку,—не дрогнетъ... Слышно медленное похрустываніе жесткаго хлѣба подъ молчаливой березой... Ваня скоро свернулся подъ гостепріимнымъ деревомъ и, не дожидаясь куска хлѣба, задремалъ растомленный весеннимъ воздухомъ; тутъ же, около него, повалился и Сеня. Ребята проспали долю; шерохъ разбудилъ ихъ; протерли глаза; предъ ними стояла старуха-страница съ котомкою за плечами, вся въ черномъ одѣянніи, съ крючковой палкою въ рукѣ...

— Ребятишки, скажите: тутъ лежитъ дорога въ Новоселово?..

— Тутъ; эта самая, бабушка!.. отозвался Сеня.

— Далече до деревни-то?..

— Рукой подать...

— Ну, вздохну малость; добреду стало къ вечеру.

И старушка опустила подъ дерево, снимая неспѣшно съ плечъ котомку.

— Вы изъ Новоселова будете?.. заговорила она опять.

— Изъ него самая, бабушка.

— Вотъ, касатики, по пути и подведете меня, старую...

— Мы, бабушка, нитуды!..

— Куда же, свѣты?..

— На Волю!.. твердо отвѣтилъ Сеня.

Ваня все время молчалъ, пристально вглядывался въ морщинистое лице старухи, въ ея плетеную котомку, въ порыжѣлый платокъ, въ темныя землистыя руки, съ рѣзко надувшимися синими жилами.

— Что вы, милые, Господь съ вами,—тревожно возразила странница,—разъ это близко, идѣ туды дойти!..

— Съ горки Вола видна, словно на ладонкѣ...

— Вода, касатки, обманчива, ино десятки верстъ идешь, а съ горюхъ она кажетъ—вотъ, вотъ рукой махнуть... Волю-то откудова видно, потому рѣка большущая, первая... встѣмъ рѣкамъ рѣка... Далече она, далече,—ребячьимъ ноженкамъ не донести васъ до нея въ одинъ день...

Ваня взялъ робко на Сеню; тотъ примолкъ. Страница вынула изъ котомки ломоть хлѣба и, перекрестившись, принялась жевать его медленно.

— Ты куда идешь, бабушка?.. теперь осмѣлился спросить Ваня.

— Къ царевичу Димитрію въ Уличъ, родной... Про Уличъ слышалъ?..

— Слыхалъ малость...

— Ну, вотъ къ святымъ мощамъ... Цѣленія онъ творитъ разныя, убіенный младенецъ!..

— Впервой туда?!..

— Впервой; а слышалась мною,—въ народъ сдвна большая молва идетъ объ немъ... Ишь ты, былъ одно время царь Борисъ въ нашей крещеной землѣ,—не прямой онъ, сказываютъ, царской крови былъ,—улестительной души и извелъ послѣднюю прямую корень царскаго древа—младенца Димитрія подсыломъ михихъ людей-убийцевъ, а боярщины того времени, чтобы ходъ дѣлу своему дать и на Москвѣ царемъ стѣсть, закрѣпостилъ темный пахарскій народъ. Стѣлъ; своего достигъ, только недоло насидѣлъ, мало времени сладость власти вкусилъ,—пошли по землѣ смуты. Борисъ въ одночасье отошелъ; червь на него при отходѣ напалъ и поѣдомъ поѣлъ тѣло бѣлое... Застонала русская земля намного лѣтъ въ смутахъ да мятежахъ... Народъ потерялъ Юрьевъ день, заплакалъ плачемъ великимъ и плачетъ до сегодня по волѣ волѣ-

ной; а царевичъ, батюшка, убіенный, лежитъ нетленно въ градъ своемъ и Господа молитъ за народъ православный, чтобы послалъ Небесный Владыка царя мягкосердаго снять путы юрькія, что Борисъ наложилъ на неповинныхъ людей... Такой сказъ, милые, отъ стариковъ идетъ изъ вѣка въ вѣкъ.. И ходятъ темные люди къ царевичу въ Уличъ облегченія искать отъ тоски крестьянской и Онъ, убіенный неповинно, посылаетъ утolenіе въ терпѣніи нести тяготу лютую... Вотъ и меня поспѣсило насланіе на старости,—господа у насъ крутые, не смилостивились—внучку, вишь ты, мою унами къ друтому володѣтелю, барынь того господина прилянула дѣвка для хоромъ; а у нашего-то псарня большая,—полюбилась какая-то ихняя борзая,—ну, и промѣняли борзую на дѣвку... Плакалась я, плакалась, молила,—подступу нѣтъ, рычитъ, ноженьками топочетъ, ялосъ, что труба, звучитъ:—«на конюшню, карга старая,—запорю и духъ вонъ!..» Помутилась яловушка,—нѣту управы на нихъ и у Господа!.. Иду это по улочкѣ, свѣту не вижу, словно слѣпая, слѣду не найду къ избенкѣ своей; а Пахомъ,—старикъ такой у насъ есть старенькій крѣпко,—и окликаетъ:—«Ты, что, убитая,—иди-ка со своимъ юремъ въ Уличъ къ царевичу убіенному; а то совсѣмъ изведешься,—тамъ утolenіе найдешь!..» Какъ только въ умъ-атъ это далъ, такъ ровно пелена съ глазъ спала... Вотъ и иду...

Глубокій вздохъ вылетѣлъ на свѣжую полянку; заслѣзились старушечьи глаза, затряслась дряхлая голова; Ваня сидѣлъ блѣдный; Сеня кусалъ синія губы... Гдѣ-то вдали трещала птичка,—она какъ будто старалась развеселить, разогнать тоску-печаль и старыхъ, и малыхъ своей вольной пѣсенкой...

Низко опустилось солнце, когда ребята входили въ Новоселово со странницей. Ваня привелъ ее въ свою избу; онъ забылъ и о Волю.

Такъ и не удалось ему въ дѣтствѣ побывать на Волю, поклониться родной, великой рѣкѣ. Попалъ онъ на ея раздолье, и проѣхалъ по ея широкимъ водамъ за два, за три года до смерти, идъ наслаждался, вырвавшись изъ душинаго юрода, какъ маленькій ребенокъ. Тамъ неразъ вспоминалось ему далекое, невозвратное дѣтство, когда впитывалъ онъ въ себя невидимо, незамѣтно мягкость и нѣжность въ семьѣ, скорбь и тоску сель и деревень русскихъ на улицѣ, внѣ дома,—онъ въ живыхъ людяхъ переходили тогда горы и доли, переплывали большія и малыя рѣки. Потомъ, много позже, онъ воспылъ эту терпимую, выносливую скорбь-тоску въ грустныхъ стихахъ, полныхъ жизни и правды, которые лились изъ души его, какъ тихія слезы...

Осенью не состоялся переездъ Ѳеклы Григорьевны и Вани въ Москву; они двинулись туда въ слѣдующемъ 1849 году по веснѣ, когда Ваня пошелъ уже девятый годъ. Мальчику тяжело было разставаться съ Новоселовымъ—этимъ скромнымъ, тихимъ инъздышникомъ, идъ вкусилъ онъ первыя радости, первыя скоро проходящія дѣтскія печали. Нѣсколько разъ Ваня прощался съ Сеней и друими пріятелями улицы, съ церковной оградой, идъ часто шривалъ, съ прудомъ, съ капризно лепечущей рѣченкой, со старымъ вязомъ, трепетавшимъ новыми весенними листьями, для него старыми друзьями,—онъ и тогда зналъ: къ чему грустить о падающихъ желтыхъ листьяхъ въ сырую непогожую осень, со свѣтлой весною они явятся зеленѣе, роскошнѣе и смѣло могутъ сказать прохожему, проѣзжему человеку:

«Не грусти, что листья
«Съ дерева валятся,—
«Будущей весною
«Вновь они родятся»...

И теперь въ яркіе весенніе дни, разставаясь съ дорогимъ вязомъ, видѣлъ—«дерево роскошно вновь ужъ зеленѣетъ»; а прощаясь совѣтъ окружающимъ, идъ милы ему были —

«Лѣса, луга, сіяющая высь»,—
ему хотѣлось громко крикнуть всему близкому:
«Не покидай!.. Постой!.. Остановись»!..

Горячія слезы душили его; дѣтское сердце смутно чувствовало, что неразъ придется сказать ему въ горькіе дни:

«Гдѣ мое дорогое былое?».

и внутри что-то ныло,— онъ припадалъ къ землѣ и обильно кропилъ слезами молодую зелень...

Покинувъ деревню, покойный И. З. Суриковъ навсегда простился со свѣжимъ, теплымъ дѣтствомъ, осталось оно вмѣстѣ съ липовыми лапотками въ Новоселовъ,— дальнѣйшее Московское дѣтство удушливо, необильно радостями, связано горницей, опылено городской мостовой, постоянно сжато синей чуйкою, смазнымъ сапогомъ, часто плачетъ отъ властной отцовской руки. И вспоминалъ грустный поэтъ свое Новоселовское дѣтство только въ лучшемъ настроеніи, какое минутами улыбалось ему, больше за городомъ. Помню это было раза два-три въ 1877 году, лѣтомъ, когда мы вдвоемъ урывались въ Сокольники,—тамъ, среди душистыхъ могучихъ сосенъ, возлежали въ лугомъ мыслить, въ сторонѣ отъ людей и шума, предаваясь полной безмятежности. Разъ тоже было это въ лѣсу въ Троицъ-Сергіевой Лаврѣ,

насколько припоминаю теперь, куда мы ѣздили весною въ 1875 году на цѣлый день, идѣ Ив. Зах. былъ особенно оживленъ и разговорчивъ. Вообще, мнѣ приходилось замѣчать, при такихъ путешествіяхъ, какъ только входилъ онъ въ лѣсъ, паркъ, если было съ нимъ малое общество искреннихъ друзей, не встрѣчалось никого постороннихъ,—онъ тянулъ встѣхъ поскорѣе возлечь подъ дерево, въ густую траву, и тамъ бывалъ не узнаваемъ: шутилъ, смѣялся... Лѣсная зелень, видимо, имѣла на него чарующее вліяніе; потому что въ тотъ же день и тотъ же Ив. Зах., какъ только попадалъ въ городъ, хохмился, затихалъ, уходилъ въ себя, какъ будто старался весь спрятаться въ свою синюю или коричневую длиннополку, съ которой не разставался, находясь въ своей лавкѣ со старымъ желѣзомъ и угольемъ,—откуда изрядка урывался на эти прогулки. Сюртукъ нѣмецкаго покроя большей частію надѣвалъ онъ въ праздничные дни, въ немногія визитаціи не въ свою среду, идѣ, ему казалось, мало знали его или онъ не хотѣлъ стѣснять никого изъ случайно встрѣтившихся своей характерной длиннополкою.

II

„Въ сердцахъ всколыхнулись
„Молодые грезы.

„И растутъ, какъ волны
„Рвутся, воли просятъ,—
„Сердце молодое
„Далеко уносятъ“.

И. Суриковъ.

Родное Новоселово осталось далеко, позади... Глазъ Вани утомился отъ зеленыхъ полей, крутыхъ горъ, ширивыхъ рѣкъ и рѣчекъ. Не спѣша, тянутъ они неблизкій путь по направленію къ Москвѣ. Тихо катитъ, еле постукиваетъ высокая телега, крытая пологомъ. Ваня нерѣдко закрываетъ глаза, мечтаетъ, грезитъ наяву и о Новоселовскомъ прошломъ, и о Московскомъ будущемъ. Странные образы, грустныя, сладкія ощущенія съ каждымъ десяткомъ верстъ vyplываютъ въ душу его, — то ему жалко Новоселова—хочется плакать,—то, помимо воли, тянетъ что-то въ неизвѣстную Москву, подмываетъ поскорѣе оглядѣть тамъ всю улочки-закоулки, храмы, палаты, дворцы, все,—о чемъ въ дорогѣ много говоритъ отецъ,—и онъ весело улыбается...

Ваня шепчетъ матери:

— Мамынька, Москва-то, поди, длинная-длинная,—такъ отъ нашей избы вплоть до Воли будетъ...

- Будетъ; на то она и Москва...
- Я и не пройду ее, ноженьки подкосятся...
- Зачѣмъ и проходить-то тебя, по какимъ-такимъ дѣламъ... Сиди себѣ въ иоренкѣ,—по улицѣ нельзя пойти въ Москву-то...
- Разъ тамъ мальчишекъ-то нѣтъ?..
- Какъ нѣтъ, идѣ большаки, тамъ и малыши...
- Какъ же имъ безъ улицы-то быть...
- Въ иоренкахъ сидятъ...
- Изведутся...
- Прокуратъ ты, тоже скажешь,—живутъ себѣ: калачи жуютъ, пряникомъ закусываютъ...
- Пря-ни-комъ...
- На то городъ; кому вольно живетъся, денешки есть,—и балуйся рожкомъ, орѣхомъ, городской утѣхой...
- Стало, мама, тамъ богатѣи...
- Богатѣе въездѣ, касатикъ, мало,—городской чело-вѣкъ не богатъ да тароватъ...
- И мы, мама, теперь городскіе,—самоваръ безперерывъ будемъ пить...
- Ну, что будетъ, Господь знаетъ, милый!.. со вздохомъ заключила Еккла Григорьевна и замолкла, отвернувшись въ сторону, — у нея, отъ неизвѣстной жизни впереди, подступали слезы.

Замолкъ и Ваня, опять смежилъ глаза; ему мерещится: «большой-большой домъ, каменный; длинная вывѣска—«Овощная лавка», какъ картина; въ лавкѣ у нихъ чего-чего нѣтъ: и чай, и сахаръ, и свѣчи, мука тамъ, всякая всячина, — глазъ разбѣгается; народъ снуютъ то-и-знай въ лавку, дверью хлопаетъ, глухо звенитъ мѣдная чивна за чивной, звонче прыгаетъ изъ рукъ серебро... Ваня робко выглядываетъ черезъ дверь

ное стеклышко въ лавку, сосетъ пряникъ,—теперь вѣдь онъ городской, не черный же хлѣбъ ему жевать, какъ бывало на улицѣ,—сосетъ и доглядываетъ: кто вошелъ, зачѣмъ... Ему нужно все знать, все досмотрѣть; а то, что же онъ будетъ потомъ за помощникъ, какая правая рука отцу, какъ часто говоритъ тятя... По Москвѣ идутъ звоны, онъ ихъ не слышитъ, къ чему они, ни до нихъ... Замѣтила его у двери мать, зоветъ,—онъ не подаетъ голоса,—она подходитъ, беретъ за руку...—«Ты что тутъ, проказникъ?»—Доглядываю... «Ужъ и доглядчикъ пряничный.»—Тятя опослѣ буду помогать,—пряникъ не помѣха, потому теперь я городской; а въ городѣ всѣ пряники жуютъ... Вонъ, гляди, старушка-то, что стоитъ за друими, сзади, изюмъ все твѣдаетъ, за шепоткой чаю пришла,—все роетъ; тятя не видитъ...—«Охъ, ты, хозяинъ, нашъ примѣтливый!..» цѣлуетъ его мать, отводитъ отъ двери, балуетъ тепленькимъ чайкомъ съ сахарцемъ, съ обварными крендельками... Съ этой сладкой фрезой Ваня засыпаетъ въ кибиткѣ; снится ему только пріятное...

Хороши дѣтскія фрезы,—пускай онъ обманчивы!.. Хорошо, если есть чѣмъ и обмануться. Узкоколейная жизнь съ мелочами, дразнами не обманчива; она сурова, скупа на радости; нерѣдко, и для самыхъ страстныхъ на обманы,—нѣтъ у нея мягкихъ облачныхъ дымокъ, подъ радужной волною которыхъ легче дышется, мягче, крѣпче спится... Съ годами жизнь и во снѣ не любитъ играть въ обманы, и какъ бы не молилъ ее иной: «обмани меня хоть во снѣ!..» Нѣтъ-таки, нѣтъ, навѣвастъ на него и сны-то крутыя, тяжелые...

—Ванюшка, Ваня, проснись, родной!.. кормежка!.. Вотъ рѣчка быстрая, съ крутыми бережками, лужокъ,

деревце кудрявое; а какіе цвѣты-то, цвѣты!.. говоритъ надъ ею ухомъ Ѳекла Григорьевна.

Остановились на открытомъ мѣстѣ покормиться, отдохнуть отъ тряской дороги; распрягли лошадей; закусываютъ, чѣмъ Богъ послалъ; бродятъ усталые кони, пощипывая сочную траву; Ваня съ кускомъ хлѣба бѣгаетъ по берегу, любитъся, какъ плещется рѣчка, о чемъ-то весело лепечетъ, какъ мечется безпокойная рыба, чего только она ищетъ—воли, или неволи... Хорошо кружомъ; мысли бѣгутъ и уносятъ далеко...

Бѣдутъ дальшіе; чаще попадаются села, деревни, — стѣрыя ошипанныя избенки совсѣмъ ушли въ землю, или схи-лились набокъ, рѣдко идѣ мелькнетъ изба поновѣе, топорщась растрепанной соломой къ верху, куры и тѣ бродятъ по улицѣ какъ-то понуро, ребятишки, если и вы-глянутъ изъ воротъ, посматриваютъ молча, не бѣгутъ за протѣжами, не слышно веселаго крика; мужиковъ, бабъ мало видно; а если и встрѣтятся, идутъ съ «опаской», будто боясь обезпокоить больнаго, или потревожить спящаго; а можетъ, и сами всѣ поголовно больны. Такъ раздумывая, поглядываетъ въ недоумѣніи Ваня...

— Мамынька, что здѣсь все не такъ, какъ въ Новоселовѣ—избы, люди, словно помяты...

— Тутъ барицина, свѣтикъ—она не краситъ; а въ Новоселовѣ-то, за графами, на оброкъ сидятъ и управа не та...

— А-а!..

Около барскихъ домовъ — тишь, будто все вымерло; люди двигаются, какъ мухи опалившія крылья, безъ шапокъ, закоулочкомъ,—пройдутъ, оглядываются, не замѣтилъ ли кто ихъ смѣлости съ бѣлаго балкончика въ цвѣ-тахъ и зелени,—будетъ потомъ нагоняй!.. Прежде не видѣлъ

Ваня настоящихъ-то «холопыхъ» сель. Новоселово на особомъ положеніи. Вотъ въ этихъ мѣстахъ и поражаетъ дѣтскій глазъ — и нужда перекатная, и страхъ не страхъ, — нѣтъ, что-то хуже страха, общая глубоко всосавшаяся въ кровь и плоть придавленность, приниженіе, безотчетная робость: «живъ человѣкъ, или мертвъ!..» не тѣнь ли его только бродитъ по свѣту, потому «душа»-то она господская — и воленъ господинъ заложить, продать, пустить, или не пустить ее на тотъ свѣтъ Господень, идъ она ужъ, вѣрно, будетъ вольной; а можетъ, и тамъ еще должна состоять при господинѣ... Кто ее знаетъ; какъ же и идъ же ей быть безъ господина, — развѣ это полагается на какомъ-нибудь свѣтѣ... Все тутъ пропитано — воздухъ, жилище, пища, заплатная сѣрмяга, — жизнь и смерть, поле и лѣсъ, лугъ и рѣка, юра и долъ — словомъ «господинъ»...

Вонъ, по дорогѣ, встрѣчаются и господа съ мушкетерами, съ длинномордыми, толстомордыми собаками, улюлюкаютъ, палятъ, охотой тѣшатся по птицѣ, — все ихъ; но и все отъ нихъ бѣжитъ, летитъ, прячется...

Сколько картинъ развернула эта поѣздка предъ впечатлительнымъ Ваней; сколько мыслей далеко не дѣтскихъ прошло въ душу его, оставивъ невидимые, но неизгладимые слѣды на всю жизнь!.. Ребенокъ всасываетъ въ себя изъ немногаго многое и претворяетъ въ свою плоть и кровь полнѣе взрослою, ибо онъ живетъ сердцемъ, имъ рѣшаетъ, имъ судитъ правыхъ и виновныхъ, близкихъ и чужихъ, — держитъ въ себѣ молча, затѣмъ вноситъ въ личную жизнь, въ личные отношенія къ людямъ, къ природѣ, ко всему духовному, нервному строю. Подите, потомъ разрѣшите: какъ изъ жесткой среды вышла мягкая, нѣжная, на все отзывчивая

натура, свѣтлая, какъ кристалъ; а изъ лощеной, дархатной обстановки съ милыми, пріятными звуками, нѣгой и довольствомъ—черствая, мелкая душа, холодная, тяжелая... Быть можетъ, съ мольки идутъ темныя или свѣтлыя полосы—и, такъ дальше: никто не подмѣтилъ, какъ повліяла одна какая-нибудь сцена, пришлая мимолетная человѣческая фигура, стонъ, теплый, сердечный звукъ,—а они, вотъ, именно и дали окраску всему человѣку, и пустили его гулять по бѣлу свѣту: «живи, моль, и казись, ходи какъ кара небесная—или, вноси тепло, улыбку, куда ни заглянешь!..» Мудрена эта психія, нелегко въ ней разобратъся знатоку и незнатоку человѣческой жизни!..

Вотъ и Москва,—нестьѣтъ, висится, горитъ золотомъ на солнцѣ... Сколько церквей-то, церквей,—не сосчеешь; а дома-то, дома—въ иномъ умѣстится все Новоселово и съ сосѣдними деревнями.. Совсѣмъ растерялся глазъ, подавлена душа у Вани; притихъ,—онъ и не онъ... Бдутъ,—все Москва, Москва...

— Есть ли ей конецъ, тятя!..

— Есть...

— Ой ли, смотри, нѣтъ конца!..

Подъѣзжаютъ къ Спасской заставѣ, повернули въ Сорокосвятскій переулокъ; вотъ церковь Сорокасвятителей, вонъ сіяетъ крестами и богатый Ново-Спасскій монастырь; ѣдутъ дальше, издали видны зеленая полянка, бусракъ, живая лента Москвы рѣки; мелькаетъ зданіе за зданіемъ; вонъ каменный домъ съ вывѣскою, внизу его и овощная лавка Захара Адреаныча; фабричный, ремесленный народъ снуетъ взадъ и впередъ; рябитъ въ непривычныхъ глазахъ Вани.

— Т-пру!.. сдерживаетъ коней Захаръ Адреанычъ.

— Слава Богу, добрались до мѣста! говоритъ Ѳекла Григорьевна.

Ваня ничего не слышитъ; смотритъ кружкомъ; разсылся.

— Ну, важный господинъ, вылезай, — мы дома; али присидѣлся, изъ кибитки не хочется выползти!.. смѣется отецъ.

Ваня, какъ разслабленный, спускается на кочковатую панель; боится идти въ юрницу, держится за мать; а она помогаетъ подручному Захара Андреяновича выбирать добро изъ телеги, — подручный поздравляетъ съ благополучнымъ прибытіемъ хозяина... Все незнакомо мальчику, — онъ не знаетъ куда сунуть себя.

Первые дни. по прїѣздѣ, лавочка своимъ разнообразнымъ товаромъ заняла сельскаго птенца, — дѣйствительно, чего тутъ не было, начиная съ фосфорныхъ спичекъ, которыя для деревни рѣдкость, оканчивая гармониками, чаями и сахарами — все, что хочешь есть — и все гляди-разглядывай; но руками не касайся, не во время не подвертывайся, иначе трепка. На улицу нельзя, — можешь съѣхать на часокъ на зеленую полянку, погонять бойкій кубарь, поглазть издали на Дубровки — стѣренькую деревеньку, чернѣвшую вродѣ весенней проталины — и скорѣе домой; въ соблазнительные огороды — ни-ни, не заглядывай, — надерутъ вихры огородники, пожалуются отцу — будетъ баня; къ рѣкѣ не шмыгай, не спустятъ, не заступится и мать... дворъ не великъ, да и что одному тамъ дѣлать... На этомъ дворѣ домо и вертѣться нельзя... Тамъ, въ широкомъ, темномъ сараѣ, выдѣлываются сафьяны, кожи; — у хозяина дома кожевенное заведеніе, — тяжелый запахъ невольно гонитъ дальше, иное время не продохнешь, подвернешься подъ руку мрачному рабочему — онъ тебѣ ни-за-что ни-про-что, «такъ,

говоритъ, любя, добро пожалуешь», — «колупнетъ изъ головы масло», — свѣта не взвидишь... И сиди въ юренькѣ, уходи въ себя... Нѣтъ простора ребенку, — сжата его жизнь, сжата его мысль... Такъ тянулись два безцвѣтныхъ года, которые нечѣмъ было вспомнить взрослому И. З., — былъ сытъ, одѣтъ, высыпался вволю; временами трепали подъ горячую руку, по положенію: «безъ того не растетъ дитя», — и только... Безъ товарищества нѣтъ дѣтства, или оно будетъ темно, печально, захирѣетъ, завянетъ, какъ цвѣтокъ безъ воздуха, свѣта, воды. Дѣти вообще, если не находятъ вблизи себя сверстниковъ, сходятся со взрослыми, которые ближе подходятъ къ нимъ по душѣ, по натурѣ, которые крайне отзывчивы ко всему дѣтскому. Во дворѣ, идѣ была овощная лавка Суриковыхъ, идѣ сновали большую часть времени грязные полуоборванные фабричные, въ праздничные дни, послѣ тяжелой работы, нерѣдко полупьяные, съ развеселой тѣсней, гармоникою, жилъ добрый старикъ Пименъ Миронычъ, тверякъ, прямо съ берега Воли, — человекъ бывалый... Чѣмъ жилъ Пименъ Миронычъ — Ваня не зналъ; но жилъ себѣ одинъ-одинешекъ, какъ перстъ одинъ. Иногда онъ по цѣлымъ днямъ пропадалъ и возвращался поздно; иногда цѣлые дни сидѣлъ дома за какой-то большой книгой стараго письма въ темномъ кожаномъ переплетѣ, — сосредоточенный, глубоко погруженный въ писанія съ цвѣтными начальными буквами. Вотъ и все, что зналъ Ваня изъ внѣшней жизни этого почтеннаго съдовласаго старца, съ широкимъ, яснымъ челомъ, обнаженнымъ почти до темени... Пименъ Миронычъ былъ старикъ мякой души, полюбилъ его одинокій Ваня, бѣгалъ къ нему урывками; слушалъ съ большимъ интересомъ его рассказы изъ прошлаго, бывалаго, разныя примѣты о погодѣ, повѣрья, на-

родныя остроты, погудки. Пименъ любилъ поговорить съ Ваней, какъ со взрослымъ, при хорошемъ настроеніи. Старикъ и мальчикъ привязались другъ къ другу; но эту привязанность выражали своеобразно, молчкомъ, тихо. Ваня заляжетъ въ окошко; старикъ дома, махнетъ рукой, оба улыбнутся—и встрѣтились. Посидятъ; старикъ за свою книгу, или приляжетъ на жесткій диванъ, на подобіе простой деревенской лавки,—Ваня скроется. Дома бранятъ, пытаются, идъ пропадалъ,—Ваня отмолчится!..

Съ Москвой Ваня Суриковъ знакомился постепенно,—сначала узналъ два-три трактира около Спасской заставы, куда «тятя» ходилъ распивать чай. Пришелъ въ лавку «нужный человекъ»,—илютъ Ваню за отцемъ.

— Сбѣгай, Ваня, погляди отца въ ближнемъ трактиръ, а не то пробѣги въ дальній,—можетъ, онъ тамъ разстегаетъ пѣтъ...

Названіе «разстеган» сначала смущало его. — «Что такая за штука?» онъ не пѣдалъ еще этого, хотѣлось отвѣдать,—вѣрно, славная пѣда, ежели за этимъ только и ходитъ «тятя» въ дальній трактиръ!.. И вотъ лѣтитъ прямо туда, чтобы «тятю» найти, посмотреть, и, можетъ быть, тутъ-же отвѣдать кусочекъ соблазнительнаго разстегайчика... Вбѣгаетъ по лѣстницѣ; изъ дверей валитъ толпа широкоплечихъ огородниковъ, сбиваетъ налетѣвшаго мальчика съ ногъ, онъ только постукиваетъ головою, считая ступеньки съ верхней до нижней. Крѣпко ушибся; но вскочилъ, взобрался въ трактиръ. Отца нѣтъ и разстегавъ не видалъ; нашелъ «тятю» въ ближнемъ трактиръ за чайниками; вызвалъ.

— Что у тебя носъ-атъ въ крови?.. спрашиваетъ отецъ.

— Ушибся въ дальнемъ трактиръ, — степенство съ лѣстницы столкнуло!.. слышится слезливый отвѣтъ.

— Зачѣмъ туда нелегкая таскала?..

— Тебя искалъ...

— А въ ближнемъ спрашивалъ?..

— Нѣтъ.

— Отчего?..

— Мама сказала: можетъ, ты въ дальнемъ разстегиваешь, хотѣлъ поглядѣть какіе-такіе разстегиваешь... отвѣдать...

— Ба-лов-никъ!.. и на ходу дернетъ его за ухо; не больно, кажется, оно, а слезы градомъ такъ и польются,— дошло потомъ Ваня, идѣ-нибудь во дворъ, неслышно плачетъ. Нелегко дается въ жизни знакомство и съ «разстегивающими»...

Предъ Троицей отецъ обронилъ слово:—«Ваню надо взять въ Кремь»... Услышалъ это мальчикъ и ждалъ съ нетерпѣніемъ, когда будетъ Троица и они отправятся въ «Кремь», идѣ разныя дива—и царь-пушка, и царь-колоколъ, ядра, что каленые орѣхи, ирудами насыпаны, и Иванъ Великій—поглядѣть шапка валится, церкви съ иробами, древнія палаты... Мною ему толковали объ этомъ; а видѣть самому еще не приходилось.

Пришла въ цвѣтахъ и зеленая Троица; густо гудятъ колокола по всей Бѣлокаменной, какъ будто одинъ съ друиимъ борятся, кто кого сильнѣе, кто заглушитъ со-сѣда мощнымъ гуломъ... По мостовой стукотня, иромъ; нарядный народъ идетъ съ цвѣтами,—мужика совсѣмъ не видно, по одеждѣ будто все «господа». И Ваню нарядили въ городское платье—кафтанчикъ суконный, сапоги чищенные, картузь со свѣтлымъ козыркомъ... «Мама» тоже нарядная, въ шерстяномъ платьѣ—получише, чѣмъ онъ видѣлъ у крестной,—идетъ плавно, не сгорби-

лась, будто и не она; а «тятя» настоящий купецъ и «при-часахъ». Вотъ онъ городъ-то, не деревнѣ чета...

Отстояли обѣдню въ Новодѣвичьемъ, идѣ все заняло Ваню: и литыя хоругви, и иконы, и самыя стѣны храма,— пошли кругомъ гробовъ. Отецъ пояснялъ, что это все прахъ прежнихъ царевенъ; Ваня переспросилъ мать, отъ которой не отходилъ ни-на-шагъ, боясь потеряться...

— Разъ цари-то помираютъ?

— Какъ же, родной, и они смертны, къ Богу идутъ отчетъ давать...

— А въ Новоселовъ, мама, ребята болтали,—цари не помираютъ...

— Много твои ребята знаютъ...

Колоколю Ивана Великаго Ваня осматривалъ, держась за новый картузъ, робко, чувствуя себя положительно мухой передъ высотой ея, никакъ не хотѣлъ отойти отъ нея,—просто приковалъ его Иванъ высокій; въ темную дыру царь-колокола домо заглядывалъ, соображалъ, дѣйствительно ли тамъ усядутся дѣнадцать солдатиковъ въ кружекъ играть въ карты по носамъ,—какъ говорилъ отецъ,—нѣтъ, поди, не усядутся, солдаты-то плечисты... О царь-пушкѣ толковалъ съ отцемъ: «ежели она теперь пальнетъ,—тѣмъ народу побьетъ»...—Побьетъ... это вѣрно побьетъ!.. подтверждалъ Захаръ Андреичъ... Ощупывая чугунныя ядра, нѣсколько разъ спрашивалъ:— «Откуда онъ, тятя?»—У француза отняты, Ваня.—У француза... изъ ихней земли привезли?..—Нѣтъ; французъ на Москву наступалъ,—прогнали его и отняли вонъ тѣ пушки поменьше и эти ядра...—«А-а; французъ-атъ стало слабѣе оказался...»—Не слабѣе, а горячѣ больно,—ну, и свернулся; страху больше началъ, русскій посдержался, отсидѣлся и проигналъ...

Обошли весь Кремль, были и у Василия Блаженного, — Ваня глазъ не отводилъ отъ его пестрой архитектуры; мрачные своды храма, тяжелыя верхи древняго подвижника привели мальчика въ трепетъ, — онъ блѣднѣлъ, былъ молчаливъ.

Захаръ Андреанычъ не приминулъ зайти въ конецъ концевъ въ трактиръ, идъ угостилъ жену и сына сочными разстегаями, которые, особенно, послѣ долой объѣдн, и домаго хожденія по Кремлю, Ваня нашелъ вкусными; потомъ заглянули въ сундучный рядъ, отвѣдали рѣдкихъ московскихъ квасовъ и поплелись домой.

Ваня очень утомился отъ обилія новыхъ впечатлѣній, отъ длиннаго пути. Захаръ Андреанычъ то-и-дѣло спрашивалъ, чтобы подбодрить сына:

- Видалъ теперь Москву-то... Хороша-а?..
- Словомъ не скажешь, какъ хороша!..
- Новоселово-то наше въ подметки ей не годится, — а?.
- Тамъ вольный; тутъ шумно...

Отецъ и мать смѣялись; отецъ больше и больше шутилъ, онъ былъ въ хорошемъ настроеніи. Дѣла по лавкѣ шли хорошо, какъ онъ любилъ говорить: «такъ бы и такъ, сякъ бы и сякъ, а ладно.» Захаръ Андреанычъ мечталъ уже откупиться отъ графовъ, приписаться къ Московскому мѣщанству и, кто знаетъ, быть можетъ, недалеко то время, выйдетъ и онъ въ купцы, будетъ дѣлами вращать, — вѣдь мало ли вышло такъ-то въ «тысячники»...

Черезъ два года Захаръ Андреанычъ распрощался со Спасской заставою и перенесъ свою торговлю изъ Сороко-святскаго переулка, дальнѣйшей окраины Москвы, на Ордынку къ Скорбящей, находя, что въ этой мѣстности дѣло его пойдетъ лучше. Тамъ, за тихой Таганкой, шелъ въ его «овощную» огородникъ, ремесленникъ, здѣсь въ сонливомъ

Замоскворѣчь, съ его старинными патріархальными нравами, онъ разсчитывалъ на купечество, т. е. на покупателя нетороватаго, но состоятельнаго, любящаго покормить себя вволю, не отказывающаго ни въ чемъ своей пухлой расплывшей «особь»... Рыба ищетъ, по пословицѣ, идѣ глубже; а человѣкъ, идѣ лучше. На этомъ основаніи и З. А. Суриковъ неразъ передвигался со своей «овощной торювлей» по Москвѣ изъ края въ край.

Ваня шелъ уже десятый годъ; отецъ сталъ поговаривать:

— Оеклуша, а Ваню-то надо будетъ грамотъ обучать,—въ городѣ безъ грамоты плохо, за темнотой-то много промежъ рукъ плыветъ... Состаримся, онъ подростетъ—раскинетъ наше дѣло въ ширь... купцемъ будетъ; а купцу какъ безъ письменности...

— Что же, польза отъ ученья прямая,—отдай. Запись поведетъ, житіе святаго намъ откроетъ въ праздничный день,—все на душѣ-то легче,—можетъ, и ты лишній разъ въ трактиръ не пойдешь... Охъ, ужъ, мнѣ эти трактиры твои,—развращеніе одно...

— Оеклуша, молчи... молчи, говорю, чего не понимаешь... деревня ты—осмыслить этого не можешь... Я о дѣлѣ, а она бабымъ своимъ языкомъ сей-часъ не туды забываетъ... Что за совѣтчица!..

— Ну, Захаръ Андреанычъ,—я такъ, къ слову, а ты въ сердце; больно мнѣ, когда деньги соришь... У насъ сынокъ,—вѣдь возрастить его надо...

— Сорю свои, не чужія; самъ наживаю, самъ и расточаю; а о сынѣ молчи,—понятіевъ не имѣешь—и молчи... Въ люди его выведу, купцемъ ужъ будетъ,—безпреречно будетъ... Ты слушай: одѣнься-ка почище да сходи начасикъ,—сказываютъ, тутъ, по сосѣдству, двѣ пожилыя дѣвицы изъ купческаго разореннаго рода, такія степенныя,

обучаютъ грамотѣ, Финоевы прозываются,—поговори съ ними, можетъ, и возмутся обучить Ваню-то; за деньгами, скажи, мы не постоимъ, рупь-два на ассигнаціи въ мѣсяцъ дадимъ, къ праздникамъ истинцы,—имъ въ сиротствѣ это поддержка...

— Хорошо, Захаръ Андреанычъ, схожу, узнаю...

Сестры Анна Финоевна и Фина Финоевна, дѣйствительно, были въ годахъ — одной, старшей, лѣтъ подъ пятьдесятъ, другой—лѣтъ подъ сорокъ. Анна Финоевна бѣлая, полная, съ ясными голубыми глазами; темные волосы ея съ чуть замѣтной простибью густой волной выбивались изъ-подъ чернаго платка; говорила она медленно, плавно. Фина Финоевна смуглая, худенькая, — сѣрые маслянистые глазки ея присматривались ко всему зорко и говорили, что владѣлицу ихъ не оставляетъ еще міръ, смущая ежедневно неизвѣданными благами, надежды юности, и въ увядшемъ тѣлѣ, не покидали ея живучей души, — нѣрѣдко ей прѣзился ласковый герой изъ Замоскворѣчья, — онъ находитъ ее, всѣми покинутую, и знакомитъ съ новой сладкой жизнью. Фина Финоевна украдкой отъ сестры все еще продолжала пересчитывать въ сотый разъ страшныя повѣсти, и во снѣ кропила мякую подушку горькими слезами. Обѣ сестры постоянно ходятъ въ черномъ, говорятъ другъ съ другомъ на «вы», тихо, таинственно. — «Не видали вы, Фина Финоевна, мои книги житія святыхъ?» — Нѣтъ, Анна Финоевна, не видала; не забыли ли вы ее подъ подушкой... или — «Вы, Фина Финоевна, замечались и носовой платокъ обронили.» — Не замечталась, Анна Финоевна, а сонъ припоминала, — райскій сонъ; тятенька съ маменькой будто являлись... Маменька вся въ цвѣтахъ, — не къ смерти ли это, Анна Финоевна! — «Ну, и къ смерти; съ кавале-

ромъ повстрѣчается!..» — Что вы, сестрица, ужъ и съ кавалеромъ!.. вся вспыхнувши, пискливо поетъ Фина Финоевна. — «Выйдете на улицу, офицера повстрѣчаете, али купца, — вотъ вамъ и кавалеръ въ руку... Цвѣты видѣть во снѣ, Фина Финоевна, это всегда кавалера встрѣтить; неужли вы этого до сего времени не знали?..» — Глупости однѣ вы говорите, Анна Финоевна... — «Вотъ и глупости; а сами и во-снѣ, и на-яву только и мечтаете какъ бы въ одинъ прекрасный день отъ сестры уйти!».. — Грѣшно вамъ, Анна Финоевна, такъ дурно о сестрѣ думать... — «Развѣ я не вижу, изъ всего вижу!».. — Богъ съ вами!.. и навернутся у ней слезы... — «Вы плачете, Фина Финоевна... я пошутила!».. Сестры примирятся и расходятся по своимъ комнатамъ.

Къ этимъ-то двумъ Финоевнамъ, или какъ ихъ звали сосѣди «Финоеяхамъ» и отдали въ ученье Ваню. Къ сестрамъ ходили учиться читать и рукодѣлю купческія дѣвочки; изъ мальчиковъ у нихъ былъ только Ваня. Замоскворѣцкихъ купческихъ дочекъ въ то «опасливое» время не учили писать, чтобы онѣ не могли заводить, какъ говорили крутые отцы ихъ, цидулочныя шуры-муры съ вольными, молодыми людьми, которыхъ вездѣ по Москвѣ прудъ-пруди. Эти «вихори» льнутъ къ дѣвицамъ, какъ мухи на потоку, — больше наровятъ насчетъ «тяженькиныхъ капиталовъ»; а дѣвицамъ строятъ изъ-за того куры... — «Дѣвки дуры, сахара имъ распустятъ, онѣ на стѣны и лѣзутъ, — имъ ничего не стоитъ прописать: желанный, молъ; а оно слово-то большое... Подъ вѣнецъ послать того вези, въ домъ малаго бери, или отсчитывай капиталы»... Оттого тугое Замоскворѣцкое купечество хотя и держалось въ образованіи дѣвицъ грамоты, рукодѣля, хозяйства, но отъ письменности отводило до-

чекъ подальше... И сами Финогеехи въ письмѣ были нескоры, хотя у кого-то, потихоньку отъ покойнаго тятеньки, урывками, и научились кое-какъ писать. Ваню они учили, отдѣльно отъ дѣвочекъ, гражданской и церковной азбукъ, письму палочекъ и буквъ по стариннымъ прописямъ. Съ нимъ большіе занималась Фина Финогеевна въ своей комнатѣ.

Послѣ попутственнаго молебна предъ ученіемъ, отслуженнаго въ церкви, отецъ и мать отвели сына къ сестрамъ. Отецъ просилъ не баловать, наставить всему, какъ слѣдуетъ, держать въ строгости, хотя онъ тихъ. Мать просила послѣ: вводить въ ученіе лаской, потому ихъ Ванюшка очень ужъ пулилъ. И отцу, и матери сестры дали слово: «постараемся... все будетъ по-родственному!».. Вырѣзана дубовая указка со многими колѣнцами, протерта маслицемъ, передана и сказано: «вотъ тебѣ, Ванюшка, посошекъ въ науку; иди съ нимъ стѣшно по книжной грамотѣ»... Куплена на Никольскомъ рынкѣ за четвертакъ толстая азбука, съ яркими картинками,— Оекла Григорьевна перекрестила сына, молча погладила по головѣ, и передала съ рукъ на руки «учителямъ»...

Ваня скоро освоился съ рѣдкой азбукой, любилъ по дому просиживать надъ ней у сестеръ въ свѣтлыхъ горенкахъ, особенно въ комнатѣ Фины Финогеевны, идѣ на окнахъ зеленѣла герань, пуцовилась фуція, а черезъ открытыя двери часто игралъ мелкими оборками легкаго полога надъ кроватью шаловливый вѣтерокъ, надувая его какъ парусъ, сытый котъ шуршалъ бумажкой въ улу, а на голубой стѣнѣ нахохлившійся чижъ робко чирикалъ что-то печальное. Фина Финогеевна вяжетъ чулокъ и—то заглянетъ въ сѣрую книжку, которую старается спрятать глубже въ кольнахъ, подъ столомъ

отъ ученика даже, то зорко поглядываетъ на дверь, а пѣвучимъ голоскомъ поправляетъ Ваню.

— Азъ, Ан-гелъ, Ан-гелъ-скій, Ваничка!... Ар-хан-гелъ Ар-хан-гелъ-скій, милый!..

— Тетенька Фина, тутъ что-то не такъ...

— Такъ-такъ, голубчикъ, я тебя говорю такъ... возьми указочкой-то выше мѣсто... оно самое и будетъ... читай!..

— Нашелъ, тетенька... Азъ ан-гелъ!.. запѣваетъ онъ, подражая голоскомъ «учительши».

Идутъ дни, мѣсяцы; Ваня Суриковъ усидчиво занимается азбукой; черезъ полгода пѣвуче читаетъ гражданскую, церковную печать, пишетъ каракулями мелко-премелко—«Ваня Сурикъ»—на всякомъ попавшемся подъ руку клочкѣ бумаги по нѣскольку разъ, не оставляя свободнаго мѣстечка,—не прочь онъ начертать свое имя и мѣломъ на стѣнкѣ въ іоренкѣ, на заборахъ; но за послѣднее отецъ крѣпко надралъ ему уши и стремленіе къ заборной извѣстности сразу пропало... Разъ, во второй годъ ученія, когда Ваня уже перешелъ подъ начало Анны Финогеевны на «житія» и «прологи», а у Фины Финогеевны только занимался письмомъ съ прописей, такъ-какъ послѣдняя въ этомъ болѣе своей сестры была горазда, онъ домо вчитывался въ житіе и подвиги Марка Фраческаго, мысли его улетали далеко и къ концу явилась разстѣянность, мальчикъ часто началъ перевирать слова; «тетенька» Анна, замѣтивъ это, послала его на вѣтерокъ освѣжиться. Взяло вышелъ онъ на крылечко, протирая глаза, утомленные отъ домаго чтенія; подъ ногами что-то зашуршало, — смотритъ, мятая бумажка и, кажется, чистая, не писанная. Пріятная находка,—два дня онъ не писалъ, — теперь почертитъ, — и клочекъ большой!.. Развертываетъ; на одной сторонѣ исписано желтыми

чернилами... Длинные, тонкія буквы по концамъ строкъ заближали одна въ другую, почеркъ тетеньки Фины... Читаетъ про себя: «Стонетъ, стонетъ сизый голубочекъ, стонетъ онъ, бѣдняжка,—цѣлый день воркуетъ все объ ней, о подружку милой... Стонетъ, стонетъ голубочекъ... и шиенички не клюетъ...»*) Смотри, обронила тетенька Фина. Онъ давно уже замѣчалъ у нея много бумажекъ... — Хорошенькій стишекъ-то... Отдать, или припрятать!.. мелкнуло тутъ же въ голову Вани. Въ первый разъ онъ встрѣчалъ стихи; сантиментальная Фина Финогеевна и предъ нимъ сдерживала свою чувствительность и прятала любимые стишки въ ящики и по карманамъ... Утаить, не годится, спущу лучше себя на отдельную бумажку; а этотъ листикъ отдамъ. Такъ рѣшилъ Ваня, такъ и сдѣлалъ. Передавая на другой день потихоньку Финѣ Финогеевнѣ ся бумажку со стишкомъ, Ваня рѣшился спросить:

— Тетенька Фина, дайте мнѣ еще какой-нибудь стишекъ пожалобнѣе...

Старая дѣва, захваченная въ располхъ, растерялась, не успѣла отказать отъ своего стишка и только, озираясь и сунувъ бумажку въ карманъ, шепотомъ сказала:

— Хорошо, хорошо, милый, дамъ стишекъ... Умникъ!.. задобривъ она мальчика, чтобъ молчалъ, поцѣловавъ въ голову.

Ваня не обратилъ вниманія на эту чувствительность тетеньки и радъ былъ, что у него будутъ стишки.

*) Это было вольное подраженіе, или малоизвѣстный вариантъ стариннаго чувствительнаго романа, который въ тридцатыхъ, сороковыхъ годахъ часто распѣвался въ городахъ—„Стонетъ сизый голубочекъ, стонетъ онъ и день, и ночь.—его миленькій дружечекъ улетѣлъ далеко прочь—и т. д.

Вскорѣ получилъ онъ отъ старой дѣвы коротенькую басенку Дмитріева. — Уйдетъ на свободу куда-нибудь подальше во дворъ и напѣваетъ въ полголоса, то «голубка», то басенку; ему казалось, что мѣрные строки стиховъ нельзя читать просто, какъ онъ читалъ азбуку, надобно пѣть, къ тому же и читать его учили обѣ сестры нараспѣвъ, говорилъ онъ въ подраженіе имъ нѣсколько пѣвуче, такъ это почти осталось у него навсегда. Когда онъ началъ самъ слагать стихи, то домо провѣрялъ мѣру ихъ пѣніемъ, пока окончательно не усвоилъ теорію русской версификаціи, не сроднился окончательно со стихотворной формой, которой владѣлъ потомъ въ совершенствѣ.

Два года ученія у сестеръ Финогеевыхъ прошли у Вани подъ двумя направленіями — Анна Финогеевна ввела его въ широкую область житій святыхъ, подвижниковъ — и онъ мечталъ даже десятилѣтнимъ мальчикомъ о «тихой матери — пустынѣ», о подвигахъ иночества, объ одиночествѣ, о глухомъ мѣстѣ, гдѣ будетъ спасаться отъ шумнаго города, гдѣ звѣри будутъ ластиться къ нему; Фина Финогеевна своими стишками натолкнула его на сладкій романтизмъ, — Ваня не мало запомнилъ отъ нея чувствительныхъ романсовъ Мерзлякова, пѣсенъ Цыганова — все это въ спискахъ хранилось у тетеньки Фины и она, зная замкнутость мальчика, стала довѣрять ему свои стишки; а Ваня напѣвалъ ихъ у себя и про себя.

— Что ты все тамъ мурлычешь, Ванюшка, какъ котъ Сибирскій? спроситъ Оекла Григорьевна сына, сидѣвшаго въ сторонѣ, который, покачиваясь мѣрно и напѣвая новый стишекъ, не замѣтитъ, бывало, подошедшую къ нему мать.

Ваня вздрогнетъ; но тутъ же отвѣтитъ съ торжествующей улыбкой.

— Стишокъ спѣваю...

— Какой такой...

— Хорошій... «По бережку молодецъ ходитъ, самъ съ кудрями разговариваетъ».

— Это пѣсня пустяшная... Я полагала, тебя спасительному чему обучаютъ дѣвицы-то; а пѣснямъ и безъ ученья наторѣешь,—подростеешь, сколько ихъ узнаеши...

— Стишки я отъ себя узнаю, мама,—не отъ нихъ...

— Зачѣмъ они тебѣ...

— Складны очень...

— Пѣсни всѣ складны; на то они и пѣсни — для пира да веселья... Ты бы вотъ мнѣ когда хорошее житіе, Ванюшка, открылъ на досугъ для утоленья души...

Ваня какъ-то разъ, выскользнувъ изъ юрени и радостно пробѣгая къ воротамъ—онъ досталъ новый стишекъ—увидалъ, что къ нимъ во дворъ, въ пустую квартиру, перебирается новый жилецъ—низенькій бритый человекъ, съ краснымъ угреватымъ лицомъ, но, видимо, добрыми голубыми глазами; узенькій запыленный винцмундирчикъ какъ-то смѣшино торчалъ на исхудаломъ тѣлѣ чиновника, — у Вани пробѣжало въ голову — «куцый», — онъ засмѣялся...

— Мальчишкѣ, ты ничѣмъ не занятъ?!. окликнулъ его господинъ въ винцмундирчикъ...

— Нѣтъ, дяденька...

— Какой я тебѣ, братецъ, дяденька... зови меня прямо Ксенофонтъ, пожалуй, по отечеству—Силычъ...

— Я отучился ужъ нынче, Ксенофонтъ Силычъ, теперь на волю...

— Ну, и ладно, ежли отучился... Помоги-ка мнѣ водвориться на жительство... Будемъ вотъ благостыни сносить въ юрницы...

Ваня принялся вмѣстѣ съ Ксенофонтомъ Силычемъ переносить его имущество изъ сваленной на крыльцѣ кучи... Онъ бѣгомъ таскалъ старое поношенное платье, обувь, засаленныя фуражки — съ кокардами, безъ кокарды лѣтнія, мятый цилиндръ, подвернувшуюся подъ руку связку книгъ одну-другую, — у третей лопнула веревочка — пятокъ книжекъ, десятокъ тетрадей, писанныхъ четко и красиво, разсыпались въ стороны; подбирая ихъ, Ваня замѣтилъ наскоро, что одна тетрадка въ стихахъ, а двѣ книжки весь полны стиховъ. У Вани задрожали руки отъ этого счастливаго открытiя, глаза засвѣтились прiятнымъ блескомъ, какъ у отчаяннаго скупца при видѣ соблазнительныхъ червонцевъ...

Эти книжки, эти красиво переписанныя тетрадки сразу служили прочнымъ звеномъ, сближавшимъ Ваню съ новымъ жильцемъ на ихъ дворѣ. Жизнь была пока милостива къ выбивающемуся крестьянскому мальчику на пути его юрjащихъ порывовъ къ свѣту, къ знанiю, къ теплому сближенiю съ людьми, — она годъ за годомъ случайно наталкивала на него подходящихъ людей. Теперь давала интереснаго Ксенофонта...

— Вотъ, Ксенофонтъ, и у мѣста!.. воскликнулъ весело коротенькiй чиновникъ, потирая руки, когда они все добро перенесли въ комнаты и немного разобрались со всякимъ хламомъ и рухлядью. Не богато, малецъ, а уютно и плаванью нашему по закоулкамъ Москвы-Золотыя маковки пока стопъ... Посидимъ въ Замоскворъчьи... Спасибо, братъ, спасибо, за помощь... А-а, засуетился я, совѣтъ изъ головы вонъ, прости, какъ тебя звать?...

— Ваня Сурикъ!..

— Полагать надо по писанному Суриковъ... Ваня Су-

риковъ — и первое, и второе хорошо, — имя всего нашего народа «терпливый Иванъ» и любимое имъ, въ сказкахъ, въ погудкахъ вездѣ Иванъ первое лицо; сурикъ краска, хоть и простая, но крайне необходимая, а это и важно, — что необходимо, тому вездѣ мѣсто и уваженіе! философствовалъ веселый чиновникъ, выбивая тактъ, высокимъ каблукомъ... — А вѣдь хорошо, Ваня, у меня въ комнаткѣ, — а-а?!... вотъ еще цвѣточковъ подпущтимъ... Пріятели общались на новоселье притащить... Чу-дес-но-о! и запахи благоуханные пойдутъ!..

— Славно у васъ, Ксенофонтъ Силычъ!.. не отводя глазъ отъ книгъ, подтвердилъ Ваня...

— Нравится тебѣ...

— Нра-вит-ся...

— Ну, и бѣгай за просто; будемъ чайкомъ баловать; я тебѣ когда на итарѣ сыраю, поюемъ, — пѣть умѣешь?...

— Ти-хо-о... а книжку можно... и стиховъ?...

— Сколько, братецъ, хочешь, — книжки ходячее добро, съ нихъ и пыль только слетаетъ, пока по рукамъ ходятъ...

Ксенофонтъ Силычъ Добротворскій, — Новгородецъ по мѣстности, поповичъ — по происхожденію, сынъ діакона подгородняго села, — не умѣстился въ схоластическихъ рамкахъ семинарской «учебы», сбѣжалъ изъ шестаго, философскаго класса, добрался въ проголодь до Москвы, долго голодалъ въ этой «обширной боярской деревнѣ», какъ онъ называлъ бѣлокаменную, желая показать, что кое-что нюхалъ по русской исторіи, по мимо сухихъ семинарскихъ тетрадокъ съ убійственной хронологіей, перечнемъ именъ и войнъ. Скитанія сію по трошевымъ урокамъ, жизненное оскуденіе ни къ чему путному не

привели... — «Ксенофонтъ не унывай!..» онъ то-и-дѣло обращался къ себѣ, — и не унывалъ, помѣстился въ концы концовъ въ Сиротскій Судъ, идѣ ежедневно сидѣлъ полдня за снотворными бумагами, перетряхая, по его выраженію, совѣстно всякую безсовѣстность опекаемыхъ сиротъ, документально, съ точностью семинарской исторической хронологіи. — «Ничего не подѣлаешь, братецъ!.. разъ ты, заблудшая овца, запутался въ рѣпяхъ,—какъ бывало читалъ мнѣ нотаціи инспекторъ Гедсонъ, шуриша, будто монастырская мышь, темными четками, — разъ ты отъ своего стада отбился, своей тропы не пробилъ,—и вышла изъ тебя безвольная воля, живая вѣтошь, схоластическій хламъ... «Неудачникъ!..» вотъ намъ имя; народъ нашъ подобнымъ «субъектамъ» далъ свое названіе — «несчастненькій!..» Въ эту длинную-предлинную шеренгу поставилъ онъ многое-множество человѣческихъ жизней—и тѣхъ, что переполняютъ рѣшетчатые остроги, веселые притоны съ разгульнымъ плясомъ, подъ который стонетъ, плачетъ заскукавшая душа, и питейныхъ завсегдатаевъ, пропойцъ, и пришибленныхъ нуждою, съ вѣчной — заячьей трусостью въ душѣ, съ противной сладкою улыбкою, согнутою спиною передъ благодѣтелями, передъ грошовой подачкою, и жалкихъ коптителей разныхъ канцелярій—совѣстныхъ и безсовѣстныхъ, ихъ же имена ты, Господи, вѣси, и искателей кисельныхъ береговъ, молочныхъ рѣкъ, счастья на землѣ или, вѣрнѣе, тамъ, идѣ насъ нѣтъ, утѣсняемыхъ и утѣсненныхъ и т. д. Все это въ глазахъ народа „скорбненькіе, несчастненькіе“, съ вытрепанной волею, неудачники. Надъ иными изъ этой скользкой, длинной лѣстницы — при словѣ «несчастненькій» народъ нашъ смѣется,—жалѣетъ, но смѣется; надъ другими плачетъ... И справед-

ливо, вполне справедливо дѣлаетъ!... Въ остроги, въ веселые притоны, въ питейные омуты, что гонитъ?! Часто неволя толкаетъ — безысходная духота, человѣческая неправда отворяютъ туда широкія двери; но вотъ, напримѣръ, въ промозглое писарство, въ «крючки приказные», какъ всѣхъ насъ величаетъ народъ, что толкаетъ, что гонитъ, — недо-мыслие-съ, — да-съ, наше личное недо-мыслие, насльдственное недомыслие отъ дѣдовъ, продѣдовъ переданное, такъ сказать, въ крови!.. Что мы такое въ исторической жизни, — паразиты, сущіе паразиты на выѣ народной!.. Я это, напримѣръ, сознаю, хорошо, ясно, какъ Божій день, сознаю и продолжаю быть симъ паразитомъ... Вотъ что подло... Воля убита, потомственно убита, въ семинарскихъ трущобахъ вытравлена съ корнемъ во всѣхъ племенахъ — и Добротворскихъ, и Баюновскихъ, и Бриліантовыхъ, и Смиренномудренскихъ, и т. д., т. д., — тысячами считай, — вытравлена, говорю, до нашего личнаго рожденія!.. Правда требуетъ высказать это и я высказываю безъ смущенія, какъ честный, хотя и помятый, византійскій дворянинъ, спартаецъ со щитомъ, или на щитѣ... Насъ бурсаковъ какъ не высмѣиваютъ, — высмѣиваютъ и византійскими дворянами... Что же — обижаться илупо, нить бесполезно, а посмѣяться и самимъ надъ собой — на души легче... Межъ насъ, византійскихъ дворянъ, среди низшей, средней и высшей умственной и нравственной пробы — неудачниками хотъ прудъ пруди... Вотъ и я отбился отъ пажитей сочныхъ, страданіями многими отбился; а что вышло, — приказная строка, самобичующая, ни къ чему не пригодная мелюзга, ся же число тьма... Страхъ предъ ужасами голодной смерти толкнулъ меня въ Сиротскій Судъ и крѣпко держитъ тамъ на протертомъ стулѣ, ибо оно сидѣніе

даетъ ежемѣсячно 24 руб. 76 съ третью копѣекъ, а впереди сладкую надежду пересѣсть на столоначальничій стулъ, какъ вымретъ мой старикъ-столоначальникъ, исправно нюхающій сорокъ лѣтъ душистый табакъ изъ одной и той же черной тавлинки, исправно подписывающій на указанномъ мѣстѣ четко «Знобишинъ», — пять лѣтъ я состою его помощникомъ, пять лѣтъ жду его смерти, — каждый день поглядываю: идетъ или неидетъ мой старикъ... Тащится, — ну, стало быть, живъ еще... Переживай, Ксенофонтъ!... Пожалуй и не его смерти жду; а передвиженіемъ себя ласкою, усиленіемъ въ окладъ на шесть руб. съ копѣйками въ мѣсяцъ... Онъ мнѣ собственно и не мѣшаетъ, сидитъ себѣ, нюхаетъ табакъ, «Полицейскими Вѣдомостями» обмахивается, или выводитъ не стѣша пусинымъ перышкомъ — «Знобишинъ», идѣ слѣдуетъ; а въ разсужденіи передвиженія, выходитъ, что и мѣшаетъ... Подло, но жизненно!» обрывалъ сразу Ксенофонтъ Силычъ и, оставляя слушателя, хватался за гитару, наигрывалъ какую-нибудь доморощенную импровизацію, въ родѣ: «Было дѣло у Софій, въ Новырадѣ, на широкой площади, идѣ шумѣло вѣче старое бывало, дѣякъ приказный остутился, остутился, повалился, — былъ онъ поднять сострадательной рукой, и подѣ номеромъ сто первымъ полицейскимъ сданъ... Судѣ судилъ-рядилъ, многу перъсвѣ изострилъ, все искалъ причину встѣхъ причинъ, — въ Новырадѣ не нашелъ, — отбыла она въ Москву, тамъ трудненько отыскать, лучше «вольтъ Божіей предать?..» Положили; дѣло сшили и въ архивъ снесли, — тамъ ты и лежи, тамъ ты и лежи!..» юлось обрывался, струны насмѣшливо басили финалъ, сатирическая импровизація смолкала... Ксенофонтъ Силычъ вскакивалъ, натянуто хохоталъ, бѣгалъ мелкими

шажками по комнатамъ, не обращая ни какого вниманія на гостя, которому предъ тѣмъ такъ горячо излагалъ свои воззрѣнія на міръ, на людей, на разныя іоречи жизни... Гость, большею частью свой братъ чиновникъ, или какой-нибудь случайный знакомый—купеческій сынокъ изъ Замоскворѣчья, средняго капитала, любитель сильныхъ ощущеній, зная хорошо хозяина, незамѣтно ускользалъ, ибо Ксенофонтъ въ такія минуты дѣлался мраченъ, придирчивъ, оскорблялъ рѣзкимъ словомъ и себя, и самую задушевную для него человека... О такихъ минутахъ, обыкновенно его знакомые говорили: —«Ну, на Ксенофонта наило, потъхали теперь Андроны, пусть пробьется по комнатамъ, пошпицуетъ себя въ волю—ничего, опять обойдется... Вотъ, и хорошій человекъ, весельчакъ, душевный; а тронуть малость!.. Поди ты, такъ-то у насъ вездѣ, — хорошій человекъ, или пьетъ горячую, или заговаривается, — все черезъ край... Краю мы не знаемъ... Изъ тотъ вонъ, гляди, на стѣны лѣзетъ... въ Москвѣ ли не сподручно, всѣмъ сподручно—и торговому человеку, и чиновнику, и барину, и нищему даже, потому подаянія мною, —душевно въ Москвѣ, исходи всѣ земли, такой душевности не найти,—а онъ на-ка вотъ!.. Зачитался, смотри!» Читалъ, дѣйствительно, Ксенофонтъ Силычъ мною, читалъ все, что попадалось подъ руку,—какой-нибудь романъ, старую книжку журнала, философскій трактатъ, путешествіе, историческое изслѣдованіе... Онъ почти ежедневно рылся въ старомъ книжномъ хламѣ на Никольскомъ рынкѣ, по праздникамъ у Сухаревки, выискивалъ тамъ что поновѣе, поинтереснѣе, бралъ у знакомаго продавца или для прочтенія, или покупалъ съ разсрочкою по мѣсяцамъ за дешевую цѣну; походная библіотечка его была самая разнохарактерная,—всею понемногу, не мало было и дребедени...

Съ этимъ-то, для всѣхъ его знакомыхъ, чужакамъ-чиновникамъ случайно свела судьба Ваню Сурикова, пылкий умъ котораго искалъ знанія, а чуткое сердце жаждало тепла и свѣта... Ваня ежедневно сталъ бѣгать къ Ксенофонту Силычу за книжками, за стишками,—онъ читалъ все, что ни давалъ ему чиновникъ. Въ это время, какъ разъ Ваня совсѣмъ отошелъ отъ сестеръ Финогеевыхъ,—Захаръ Адриановичъ нашелъ, что сынокъ поучился довольно,—славу Богу, читаетъ бойко, пишетъ «связно»... Чего еще, для ихъ дѣла за глаза достаточно, — двѣнадцать годковъ минуло, пора входить и въ настоящее дѣло. Ваня вытянулся, былъ крепокъ, хотя мягкость въ юность, въ движеніяхъ, въ лицѣ и говорили еще о дѣтствѣ, а склонность къ мечтательности, надолго, чуть не навсегда, оттаивала его отъ узкой, сухой практичности,—но послѣднюю отецъ не подмѣчалъ, на первое мало обращалъ вниманія; онъ даже не замѣчалъ, что его Ваня по цѣлымъ часамъ просиживаетъ идѣ-нибудь скрытно надъ книжкой, или вертится у Ксенофонта Силыча, на котораго Захаръ Адриановичъ смотрѣлъ какъ на веселаго балагура, забавнаго шутника, — дядя Захаръ своимъ простымъ, русскимъ складомъ ума, своей безхитростностью Ксенофонту нравился и они на свободѣ нерѣдко бесѣдовали вечерами, сидя на крыльчикѣ. Ксенофонтъ Силычъ рѣзко окая по-новгородски,—смыслилъ и смѣялся, рассказывая разныя разности. Захаръ Адриановичъ чуть замѣтно улыбался, подмигивалъ лѣвымъ глазомъ, показывая видъ:— «ты, братъ, говоришь, слышишь какъ хороше слова-то,—складно оно выходитъ, да дѣла нѣтъ, — вотъ тебѣ и цѣна двѣ красненькихъ на мѣсяцъ; а мы и не учены, изъ стѣны люда вышли, да настоящее дѣло ведемъ,—

ну, деньги къ намъ ползетъ и ѣдетъ!..» Оба они другъ друга понимали, оба были довольны,—одинъ тѣмъ, что чиновника обоиалъ достаткомъ,—другой—своей вѣрой въ мужика,—идъ этотъ самый мужикъ ни сядетъ, вездѣ онъ крѣпокъ, вездѣ чувствуетъ себя самимъ собой, его не оморочишь ни жалкимъ, ни сладкимъ, ни веселымъ словомъ,—ты ему дѣло подавай!.. Ваня смотрѣлъ на Ксенофонта Силыча какъ на авиура, на жреца мудрости,—поучался отъ него вѣдѣмъ; онъ бралъ у него даровые уроки чистотисанія, орфографіи,—такъ какъ писалъ плохо, перевиралъ слова безжалостно.

Домъ, идъ помѣщалась «Овощная» З. А. Сурикова, принадлежалъ генералу Долгову. Этотъ старый генералъ былъ уже «не у дѣлъ» и, поселившись въ Москвѣ, велъ крайне замкнутую жизнь. Выдавши единственную дочь за полковника Польнова, старикъ-вдовецъ цѣлые дни сидѣлъ на диванѣ, въ верхнихъ апартаментахъ своего дома, въ обширномъ кабинетѣ, покрытомъ густо соломой. Прочитаетъ № «Инвалида», иногда проворчитъ про себя, просматривая отдѣлы назначеній и награды:—«...скій выскочилъ въ лейтенанты,—мо-ло-ко-сосъ!.. впередъ пошелъ бойко!..»—«...овъ ужъ Андрея схватилъ... Г-мъ!..» отложитъ смутившую его газету и куритъ трубку за трубкою знаменитую по тому времени табаку Жукова. Такъ проходитъ понедельникъ, среда—любой день недѣли, того или другаго мѣсяца; числа и дни часто путаются, потому они вовсемъ очень уже похожи въ этой дремотной жизни отжившаго, лишняго человѣка въ неустанноидущемъ впередъ общественномъ механизмѣ. Жизнь этого дѣятеля прежнихъ лѣтъ не нужна; но не смыта еще безпокойнымъ теченіемъ времени, не сдана на нѣкоторый лишній десятокъ лѣтъ въ вѣчный архивъ, не от-

мѣчена на поюсть мошльнымъ камнемъ съ надписью, плитой, крестомъ,—она апатично ждетъ, въ сторонѣ отъ всего, этого послѣдняго, неизбежнаго назначенія, выхода въ тиражъ... Пусто, пустынно въ высокихъ, обширныхъ старческихъ покояхъ стараго служаки. Изрѣдка въ тихихъ, будто спящихъ комнатахъ тихо прозвучитъ, прокатится лѣнливой волной хриплый надтреснутый голосъ:— «Миш-ка труб-ку!..» Сухой, какъ мумія, вытянутый, изогнутый, какъ палка, съ маленькой головой вороньей посадки, надлинномъ остоу, съ хрящеватыми ушами, Михайло, или, по кличкѣ во дворнѣ, Потапычъ— „признаться сказать“ и «ворона на хворостинѣ», еле волоча ноги, вноситъ растерянно, будто кто оборвалъ его на полусловъ, два длинныхъ черешневыхъ чубука съ большими трубками, ставитъ ихъ съ обѣихъ сторонъ полудреmlющаго барина.

— Готово-съ!.. плаксиво заявляетъ старый лакей, подобострастно глядя въ ротъ, незамѣчавшему его старому барину.

— Что-о?!..

— Трубки готовы-съ!..

— То-то готовы... Гдѣ пропадаешь, старая крыса?!..

— При васъ...

— Шероху твоего не слышу... умирай не дозовешься...

— Зачѣмъ же-съ ваше... ваше пр-ство изволите желать смерти... Признаться сказать, назначенія этого еще рано ожидать,—жить надо, батюшка, да, признаться сказать, радоваться...

— На тебя что ли, безмозилый попуай... Вѣдь ты попуай?!..

— По-пу-ай-съ...

Генералъ громко смѣется; по глубокимъ морщинамъ стараго слуги медленно идетъ къ губамъ сладкая улыбка,

ротъ полуоткрылся, показались синѣващія десны съ чернѣющими цѣльвиними темными зубами напередѣ; жилистая рука машинально поднялась къ лицу и закрыла рабій смѣхъ при самомъ его зарожденіи отъ превосходительнаго взора.

— Ха-а, ха-ха,—такъ ты попуай?!..

— Попуай-съ!..

— Какъ такъ?..

— Исполняю приказъ, признаться сказать, вашего пр-ства...

— А безъ приказа?..

— Попуай говоритъ и намъ, рабамъ, говоритъ ответственное слово по приказу полагается-съ.. Только, признаться сказать, попуай безъ назначенія можетъ выкликать свои слова; а мы разумъ имѣемъ безъ назначенія голоса не подавать.

— Да-а, умишка у тебя хоть и ветхій, а все еще есть.. Резонеръ ты старій...

— Никакъ нѣтъ-съ, такой службы не привелъ Богъ при васъ нести...

Генералъ въ хорошемъ настроеніи; опять смѣется, не морщитъ съ превосходительныхъ глазъ раба своего.

— Староста изъ деревни явился?.. Онъ вчера еще долженъ, кажется, быть...

— Прибыль-съ...

— Пустой...

— Нѣтъ-съ; какъ можно съ пустыми руками да къ вашему пр-ству: признаться сказать, ореховъ, яблodeъ, яблоковъ и все такое-съ привезъ...

— Зови его сюда и лавочникова мальченку.. Ивана, знаешь?..

— Какъ не знать-съ его,—любопытный мальчуганъ...

— Чѣмъ же любопытный?..

— На возрастнаго больше походитъ... и книжный очень-съ...

— Г-м-м!.. Пошелъ!..

Вскорѣ, послѣ доклада старосты, является къ генералу и Ваня. Бездѣтный, скучающій старикъ очень его любитъ, шутитъ съ нимъ запросто, иногда командуетъ: — «стройсь, руки по швамъ!.. Маршъ!.. Молодцемъ!..» и отъ души смѣется надъ его мышковатостью. Ваня называетъ его дѣдушкою.

— А-а, Улицкій медвѣженокъ, явился, — тебя-то намъ и нужно... Свѣжіе орѣхи, братецъ, изъ деревни привезены и въ шелухѣ еще... Мои зубы, знаешь, которые за Дунаемъ, которые на Вислѣ, иные въ Венгріи растеряны... Да-а, были зубы Трофимъ нуженъ былъ, — нѣтъ зубовъ — Трофимъ на покой сиди, смерти жди... Садись-ка на солому, фызи за меня орѣхи...

— Дѣдушка, я нацѣлушу тебѣ орѣшковъ, ты и жуи!..

— Ладно; командиръ безъ солдата, солдатъ безъ командира... Сколько стало ихъ, Иване?..

— Можетъ, двое, а можетъ и одинъ...

— Хитрый отвѣтъ; но не прямой, — рѣшай прямые...

— Одинъ...

— Объясни...

— Ты, дѣдушка, командиръ былъ, — много подъ началомъ у тебя было солдатъ; а теперь нѣтъ ни единого... Надъ тобой тоже выше было начало, нынѣ нѣтъ его, потому сидишь ты на покой, сейчасъ при орѣхахъ, я только при тебѣ: сюды кинь, туды кинь, — все ты одинъ...

— Умно и вѣрно, братецъ, рѣшилъ, — всѣ твои орѣхи, тащи ихъ къ матери и фызите за мое здоровье съ сестренкой!..

— Благодаримъ покорно, дѣдушка ..

Ваня съ торжествомъ стаскиваетъ по частямъ свѣжіе орѣхи внизъ къ матери, ующаетъ тамъ всѣхъ. Единственная четырехлѣтняя сестра его Оля, очень смышленная дѣвочка, то и дѣло взбирается къ брату на колыни, виснетъ на его шею. Когда Ваня учился у сестеръ Финогеевыхъ, онъ нерѣдко водилъ туда за руку свою любимицу Олю; тамъ она терпѣливо ожидала брата, пока тотъ «отъучится»; а не возьметъ ее,—сидитъ, не шелохнется у двери, какъ изваяніе, поджидаетъ, когда изъ-за угла покажется съ сумкою братъ, бросится къ нему, бѣжитъ, какъ шаръ катится на встрѣчу. Недомо она жила; не было и пяти лѣтъ Оль, какъ смерть унесла ее изъ родной семьи. Горько оплакивалъ братъ сестру-любимицу, не могъ никогда забыть ее. Ея ранняя смерть, ея маленькій гробикъ позднѣе дали И. З. тѣмъ, картинность при компановкѣ стихотворенія «Тихая постелька» или «Мертвое дитя». (См. IV от. лирическихъ стихотвореній, страница 282 этой книги).

Торговое дѣло Захара Андреаныча въ Замоскворѣчьи на Ордынкѣ пошло лучше, чѣмъ у Спаса,—онъ поднималъ голову, болѣе и болѣе входилъ во вкусъ того русскаго купечества, которое, не получивъ по наслѣдству ничего, кромѣ мѣднаго родительскаго креста, личной сметкою постепенно пріобрѣтаетъ въ своей средѣ финансовый вѣсъ, начинаетъ видѣть, что предъ нимъ на далекомъ разстояніи ломаются шапки, наскоро, съ отлетомъ въ сторону, спархиваютъ фуражки, шляпы, бѣднота клонитъ голову долу. Часто у такихъ набивающихъ руку въ торговлю, болѣе характерныхъ единицъ, гоноръ растетъ черезъ мѣру и дѣлаетъ перевѣсъ не только надъ самознаніемъ, но надо всѣмъ положительно, что входитъ

въ несложный кругъ ихъ обыденной жизни. Захару Адриановичу Сурикову именно выпалъ вначалѣ этотъ ложный путь, по которому онъ какъ-то сразу и пошелъ, не колеблясь. Жена его, Ѳекла Григорьевна, была женщина тихая, скромная, нѣсколько даже робкая, выросшая и сложившаяся въ чисто народныхъ понятіяхъ: «мужъ глава, верховная власть семьи, своего рода,—это сила неограниченная; протестовать громко, рѣшительно, безповоротно противъ этой силы ни въ чемъ нельзя,—надобно подчиняться ей безропотно за страхъ и совесть». Ѳекла Григорьевна любила сына горячо, страстно; но тихо, про себя,—она готова была прятать его отъ отца, скрывать отъ нападковъ; но прямо и смѣло стоять грудью предъ грозой не могла... Сынъ подросталъ особнякомъ, какъ-то въ сторонѣ отъ прямого вліянія отца, — до переезда въ Москву онъ видѣлъ его въ годъ два-три недѣли, по переездѣ—онъ попадался на глаза отцу, какъ началъ учиться, всегда мелькомъ; если и случалось идъ-нибудь прижать Ваню, то онъ скоро ускользалъ, по системѣ матери: — «не серди отца ни чѣмъ, большіе отходи, не перечь ему,—онъ нашъ кормилецъ и воленъ во всемъ!..» Ваня такъ и смотрѣлъ.—онъ и любилъ его; но любилъ со страхомъ, какъ любилъ потомъ съ сожалѣніемъ. И то, и другое чувство подернуто тѣнью, намученное, крайне тяжелое и неестественное...

— Мать, идъ у насъ Иванъ-то, что онъ прячется, не кажется глазъ отцу; кабы намъ и не сынъ!... Для того мы его учили, чтобы шоболы билъ; отецъ убивается, деньгу силится добыть, а онъ, на-ка, отъ дѣловъ рыло воротитъ...

— Что ты, Захаръ Адриановичъ, Богъ съ тобой... Ваня все дома, все за книжкой, рази когда къ чиновнику

зайдетъ, перенимаетъ у него письменность, али къ снѣ-
ралу наверхъ, коли старикъ позоветъ...

— Это, вижу, не дѣло; книжки намъ не рука; въ
попы, въ писаря ему не итти, — наши дѣла не такія...
Чиновникъ-то самъ, поди, по суткамъ голодный си-
дитъ, лясы точитъ, завываетъ на тощіе животы, — Ва-
нюшка-то подвываетъ что-ли ему задарма... Заборы у
насъ матеріаловъ по лавкамъ больше идутъ на кресты, —
мука тамъ, крупа, всякая разность, — не тѣ нынче вре-
мена, — столь тебѣ накрестятъ, что и не выльзешь
сколь не томи нош, стоячи за прилавкомъ, никакихъ
тоисъ доходовъ не хватитъ... Ванюшка на цифири си-
дѣлъ, а записи отъ него нѣтъ... Народъ къ намъ въ лавку
ходитъ, почитай, безъ перемжки, шею отвертишь одинъ-
атъ, изъ-за него подручнаго держатъ — лишніе расходы
имѣтъ, лишній ротъ къ себѣ брать, — одному мнѣ не
разорваться...

— Такъ ты ему накажи, онъ тебѣ эту записъ и
поведетъ...

— Вотъ хвостъ-атъ и прижму, присажу, — заставляю
отца почитать!.. гаркнулъ на всю горницу не мною
грузный Захаръ Адреанычъ и, круто повернувъ, вы-
шелъ во дворъ, прошелъ на погребницу, идѣ въ это время,
лежа въ холодкѣ, Ваня читалъ, ничего не слыша, «Ивана
Выжилина...»

— Ты, что тутъ, дармождъ, прячешься?...

— Я, тятенька, ничего... Книжку читаю!.. отозвался
робко мальчикъ...

— Ты, что лежишь-то, словно барчукъ!.. и рѣзко
поднялъ его за волосы... Отецъ стоитъ передъ нимъ; а
онъ и ухомъ не ведетъ, — книжка, вишь, ему выше отца...

У Вани градомъ заструились слезы по пылавшимъ щекамъ, онъ сдержанно схлипывалъ...

— Ну, что же молчишь, али для отца и словъ нѣтъ... Отецъ въ духотѣ прѣтѣтъ, ноги отстаиваетъ; а онъ, вишь, въ холодкѣ прокладается, — его и не слышишь... На-ка, расплакался; баба, — не тронь меня, — хуже бабы, вотъ что... Къ Ксенофонту у меня ни ногой, — слышишь, — ни ногой; онъ тебѣ не пара; книжки тебѣ не надобны... Веди заборъ по лавкамъ, что бы у меня все, что отъ кого изъ оптовыхъ складовъ, отъ мушниковъ тамъ беремъ, было во время записано; въ лавкѣ стой со мной, помогай дѣлу; веди записъ выручкѣ — и давай мнѣ вчерами отчетъ... слы-ши-ишь?!

— Слышу, тятенька...

— То-то, слышу... Сейчасъ же ступай къ мушникамъ — вѣсь заборы провѣрь, переведи въ записъ на цифирь...

И Захаръ Адриановичъ, не глядя, вышелъ изъ погребницы, отряхая малиноваго трипа жилетъ, съ двойнымъ рядомъ блестящихъ металлическихъ пуговицъ, и не твердо, но вѣско зашагалъ къ ближнему трактиру; на панели онъ, будто не замѣчая, подъ носомъ пропустилъ Ксенофонта Силыча, не кивнувъ ему и головой, тотъ, громко хихикнувъ, тутъ же юркнулъ въ ворота; на дворъ ему попался Ваня съ красными глазами, растеренный.

— Что, братъ, «тятенька» поцунялъ... Ты и хвостъ поджалъ, оробѣлъ, какъ заяцъ отъ шума листьевъ... Это присказка, паренекъ, — смакъ впереди, — притерпишься къ крапивѣ, къ бездолю этой самой жизни; а можеть, и выбьешься... Отецъ у тебя — мужикъ хо-ро-шій; но... но «степенство» назрѣло въ немъ вередомъ, — ну, изъ крестьянскихъ санишекъ и вышелъ вонъ изъ оглоблей, — сила, стало быть, — ломи «теперича»

солому. Русскій баринъ, русскій купецъ, русскій попъ, и т. д., и т. д. какъ только назръѣтъ въ нихъ этотъ вередъ, какъ только заираетъ внутри лѣсная стоярсовая сила сію минуту—дави, ломи солому... Это вѣрно, пойми разъ—и не крушишься, а поучайся,—отъ родной горенки до хлѣбной межи вездѣ у насъ характерный нутрянной вередъ июитъ, всѣмъ отъ него тошно...

Ваня на половину не понималъ образное философствованіе чиновника-неудачника; но слушалъ, пріискивая тутъ же выходъ изъ тяжелаго положенія,—надобно примириться съ отцемъ... Ему не приходилось испытывать прежде ничего подобнаго, — всякая новизна непріятныхъ ощущеній, обыкновенно, давитъ сильно нервы даже взрослому, не говоримъ уже — ребенка, полуребенка. Ваня не могъ выносить внутренній разладъ, не только съ близкими людьми, но и съ тѣми случайными лицами, которые заходили къ нимъ, какъ покупатели, въ лавочку, которые проходили мимо воротъ и почему-либо косо на него поглядывали, — тогда сердце его щемило, являлся вопросъ: «отчего они такіе?..» Ею постоянно охватывало теплое всепримиряющее чувство любви, то безбрежное расплывающееся чувство,—кто не испытывалъ обоятельную силу его хотя бы въ дѣтствѣ, въ ранней юности, — у котораго нѣтъ почвы для антипатій, нѣтъ разлада ни съ кѣмъ, ни съ чѣмъ, нѣтъ ненависти, нѣтъ партій — правой, лѣвой, центра... Натуры, домо переживающіе это душевное состояніе, нѣжны, хрупки, непрактичны; онѣ сильно страдаютъ въ житейскомъ плаваніи, вѣчно обвиняя только самихъ себя,—имъ тяжело дается опытъ жизни, имъ непосильна быстрая оцѣнка людей, психическихъ явленій окружающаго, онѣ не находятъ въ себѣ силъ, умѣнья мириться со многимъ неиз-

бѣжнѣмъ на своей болотистой почвѣ, не могутъ скоро отдѣлаться отъ подавляющаго ихъ душевнаго состоянія, выйти рѣшительно изъ инертнаго ихъ положенія и — или опускаются, надламываются духовно, или хирѣютъ физически. Въ подобныхъ свѣтовыхъ преломленіяхъ духовно-нервной жизни играетъ основную роль ни одна только борьба изъ-за существованія—эта великая сила столкновеній единицъ, сословій, обществъ, народовъ; но тутъ управляетъ теченіемъ человѣческой жизни, въ ея общемъ, частностяхъ, и не менѣе крупная сила самолюбій, эгоизма даже въ идеальномъ его проявленіи... Ничемъ инымъ мы не можемъ объяснить себѣ законы борьбы поколѣній съ поколѣніями изъ руководящихъ ихъ идей; борьбу явную, скрытую отцовъ, сыновей—терзающихъ, любящихъ горяче, искренно, любящихъ часто беззавѣтно и ломающихъ безповоротно цѣлую жизнь близкаго человѣка. Кого винить тутъ? Нѣтъ здѣсь ни правыхъ, ни виновныхъ; а есть, такъ называемые, страсти, подчиняющіеся своимъ неумолимымъ законамъ — предъ силою которыхъ, плачь, волнуясь, старай, онъ непреклонны, неизмѣнны, какъ судъ Немезиды древнихъ. Суровы, горьки эти законы; ихъ проявленія вы видите почти повсюду—въ закулисной жизни семьи и открыто, на улицѣ, на житейскомъ рынкѣ, воочію у вѣхъ... Благодаря тѣмъ же неумолимымъ законамъ, лежащимъ въ основѣ нашей жизни. въ связи съ природными свойствами натуры, Суриковъ - сынъ, быть можетъ, не вынесъ всего, чѣмъ встрѣтила поэта съ ранней юности эта самая жизнь, при убивающемъ однообразіи, не давая ему ни отдыха, ни срока, ничего почти свѣтлаго — и онъ рано надломился, зачахъ, преждевременно угасъ, не дотянувъ и сорока лѣтъ горьнія, среди многихъ неудачъ,

нравственных терзаний, внутренних волнений, порывов, разочарований.

Торювецъ-мучникъ посмѣялся открыто надъ ребячьимъ контролемъ, ввернувши нѣсколько остротъ лично на счетъ пришедшаго къ нему подростка-хозяина, величая его то Иваномъ Захарычемъ, то Ванюшей, — все это съ прасольскимъ подчеркиваньемъ, съ улыбкою, говорящей: «знаемъ мы, знаемъ, проку изъ эфтаго не будетъ. Новоселовскій Захаръ въ купцы лѣзетъ, — показать себя тоже хочетъ!..»

— Что же, сынокъ, «тя-тень-ка», выходитъ, все на настоящую линію ставитъ... Отчетность цифирную поведетъ... Хо-ро-ше-е дѣло, хорошее, теперича намъ сподручнѣе будетъ: какъ что, а ты ужъ тутъ скоренько и прописалъ, баланецъ свелъ, — память-то у насъ въдѣржиисто — то опустилъ, другое не помѣтилъ, — ну, намъ и на шею... Забираетъ Захаръ Андреанычъ разно — и много сразу, и по малостямъ, — одинъ грѣхъ, — подсынь, подвьсь — протори все наши... Приходитъ расчетъ — Захару Андреанычу кажитъ много; а по нашему — и тутъ пропускъ, и тамъ перевѣсь... Цифиры да твой глазъ святое дѣло!.. причиталъ плотный мучникъ, пробѣгая сърыя страницы опыленной мукою записной книжки, идѣ карандашные кресты путались съ цифровыми каракулями, какъ говорится, съ пятое на десятое, — онъ то пристально разглядывалъ эти путанные знаки, то диктовалъ ихъ Ванѣ, поднимая голову отъ книжки и показывая нѣсколько зарумянившееся лицо, пухлое, бѣлое, вроде хорошо выпеченной булки, подмигивалъ, улыбался и тутъ же какъ будто припоминалъ: «да, совѣмъ изъ памяти вонъ — кажись, третьеводни, сумеркомъ, брали еще пять пудовъ муки да сколько-то крупъ — не то грѣшневыхъ,

не то сорочинскихъ,—тебѣ ничего объ эфтомъ тятенька не сказывалъ... Вонъ, мухи се ѣшь, отъмѣтки-то и нѣтъ... прибавъ «молодое степенство», въ линеечку и эти пять-то пудовъ, да пудъ чтоль крупы... Вотъ онъ ирѣхъ-атъ, сейчасъ было чуть себя не обчелъ...

Ваню это поразило; онъ молча записывалъ пуды, фунты муки, крупы, вычислялъ скидку на мѣшки.

— Сколь вышло у насъ, сыночекъ, муки-то?..

— Сейчасъ, Семенъ Агеевъ, сочту.

— Сочти, сочти, умникъ.

— Выходитъ 17 пудовъ.

— Ой, молодое степенство, общитались мы съ тобой,—божь будетъ,—не припомнишь всего,—да, ну, ужъ бери себя на ростъ, съ нашей памятью какъ не быть прорухи...

— Зачѣмъ же, Семенъ Агеевъ, чужое намъ братъ,—припомните, я обожду!.. тихо, но твердо сказалъ, раскраснѣвшись, Ваня.

Этотъ разговоръ сильно смутилъ Ваню,—онъ не зналъ, что ему дѣлать и готовъ былъ провалиться, или какъ-нибудь незамѣтно ускользнуть изъ мушной лавки...

Ваня постоялъ пять-десять минутъ, еще приписалъ какіе-то четыре пуда со словъ большаго практика своего дѣла Семена Агеевича, молча вышелъ изъ лавки, съежившись, опутивъ голову, какъ будто охватилъ его удушливый угаръ чадной избы.

— Наше почтеніе, Иванъ Захарычъ,—прощенія просимъ!.. Жалуйте!.. слышалось сзади. Ваня тяжело поднялъ триповый картузъ и ринулся впередъ.

Вечеромъ Ваня давалъ отчетъ; Захаръ Андреанычъ послушалъ, заверчалъ на Семена Агеева, обозвалъ сына «рохлей», «несмыслемъ», «саламатой», просто бабой, заключивши все это наставленіемъ: «входи смѣлый въ

дѣло, никому пальца въ ротъ не клади, ничьихъ ляс-
балясь не слушай!.. такъ тебя запоютъ, не успѣешь
оглянуться, деревню всю изъ-подъ носа утащутъ,—ты
только чеши въ затылокъ... Помни: для тебя же все ра-
чимъ, два вѣка съ матерью не проживемъ въдѣ, что до-
будемъ тебѣ оставимъ!..» покрестился и ушелъ спать,
сказавши, уже позъывая:—«Ну, Ваня, иди себѣ ко сну,
время не трать по-пусту, нужно раненько вставать,—
наше дѣло такое!..» Ваня постоялъ одинъ, персминаясь
съ нош на ногу, чувствуя себя измученнымъ физически,
душевно, посмотрѣлъ въ потолокъ — темень онъ, вы-
шелъ во дворъ, взявнулъ на небо—подернулось и оно ту-
чами, еле идъ минетъ одна-другая звѣздочка,—упалъ
взоръ на окна квартиры Ксенофонта, тамъ ярко свѣтилъ
огонекъ, подошелъ ближе—Силычъ шагаль по комнатъ,
напывалъ что-то въ помолоса, ему чуть-чуть вторилъ
стихавшій уже грязный самоваришникъ... Ваню разомъ по-
тянуло туда...

— А-а, новопосвященный!.. Ну, какъ практика жизни?..
не вкусно, должно быть,—вижу по лицу...

— Усталъ, Ксенофонтъ Силычъ...

— Это, братецъ, полезно, крѣпче уснешь... Теперь
вопросъ: какъ приняло новопоставленнаго раба своего
Ивана твое и чужое «степенство». Первый выходъ всегда,
говорятъ, важенъ...

— Не понимаю ничего...

— И не поймешь, братъ... домо не поймешь; а Богъ
дастъ и никогда; ежели любить хочешь этихъ людей,
и не понимай лучше ихъ «дѣловъ», на вѣру люби...

Ксенофонтъ Силычъ разошелся, говорилъ и говорилъ
неудержимо о людяхъ, о жизни, какъ у кою она сла-
гается, кто изъ чего хлопочетъ, какъ, въ чемъ искать

правды ея,—говорилъ съ увлеченіемъ,—онъ пережилъ, по-
видалъ, передумалъ много, на его плечахъ лежало ужъ
тридцать слишкомъ лѣтъ,—и какихъ лѣтъ—онъ не по-
терялъ еще вѣру, ждалъ съ юношескимъ увлеченіемъ зари,
обновленія русской жизни во всѣхъ ея уголкахъ. Это
былъ вѣчный студентъ, идеалистъ до мозга костей при
всѣхъ сжатыхъ, неблагоприятныхъ условіяхъ его личной
жизни. Ваня слушалъ напряженно, хотя многого не по-
нималъ, благодаря витіеватой манерѣ изложенія рѣчи чи-
новника, пріобрѣтенной въ семинарскихъ застѣнкахъ того
времени, но чувствовалъ, что на душѣ у него становится
легче, въ голову яснѣе, обволакивавшій туманъ оставляетъ
его, куда-то улетучивается, тоскливая нота исчезаетъ
изъ сердца, набольшая грудь дышетъ вольнѣе. Рѣчь
Добротворскаго домо струилась, звучала какъ живой
ручей, пробивавшійся среди старыхъ затхлыхъ болотъ,
навѣвая свѣжесть, бодрость на истомленнаго мальчика.
Ваня почувствовалъ эту охватывающую свѣжесть от-
зывчивымъ сердцемъ,—глаза его загорѣлись не дѣтскимъ
огнемъ, лице оживилось, истома, подавленность пропали...
Ему казалось, что онъ выросъ, все понялъ; въ немъ яр-
кой искрой мелькнула мысль:—„людей жалѣть надобно,
прощать, любить и прощать,—тогда легче будетъ всѣмъ,
и ему легче!..“ Это онъ смѣло высказалъ Ксенофонту
Силычу...

— Вѣрно, паренекъ, вѣрно; но для этого надобно по-
нимать; а чтобы понимать, нужно знать... много, братъ,
знать, много выстрадать... Знаніе безъ страданія, какъ
вѣра безъ дѣлъ, мертвый капиталъ... Сухость, табличка
безжизненная!..

Изъ этого ряда словъ Ваня ухватилъ прежде всего
«знаніе», къ которому его тянуло; онъ искалъ его въ

книжкахъ, теперь Ксенофонтъ Силычъ развивалъ ему, что его найдеши вездѣ—оно разлито во всей жизни, скрыто въ каждомъ камешкѣ, сочитъ изъ каждой булочки,—умѣй только подмѣчать, умѣй сводить въ одно цѣлое, обдумывать, слагать въ своемъ сердцѣ; на что не можешь натолкнуться самъ, чего не можешь увидѣть лично, то укажутъ, на то наведутъ тебя дѣльныя книжи...

Поздно Ваня вышелъ изъ квартиры чиновника, предъутренняя свѣжесть еще болѣе оживила его; онъ неохотно направился на погребницу; сонъ бѣжалъ; новыя мысли уносили далеко,—и странное дѣло: когда Ваня начиналъ что-нибудь нашептывать изъ приходившаго ему въ голову,—все это вылетало складно, будто стишки, которые онъ любилъ читать,—являлось это такъ просто, само собой...

И потянулись своей безконечной чередой дни и недѣли въ записяхъ покупокъ, продажи, въ дѣловыхъ толкахъ, въ отчетахъ отцу, который уже бралъ съ собою сына въ трактиры на чаепитія, какъ своего ближайшаго помощника... Захаръ Адриановичъ, казалось, сталъ относиться къ нему мягче, иногда развивалъ предъ нимъ свои несложныя коммерческія планы и гордо смотрѣлъ впередъ. Сынъ не противорѣчилъ, не поддакивалъ, а больше молчалъ чай. Эта тихость, кажется, и служила сближеніемъ, хотя на нее же и за нее же обрушались часто и нападки, а въ непріятныя минуты сыпалась и брань—последнее случалось всегда дома,—при постороннихъ людяхъ отецъ или не обращалъ вниманія на сына, или гордился имъ, при чемъ нерѣдко говорилось: «онъ у меня письменный малый!..» Но хотя и былъ занятъ Ваня цѣлые дни своей прозаической работою, онъ всетаки уры-

валъ минуты и часы на чтеніе, на усовершенствованіе себя въ знаніяхъ, прибывая въ этомъ къ помощи Ксенофонта Силыча, отъ котораго ухватывалъ урывками познанія въ русской грамматикѣ, географіи, исторіи; въ книжкахъ счетовъ по забору матеріала изъ оптовыхъ лавокъ можно было встрѣчать и занесенныя налету двустиишія, четверостишія, которыя записывались, идъ только они приходили въ голову, то на улицѣ, то на потребицѣ, то во дворѣ, или въ лавкѣ. Ваня зачерчивалъ, бывало, свои стихи, опершись на тротуарную тумбу, прислонившись къ забору; писать наброски стиховъ, прислонившись къ забору или на колыняхъ, опираясь ногой на тротуарную тумбу черѣдко приходилось покойному И. З. и въ періодъ своей извѣстности, за два, за три юда до смерти. Это бывало не только тогда, когда онъ шелъ куда-нибудь по дѣлу или возвращался откуда-нибудь домой одинъ; но если шелъ и съ однимъ-двумя пріятелями, — найдетъ на него стихотворная минута, отстанетъ незамѣтно, зачертитъ наскоро на старомъ конвертѣ, на письмѣ, на какомъ нибудь клочкѣ, на удачу вытянутомъ изъ кармана, и потомъ ускоренно догоняетъ пріятелей, ушедшихъ впередъ на полквартила... «Ты идъ пропадалъ И. З?..» — «Стихотворная манія нашла, — ну, и зачертилъ, потомъ додѣлаю при случаѣ...» И этотъ оригинальный пріемъ писанія урывками, на ходу, по клочкамъ, на клочкахъ, обратившійся чуть-ли не въ потребность, можно объяснить только привычкой съ дѣтства, часто практиковавшейся во все время литературной дѣятельности при стѣсненномъ положеніи И. З.

Внѣ овощной лавочки, ея покупателей, двухъ-трехъ трактировъ съ одними и тѣми же постьтителями, окружающая жизнь пока мало давала пищи юной душѣ

будущаго поэта,—эта душа порывисто жаждала свѣтлыхъ образовъ, несносная коптѣчная проза, не имѣя въ себѣ ничего привязывающаго, сама собою толкала пылкую фантазію въ область мечтательнаго. Чтобы ни прочиталъ Ваня, онъ, оставившись самъ съ собою, облекалъ въ свои живые образы, давалъ свою канву,—въ эти минуты ему дышалось, чувствовалось хорошо,—онъ уносился далеко отъ всего реальнаго, что въ дѣйствительности стояло надъ нимъ, ни сколько не захватывая его поэтической натуры. Своей внутренней жизнью Ваня ни съ кѣмъ не дѣлился; его природная замкнутость не давала ему силъ высказываться и предъ Ксенофонтомъ Силычемъ, которому хотя онъ и вѣрилъ, любилъ его, но и съ нимъ былъ молчаливъ, сдержанъ. Крутые переходы въ чиновномъ пріятель отъ веселаго смѣха къ желчной рѣзкости, отъ насвистыванія бульварныхъ пѣсенокъ къ неудержимому ораторству о «высокихъ матеріяхъ»,—витіеватость, напыщенность его рѣчи, часто о предметахъ самыхъ простыхъ, скорѣе пугали, нежели робость на юнаго подростка, внѣшне подчиняли его, наводя на молчаніе. Разница мѣтъ, опыта у перваго — ставили между ними невидимую, но ощущаемую грань. Приходилось одному больше «поучать», другому слушать поученія; а это одно уже не даетъ возможности къ всестороннему, полному сближенію случайно столкнувшихся людей, ведущихъ знакомство прежде всего потому, что они живутъ бокъ-о-бокъ...

Такъ протянулись еще годъ-два, которые сдѣлали замѣтнымъ значительный переходъ отъ отрочества къ юности въ подросткѣ Ванѣ, — онъ казался болѣе разстояннымъ, такъ-какъ мечтательность чаще и чаще пощипала его, — и большаго ничего другаго никто не могъ

подмѣтитъ въ немъ. Онъ тихо работалъ самъ надъ собой,—теперь уже не глоталъ съ поспѣшностью книжку за книжкой, какъ это было прежде, но читалъ, что попадалось подъ руку, не спѣша, дѣлая выписки интересныхъ мѣстъ изъ прочитаннаго, запоминая цѣлые отрывки стиховъ, которые нравились ему...

Какъ-то весной, когда въ лавку почему-то мною заглядывало покупателей, Ваня сильно утомился, не ужинав, ни о чемъ не думая, рано повалился спать... Ближе къ полночи; на улицѣ, потомъ на дворѣ, раздался отчаянный крикъ: «горимъ, горимъ!.. пожаръ!..» всѣ вскочили, бросились, засуетились, — выбѣжалъ на крикъ и Ваня. Огненные языки охватывали, и жадно лизали соседній домъ... Крики, бѣготня, вопли, и стоны неслись съ разныхъ сторонъ, — Ваня стоялъ въ недоумѣніи, не зная, что дѣлать... — «Эй, братцы!... эй ребятаушки, помогите выбраться съ добромъ... Гляди, на насъ вѣтеръ-то тянетъ!..» кричалъ отчаянно Захаръ Адриановичъ, бывая по двору, обращаясь къ прибѣжавшимъ знакомымъ..

Ваня бросился въ лавку, — оттуда уже выносили безпорядочно на улицу, вдаль, что попадало подъ руки, таскали тяжести, — идти только бралась сила. Вѣтерокъ потянулъ въ противоположную сторону. Ваня выбѣжалъ теперь на улицу, онъ то бросался къ соседямъ, таскалъ, что попадалось на глаза, то останавливался и, казалось, хотѣлъ запомнить каждую фигуру: вонъ того старичка, бродившаго около дома со старымъ перомъ, черныльницей въ рукахъ, какъ будто ничего дороже у него не было, что нужно бы спасти отъ огня, — вонъ ту босую женщину, носившуюся съ подушкой, — вонъ всего осыпанную искрами пожарнаго въ свѣтлой каскѣ, которая чуть было не пришибло обузившимся бревномъ, — вонъ

мужчину въ длиннополой чуйкѣ, все время державшаго на рукахъ тихо спящаго ребенка и что-то слезливо причитавшаго надъ нимъ,—пару бѣлыхъ голубей, вившихся въ дыму и падавшихъ въ широкое пламя... Ваня дрожалъ, бѣднѣлъ, а все смотрѣлъ... До бѣлаго утра люди бились съ огнемъ, — и наконецъ — таки одолѣли его. Яркая утренняя заря захватила только клубы бѣлаго дыма, который стелился низко. Отъ трехъ домовъ, какъ голые скелеты, торчали безобразно высокія трубы, да на дворахъ кое-гдѣ мелькали черныя пни. Квартира и дворъ, гдѣ жили Суриковы цѣлѣли; пожаръ принялъ направленіе въ противоположную сторону, — этимъ только и спаслись они.. Два-три дня, послѣ пожара, Ваня ходилъ какъ въ чадѣ: то рисовалась предъ нимъ общая картина, то скользили частности... Онъ сталъ зачерчивать на бумагу все, что осталось у него въ памяти, что положило рѣзкіе слѣды. Явилось большее стихотвореніе, показавшееся ему очень звучнымъ, картиннымъ... Ваня перечитывалъ его, исправлялъ,—нравится.. «Какъ самому быть судьей, можетъ и плохо... Дать прочитать Ксенофонту Силычу; онъ оцѣнитъ вѣрно; ну, какъ подниметъ на-смѣхъ... Поюжу, поправлю еще; не къ спѣху!..» вертѣлось въ голову... Прошла недѣля; перемарывалъ, поправлялъ еще нѣсколько разъ; такъ и подмываетъ показать Ксенофонту Силычу; но робость беретъ верхъ. Воскресенье; проходя нѣсколько разъ мимо знакомаго крыльчика, Ваню вдругъ что-то будто толкнуло, онъ ввалился быстро въ комнату. Чиновникъ въ засаленномъ халатѣ пилъ чай и читалъ книжку стараго журнала...

— А-а, пріятель пропацій, что тебя не видно?.. мое почтеніе...

— Некогда все, Ксенофонтъ Силычъ; дѣла много...
— Давай руку... Что въ карманъ-то мнешь?..
— Стишекъ...
— Чей?.. ужъ не собственнаго ли печенія?..
— Да-съ...
— Показывай, показывай скорѣй...
— Смѣяться будете...
— И-и, что ты, братецъ, — какъ можно: не смѣяться, а радоваться надо...

Ксенофонтъ Силычъ привскочилъ со стула, живо схватилъ стѣрый листокъ, который Ваня съ дрожью въ рукѣ вытянулъ изъ кармана. Пробытая строку за строкой, глаза чиновника искрились, губы пріятно улыбались, голосъ его сначала тихо, а потомъ сильнѣе звучалъ: «хорошо; отлично; прекрасно!..» Отъ радости у молодого автора навернулись слезы... «Молодецъ!.. далеко пойдешь!..» вдругъ прогремѣло у него въ ушахъ; Ваня чувствуетъ, что Ксенофонтъ Силычъ сжимаетъ его крѣпко, цѣлуетъ...

— У-ухъ, наигналъ и на Ксенофонта нѣжности, вотъ ты какой!.. бѣгая мелкими шажками изъ угла въ уголъ, повторялъ нѣсколько разъ чиновникъ... — Да, наигналъ... и образно, и звучно, и наблюдательности много... Работай, братъ... въ тебѣ поэтъ сидитъ, слышишь — поэтъ... И не зарывай, смотри, таланта; торгуй тамъ, вѣшай всякую всячину пришлому покупателю, а таланта не зарывай...

Это поощреніе сильно ободрило Ваню, онъ просто былъ на седьмомъ небѣ, переживалъ самыя сладкія минуты, какія испыталъ еще значительно позже, когда въ первый разъ увидѣлъ въ печати свой «стишекъ». Фантазія его разыгралась; какъ только выпадали свободныя

часы, онъ маралъ бумагу листокъ за листкомъ. Въ ближайшій праздникъ Ксенофонтъ устроилъ вечеринку, на которую собралъ своихъ пріятелей. Ваня былъ героемъ вечера. Пили чай «съ романтизмомъ», «по праздничному», какъ выражался хозяинъ, т. е. съ лимономъ; явилось и нѣсколько бутылокъ пива. Читали «пожаръ» и еще пѣсню,—всѣ были въ восторгъ. Ксенофонтъ говорилъ безъ умолку, онъ былъ въ ударъ. Къ концу вечера пустились даже въ танцы; отплясывали кадрили за неимѣніемъ дамъ со стульями; одинъ купеческій сынокъ очень ужъ полюбившій Ваню, до благоговѣнія къ его таланту, подцѣпилъ «стихотворца» за даму и, какъ тотъ не отбивался, что въ этомъ, ничего не понимаетъ, повторялъ: «вамъ, какъ поэту, безпремѣнно надобно обучиться; потому и занято очень, и къ дамамъ даетъ доступъ... Любовь будете воспѣвать,—какъ же-съ, поэтъ, что соловей, безъ трелей любви жить не можетъ!..» Ваня слушалъ и недоумѣвалъ: что за дичь несетъ этотъ раздушенный, доловязый юноша съ волосами до плечъ... Дѣлать было нечего и онъ сначала монотонно ходилъ въ кадрили изъ стороны въ сторону, какъ водилъ его горячій купеческій юноша; а потомъ закружили его почти на вѣсу и въ вальсъ. Поздно, за полночь разошлись гости Ксенофонта Силыча и на прощаніи, потрясая руку Вани, одинъ за другимъ повторяли:—«пріятно быть знакомымъ!..» Купеческій сынокъ, модно разшаркиваясь, со сладкой улыбкой добавилъ:—«подарите насъ новыми произведеніями... Пусть муза не покидаетъ васъ никогда!..» Последней фразы Ваня совсѣмъ не понялъ, и только моргалъ глазами, и кланялся.

Съ этого дня завязались у «стихотворца» новыя знакомства, которыя потомъ стали часто отрывать его

отъ дѣла. Отецъ сердился, ворчалъ, былъ крѣпко недоволенъ «шатаньями», вызываньями.

— Иванъ, что эти лодари къ тебѣ шлятся?.. Что ты имъ и что они тебѣ, — кормить насъ не будутъ, поди...

— Такъ, тятенька, по-знакомству ходятъ... У всѣхъ есть свои знакомые—и у меня тоже... товарищи...

— Ишь, ты перечишь отцу... не говоришь дѣломъ... Хвостъ-атъ заметаешь... Прямо сказать,—я слышалъ: пьсни имъ какія-то пишешь... вотъ они съ сыта-то и льзутъ... Отъ родителейъ достатки у нихъ,—хребта своего не инули... Нынче гулянки, завтра гулянки... Не линія это!..

— Стихи я пишу; даръ у меня есть къ тому; они ходятъ просто по-знакомству...

— Даръ, ска-жи-и-те... Дармоѣдство, такъ говори... Кто подарокъ-то этотъ тебѣ далъ?..

— Богъ...

— Грѣхководникъ; изъ простой крестьянской избы... барчука изъ себя строить... Тоже да-аръ... Товарищи-то скажутъ, посмѣются надъ тобой; а ты и уши развѣсилъ, не махонькій, кажется!.. Съ путя тебя сбиваютъ... На Никольскомъ рынкѣ, мнѣ говорили, такихъ стишешниковъ держутъ, поятъ и кормятъ, тоже съ даромъ на разныя балагурства для сытыхъ,—иныхъ, слышать, совсѣмъ споили... И ты туда чтоль жьтишь?!.. Такъ у тебя отецъ, мать, родъ, племя есть...

— Да что вы, тятенька, право... Начнете, начнете,—будто я челоѡвка убилъ...

— Челоѡвка убьешь, въ острогъ посадятъ... А это... это... и на волю, а горе, горе одно... Со свѣта ты меня сионишь, глаза бы мои не глядѣли на тебя...

И разговоръ кончается тѣмъ, что отецъ въ одну сторону, сынъ въ другую; встрѣтившись опять, нѣлые дни и недѣли молчатъ...

Отецъ любилъ сына; но, какъ человѣкъ много натерпѣвшійся, пока дошелъ до нѣкоторыхъ «достатковъ», не умѣлъ, не привыкъ показывать родительскихъ нѣжностей,—онъ не видѣлъ ихъ самъ въ суровой школѣ жизни; былъ гордъ, характеренъ. Въ немъ сложилось одно убѣжденіе: „сынъ долженъ идти той дорожкой, какую ему намѣтилъ онъ, отецъ, баловства чтобы никакого, а то не дойдешь до цѣли... Книжки, стихи въ ихъ дѣлѣ З. А. считалъ баловствомъ, голова не тѣмъ будетъ занята... Имъ грамотность нужна слегка... Книжная наука дѣло господское, чиновничье,—однимъ отъ скуки, другимъ ради насущнаго хлѣба, для чиновъ.. Купцу лишняя книжность дохода не дастъ, а въ мотовство, того и гляди, введетъ“. Держась этихъ положеній, какъ крѣпкой скалы, З. А. повелъ систематически преслѣдованіе въ сынѣ стихотворнаго увлеченія... Гдѣ только находили тетрадки со стихами въ домъ—безъ дальнихъ разговоровъ ихъ жгли. Это ионеніе на стихи въ семьѣ Суриковыхъ тянулось мѣтъ двѣнадцать, пока И. З. не приобрѣлъ нѣкоторую извѣстность въ печати. Къ глубокому прискорбію и Сурикова-отца, и Сурикова-сына имъ, при обоюдной любви другъ друга, пришлось рано разойтись и стоять каждому на своей почвѣ—жизнь была безжалостна къ обоимъ, какъ показываютъ факты.

За фактами и съ фактами мы идемъ рука объ руку послѣдовательно, преслѣдуя исключительно правдивость, искренность въ развитіи общаго и частныхъ въ изложеніи очерка жизни покойнаго И. З. Сурикова.

Четыре года З. А. Суриковъ торювалъ на Ордынкѣ

въ Замоскворѣчьи, — въ это время образовался у него нѣкоторый достатокъ. Сынъ подросъ; отецъ нашелъ возможнымъ расширить торговлю, — имѣть двѣ овощныхъ лавки и такимъ образомъ выдвинуть своего Ваню на самостоятельный путь.

Какъ мы уже высказали на предыдущей страницѣ, отецъ не видѣлъ иной отросли занятій, иного труда, обезпечивающаго личное существованіе, личное счастье сына, ни въ ближайшемъ, ни въ дальнѣйшемъ будущемъ, — его идеалъ былъ купецъ — человекъ постояннаго матеріальнаго довольства, къ этому облику онъ шагъ за шагомъ шелъ самъ, къ этому положенію велъ неослабно и сына. Отсюда всякое отклоненіе Вани отъ купли-продажи, всякая разсѣянность въ дѣлѣ приобрѣтенія лишней копѣйки, лишняго гроша, какъ явленіе вредное торговлѣ, неизбѣжно приписывалось книжности, поэтизированію, «стишкамъ», — это казалось заботливому отцу, какъ отцу, пустой страстишкой, болѣе опасной на пути намѣченнаго имъ блага, чѣмъ всѣ, извѣстныя ему, страстишки купеческой молодежи самодовольнаго Замоскворѣчья; а что опасно, что ведетъ ко вреду, то должно быть изнано. «Ваня молодъ, глупъ, не знаетъ своего счастья, можетъ заблудиться, пропасть, — опытность отца должна выдержать любимаго сына, хотя бы пришлось сдѣлать это и круто, за то слобиться послѣ, — торговое занятіе указано намъ самой жизнью, — иной дороги, инаго пути для Суриковыхъ нѣтъ»... Вотъ простое положеніе, несложная основа думъ, помысленій Захара Адриановича, на этомъ положеніи вертятся всѣ размовки, на немъ тянется вся жизненная нить отношеній отца къ сыну. Близорукій опытъ сложилъ его, родовая, пожалуй инстинктивная, гордость вела эту нить, отцовская любовь ревниво оберегала свои традиции, годъ

за годомъ сознательно-безсознательно внося много больныхъ, удушливыхъ элементовъ, иначе и не могло быть при характеръ, натуръ, поэтическомъ талантъ сына, такъ-какъ основа отца въ общемъ, въ частностяхъ не подходила, не совпала съ наклонностями и дарованіями сына. Очень поздно таже отцовская ревнивая любовь ясно увидѣла свои ошибки,—плакала, нерѣдко плачетъ неутѣшно и теперь. Потерять преждевременно любимаго человѣка, кто тебѣ дорогъ, кто, дѣйствительно, гордость твоего рода—и при этомъ сознавать, что причины этой потери на половину подготовлены твоими же ошибками, тѣми именно ошибками, въ которыхъ, когда-то думалось, такъ ты находилъ, лежало благо для этого потеряннаго для тебя невозвратно человѣка,—согласитесь, смѣсь печальныхъ ощущеній, нервной подавленности, неослабное страданіе души, — сложный внутренній драматизмъ, питающій самъ себя глубокимъ горемъ, отъ котораго, надо полагать, ничѣмъ уже не освѣжишься. . Думаемъ, такое душевное состояніе присущее человѣку всякаго умственнаго кружозора, всякаго званія, любого сословнаго, общественнаго положенія. Особенно, если взять при этомъ въ расчетъ старческіе годы, когда окружающее мало занимаетъ, когда человѣкъ живетъ болѣе прошлымъ, сводитъ счета съ жизнью, чувствуя всеемъ ея закатъ, когда итоги прожитаго глубже раскрываютъ старыя нравственныя раны, а память, какъ на ирѣхъ, рисуетъ образы, лица, событія дней, недѣль, годовъ, мелочи и крупное, даже звуки голоса, тоны говора близкихъ людей осязательныѣ, какъ напряженный слухъ нашъ осязательныѣ, тоньше улавливаетъ шорохъ, легкое движеніе, тихіе звуки въ таинственномъ затишѣ смолкнувшей ночи...

Это маленькое отступленіе, освѣщающее причины послѣдующихъ явленій въ жизни Сурикова-отца и Сурикова-сына, мы позволили себѣ занести на этихъ именно страницахъ, т. е. нѣсколько ранѣе послѣдующихъ фактовъ, въ тѣхъ видахъ, чтобы передъ читателемъ, по возможности, могли разомъ выступить и факты, и причины ихъ, а съ ними и въ нихъ яснѣе рисоваться и самыя лица.

Для расширенія своей торговой дѣятельности Захаръ Адреановичъ избралъ другую окраину Москвы,—онъ переехалъ къ старымъ Триумфальнымъ воротамъ въ домъ Тычкова, идъ открылъ овощную лавку въ два раствора, и тутъ же въ Бронной улицѣ, въ домъ Любникова, завелъ другую овощную лавку—меньшую, идъ и посадилъ сына на отчетность. Въ этой окраинѣ торговля у Суриковыхъ пошла очень бойко. Состоятельные ямщики, обитатели Ямской, постоянно забирали у нихъ десятками фунтовъ чай, пудами сахаръ и другіе матеріалы. Дѣятельность вольной ямщины въ то глухое время была широкая,—о желѣзныхъ дорогахъ и слухомъ не слышать было; а къ сердцу Руси—обширной Москвѣ ѣхали отовсюду, —почтовая гонка во всѣ концы была большая, не говоримъ уже о подвозѣ-вывозѣ товаровъ изъ Москвы и къ Москвѣ, какъ торговому городу, вѣдущему миллионныя обороты. Сюда стекались богатства,—жизнь была дешева, русскія деньги стояли по курсу высоко. Суриковъ-отецъ шелъ въ юру; онъ считался уже купцемъ, зажилъ хорошо, завелъ лошадей, рессорныя тележки, хорошія санки, любилъ прокатиться на сытыхъ коняхъ; мало того, онъ такъ пристрастился къ лошадямъ — сталъ участвовать въ бышенихъ скачкахъ на Ходынскомъ полѣ, выезжалъ туда на состязанья, его охватывала нервная лихорадка въ этой отчаянной борьбѣ коней,—въ немъ жила широкая

русская душа, не знающая мѣры, не любящая границъ, когда она чемъ-нибудь возгоритъ, воспламенится во всю свою сверхъестественную мощь... И новословецъ Суриковъ, какъ сынъ своей земли, при простотѣ нравовъ, былъ могучъ... Суриковъ-сынъ въ «овоцной» на Бронной чувствовалъ себя вольнѣе,—тамъ все свободное время его уходило на чтеніе, писаніе стиховъ, тамъ онъ имѣлъ возможность спасать свои наброски отъ домашняго истребленія; туда, по старой памяти, удобнѣе было заходить иногда его молодымъ поклонникамъ изъ Замоскворѣчья. Хотя И. З. и туго былъ на новыя знакомства, но домохозяева Любниковы, узнавши, что застенчивый юноша, торіующій въ ихъ домѣ, пописываетъ стихи, заинтересовались, пожелали познакомиться съ нимъ, особенно дочери г. Любникова—молодые барышни. Образовалось новое знакомство. Самъ г. Любниковъ занималъ въ то время видный постъ у Московскаго Военнаго Генераль-Губернатора,—«статскій генералъ; но человѣкъ простой, души доброй; ему очень понравился Ваня», — какъ сообщалъ намъ старикъ Захаръ Андреановичъ. Старшая дочь Любникова Марія Николаевна, вышедшая потомъ замужъ за очень богатаго человѣка Х., приняла живое участіе въ начинающемъ «стихотворцѣ»; впечатлительная чуткая душа образованной дѣвушки сразу поняла сердечность, искреннее чувство и въ первыхъ наброскахъ тихого юноши съ робкимъ взоромъ, въ которомъ часто скользила непонятная грусть. И вотъ добрые, деликатные до мелочей, Любниковы прежде всего начали снабжать И. З. книгами, новыми нумерами журналовъ. Суриковъ-отецъ гордился вниманіемъ къ сыну важныхъ господъ и, увлеченный страстью къ соблазнительнымъ скачкамъ, сильно возбуждавшимъ его нервы, смотрѣлъ пока сквозь пальцы на

книжность сына, въ которой все-таки прока для ихъ дѣла не видѣль.

Эти немногіе годы (одинъ, два) можно считать самымъ счастливымъ временемъ для Сурикова-отца и для Сурикова-сына. Первый вполнѣ былъ охваченъ торювымъ успѣхомъ, уваженіемъ, какимъ пользовался въ своемъ околodкѣ, какъ настоящій купецъ, а не мелкій уже торговецъ; второй былъ полонъ вѣры въ свои силы, полонъ заманчивыхъ ирзѣ, поэтическихъ надеждъ... Любниковы поддерживали въ немъ этотъ свѣтлый, отрадный оіонекъ, при которомъ міръ разливаетъ внутри носящую его тепло, любовь къ окружающему, при которомъ все выносятся легче, все окрашивается розовымъ, пріятнымъ цвѣтомъ,— юноши хорошо знаютъ это душевное состояніе, лучшіе изъ старцевъ никогда не забываютъ его, нерѣдко умѣютъ хотя мимолетно воскрешать его въ себѣ съ обоятельной точностью своего далекаго прошлаго... Стихи у И. З. въ это время писались очень быстро, больше въ формѣ пѣсенъ. Къ сожалѣнію, все это поожжено, порвано, пропало невозвратно и мы можемъ занести нѣсколько штриховъ объ этомъ періодѣ только по разсказамъ покойнаго поэта, не имѣя возможности привести стихотворныхъ цитатъ—этихъ оправдательныхъ документовъ, выражаясь языкомъ точной счетной коммерціи. Въ пѣсняхъ, въ лирическихъ наброскахъ И. З. свѣтились теплота, искреннее чувство; но онѣ страдали по мѣстамъ «не додѣлкою», въ иныхъ встрѣчалась не точность образовъ, отсутствовали простота, пластичность,—эта простота, эта пластичность потомъ, позднѣе, явились однимъ изъ пріятныхъ отличительныхъ достоинствъ поэзіи И. З. Сурикова. И талантливымъ, и гениальнымъ даже людямъ—никому и никогда—не давалась сразу въ полномъ совершенствѣ поэтическая форма, такъ называемый

стиль,—пишущимъ, всегда строго, ревниво относящимся къ художественному творчеству, хорошо известно, какъ нелегко вырабатывается словесная форма, какъ много уходитъ времени нерѣдко и у крупныхъ художниковъ слова на пріятный стиль, простоту, пластику въ небольшихъ произведеніяхъ по объему, приковывающихъ къ себѣ читателя, дѣйствующихъ сильно на его нервы.— тѣхъ произведеніяхъ, которыя сдѣлались потомъ классическими. Всѣ художники-поэты свидѣтельствуютъ, что стиль въ творчествѣ играетъ великую роль; а онъ вырабатывается временемъ и часто долгимъ временемъ. Нашъ покойный народный поэтъ Н. А. Некрасовъ мягко и вѣрно высказываетъ свой взглядъ на значеніе формы въ нижеслѣдующемъ восьмистрочіи:

«Формѣ дай щедрую дань
«Временемъ: важенъ въ поэмѣ
«Стиль, отвѣчающій тѣмъ.
«Стихъ, какъ монету, чеканъ
«Строго, отчетливо, честно,
«Правила слѣдуй упорно:
«Чтобы словамъ было тѣсно,
«Мыслямъ—просторно»...

Юному самоучкѣ-Сурикову пришлось пройти длинный путь выработки формы и пройти при самыхъ неблагоприятныхъ обстоятельствахъ—одиноко, безъ указаній, что называется, ощупью. Насколько намъ приходилось наблюдать за процессомъ творчества самоучекъ, мы замѣтили, что имъ особенно неприятна отдѣлка написаннаго сразу,—какъ въ большинствѣ имъ и приходится выливать на бумагу свои произведенія,—они скорѣе напишутъ вамъ что-нибудь вновь, чѣмъ рѣшатся от-

дѣлать до мелочей, окончательно сложившіеся у нихъ произведеніе. Это, положимъ, можно объяснять и непривычкою къ усидчивости, и наплывомъ новыхъ картинъ, новыхъ образовъ, которые могутъ подавлять, вытѣснять изъ души уже занесенное на бумагу, и не желаніемъ разбираться въ частности въ накопленномъ въ душѣ матеріалѣ, нежеланіемъ критически отнестись къ своему написанному уже произведенію, и болѣе или менѣе продолжительнымъ увлеченіемъ своимъ произведеніемъ, особенно въ первые годы работы, когда молодой неопытный авторъ не встрѣчаетъ искренней, честно-правдивой критики среди его окружающихъ. Въ этотъ періодъ похвалы, восторги, порицанія и холодность могутъ быть равно бесполезны, не могутъ указать прямой путь. прямую цѣль начинающему автору-самоучкѣ,— онъ можетъ, пожалуй, лучше найти самъ своимъ личнымъ поэтическимъ чутьемъ свой путь, чѣмъ довериться узкимъ совѣтамъ, разнаго рода тенденціозности и такимъ образомъ потерять лежащую въ его натурѣ самобытность... Лучше выйти позднѣе, но выйти на «свой путь», чѣмъ выступить и рано, но тѣтъ по указкѣ, не имѣть своего художественнаго, поэтическаго — «я». Поэтическая форма, пріемы, манера самаго изложенія, конечно, лежатъ и объясняются чисто субъективными условіями творчества у каждаго художника, если онъ дѣйствительно художникъ, а не ремесленникъ слова, набившій руку въ бойкомъ фразерствѣ, всегда готовый съ легкимъ сердцемъ набрасывать строку за строкою—ради строкъ—его насущнаго хлѣба—на любую тѣму.

Въ овощной, на Бронной у И. З. набралась объемистая тетрадь стихотворныхъ опытовъ. По нѣкоторымъ даннымъ мы полагаемъ, Любниковы, при нерышитель-

ности и робкости И. З., помимо его желанія, выхлопотали, при своихъ связяхъ и знакомствѣ, для молодого «стихотворца» письмо отъ почтеннаго профессора К. Ф. Рулье къ N.N. и уговорили направиться съ тетрадкою стиховъ на «просвѣщенный судъ». Эта заботливость только и могла дать рѣшимость, энергичный толчекъ застѣнчивому, робкому юношѣ, чтобы двинуться, чтобы искать пути къ выходу на свѣтъ Божій его твореній, принесшихъ уже не мало страданій, хотя не мало и сладкихъ минутъ забытья, минутъ самосознанія силъ, которыя онъ носилъ въ себѣ. Это было въ 1857 г., какъ мы видимъ изъ письма И. З. къ N.N. (См. стран. 48 писемъ къ разнымъ лицамъ въ этой книгѣ). N.N. принялъ растерявшіюся, какъ и нужно было ожидать отъ И. З., молодого человека любезно, ободрилъ его, направилъ со своей карточкою посоветываться къ г. К. К., опытный литераторъ, одинъ изъ Московскаго кружка нашихъ талантливыхъ писателей тридцатыхъ, сороковыхъ годовъ, усадилъ И. З. въ свое рабоче-кабинетъ запросто, внимательно, хотя и на-скоро пробѣжалъ юношескіе опыты начинающаго самоучки, идѣ прежде всею замѣтилъ необработку стили по мѣстамъ, отчасти подражательность, или вѣрнѣе подобія въ тонахъ. въ мотивахъ произведеній тѣхъ поэтовъ, которые, выступивъ ранѣе, уже завоевали себѣ мѣсто въ художественной области,—это совпаденіе въ тонахъ, образахъ и должно было неизбежно явиться,—кто вольно-невольнo не подражалъ, пока пролагалъ свой путь, свою дорожку, пока выработывалъ свою манеру... Что г. К. могъ сказать этому юношѣ, узнавши его положеніе, обстановку?.. Сказать, что ты талантъ,—онъ не могъ, ибо его понятія, его взгляды на талантливость не совпадали съ тѣмъ впечатлѣніемъ,

какое получилось у него отъ произведеній юнаго самоучки. Ему, какъ литератору, хорошо было извѣстно, что писательскій путь—скорбный путь, чтобы пройти его у насъ, съ честію держа зная высокой идеи, художественнаго слова, и оставить по себѣ замѣтный слѣдъ, много надо вынести борьбы, терзаній, много надобно силъ для самоучки... Что проходило въ души г. К., пока шла бесѣда, за куреніемъ въ кабинетъ, заваленномъ книгами, что пробѣгало въ постыдѣвшей головѣ, когда почтенный ученый, перевидававшій въ свое время много пишущихъ людей съ горячимъ образнымъ словомъ, бросалъ пытливый взоръ, всматриваясь продолжительно въ сидящаго передъ нимъ молчаливаго, мышковатаго юношу, невыдающуюся ничѣмъ по внѣшности, — все это намъ, конечно, неизвѣстно, — такъ-какъ осталось неизвѣстнымъ и покойному И. З., — но въ концѣ концовъ, послѣ продолжительной паузы, г. К. далъ прямой отвѣтъ: — «лучше вамъ заняться своимъ дѣломъ, — до художника настоящаго, а не настоящимъ не стоитъ и быть, вамъ пока далеко еще... да и путь писателя полонъ терній!..»

Эти прямые, искренніе слова смутили юнаго И. З. Сурикова; но онъ не могъ бросить своихъ стиховъ, — они давали ему жизнь, ими и въ нихъ онъ забывался. Молодая, горячая натура искала случая высказаться, высказываться было не предъ кѣмъ — и онъ писалъ. Теперь И. З. сталъ строгъ къ своимъ произведеніямъ, — не передѣлывалъ написаннаго; но, если набросокъ чѣмъ-либо не нравился, хотя бы однимъ оборотомъ, словомъ — рвалъ его и писалъ что-нибудь вновь. Любовь къ каждому словечку въ своемъ произведеніи, какъ это нерѣдко бываетъ съ начинающими, жалость зачеркнуть это словечко — пропали. Приговоръ г. К. далъ толчекъ И. З. къ

выработкѣ стили, къ самодѣятельности, повелъ къ стро-
яму суду надъ самимъ собой—эта работа привела къ
простотѣ, къ художеству образовъ... Легко ничто не
дается, — труденъ былъ и путь, по которому пошелъ
И. З., но вѣренъ и неизбѣженъ... Журналистика того
времени была необильна количествомъ органовъ периоди-
ческой печати, тамъ встрѣчались стихотворенія извъ-
стныхъ уже поэтовъ, какъ можно было туда направить
какое либо произведеніе самоучекъ Сурикову, — это рискъ, —
это не приходило даже и въ голову юношѣ. Ему было
и не до того, — дѣла отца разстроились, торгуюя ихъ съ
проложениемъ Николаевской желѣзной дороги значительно
упала. З. А. сдѣлался мраченъ, сталъ чаще пропадать
изъ дома, просиживать больше въ трактирахъ — ничто
не веселило его; коммерческія надежды его не оправда-
лись, а привычки тянули въ ту сторону, идѣ онъ могъ
минутно забываться, — только во вредъ дѣлу. Какъ ни
крѣпокъ былъ З. А., но не нашлось стойкости, энсріи
устоять, — онъ сталъ слабѣть внутренно, сталъ при-
бѣгать къ крѣпкому напитку, къ которому часто при-
бѣгаютъ русскіе люди при неудачахъ; пришлось прикрыть
«овощную» въ Бронной, а потомъ и въ домѣ Тычкова, —
дѣло пало. Настали черные дни для Суриковыхъ. Обра-
тились за совѣтомъ къ старшему брату З. А., къ
Ивану Андреявичу; толковали, судили, обдумывали и
рѣшили: З. А. остается одно — ѣхать пока въ Ново-
селово къ матери Дарьѣ Васильевнѣ и съ ней до времени
заняться общимъ хозяйствомъ, землей, а Ваня съ Ѳеск-
лой Григорьевной оставаться у Ивана Андреяновича при
его торговомъ дѣлѣ, т. е. племяннику поступить въ
подручные къ дядѣ изъ-за хлѣба и ждать, когда будетъ
возможность вновь начать свое торговое дѣло. Скрѣпя

сердце, поѣхалъ З. А. въ деревню, къ землѣ, отъ которой совсѣмъ отсталъ; но поѣхалъ,—инаю, лучшаю исхода не было.

Иванъ Адриановичъ — человекъ характера крутаго; рѣзкія щетинистыя брови его постоянно сунулись; всегда сухой, недовольный взглядъ, которымъ онъ окидывалъ окружающихъ сверху внизъ, или смотрѣлъ въ сторону, а не прямо въ лице съ кѣмъ говорилъ; отъ него вѣяло холодностью, вѣчнымъ недовольствомъ,—онъ словомъ, движеніями ясно показывалъ, что возмъ него все дураки, лѣнтяи; онъ былъ строгъ, требователенъ, деспотиченъ.

Племянника съ матерью И. А. помѣстилъ въ маленькой кухнѣ; то-и-дѣло покрикивалъ...

— Иванъ, подмети-ка лавку, иль не видишь, сорно.

И. З. хватался за щетку.

— Розиня, щетку-то зачѣмъ ухватилъ,—она, поди, какихъ денегъ стоитъ,—юликъ возьми,—ишь, сколь ірязи-то натаскали, щетки-то надолго ль хватитъ... Не махонькій... Недаромъ вы съ отцемъ профильшились, купцы именитые...

И. З. бросится на кухню, схватитъ нервно юликъ, навернется слеза, изогнется и мететъ лавку. Не пройдетъ и пяти минутъ; дядя заглянетъ изъ двери горенки, ворчитъ...

— Все топчишься; пылъ на товаръ поднялъ — нѣтъ догадки сбрызнуть полъ-атъ, стихотворецъ!.. Путно ничею не можетъ сдѣлать... Провозишься тутъ, а въ той лавкѣ товаръ, поди, ждутъ. Настоящая несуразная баба,—мѣшекъ!.. Изъ милости хлѣбомъ-то приходится вась съ матерью кормить... тоже, помощники... Бери-ка тележку, вези въ Поворской булки, еще что тамъ требуется,—тутъ мать домететъ, а то вездѣ дѣло стоитъ.

Впрягается И. З. въ походную тележку и везетъ товаръ изъ Знаменскаго переулка къ Петровскимъ казармамъ, въ Поварской пер., къ Семсону Столпнику, идъ у И. А. была друіая овощная лавка. Эту развозку приходится производить ему нѣсколько разъ въ день, во всякую погоду. Некрасна жизнь полувыучнаго рабочаго съ привычками къ мысли, къ художеству, къ книжѣ,—некрасна за себя, за мать, обратившуюся въ стряпнуху, въ работницу-поденщицу въ домъ деверя,—но что дѣлать, куда дѣнсься. Ворчанія, выговоры, обидныя слова, трудъ поденщика—это и нынче, и завтра одно и тоже... Ночью жесткое ложе на полу, на кухнѣ—и это семнадцатилѣтній возрастъ, лучшіе годы жизни. Лежитъ, бывало, И. З. на какомъ-нибудь грязномъ войлочникѣ, въ полусырой кухнѣ, слезы льются сами собою, льются тихо, неслышно, невидно... Осенняя ночь,—ни зги; темно внутри; замерло кружомъ, убійственная ночная тишь; нѣтъ-нѣтъ пронесется протяжный вздохъ Ѳеклы Григорьевны и замретъ; чувствуетъ И. З., что мать сдерживаетъ дальнѣйшіе вздохи, чтобы не печалить сына,—больныя на душѣ, обильныя льются слезы.

Иногда долго возится Ѳекла Григорьевна; слышитъ она, что сынъ болѣзненно покашливаетъ.

— Ты не спишь, Ваня?..

— Нѣтъ-тъ, маменька... А что?..

— То-то... спи; рано дядя-то подниметъ, замотаешься...

— Не спится...

— Темень, я вижу, ты, Ваня,—на Бога положишься... Минетъ наше лихолѣтье... выбьемся... Вотъ я къ Трифону-мученику схожу помолиться,—онъ, сказываютъ, помогаетъ обиженнымъ-то въ жизни...

— По-мо-лись...

— Вырваться, вишь, у насъ больно трудно,—то да се... дѣло не перемежастся...

— Дома-а мо-ли-ись...

— И то, Ванюшка, какъ умью, молюсь, грѣшница... Ты вонъ голову-то больно вынасишь, совсѣмъ это, родной, несладно...

— Спи-и, маменька...

— Усну-у, не крушишь обо мнѣ-то; ты вотъ былъ бы у меня повеселѣе, а то все пойдетъ справно.

Оба замолчатъ... Пройдетъ часъ въ молчаніи; отъ обоихъ бѣжитъ сонъ: мать думаетъ—уснулъ ли сынъ; сынъ рѣшается—уснула ли мать.

Тяжелая жизнь у дяди,—жизнь труда, лишеній, обидъ—и ради чего, никто изъ нихъ не рѣшалъ и не могъ рѣшить,—тянулася года полтора. Во все это время дядя думалъ, ясно показывая, что племянникъ и сноха живутъ у него на хлѣбахъ изъ милости, хотя И. З. и Ѳ. Г. работали для Ив. Ад., ни на минуту не складывая рукъ. И. З. совсѣмъ отсталъ отъ книги и стиховъ, нечѣмъ было ему забыться. Позднѣе, мѣтъ черезъ пятнадцать, объ этомъ дядѣ, когда И. А. состарѣлся, ослѣпъ, И. З. пришлось заботиться, выручать его изъ неудачъ, лѣчить, хоронить, хлопотать о дѣтяхъ его; но полутора-годовое житіе у него оставалось всегда въ памяти И. З., какъ горькое время: безъ душевнаго волненія, онъ не могъ вспоминать крутыхъ эпитетическихъ отношеній характернаго упрюмаго дяди, который, казалось ему, любилъ только себя самаго, былъ въ полномъ смыслѣ—«самъ», типъ хорошо извѣстный русскому человеку, русскому читателю.

Ѳекла Григорьевна долѣе полутора года не находила силъ жить у деверя, — тогда выписали изъ Новоселова

З. А., кое-какъ сколотились ничтожными средствами, сняли за десять руб. въ мѣсяцъ помѣщеніе на Тверской, близъ Тверскихъ воротъ, въ домъ, что рядомъ съ трактиромъ Ушакова, идъ въ настоящее время булочная, стали на проши и копѣйки скупать старый ломъ желѣза, мѣдь, тряпье; все это сортировали и развозили въ большіе лавки, чаще къ Сухаревой баинѣ, въ магазинъ Потѣхина,—съ Потѣхинымъ торговья отношенія И. З. велъ до самой смерти, это продолжается и теперь З. А.

Тряпье при большомъ количествѣ сдавалось въ первыя руки—прямо на бумажные фабрики, при меньшемъ во вторыя руки—разнымъ скупщикамъ. Дѣло это начато Суриковыми съ 1859 года и понемногу развивалось, давая довольно ничтожную пользу; они могли жить бѣдно, но не голодать. Усывшись въ эту лавку, идъ не было и вывѣски, какъ ея не было и потомъ, И. З. опять возвратился къ стихамъ и чтенію книгъ.

III

„Гдѣ ты, моя юность“

„Гдѣ ты, моя сила?..“

„Взянешь въ прошлое, не встретишь

„Свѣтлую лица;

„Поядишь впередъ, тамъ горе,

„Горе безъ конца“...“

И. Суриковъ.

„ Несчасть и грозою

„Мой темный путь не даромъ омрача,

„Не просвѣтлѣетъ небо надо мною,

„Не броситъ въ душу теплаго луча“...“

Н. Некрасовъ.

Насталъ 1860 годъ; дни, недѣли шли у И. З. однообразно въ непримядной торговлѣ ржавымъ желѣзомъ, тряпьемъ,—юность какъ будто вычеркнута изъ его жизни,—это весна безъ красныхъ дней, безъ сладкихъ соловьиныхъ трелей въ молодомъ сердцѣ,—и ходилъ, и лядлѣлъ онъ на окружающее совсѣмъ не по-юношески, жилъ безъ развлеченій, безъ удовольствій, не посѣщалъ даже театра,—а это было цвѣтущее время драматическаго искусства въ Москвѣ,—бѣдный юноша, сжатый нуждою, узкими традиціями среды, не могъ и изъ полумрака-полусвѣта душиной „галерки“ посмотреть, задуматься надъ типами, изображаемыми мастерски, жизненно художниками-артистами, смѣяться отъ души, плакать отъ сердца, видѣть правдивую чужую жизнь во всей ея простотѣ, безъ прикрасъ, и вносить въ свой внутренній

міръ больше содержанія, осмысленности... Театръ, чье юное сердце не билось пылко въ обширныхъ стѣнахъ твоихъ, чья не юрѣла голова, не зрѣла честная мысль, чей не бился тамъ ускоренно пульсъ, не теплилась идеальная любовь—тотъ не жилъ никогда полной жизнью!.. Высокое искусство драмы, комедіи, оперы сколько воспитало учившихся до смерти и учившихъ истинныхъ артистовъ, сколько дало «бѣдной-богатой» родинѣ друзей, честныхъ бойцевъ живаго слова, живой мысли, художниковъ подъ взмахомъ кисти которыхъ оживало мертвое полотно, подъ взмахомъ рѣзца оживалъ мертвый мраморъ, подъ силою нервной руки рокотали мощные звуки, смѣялся, рыдалъ безжизненный инструментъ—и какихъ бойцевъ окрилялъ, приковывалъ театръ, «о красотахъ душевныхъ сокровищъ» которыхъ, идѣ они «совмѣщены были благодатно», вполнѣ правдиво могъ сказать поэтъ:

«Природа-мать!.. Когда бѣ такихъ людей

«Ты иногда не посылала міру,

«Заглохла бѣ нива жизни»... (Н. Некрасовъ).

Тамъ, въ стѣнахъ театра, не разъ плакали эти «наивные, страстные» люди,—такъ напр. было съ В. Г. Бѣлинскимъ, который когда-то первый приходилъ и послѣдній уходилъ съ «галерки» Московскаго театра,—тамъ, волнуясь, мысленно давали они обѣты служить своими талантами до мозга костей горяче любимой родинѣ... То были пылкіе идеалисты, работавшіе сокомъ нервовъ, шедшіе упорно къ одной высокой цѣли,—они кипѣли, юрѣли—быстро угасали,—ихъ ужъ нѣтъ, рано взяла земля въ свои нѣдра лучшихъ сыновъ, немного осталось такихъ... Годъ за годомъ рѣдѣетъ станъ бойцевъ честной мысли, высокаго искусства,—родина ждетъ на смѣну имъ друиухъ.. Но идѣ жѣ такіе, идущіе за ними вновь—художники

слова, кисти, рѣзца, звука, наивные идеалисты, горячіе борцы, часто голодующіе, мишенные благъ міра, но высоко держащіе знамя правды, труда, науки?!.. Должны же они быть, должны явиться и въ наше время, иначе зачахнетъ духовная жизнь, вся уйдетъ въ сонъ, пѣду, въ пѣду и сонъ, въ векселя, купоны дальнихъ лѣтъ на переднія числа, въ хищенія, обманъ и кражи-кражи безъ числа для растительныхъ, животныхъ наслажденій хотя бы на часъ, на день; а дальше... дальше что ужъ тамъ ни придется, хоть и «владимірка», хоть «отдаленныя» и «нестоль отдаленныя мѣста»... Въдь были же наивныя души-идеалисты, могли они являться, жить и свое дѣло дѣлать среди людей, — иль то былъ богатырскій эпосъ не давнихъ лѣтъ, созданье иного времени; а настоящее время жаждетъ имѣть своихъ богатырей и богатырскихъ женъ иного пошиба, окраски, иного «бессодержательнаго» содержанія своего времени, — времени желудка и наслажденій ближайшихъ дня и ночи... Хоть жизнь, такъ иль иначе, кругомъ насъ идетъ и каждая живая душа чувствуетъ, что вблизи, вдали ея все тотъ же заповѣдный дремучій лѣсъ, раскинувшійся дремотно со своими дебрями, топями, глушью, уходя въ безконечную глуть, и птицы чивикаютъ, трещатъ въ томъ лѣсу какъ и всегда, но птицы семействъ, породъ уже не тѣхъ, и пѣсни ихъ звучатъ ужъ посвистомъ инымъ... Иныя времена, иныя птицы, иныя пѣсни!... Поживемъ—посмотримъ, что они создадутъ, что разрышатъ... Время течетъ несудержимо и задаетъ свои запросы...

Текли безостановочно и дни юнаго И. З. въ нравственной духотѣ безъ свѣжей юности: лавочка, маленькая комнатка-квартира, крикливый трактиръ, минутами книжки—вотъ и все, вотъ и весь міръ.

За недѣлю до масляницы, 1860 г., зашла къ Ѳеклѣ Григорьевнѣ знакомая старушка, говорунья Анисья Прохорова, съ порядочнымъ узломъ подержаннаго платья, холста, дешеваго ситца. Сложила Прохорова на столъ свою ношу и пустилась въ немолчаемые разговоры. Она и торговала, какъ говорятъ, «съ рукъ», и вводила молодыхъ людей въ брачную жизнь,—была сваха... Прохорова, зная, что И. З. доходилъ девятнадцатый годъ, расхваливала, въ это посѣщеніе будто бы по пути, сиротку М. Н. Ермакову, жившую у тетки Авдотьи Ѳедотьевны Ермаковой въ Охотномъ ряду,—послѣдняя имѣла тамъ мясную лавку.

Домо говорила о женитьбѣ И. З. разбитная Анисья Прохорова, до старушечьей страсти увлеченная устыхами осчастливленныхъ въ ея сознаніи, благодаря ея настоятельному вмѣшательству въ чужую жизнь, многихъ кліентовъ, гадательнымъ счастьемъ, гадательными радостями устыхами которыхъ она давно уже привыкла жить... Среди Москвскихъ свахъ Прохорова—рослая, округленная, со своей плавной рѣчью, съ пытливымъ, зоркимъ взглядомъ, который подолгу не отрывала отъ собесѣдника или собесѣдницы, какъ будто желая сразу разобрать его по косточкамъ, сознавала себя художницей своего дѣла.. Отъ нея отбиться, ее обойти, отмолчаться трудно было и не Ѳеклѣ Григорьевнѣ—женщинѣ крайне простодушной... Крутомъ, что называется, оговорила Прохорова Григорьевну, и ушла, глубоко забросивши въ ея душу прежде всего мысль о женитьбѣ сына. Мысль эта до настоящей минуты изрѣдка возникала въ голову Ѳ. Г. и возникала пока въ туманъ,—скользнетъ въ неопредѣленной формѣ —«хорошо бы» — и пропала; теперь эту отвлеченную мысль Прохорова связывала съ дѣйствитель-

нымъ образомъ сиротки-невѣсты Ермаковой... Матери, дѣйствительно, хотѣлось поскорѣе видѣть сына семейнымъ, — отъ нерадостной жизни она часто прихварывала, — Богъ знаетъ, сколько проживеишь и какъ онъ, такой нерышительный, безъ нея устроится одинъ... Сиротка изъ хорошей семьи, дѣйствительно, имъ была бы ближе... Начались разговоры съ З. А., съ сыномъ. Анисья Прохорова расхвалила со свойственнымъ ей краснорѣчіемъ и Маріи Николаевнѣ Ермаковой, и ея теткѣ И. З. — много говорила объ его тихости, умѣ, хорошей семьѣ, душевности Ѳеклы Григорьевны — такъ что молоденькая дѣвушка стала задумываться, ей невольно запалъ глубоко въ сердце образъ юноши съ золотистыми волосами, голубыми глазами, что «лазурь небесная», по выраженію Прохоровны... Тетушка Авдотья Ѳедотьевна дала отвѣтъ: «хорошему человеку мы всегда рады, хоть Машенька у насъ молода, неперестарокъ — жить ей у родной тетки не тѣсно; но мы не прочь свести знакомство съ добрыми людьми, — полюбятся другъ другу, значитъ, ихъ судьба, не полюбится намъ твой И. З., насиловать дѣвицу не станемъ...»

Такъ завязалось знакомство Суриковыхъ съ семействомъ Ермаковыхъ въ Охотномъ рядѣ. На Пасху, въ томъ же 1860 г., молодые люди дали другъ другу слово на семейную жизнь. И. З. поэтизировалъ, въ немъ проснулся юноша — хотя и не надомо, идеальный юноша, воспитанный съ раннихъ лѣтъ въ родной деревнѣ женской теплотою бабушки, матери, а въ городѣ помнящій о счастливыхъ минутахъ участія добрыхъ барышень Любниковыхъ, дѣвицъ-«учительницъ» Финогеевыхъ, ласковыхъ старцевъ Пимена, генерала Долова... Всѣ эти лица глубоко повліяли своими душевными отношеніями именно

на мягкость, теплоту сердца и, можно сказать смѣло, они вольно-невольно пробудили въ душѣ поэта истинную гуманность, простоту, сродную его воспріимчивой натурѣ; а эта самая натура при родовой талантливости дала тонъ, манеру и пластичность всему послѣдующему творчеству. Какъ толчекъ къ знанію, къ умственной работѣ полученъ имъ, опять-таки вольно или невольно, отъ чиновника-неудачника Добротворскаго; но всѣ эти люди не имѣли прямыхъ вліяній на направленіе поэта, на разработку его внутренняго міра, на его умственный кругозоръ, все это онъ создавалъ самъ личной работою надъ собой, создавала общая жизнь, ея теченія и т. д.

Благодѣтельный вѣтеръ, разнося сѣмена растений, помогая благотворно опыленію во время цвѣтенія ихъ, не создаетъ тѣхъ или другихъ породъ, не производитъ тотъ или другой растительный плодъ—то дѣлаетъ почва, влага, свѣтъ, но его значенія въ жизни растений отнять нельзя; таково же въ переносномъ смыслѣ, по нашему мнѣнію, значеніе встрѣчъ съ людьми въ нашемъ дѣтствѣ, въ нашей юности, пожалуй и далѣе, встрѣчъ съ людьми разныхъ специальностей, направленій, взглядовъ, съ людьми сердечными, безсердечными,—это толчки нашей натурѣ при обмѣнѣ мыслей, желаній, чувствъ—сродное принимается, не осродное само собою ускользаетъ—отъ чего полнѣетъ, или бѣднѣетъ жизнь наша и вмѣстѣ разнообразится, расширяется или суживается—и только; человекъ все-таки несетъ въ себѣ самъ свою родовую, унаслѣдованную и лично имъ обработанную, природу, свой внутренній и внѣшній обликъ. Этимъ только объясняется въ каждомъ особенность духа и организма, лично ему принадлежащая, часто до того устойчивая, что не въ силахъ подавить ее и настойчивое, преднамѣренное

заранье, перевоспитаніе—основныя родовыя черты крѣпко стоятъ за себя. Эта истина, надѣясь, такъ общеизвѣстна, что не требуетъ доказательствъ, примѣровъ, ибо каждый въ себѣ самомъ носитъ на это доказательства, можетъ замѣтить и замѣчаетъ, конечно, на своихъ близкихъ, на своихъ знакомыхъ обоего пола; родители, воспитатели видятъ и подмѣчаютъ это на окружающихъ ихъ дѣтяхъ. Дѣло образованія, дѣло науки идетъ въ общемъ строгъ воспитанія единицъ и поколѣній впередъ, но неспѣшными, довольно медленными стадіями,—хотя искусственное значеніе его широко, очень важно, но въ природѣ и ея корняхъ вся сила жизни, вся сила духа.

Настало время юношеской любви и для И. З., произошло чувство вблизи молодой, доброй дѣвушки, красивой, полной наивной простоты, натуры непочатой, которую не влекли до этой минуты ни страстный голосъ, ни локоны кудрей, ни лучистый взоръ ни одного еще юноши; ея румянецъ, застыдчивость неспритворы, дѣвичья стыдливость естественна, взоръ карихъ глазъ тихъ и ясенъ; рѣчь неспѣшна, движенія неторопливы; полныя руки неизнѣжены бездѣльемъ. На всемъ, во всемъ лежитъ печать дѣловитости, простоты. Да, она, скромная, подходила по натурѣ къ скромному, нешривому юношѣ и заняла глубоко мѣсто въ сердцѣ И. З. Онъ въ женщинѣ прежде всего цѣнилъ доброту, мягкость, отзывчивость къ страданію, что всегда улавливалъ поэтическимъ чутьемъ и ясно понималъ; онъ всегда вѣрилъ въ чарующую, облагораживающую силу «хорошей» женщины въ семьѣ и обществѣ; его ласковость, чисто дѣтская мягкость къ знакомымъ, роднымъ женщинамъ были всегда искренни, полны теплоты... Съ этимъ чистымъ юношескимъ взлядомъ, съ глубокимъ уваженіемъ женщины онъ и ушелъ изъ

этого міра; тутъ жизнь не послала ему печальнаго случая къ разочарованію, и въ этомъ можно видѣть его счастье при многихъ другихъ горечахъ; съ этой стороны обстоятельства пощадили поэта, указавши ему на хорошую дѣвушку въ лицѣ Марьи Николаевны Ермаковой, которая съумѣла понять его, не оставляла въ горькое время, неотлучно была при немъ и охраняла его покой въ послѣдніе годы тяжелыхъ физическихъ, моральныхъ страданій...

Свадьба была 15-го мая въ церкви Василия Неокесарійскаго, что на Тверской улицѣ, близъ Тверскихъ воротъ; пириество прошло весело, задушевно,—И. З. пустился даже въ танцы и такъ ему понравилась эта «гимнастика ногъ», какъ онъ выражался, что вскорѣ сталъ брать уроки легкихъ танцевъ у нѣкоего знакомаго Усачева; потомъ, когда обстоятельства сколько нибудь благопріятствовали, жизнь не давила его, когда собиралось свое общество, близкое «компанство» пускался онъ нерѣдко въ танцы. Въ скучной Самарской стѣнѣ на Кумысолечебномъ заведеніи въ 1878 г., когда болѣзнь еще не такъ сильно припала къ нему, И. З. часто участвовалъ въ танцахъ въ курзалѣ.

Тихо и счастливо потекла семейная жизнь молодыхъ Суриковыхъ; отецъ и мать Суриковы полюбили скромную Марію Николаевну,—сноха и свекровь сошлись по сердцу. «Молодая,» дѣйствительно, была рукодѣльница, ничто не падало изъ ея рукъ,—всегда спокойна, ровна, она въ матери мужа видѣла добрую, любящую женщину, понимала, что именно эта воплощенная любовь воспитала ей добраго мужа, съ нѣжнымъ сердцемъ, съ чуткою душою, который всегда ей будетъ другомъ, который стоитъ неизмѣримо выше всѣхъ торювцевъ ихъ Охотнаго ряда, — сознательная или безсознательная гор-

достъ всякаго женскаго сердца видѣть, встрѣчать лучшее въ любимомъ человѣкѣ, была удовлетворена. Этотъ мужъ ко всѣмъ ближайшимъ родственникамъ—братьямъ, сестрамъ относился тепло, какъ къ кровнымъ роднымъ, вполнѣ оказывалъ постоянную помощь на дѣль и дѣломъ, часто самъ не имѣя многого, помогалъ имъ въ нуждахъ.

Торговля Суриковыхъ случайно расширилась. Въ одномъ изъ переулковъ, близъ Тверскихъ воротъ, случился пожаръ; послѣ пожара, на погорѣлыхъ мѣстахъ, нищіе набрали пять-шесть мышковъ улей, продали ихъ очень дешево въ лавку старья-железа, мѣди Суриковымъ. З. А. пришла мысль распродать эти уюлья по мелочамъ, ведерками, по низкой цѣнѣ—двѣ, три, четыре копѣйки за ведро, ближайшимъ сосѣдямъ—сосѣдкамъ чайнѣйцамъ на самовары; ули быстро разошлись, явилось на нихъ требованіе вновь. З. А. сталъ покупать уюлья мышками за сходную цѣну и продавать опять-таки ведерками, полуведерками по утрамъ и вечерамъ, когда являлся спросъ у обитателей ихъ околodka, живущихъ на гроши-копѣйки, отсюда и ведущихъ свои расходы во всемъ по грошамъ, по мелочи,—надобно «степлить себя, помягчить трудку китайской травкой»—бѣгутъ въ одну мелочную по сосѣдству, берутъ на три коп. чайку на заварку, на двѣ на три коп. сахарцу, завернутъ въ уюльную—захватятъ копѣйки на двѣ улей,—и вотъ на какія-нибудь девять-десять коп. сер. потѣютъ за чайнымъ настоемъ янтарнаго цвѣта часокъ-два, размалѣютъ, сколько потовъ сгонятъ,—счастливы себѣ отъ «тепленькаго» за свои трудовыя гроши... Бѣдному человѣку много ли иногда надобно для счастья!.. нѣсколько копѣекъ и онъ въ нѣкоторомъ родѣ—князь себѣ, его че-

любовьское самосознаніе, еіо самолюбіе поднято хотя бы на вершокъ, на одну линію,—онъ самъ себя — «самъ,» какъ бы и купеческая сила, потому все, слава Богу, есть — хлѣбъ, наваръ — «свѣженькое» и чаями «побаловались» даже... И вотъ, выходя изъ мѣстнаго требованія, изъ «спроса,» торіовля углями у Суриковыхъ привилась. Такъ потянулось годъ за годомъ, все возростая, увеличиваясь: лѣтъ черезъ пять-шесть, считая отъ начала этой торіовли, они уже заготовляли до пяти сотъ кулей угля на годъ, а лѣтъ черезъ десять годовой расходъ угля у нихъ дошелъ до тысячи кулей. Продажа угля пошла уже не только по мелочамъ, но Суриковы стали развозить уголь и по кузницамъ, образовавши большой угольный складъ, въ который угли доставлялись прямо изъ деревень, скупались оптомъ по существующимъ цѣнамъ, и куда потомъ кузнецы обращались непосредственно сами за потребнымъ имъ количествомъ, въ извѣстное время, угля. Эта отросль торіовли усилила дѣло и нѣсколько улучшила матеріальную жизнь Суриковыхъ. Грязно, черно, постоянно весь переначкаешься, наглотаешься довольно иной день угольной пылью; но что дѣлать, все перепадетъ лишняя копѣйка—нѣсть, пить, жить надо, лучшаго ничего не выпадаетъ, будешь возиться въ пыли, грязи и сажѣ...

Знакомство съ добрыми Любниковыми, когда-то окривлявшими поэтическую дѣятельность юноши Сурикова, опять у И. З. возобновилось. Марія Николаевна, урожденная Любникова, уже вышедшая замужъ за Х., богатую человека, нашла И. З. въ угольной лавкѣ, изрѣдка на «минуточку» заѣзжала туда въ открытомъ изыщномъ лондо, въ удобной каретѣ, нисколько не стѣняясь, крѣпко пожимала нѣжной рукой, мило обтянутой си-

реневой или палевой перчаткою, даровитому человеку руку, покрытую угольною пылью.

Разъ какъ-то съ громомъ-стукомъ подкатило къ лавкѣ знакомое уже И. З. лондо, не спѣша вышла изъ нею средняго роста пріятная, смуглая дама, съ приветливой улыбкой въ глазахъ и лицѣ, вспорхнула къ прилавку, обитому темной жестию, распространяя вокругъ себя нѣжный запахъ пріятныхъ духовъ, вродѣ *ylang-ylang*, или вѣрнѣе *violette de Parme*. И. З. поднялъ голову отъ какой-то книженки, поднялся за прилавкомъ. З. А. не было въ лавкѣ.

— Здравствуйте, И. З.! прозвучалъ ровно трудной ласковый голосъ и дама дыстро протянула маленькую руку въ перчатку.

— Здравствуйте, добрая Марья Николаевна!.. Перчаточку-то попортите... Погодите я малость обчищусь... и началъ наскоро оттирать ладонь о внутреннюю сторону синей длиннополки... Видите, какъ тутъ у насъ грязно...

— Что вы, Богъ съ вами, И. З., руку-то свою чистите дешевле что ли лайковой перчатки... Ихъ у меня, знаете, много дома... и сколько уютно въ магазинахъ...

Оба искренно разсмѣялись.

— Присѣсть вотъ вамъ негдѣ, хорошая барыня, — пыльно, черно?..

— И-и, что вы, или я уже постоять минуточку-другую не умѣю... Не смѣйтесь надъ бѣлоручкой-нѣженкой...

— Да такъ какъ-то неловко, — вотъ оно и сказалося...

— Будетъ вамъ... Скажите лучше — правда — вы женились, я слышала...

— Да-съ.

— Счастливы, и дѣла у васъ торювыя опять пошли?..

— Счастливы очень и... дѣла ничего... такъ себѣ...

— А стихи—какъ?.. пишутся?..
 — Мараю урывками и... рву...
 — Зачѣмъ же?..
 — Недоволенъ мноими... все какъ-то не додѣлываются...
 — А знаете, что я заѣхала... Имѣю случай познакомиться васъ съ поэтомъ А. Н. Плещеевымъ. Мужъ моей сестры знакомъ съ нимъ; онъ васъ и свезетъ... А. Н. Плещеевъ здѣсь служитъ.

— Да какъ же такъ-то... прямо... ладно ли будетъ?..
 Что я... какія мои работы...

— Хо-ро-шо-о выйдетъ, вѣрьте намъ... будетъ вамъ бирюкомъ-то быть... Смотрите, мы васъ такъ утащимъ, что вы и не догадаетесь... Стыдно будетъ послѣ!.. протыивая поспѣшно руку, смѣялась Марія Николаевна...

Минута—и исчезла; загремѣлъ экипажъ; опять стихло.. Ввернулась какая-то старушка; насыпалъ ей изъ куля И. З. лоточкомъ полуведерка угля на три коп. и эта, смотря пристально подъ ноги, вздыхая уплелась себѣ. Снова склонился, было, И. З. за прилавкомъ надъ книгою; не читается; ему не по себѣ,—мысль толкаетъ на раздумье о предстоящей встрѣчѣ съ поэтомъ Плещеевымъ... Читалъ онъ не разъ его стихотворенія: „много въ нихъ сердечной теплоты, грусти, простоты, въ иныхъ много энергіи, будящей мысль, бодрящей силы,—но душѣ ему творенія честнаго поэта; но... но... какъ встрѣтиться съ нимъ... Зачѣмъ?.. Пріятно, конечно, видѣть писателя... поэта, котораго приходилось читать, лицомъ къ лицу... послушать его... поучиться.. Боязно беспокоить... тревожить занятаго человѣка, которому до тебя нѣтъ прямого дѣла"... И поднимался И. З. отъ прилавка, и ходилъ за нимъ, въ узкомъ, короткомъ пространствѣ, и опускалъ нервно руку въ маленькій ящикъ въ прилавкѣ, идѣ хранилось нѣсколько послѣднихъ на-

бросковъ его стиховъ, пока еще не уничтоженныхъ ни своей рукой, ни рукой домашнихъ,—вынетъ, пробьжитъ,—кажется, не все «додѣлано»,—опять броситъ въ ящикъ.. Мнительность, его всегдашняя душевная болѣзнь, охватила его крутомъ; онъ переживалъ тревожныя минуты.

А. Н. Плещеевъ, всегда тепло относившійся къ молодымъ начинающимъ поэтамъ, встрѣтилъ И. З. душевно; его искренняя бѣда, простота, сердечность, грустный задумчивый взоръ голубыхъ глазъ безъ блеска, тихій, нѣсколько пѣвучій голосъ, въ которомъ слышалось что-то печальное-русское, все вообще и порознь въ частности сразу расположило къ нему И. З. и вызвало на полную откровенность, на разговоръ по-сердцу. Пили вечерній чай; толковали о литературѣ, объ общихъ явленіяхъ жизни... А. Н. Плещеевъ внимательно просмотрѣлъ, прочелъ даже въ слухъ медленно, съ выраженіемъ, пять-шесть стихотворныхъ опытовъ И. З., искренно высказалъ: «у васъ, И. З., много задушевности, правды и чувства—важныя черты въ поэзіи,—работайте смѣло... Талантъ есть, голубчикъ.. По мѣстамъ, правда, встрѣчаются шероховатости, неточности... Это не важно еще... не велика бѣда... Оставьте у меня эти «стишины,» если позволите—я нѣкоторыя выраженія подчеркну; а вы на свободу и передѣлаете, измѣните разъ-два... И тиснемъ... Тогда рѣшительные будете... Талантъ вашъ окрепнетъ; поработаете, сложится и своя у васъ форма, овладѣете вы ей временемъ, какъ и вся прочая братія—большіе, средніе и малые... Такъ, батенька, такъ; работайте безъ смущенія»...

Эти немногія слова «сердечнаго поэта», много страдавшаго, у котораго вылились когда-то горячіе звуки:—«Впередъ, друзья, безъ страха и сомнѣнія»... окри-

лили духъ вновь возникавшіаго «скорбнаго поэта» Сурикова, возбудили его силы, вдохнули энергію; а потомъ личная талантливость, настойчивая воля, упорный трудъ выдвинули его произведенія изъ ряда произведеній многихъ самоучекъ, появившихся одновременно, появлявшихся и послѣ, много спустя, частію уже умершихъ, частію перешедшихъ на другіе не стихотворныя роды творчества; онъ выработалъ свою манеру, свой стиль, не разбрасывался въ стороны въ работахъ, хлопоталъ о художественности, вынашивалъ, что называется, свои стихотворенія, не разъ переписывая, перечеркивая, «додѣлывалъ», какъ выражался,—въ немъ жилъ поэтъ-художникъ, что выдвинуло его изъ среды многихъ современныхъ ему стихотворцевъ нашихъ, часто работавшихъ одновременно, спѣшно во всѣхъ отрасляхъ литературы, нерѣдко размѣнивающихъ свои силы, свои дарованія на мѣлочи, больше и чаще ради насущнаго хлѣба, потому что жить литературной работой и жить при этомъ исключительно «стихами» нельзя,—придется нерѣдко голодать, ничѣмъ не обеспеченному матеріально поэту, пока что либо создается, обрабатывается художественно, пока напечатается въ періодической прессѣ, пока получитъ установленный на журнальномъ рынкѣ построчный гонораръ... Матеріальныя потребности не знаютъ наитій творчества, не ждутъ, не справляются съ ними... «И болитъ-надрывается грудь, и кипитъ-поспѣваетъ работа» въ темную ночь, въ ясный день—какая придется, лишь поскорѣе сбыть, благо у кого есть мѣста сбыта, поскорѣе сдать къ сроку, къ ближайшему № того или другаго органа, болѣе подходящаго, болѣе по душѣ, поскорѣе получить построчное, полустное заработку... Часто тяжела, горька жизнь литературнаго поденщика съ не-

малымъ дарованіемъ, съ талантомъ...*) Покойный И. З. Суриковъ—это еще благо для его таланта—стоялъ вдали, внѣ спѣшной литературной работы; онъ нуждался годами, страшно нуждался, бѣдствовалъ, но не жилъ, можно сказать, одной литературной работою,—это, при его положеніи, спасало въ немъ художника.

По указаніямъ А. Н. Плещеева два-три стихотворенія отдѣланы и направлены въ «Развлеченіе,» къ покойному О. Б. Миллеръ; тамъ они вскорѣ были напечатаны,—это было въ 1863 году, когда И. З. минуло 22 года. Доло молодого авторъ, порывисто перелистовавъ нѣсколько страницъ № «Развлеченія,» идѣ появилось первое его стихотвореніе въ печати, смотрѣлъ на свое литературное дѣтище, пробѣгая короткія строки и разъ, и два; радость и грусть охватили сердце; въ глазахъ стояли слезы... «Къ лучшему ли» оно «явилось на свѣтъ—Богъ знаетъ!» тѣснило раздумье душу его. «Начало сдѣлано; пускай, что будетъ, то и будетъ!...» изгоняла обычную мнительность новая мысль.

*) Мы уже просматривали узкія корректурныя полоски гранокъ этого листа „Очерка“, пробѣжали, конечно, и это мѣсто о положеніи у насъ современнаго поэта-стихотворца, живущаго исключительно литературнымъ трудомъ, высказанное нами для выясненія положенія и отношеній съ этой стороны покойнаго И. З. Сурикова, какъ намъ попался въ руки № 36 „Развлеченія“, отъ 13 сентября 1884 г., гдѣ на первой страницѣ № молодой поэтъ А. В. Кругловъ, въ стихотвореніи—„За собрата,“ отвѣчаетъ на извѣстныя строки безсмертнаго Пушкина: „Пѣвецъ — невольникъ вдохновенья, — онъ по заказу не поетъ“...

„Художникъ правъ... но жизни бремя

„Увы, имѣть свой законъ.

„И противъ воли въ наше время

„Поэтъ въ расчеты погружень.

„Не можетъ ждать онъ вдохновенья

„Когда нужда его не ждетъ.

„И полный жгучаго мученья,

„Онъ къ сроку пѣсни продаетъ.

Кто разъ выступилъ на попрѣще печатнаго слова— онъ не замолкнетъ, возврата нѣтъ—эта страсть, этотъ внутренній сжигающій огонь не потухнетъ, могутъ выпасть мѣсяцы, года, когда эта страсть можетъ стихать, влеченіе будетъ полудремасть, когда можетъ являться полуапатія, душевная истома; но нервность, направленную страстью къ творчеству, совѣсть не вычеркнешь изъ личной жизни, она, подталкивающая на привычныя работы, работы по сердцу, не замретъ до смерти. Такъ было и съ И. З. Суриковымъ.

Послѣ напечатанія первыхъ стихотвореній въ «Развлеченіи», И. З. сталъ писать усерднѣе, сталъ еще болѣе отдѣлывать свои произведенія и чаще бывать у А. Н.

„Цѣною личного страданья,
Безмѣрно-дорогой цѣной
Онъ добываетъ пропитанье
„И тихій миръ—семьѣ родной“. (А. Кругловъ).

Приводимъ изъ означеннаго стихотворенія эти искреннія строфы искренняго автора-поэта, какъ вполне подтверждающія наши наблюденія надъ положеніемъ современнаго авторства,—мы вѣримъ, они вылились въ минуты горькаго настроенія, тяжкія минуты отъ постоянныхъ работъ перомъ, которыя, что называется, не ждутъ и не даютъ ни отдыха—ни срока... Приводя этотъ отрывокъ изъ стихотворенія А. В. Круглова, мы желаемъ, выйдя съ подтвержденіемъ нашей мысли, выяснить русскому читателю, мало знакомому съ неприглядной матеріальной стороной жизни большинства авторовъ его литературы, таюшихся именно отъ крупницъ-пятачковъ ея, помимо многихъ причинъ, которыя выяснять несвоевременно, почему такъ однообразно, монотонно и неглубоко содержаніе современной поэзіи, хотя стиховъ у насъ такое обиліе, талантами, мы, кажется, не бѣдны и за легкостью стиля не пойдемъ уже къ сосѣдямъ. Читатель русской прессы, сколько-нибудь интересующійся жизнью и дѣятельностью талантливыхъ людей на его родинѣ, долженъ знать, что большинство ихъ „парія въ странѣ родной“, страдальцы несладкой жизни—ихъ удѣлъ ранняя могила,—пора бы принять это хотя къ свѣденію „сытой публикѣ“, иногда читающей же и печальные некрологи, полные обидныхъ фактовъ о горько-злосчастіи, уходящихъ то-и-знай съ литературной арены въ могилы честныхъ труженниковъ пера.—

Плещеева, идѣ ему чувствовалось хорошо, тепло, идѣ онъ слышалъ полезныя совѣты, указанія относительно внѣшнихъ, чисто стилистическихъ пріемовъ творчества.

Эти хожденія, эти уходы изъ дому, даже въ свободное время, З. А. не нравились; онъ опять хмурился и хотя изрѣдка, но говорилъ:—«Ваня, отъ дѣловъ отстаешь... Гляди, ты ужъ теперь-ка женатый... разумъ-то есть,—о семьѣ надо думать... Какіе наши недостатки, чуть что.. и совсѣмъ сковырнулись... въ нуждѣ заточемъ»...

И. З. отмалчивался.

Наконецъ дошло до отца, что сынъ печатаетъ стихи; въ трактиръ знакомые принялись подсмѣиваться:

—«А съ тобой, братъ, З. А., теперь-ка дѣло-то водить надо съ опаской... сынокъ-атъ какъ разъ въ «Листочкѣ» опишетъ... Писаки, и на-аро-децъ же... Хлѣбъ-соль водить... глядишь, ни за что продастъ... Имъ что чужой... отецъ съ матерью ихнему брату ни почемъ... Смотри, и родителей-то окрикуетъ... и... кажись, окриковалъ ужъ»...

З. А., энергично схлебывая горячій чай изъ блюдечка, блѣднѣлъ, въ сердцѣ его закипала желчь и на сына, что онъ ввязывается не въ свое дѣло, и на собесѣдниковъ, пристающихъ къ нему съ «эвдакими разговорами»...

Приходитъ въ лавку З. А. хмурый и начинаетъ:

— Ваня, ты Бога забылъ... отца въ печать понесъ!..

— Что это, тятенька, Господь съ вами...

— Люди сказываютъ... чужіе-то скорѣй доглядятъ...

Отецъ, вишь, мало ученъ... самоучкой кое-какъ грамоту-то отъ другихъ ухватилъ... и то поздно... не до книжности ему... всего напирмался волю... а ты ученъ... на свою олову, на позоръ, выходитъ, намъ твое обученье пошло...

— Какъ это не грѣхъ, тятенька... Кто тамъ наго-

ворилъ... и охота вамъ слушать лживыя рѣчи... Видите, злой народъ—и только...

— Грѣхъ тебѣ, а не намъ... можетъ, по грѣхамъ, по гордости нашихъ, Богъ и наказалъ такимъ-то сыномъ... Это вѣрно.

Что могъ сказать еще И. З. отцу объ этихъ людяхъ,—промолчать, не больше. Къ такимъ мычащимъ, ревушимъ за уломъ какъ разъ подходитъ довольно остроумная нѣмецкая поговорка: «*Unser Herrgott hat einen sehr grossen Thiergarten*» (т. е. у Господа-Бога зверинецъ великъ) и въ этомъ громадномъ *Thiergarten*ъ каждый зверь, каждое животное издаетъ, конечно, звуки когда и какъ ему вздумается обо всемъ по своему...

Размолвка эта тянулась доло; но потомъ опять все утихло и пошло своимъ чередомъ въ вѣчной сутолкъ дней и недѣль. Прошелъ годъ; время готовило впереди худшее; жизнь задалась какъ будто неуклонной задачей вести поэта скорбнымъ путемъ... Прошло лѣто 1864 года; настала осенняя сырость, полили сентябрьскіе дожди. З. А. сталъ частенько посиживать въ трактиръ, нерѣдко ворчалъ; былъ и тѣмъ, и семъ не доволенъ и дома, и въ лавкѣ; сыну нельзя было сдѣлать и шагу въ сторону... Былъ дождливый вечеръ; З. А. ввалился въ комнатку мрачный.

— Мать, Оек-му-ша—дакося квасу... горишь что-то внутри...

— Весь вышелъ, Андреанычъ,—и рада бы радостью.. совѣсть нѣтъ въ горенкѣ...

— Достань... жетъ...

Наскоро, полуодѣтая, набосу ногу, пошла ночью Оекли Григорьевна на погребъ, только бы успокоить своего Андреаныча... Долю тамъ провозилась въ полутьмѣ и должно быть застудилась... Прошелъ день; стала она

жаловаться — «головушка да головушка... ломитъ... бытто не моя... ровно свинцомъ налита»... Еще день,—совсѣмъ свалилась... Горячка охватила ее и приковала къ постели; лючили,—помощи нѣтъ... Сынъ растерялся; З. А. теменъ, вздыхаетъ на всю горенку, украдкою плачетъ; невестка не отходитъ отъ больной, охваченной жаромъ... Больная тяжело стонетъ; увидитъ сына, успокоится, слезливо смотритъ на него.—«Ванюшка... я не жилица на бѣломъ свѣтѣ... прости, радостный!..» и забудется... пять-шесть минутъ,—опять тревожно откроетъ глаза... «Ты тутъ?..»—Здѣсь, маменька... «То-то... побудь; дай наглядѣться на тебя... чуетъ мое сердечушко... не домо ужъ съ вами... Тяжело тебѣ будетъ, Ванюшка... на Бога положишь»...

1-ю октября не стало Ѳеклы Григорьевны, она скончалась на рукахъ любимаго сына тихо, покорно, какъ умиряютъ простые русскіе люди, отправляясь будто бы по обѣщанію на богомолье. Сынъ рыдалъ нервно, не утѣшно,—рыдалъ, какъ можетъ рыдать только искренняя женщина по горячо любимомъ человѣку, когда она ощущаетъ, лишившись его, полнѣйшую пустоту въ мірѣ,—дороже матери для него никого не было въ жизни,—И. З. заранѣе чувствовалъ, что она уносила съ собою въ могилу и то не многое свѣтлое, что дается послѣднему нищему—любовь матери, святую безкорыстную любовь!.. Тяжело ее потерять, еще горше не знать ее никогда...

Съ гнетущей тоскою, неутѣннымъ горемъ опущенъ темный гробъ на Пятницкомъ кладбищѣ подъ серебрястой бѣдной тополѣю, къ стволу, которой жался раскидистый кустъ бузины. Осенній вѣтеръ, протяжно завывая кружилъ поблекшіе листья надъ желтой насыпью свѣжей могилы; плакалъ вѣтеръ; плакалъ сынъ, остав-

ишь послѣднимъ, на сырой мошль, спрятавшей отъ него навсегда дорожную мать, идѣ пріютилась сиротливо мысль его и не отходила на минуту. Тихо мимѣ слезы, изрѣдка вырывались сдержанныя рыданія; а вѣтеръ вторилъ имъ и разливалъ свой плачъ дальше по сосѣднымъ мошлямъ, будто приглашая тлеющихъ тамъ мертвецовъ оплакивать съ нимъ вмѣстѣ новую пришельцу на старое Ярославское кладбище. Много тутъ лежало Ярославскихъ косточекъ,—мимо этого кладбища идетъ дорога изъ бойкаго, рѣчистаго города Ярославля, по ней въѣзжаютъ, приходятъ расторопные Ярославцы въ градъ-Москву многохрамный искать счастья, прибытковъ, шири, «вольной волюшки», рассчитывая каждый или выдти самъ, или вывести своихъ дѣтей въ Замоскворѣцкихъ воротахъ, выползти изъ стѣнаго армяка, кособокой избенки въ каменные стѣны мирной Ордынки, вырасти до имянитаго любезнаго сердцу — «самъ» идетъ, «самъ» ѣдетъ, «самъ» улыбкою даритъ... Умершихъ въ Москву Ярославцевъ въ званіи «самъ», «сама», «подсамокъ», и не добившихся этого, несутъ, везутъ ближе къ родной Ярославской дорогѣ, идѣ, храня заветы стародавней старины, и мертвому Ярославу будто бы почивать покойнѣе. Таковъ, говорятъ, обычай; а съ обычаемъ не споря, и Суриковы отъ Тверскихъ воротъ снесли на Пятницкое-Ярославское кладбище Ѳеклу Григорьевну, какъ Ярославку-Уличанку, идѣ потомъ, возлѣ матери, положенъ и поэтъ И. З. Суриковъ, хотя по мѣсту жительства къ нимъ ближе были и есть друія Московскія кладбища, какъ напр. Ваганьковское, лежащее, нѣсколько влѣво, за Прѣсненской заставою.

Потянулось время медленно, молчаливо; въ горенкѣ Суриковыхъ говорили мало, а если о чемъ и заговаривали,

то тихо, будто бы боясь потревожить больную, какъ это было предъ кончиною *Θ. Г.*

З. А. опустился, по ночамъ нерѣдко бредилъ, днемъ «заговаривался». Знакомые благопріятели взялись лечить ея отъ тоски, нашли какую-то старушку-начетчицу, которая читала надъ нимъ многими вечерами избранныя поученія *Іоанна Златоустаго*. Это «отчитываніе» послѣ похоронъ *Θ. Г.* тянулось мѣсяца два. Вдовецъ, казалось, нѣсколько ободрился, сталъ ласковѣе къ сыну, продолжительнѣе разговаривалъ съ нимъ о текущемъ дѣлѣ, хотя минутами и вздыхалъ. Въ концѣ декабря до сына дошелъ слухъ, что отецъ идѣ-то высказался: «подумываю жесниться...» Переходы у русскаго человѣка и съ сильной волей отъ тоски-печали къ радости-веселью часто бываютъ рѣзки. Чѣмъ объяснить это явленіе въ натурѣ русскаго человѣка: національною ли молодостью, или сильною жаждою къ разнообразію впечатленій, вѣчному исканію чего-то новаго, что хочется ему извѣдать, пережить, въ чемъ бы ни на ссть изжить безпокойную силу, или лежатъ въ этой широкой неустановившейся натурѣ иныя нецѣловимыя побужденія—рѣшати не беремся, но фактовъ—далеко не сдвинутыхъ—у насъ встрѣчается много повсюду. Такой рѣзкій переходъ отъ страшной тоски по покойной женѣ къ выбору новой подружки надломленной жизни, переходъ, казалось, поспѣшный случился и у *З. А.* Таже старушка, утолявшая тоску ея чтеніемъ назидательныхъ поученій, насовѣтовала и выискала «предметъ» — вторую жену. Надежда Николаевна Палкина, дѣвица лѣтъ за тридцать, по разсказамъ, «поморскаго толка» была разхвалена прѣстарѣлой «утѣшительницею,» которая знала мать ея, занимавшуюся вмѣстѣ съ дочерью въ какой-то большой кондитерской

изготовленіемъ конффектъ разныхъ сортовъ,—на этой-то дѣвицѣ Палкиной З. А. и женился въ январь 1865 г.,—ровно черезъ три мѣсяца послѣ похоронъ первой жены Ѳ. Г. Вторая жена цѣрюмая, озлобленная на міръ и людей не ея кружи, не ея вѣровацій, своенравная, вышедшая замужъ, кажется, затѣмъ, чтобы первое—не оставаться старою дѣвою, второе — жить полною хозяйкою, быть независимой, не глядѣть изъ чужихъ рукъ. Она съ первыхъ же дней появленія въ квартирѣ Суриковыхъ внесла въ тихую семью раздоры и свары... Н. Н. привела съ собою какого-то мальчика лѣтъ пяти, называя его крестникомъ, цѣлые дни возилась съ нимъ, устраивая бурныя сцены мужу, И. З., женѣ послѣднюю—Маріи Николаевнѣ, ссоря отца съ сыномъ, жалуясь, наговаривая на И. З.,—въ домъ была не жизнь, а постоянное раздраженіе, адъ... То слышался настойчивый окликъ: «зачѣмъ эту чашку брали?... обмиричили!..» — Да, что вы, Н. Н., кому нужна ваша чашка?! «Ужъ вижу-вижу опоганили...» поднимается брань, волненія изъ-за чашки.. Успѣлась вся семья за столъ обѣдать,—Н. Н. нарочно заводитъ въ маленькой комнаткѣ бѣготню, игру со своимъ мальчикомъ, возитія, шумитъ, намѣренно не давая никому покоя. Гдѣ только можно, чѣмъ только можно эта женищина желаетъ показать свою силу, главенство, самодурство мачихи... Такъ тянется мѣсяцъ; И. З. теряетъ голову, не зная какъ поставить себя въ семьѣ, чтобы не входить въ ежедневныя размолвки и ссоры съ отцемъ изъ-за мелочныхъ претензій безпокойной мачихи, — ему больно обидѣть отца, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ не находитъ никакой возможности такъ тянуть жизнь далѣе.

— Ну, тягенька, прискорбно мнѣ,—а намъ съ Машей, вѣрно, остается одно: переехать на отдѣльную квар-

тиру, — нѣтъ никакихъ способовъ ужиться съ «маленькой!» Строптивая она, — видите сами... будемъ жить въ разноту, что дѣлать...

— Неладно это, Ваня, ты затѣвасишь: погоди, обмякнѣтъ... Вижу самъ, правна... обживется...

— Какъ знаете тамъ... силъ моихъ нѣтъ!..

Вскорѣ И. З. уходитъ отъ отца; начинаются тяжелыя скитанія; ищетъ онъ работы. Большой городъ, дѣла въ немъ много и рукъ требуется много; но бѣдному человѣку, именно, въ большихъ городахъ не скоро дается подходящая работа въ руки, — бьются тамъ люди, живущіе личнымъ трудомъ, какъ рыба объ ледъ, и при знакомствѣ не скоро находятъ дѣло... Часто на одно и то же занятіе является много соискателей... Такъ случилось и съ И. З., — работа не шла къ нему въ руки, какъ ртуть ускользала... По старому знакомству онъ встрѣтился въ это время съ В. А. Баталинымъ, у котораго какъ разъ столкнулось много дѣловой переписки, — взявъ И. З. переписку, — перебѣляетъ листъ за листомъ дни и ночи, — три-четыре недѣли есть занятіе, есть копѣчный заработокъ... Кончилась переписка и опять нѣтъ дѣла; но г. Баталинъ дастъ ему рекомендательное письмо М. Н. Щ. къ В. Е. Г—ву; у послѣдняго большая типографія, куда молодые грамотные юноши, ежедневно заходятъ искать мѣста наборщиковъ, съ дѣтства учившіеся этому нелегкому ремеслу. Идетъ съ письмомъ г. Щ. на Пречистенку въ типографію г. Г—ва И. З., чтобы поступить въ наборщики, — не знаетъ онъ техники этого дѣла, но, какъ человѣкъ грамотный, надѣется скоро одолѣть типографскую премудрость...

Обширная контора; массивный столъ, заваленный длинными полосами печатныхъ оттисковъ въ фран-

кахъ, сърыми сверстанными листами корректуръ, правленнхъ, съ помѣтками, порванныхъ на страницы сводокъ, свѣрокъ; тутъ же свѣжіе томы только что отпечатанныхъ книгъ, образцы шрифтовъ, образцы бѣлой, цвѣтной бумаги. По срединѣ у стола сидитъ плечистый, рослый хозяинъ съ волнистыми волосами до плечъ,—онъ было разсматриваетъ книгу заказовъ; тихо шелестятъ листы подъ широкой ладонью... Направо плотно припалъ грудью къ столу мужчина мѣтъ за тридцать съ черной окладистой бородою,—большой морщинистый лобъ съ залысиною, короткіе торчкомъ волосы, густыя, нависшія брови придаютъ суровый, нѣсколько мрачный колоритъ фигурѣ; но черныя, умные глаза говорятъ о добротѣ и съ перваго взгляда располагаютъ къ нему новаго человѣка,—это главный факторъ и управляющій типографіи г. П.; онъ сосредоточенно возится надъ какимъ-то длиннымъ счетомъ вновь напечатанной книги. Намъ въ сухой старичекъ, низко опустивъ очки на мясистый кончикъ носа, весь ушелъ въ пестрыя строки узкой корректурной франки, то-и-дѣло почерчивая на боку прямая, кривая линія, тоненько означалъ при нихъ буквы, какія тутъ или тамъ должны быть въ строкѣ по рукописи автора,—это корректоръ.

Минутъ десять уже стоялъ вблизи этихъ лицъ И. З.; раза два онъ уже тихо покашливалъ,—его не замѣчали занятые люди, каждый своимъ; а онъ не рѣшался отрывать ихъ отъ дѣла; наконецъ подалъ голосъ:

— Могу я видѣть г. Г—ва?

Сидѣвшій по срединѣ энергично повернулся въ полюбовота; голосъ его прозвучалъ твердо:

— Онъ-самый!.. Какое до меня дѣло?

— Вотъ-съ... письмо... отъ г. Ц.

— Позвольте!.. прищурясь и быстро осматривая стоявшего, протянул коротко фразу и вмѣстѣ руку къ письму прямой нравомъ В. Е. Г-въ.

Пауза. Наскоро оборванъ конвертъ письма, было прочитано послѣднее; еще разъ свѣтлосѣрыя съ блескомъ глаза съ ногъ до головы осмотрѣли пришедшаго и В. Е., машинально передавая письмо обратно, сказалъ:

— Ладно; можете у меня имѣть дѣло... Кстати, вы идѣ-нибудь работали по типографіямъ?..

— Нѣ-ѣ-тъ-съ...

— Не бѣда... и медвѣдю пляска дается... старательный человѣкъ, захочетъ, все одолѣетъ...

Урюмый П., поднявъ голову отъ своего счета, вслушивался въ этотъ разговоръ внимательно, пристально разсматривая плохо одѣтаго молодого человѣка; во взоръ его замѣтно было участіе.

— П. поручите тамъ кому-нибудь потолковать вотъ ихъ обучить набору,—обратился теперь В. Е. къ молчаливому фактору.

— Ка-ра-шо-о...

— Идите-ка смѣло въ наборную... тамъ вамъ все что и какъ покажутъ!.. сказалъ въ заключеніе г. Г-въ и опять повернулся къ столу.

Коренастый г. П. находу, съ едва замѣтной улыбкою, обронилъ:

— Ню-ю, ходимъ сюда!.. и быстро зашагалъ, всунувъ руки глубоко въ карманы широкаго пиджака; И. З. слѣдовалъ за нимъ по пятамъ.

Прошли они одну-двѣ комнаты среди машинъ, идѣ шумно вертѣлись колеса, быстро падали печатные листы.

Въ третьей обширной комнатѣ длинной линіею у кассъ *) мелькали безостановочно, какъ маятники стѣнныхъ часовъ въ часовомъ магазинѣ, привычныя къ дѣлу, проворныя руки наборщиковъ,—видны больше блѣдныя испитыя лица.

— 1. Ма-лыш-ка-а!..

— Что изволите, 1. факторъ? отозвался молодой человекъ съ черными усиками, съ курчавой головою и чахоточнымъ розово-матовымъ румянцемъ на щекахъ...

— Вотъ молодой человекъ обучать будетъ... ставьте ближе себѣ къ свободна касса... покажите кассъ... потомъ давайте верстатка, **) пускай съ печатна листъ наборъ дѣлаетъ... все по порядку... ви по-ни-ма-ите?..

— Понимаю, 1. факторъ... обучить, значитъ, набору...

— А-а... тэкъ—тэкъ, голубецъ...

П. окинулъ быстрымъ взглядомъ наборную, повернулся къ двери и зашагалъ обратно.

— Васъ какъ звать-та? опросилъ Малышкинъ своего взрослого ученика.

— И. З. Суриковъ...

— Такъ, И. З., становитесь вотъ къ этой кассѣ и я вамъ расскажу, что нужно знать нашему брату наборщику...

Цѣлый день провозился И. З., знакомясь съ размѣщеніемъ буквъ по кассѣ, потомъ съ первымъ наборомъ съ печатнаго листика, не зная хорошенько какъ отдѣлять слова и знаки

*) Типографская касса—широкій, плоскій ящикъ съ мелкими отдѣленіями, вродѣ ячеекъ пчелинаго сота, гдѣ въ извѣстномъ порядкѣ размѣщаются литыя буквы алфавита одного какого-либо шрифта.—

**) Верстатка, по-нѣмецки Winkelhaken (угольникъ), узкая металлическая дощечка длиною четверть и болѣе, имѣющая двѣ стороны закрытыя стѣнками, заднюю и одну боковую, остальные свободныя. На такую дощечку каждый наборщикъ помѣщаетъ изъ кѣтокъ кассы букву за буквою по рукописи автора, пока такимъ образомъ не наберется полная строка извѣстной

препинанія разными тамъ крулыми, полукрулыми, тонкими, то-и-знай скользящими изъ руки, шпацами,— постоянно обращался за справками къ Малышкину, потѣлъ и мучался. На другой день тоже, на третій тоже... Невкогда было и присмотрѣться къ окружающему; всѣ были въ своей стихіи, минутами даже острили другъ надъ другомъ, стряхивая мозговую одурь однообразной утомительной работы автоматовъ, поставленныхъ на цѣлый Божій день при ящикахъ; онъ одинъ чувствовалъ себя на чужомъ полѣ, при чужомъ дѣлѣ, которое ему дается туго, какъ китайская грамота. Прошло шесть дней занятій въ типографіи г. Г-ва, И. З. почувствовалъ себя не здоровымъ,—все это время онъ путешествовалъ на работу въ старомъ полуотрепанномъ платьѣ, простудился, явилась лихорадка, перемогался недѣлю и вдругъ совсѣмъ свалился, организмъ его охватилъ жаръ, — провалялся мѣсяцъ. Нужда одолевала въ конецъ. Жена М. Н. хотя и брала кое-какое шитье бѣлья, но много ли заработаетъ этимъ трудомъ, не занимаясь имъ прежде спеціально. Пришлось заложить и перезаложить шубки, бурнусы, накидки, разное платье, даже иконы, которыми пять лѣтъ назадъ передъ веселой свадьбою благословляли ихъ; нужда подступала настойчивѣе... Молодые силы одоляли болѣзнь,—одолеютъ ли онъ голодъ, лишенія, нравственныя терзанія—вопросъ... Дѣла нѣтъ ровно никакого хотя бы и на грошъ въ день. Идти въ типографію и работать тамъ даромъ, пока обучишься почти не извѣст-

мѣры, за ней идетъ по порядку вторая и т. д. строки, отдѣляемыя тонкими металлическими пластинками-шпонами. Въ верстаткѣ помѣщается 6—12 строкъ, смотря по плотности шрифта. Полная верстка освобождается отъ строкъ набора, который такимъ образомъ постепенно переносится на наборную доску, перевязывается, образуя длинную полосу набора—*трамку*.

ному для тебя дѣлу, въ которомъ шестидневныя занятія уже убѣдили, что изучишь сго не скоро, а потомъ при природной близорукости можешь зарабатывать столько, что врядъ ли и однимъ хлѣбомъ прокормишь себя. Пока обучаешься, чѣмъ будешь питаться?.. Мутно въ голову; щемитъ тоска обездоленное сердце; бѣжитъ сонъ въ длинныя осеннія ночи... Лучше бы исчезнуть, незамѣтно пропасть со свѣта для всѣхъ, кто тебя знаетъ, кто тебѣ еще близокъ. Является досадливое чувство, настойчивая мысль: «зачѣмъ не умеръ отъ горячки,—она являлась какъ разъ во время... Вотъ и счастье смерти ушло, неизвестно для какихъ еще испытаній ушла смерть,— вотъ-вотъ изъ-подъ носа, изъ рукъ ускользнула!..» Страшное нравственное состояніе, когда въра въ себя, жажда жизни оставляютъ человека,—является туманъ, какое-то инстинктивное влеченіе покончить съ собою разомъ,— въ такія минуты самая ничтожная полоска отдѣляетъ умъ отъ умопомышательства.

Сѣрая осенняя ночь; мороситъ мелкій дождь; далеко за полночь. И. З. лежитъ на узкомъ диванѣ; онъ не можетъ заснуть; мысль покончить съ собою его преслѣдуетъ неотвязно... Поднялъ голову, прислушался—тихо; жена спитъ крѣпко на пустомъ сундукѣ, который рѣшительно тоже пуститъ въ закладъ; слышенъ ровный храпъ на-мученной работою женщины. Поднялся, захватилъ въ руки дырявыя сапоги, картузъ, еле ступая, выскользнулъ въ дверь, въ чемъ лежалъ, не раздѣваясь; въ калиткѣ подвернулась подъ ноги собаченка, жалобно взвизгнула и скрылась съ воемъ на сосѣдній дворъ. И. З. идетъ машинально, гадательно къ Большому Каменному мосту. Ему душно и на открытомъ сыромъ воздухѣ; дождь стѣсетъ, какъ изъ сита; подъ ногами лужи. Чѣмъ больше

ускоряетъ онъ шаги, тѣмъ болѣе ощущаетъ туманъ въ голову, пустоту внутри: хотя бы ничтожное желаніе, какой-нибудь человѣческій образъ мелькнулъ на минуту въ душу—злора, любовь что ли къ кому,—память будто бы отказалась отъ своей работы,—одна, едва ощущаемая—и то полусознательно — жажда не сознавать себя, потеряться...

Темный Каменный мостъ пустъ,—ни души; все спитъ, спитъ подъ дождемъ и старый солдатикъ у полосатой будки вблизи высокой деревянной тумбы со ржавой желѣзной кружкою—«для нищихъ и убогихъ.» Какъ тѣнь скользитъ около перилъ И. З.; взглянетъ черезъ одно рѣшеччатое звѣно внизъ, посмотритъ черезъ другое: и путь, и тамъ порывисто плещется Москва-рѣка,—охватываетъ дрожь, тусклый взоръ направляется въ сторону, вверхъ—тамъ ни звѣдочки, ни одной бѣлой полосы; идетъ дальше, цѣпляясь за перила. Опять смотритъ, перевѣсилъ,—въ вискахъ стучитъ, начались галлюцинаціи: вотъ выступаетъ изъ плещущихъ водъ какое-то блѣдное лице,—вотъ другое смуглое, изъ полузакрытыхъ глазъ струятся слезы... чу, будто дѣтскій плачь, потомъ вой... пропало все... И. З. хватается за голову и опускается безпомощно на перила въ изнеможеніи... Проходитъ полчаса; онъ собираетъ въ себѣ силы и хочетъ разомъ ринуться внизъ: предъ нимъ въ туманномъ воздухѣ выплываетъ, какъ живое, желтое страдальческое лице матери; въ ушахъ явственно звучитъ скорбный болѣзненный голосъ: «ро-ди-и-мый»!... Ему вдругъ приходитъ на память: этотъ же голосъ, эти же звуки часто слышались, бывало, въ дѣтствѣ, въ деревнѣ. Онъ очнулся, прислушался—звуки исчезли, голоса нѣтъ,—всматривается въ даль, видѣнныя скрылось; нервно повертывается

голову на право, ищетъ родное лице,—предъ нимъ голубѣетъ полукруглая часовня Чудотворца Николая; онъ дрожитъ какъ въ лихорадкѣ... Крутомъ бѣлѣетъ раннее утро; дождь стихъ. По мосту тяжело застучалъ крытый экипажъ; двое молодыхъ Замосквортыцкихъ гулякъ катяты обнявшихъ, видимо, съ широкой попойки подъ кровли «тятенькиныхъ» домовъ; экипажъ поровнялся, двигаясь шагомъ, одинъ изъ сидѣвшихъ потрезвѣе перевѣсилъ въ сторону понуро стоявшаго у перилъ И. З., буркнулъ: «Митка, ля-ди-и-ка какой-то пьянь-чу-ушка все путается еще... а мы, братецъ, чесь - чесью... въ свое тоись вре-мя-я»... Въ отвѣтъ послышалось хриплое мычаніе—«м-м-м!» лежавшаго, что называется, вовсю... Экипажъ удалился, а «м-м-м!..» звучало еще доло на мосту и за мостомъ; должно быть, мычавшій усиливался извлечь изъ себя еще какое-либо слово и не могъ, былъ безпомощенъ, а потому и тянулъ озлобленно—«м-м-м!..»

Совсѣмъ ободняло; загудѣли кремлевскіе колокола; И. З. сошелъ съ моста, походилъ по Софійской набережной; доло вертѣлся около часовни Чудотворца Николая, прошелъ по грязной Всесвятской улицѣ на Болотную площадь, тамъ уже шумѣлъ народъ около возовъ съ хлѣбомъ; городской прасолъ обходилъ деревенскаго мужика, сбивая цѣны; мужикъ отмалчивался, изрядка развѣ, вздохнувъ, протянетъ на очень настойчивое приставанье:—«Ну, по рукамъ, умникъ!» — Сюдимъ, ми-ла-ай... може цѣны и на наше стануть... «Дѣдушка ласковый, хоро-о-шо-о даемъ, помереть, прогадаешь»...—Помереть за себя никого не понудимъ... сами померѣмъ... Эгозишь ты, мила-ай, во што...знамо для дѣтокъ рачишь и у насъ въ хибарѣ-то полнымъ полно ихъ... тоже выкормить надоть; а ты шуткаль двѣ коп. съ костей долой... Ни, милай... ходи даль...

Слушалъ все это И. З. и пуще ныла его грудь... Деревня босая горькая стала передъ нимъ во всей наготѣ... Вспомнилась мать и потянуло его къ ней на могилу...

Великую силу материнскаго чувства тонко измѣдовалъ въ людяхъ и самъ внутренне пережилъ покойный поэтъ Н. А. Некрасовъ, высказавъ многое въ немногихъ строкахъ:

«Великое чувство! у каждыхъ дверей,
«Въ какой сторонѣ ни зайдѣмъ,
«Мы слышимъ, какъ дѣти зовутъ матерей
«Далекихъ, но рвущихся къ дѣтямъ.

«Великое чувство! Ею до конца
«Мы живо въ души сохраняемъ,
«Мы любимъ сестру, и жену, и отца,
«Но въ мукахъ мы мать вспоминаемъ!»

Въ тяжелыхъ внутреннихъ мукахъ шелъ теперь къ могилѣ матери и И. З.; дождь опять стѣлалъ надъ Москвою; подавленный нуждою и горемъ молодой человекъ шелъ весь промокивая къ Пятницкому кладбищу; изъ дырявыхъ сапогъ летѣли брызги, хлюпали намоченныя ноги... Путь былъ неблизокъ... Вотъ и кладбище... вотъ и сырая могила, покрытая палымъ листомъ... Каркнула протяжно глупая ворона, завидя подходившаго, и тяжело взмахнула съ темныхъ вѣтвей почти безлистнаго дерева, перелетая дальше... Стоитъ у родной могилы обездоленный сынъ; распахнулись широко полы стараго сюртука; порванный картузъ брошенъ въ сторону на желтые листья; дождь мочитъ открытую голову; холодитъ тѣло; но яснѣютъ мысли... Напряженный взглядъ ушелъ безцѣльно впередъ; «слезъ нѣтъ на глазахъ...» Стоящій какъ будто не сознаетъ что съ нимъ, идѣтъ онъ; но внутри просыпается жажда жизни, является вѣра въ свои силы,—грудь

всколыхнулась «на борьбу съ суровой судьбой...» Пронесся протяжный, будто замогильный вздох—еще и еще; все стихло въ туди, кругомъ... Нѣтъ, теперь онъ далекъ отъ Каменнаго моста съ его мутной, холодной Москвой-рѣкой... Нѣтъ, «въ горячей туди его еще кровь горитъ;» въ ней «кипитъ много еще силъ»... Нѣтъ, умретъ онъ съ борьбою и въ борьбѣ съ бездольемъ, выпивъ до дна горькую чашу труда,—умретъ, когда нечѣмъ будетъ дышать, тогда онъ по праву честнаго борца займетъ свое мѣсто «рядышкомъ съ родной»... Тогда только настанетъ время спать спокойно въ сырой землѣ, въ молчаливомъ забвеніи горя-страданій и всего, что волнуетъ міръ, хотя надъ нимъ и «будетъ солнце жаркое сіять; будутъ звѣзды золотыя во всю ночь блистать; будетъ вѣтеръ безпкойный пѣсни свои пѣть, надъ могилой — серебристой тополѣю шумѣть; будетъ вьюга плакать, голосить...

«Но напрасно,—силъ имѣвшихъ
«Ей не разбудить...» *) (И. Суриковъ.)

Теперь рано прятать себя въ землѣ,—физическихъ и моральныхъ силъ много—онъ еще неизжиты... Припалъ онъ безъ рыданій, безъ вздоховъ къ могилѣ,—энергично поднялся и пошелъ обратно въ волнующійся общимъ теченіемъ жизни, шумный городъ... Снуетъ взадъ-впередъ народъ по мокрымъ улицамъ, скачутъ экипажи, обгоня другъ друга, обдавая липкой грязью пѣшиходовъ... Вотъ она жизнь со всѣмъ ея шумомъ-гамомъ, мелочами, крупными и малыми затѣями—нѣтъ тутъ и на минуточку

*) Изъ стих. „У могилы матерн“, написаннаго въ 1866 г.,—ровно черезъ полгода послѣ изображаемаго на этой страницѣ обстоятельства изъ жизни покойнаго поэта-автора этого глубоко элегическаго, вполне прочувствованнаго и пережитаго произведенія.

мысли о смерти, — тутъ ей не мѣсто, тутъ она страшная бука только для робкой, пугливой души. Что о ней думать: придетъ къ каждому само собою въ его часъ-минуту; а жизнь несетъ свой бурный, мутный потокъ — и мчись въ немъ и съ нимъ вмѣстѣ, неперегорѣвшій пока человѣкъ, ищи наслажденій, хлѣба, издательныхъ радостей, счастья, хлѣба и наслажденій, — таковы законы безпокойной, смѣющейся сквозь слезы и плачущей сквозь смѣхъ, вѣчно юной жизни... Идетъ И. З. по городу, пропадаютъ зади улица за улицу.. Завернулъ на Срѣтенскій бульваръ; безлюдно; скупо проглянуло солнце среди сѣрыхъ разорванныхъ облаковъ и золотой струей подернуло коричневую листву, кое-гдѣ уцѣлѣвшую на жидкихъ деревьяхъ; какъ позднія тихія слезы о прошлой утратѣ, роняли тощія вѣтви нависшія дождевыя капли. По срединѣ бульвара, какъ трагическое изваяніе гениальнаго скульптора, одиноко стояла молодая дѣвушка въ черномъ бурнусѣ, въ шляпѣ съ крыломъ какой-то невѣдомой птицы; вздернутый характерно носъ на смугломъ, чуть заалѣвшемъ личикѣ, теплый взоръ черныхъ, спокойныхъ очей, съ едва замѣтною улыбкою, дрожащей на тонкихъ губахъ ясно говорили о пробужденіи чувства въ молодомъ сердцѣ... Дѣвушка разсматривала кабинетный портретъ, наполовину вытянутый изъ большаго конверта, — портретъ, видимо, пробный, только что взятый отъ фотографа, — взоръ прикованъ къ изображенію ея же живаго лица, — тамъ, на карточкѣ, та же улыбка стыдливо прячется въ углахъ губъ, съ легкимъ, темнымъ пушкомъ... Что думаетъ, о комъ, о чемъ мечтаетъ «милая дѣвушка,» разглядывая отъ нетерпѣнья даже на перепутьѣ свое молодое лицо, желая еще и еще прослѣдить: вѣрно ли, хорошо ли оно вышло на карточкѣ, —

для кого эта карточка, кто властитель ея думъ въ ночи и днемъ, во снѣ и на-яву — не разгадать; но она счастлива вполне—и благо ей!... Она никого не замѣтитъ теперь,—не замѣтила замечтавшаяся дѣвушка и проходившаго сзади, почти вблизи, И Э.; онъ невольно заглянулъ черезъ плечо на ея карточку и пріятно улыбнулся, какъ улыбаемся мы при всякомъ настроеніи духа, пожалуй, инстинктивно, встрѣчая что-либо неожиданно наивное и вмѣстѣ трагіозное... Прошелъ дальше; оглянулся; дѣвушка все еще стоитъ, не поворачивая головы, въ той же позѣ, съ той же застывшей улыбкою, только чуть замѣтно трепещутъ ея длинныя, темныя рѣсницы и нѣтъ-нѣтъ движутся густыя брови... Уличная встрѣча, конечно; но иногда, повидимому, ничтожная полоска изъ человеческой жизни, случайно мелькнувшая, дѣйствуетъ мягко и сильно на больную, намученную душу,—такъ вышло и тутъ: теплое и свѣтлое повѣяло вдругъ на скорбное сердце поэта... Постоялъ онъ въ сторонкѣ минуту, любясь этой живой картинкою и зашагалъ бодрѣе, вытягивая на ходу изъ кармана стѣрыі обрывокъ бумаги, огрызокъ карандаша и въ концѣ бульвара, «притулившись» къ столбу, зачертилъ: «Чувство горячее... жаръ въ крови... Смотритъ и смѣется... на губахъ улыбка... Трепетны рѣсницы... Молодая сердца молодая ирезы... Надо картинно развить и обставить драпировочкой пробужденіе дѣвичьяго чувства—первое легкое пробужденіе, когда хочется смѣяться, плакать безъ всякаго горя... и говорить, лепетать съ первымъ встрѣчнымъ... Осень; природа замираетъ... Чувство отъ погоды вѣдь не зависитъ, хотя поэты это легкое пробужденіе обставляютъ чаще картиной весны; но контрасты могутъ дать большіе силы»... Сунулъ клочекъ въ

карманъ и пошелъ своей дороюю. Эта картинка не пропала въ наброскѣ поэта; черезъ нѣсколько мѣсяцевъ онъ ею воспользовался: замаскировавъ свою встрѣчу, набросалъ стихотвореніе: «Ночью,» (см. 140 стран. этой книги), идѣ обрисовалъ пробужденіе чувства любви въ двѣушкѣ въ дождливую осеннюю ночь; позднѣе въ 1869 г. тоже пробужденіе обставилъ иною картиной въ стихотвореніи «Грезы» (см. стран. 132), а въ 1875 г. нарисовалъ и весеннее пробужденіе того же чувства въ двѣвичьемъ сердцѣ въ произведеніи «Весной» (см. стран. 134). Въ наброскахъ И. З., которые дѣлалъ онъ на перепутьѣ, бывало неболѣе двухъ-четырехъ строчекъ стихотворенія, записанныхъ большею частію прозою, иногда пять-шесть словъ созвучныхъ, занесенныхъ колонкою, вродѣ рифмъ, и почти всегда общая идея произведенія, возникавшая въ душѣ его именно въ ту минуту—и только. Спустя много времени изъ подобнаго матеріала разрабатывалось какое-либо стихотвореніе,—нерѣдко такіе клочки терялись и поэтъ, случайно вспомнивъ о содержаніи, когда-то набросанномъ на обрывокъ бумаги, компоновалъ уже свою «стишинку» сразу, если мотивы ея вновь волновали его душу.

Идетъ И. З. далѣе бульварами; внутреннее чувство тянетъ его зайти къ отцу, «провѣдать,» что дѣлается у него и съ нимъ; въ сердцѣ поднялась жалость къ «тятенькѣ,» котораго, поди, теперь пѣтъ поѣдомъ «новая маменька». Шелъ-шелъ, притомились ноги и онъ опустился на первую попавшуюся на глаза скамейку,—на какомъ это было бульварѣ, И. З. потомъ забылъ; на него напало глубокое раздумье о положеніи отца, о положеніи своемъ... Погруженный въ невеселыя думы, онъ не замѣтилъ, какъ, откуда явился и подстѣлъ къ нему низенькій гос-

подинъ съ помятой одутловою фізіономіей, въ засаленной фуражкѣ съ краснымъ вытертымъ околышемъ, въ потерявшемъ цвѣтъ и мѣстами покрытомъ заплатами пальто.

— Милый человѣкъ!... Милый че-ло-вѣкъ!... очнись отъ думы печальной!... прохрипѣлъ надъ самымъ ухомъ голосъ подспышаго и спиртный запахъ густо обвѣялъ кислую гарию.

И. З. невольно вздрогнулъ, оглянувшись—предъ нимъ, что называется, носъ къ носу, опухшее багровое лице, воспаленныя вѣки, безцвѣтныя съ розовыми прожилками глаза; подобострастный, блуждающій взоръ скользилъ и по плечу, и по груди, и по лицу молча смотрящаго теперь во всю глаза грустаго молодого человѣка съ легкой золотистой бородакою.

— Ка-пи-та-анъ арміи Платонъ Пыгушевъ!... отрекомендовался, поднявшись на минуту и сдѣлавъ подъ козырекъ, назойливый незнакомый знакомецъ и вяло опустился опять на скамью... По неизмѣнно воинскаго духу уволенъ, милая душа, въ безсрочную... безъ мундира... понимаете, безъ мун-ди-ира!... Энергично рапортовалъ капитанъ, размахнувъ широко исхудалой рукою... Ни жены, ни дѣтей, ни роду, ни племени,—всѣмъ чужой... птица, въ нѣкоторомъ родѣ... сирота... Соблаговолите капитану на усладу даха...

— Самъ ничего не имѣю,—извините...

— Собратъ, значитъ, по просительной части... Понимаю,—нашъ братъ!... заключилъ воинъ безъ воинскаго духа, оглядывая, нѣсколько прищурясь, съ ногъ до головы И. З. съ радостной улыбкою, будто вотъ-вотъ встрѣтилъ стараго друга.

' — Я не просилъ и не прошу подаянія ни у кого!... съ ифустью въ голось отвѣтилъ мяко И. З.

— Что сокрыто тамъ, въ небесной канцеляріи, мы, соколикъ, не въдаемъ!.. взмахнувъ указательнымъ перстомъ вверхъ, какъ актеръ старой школы, продиктовалъ капитанъ... Не въдаемъ, миленькай, не въ-да-емъ!.. повторилъ онъ протяжно, какъ бы вдумываясь въ свои слова и, перемѣнивъ тонъ, продолжалъ: Человѣкъ вы безъ назначенія, выходитъ,—тоже понимаю-съ... Вашу драгоцѣнную руку, другъ мой по одинаковости положенія... Идемъ въ мѣсто забвенія... Чу-дес-ное я знаю тутъ мѣстечко... рай... обиженному сердцу улада!...

Смерклося; изъ уловаго ирязенькаго трактира, откуда слышались крикливые голоса, гамъ и споры, еле сползали по ступенькамъ воинъ Пыгушевъ и И. З., поддерживая другъ друга подъ руку; капитанъ хриплъ: «Ну-у, хо-ро-шо-о теперь, Ва-аня, на сердце, — а-а?...» Хо-ро-шо!.. былъ ифустный отвѣтъ.—«Чудесно!.. То-то... а ты давиче унирался. Платонъ болѣзнь твою понялъ, братъ,—сразу понялъ... Глазомъ у Пыгушева втрѣнь... лѣкарство его первое,—всѣмъ лѣкарствамъ лѣкарство... И ходи сюда... Чуть что и сюда... заскребетъ эдакъ на сердце жизнь-то кошечьею лапой—и сюда... Слышь, сюда... Тутъ все родная «горькая» какъ рукой сниметъ... Сюда-а.. сюда-а,» мотая головой, тише и тише повторялъ, какъ припѣвъ развитившійся Пыгушевъ свое: «сюда...» И вдругъ воспрянувъ, обнялъ И. З., со слезами въ охрипшемъ голосѣ затянулъ: «Другъ по оружію, дай поцалую... душа у тебя, Ва-а-ня, ан-гель-ская... на дорогѣ ты теперь настоящей, другъ... да-а, настоящей... я тебя ее указалъ... я,—потому полюбилъ тебя, съ дного взгляда полюбилъ... Мякотъ-человѣкъ!.. Завтра прибудишь сюда?!» — При-бу-ду-у!.. —

«Вотъ душевность понимаю... вижу, истинный другъ... безъ лести то есть... Та-акъ!... и помни, тащи что-нибудь... одно слово тащи всякую штуку... сбудемъ и просвѣтленіе найдемъ!..» Постояли, молча посмотрѣли другъ другу въ глаза, еще разъ облобызались и разошлись, прихрамывая, въ разныя стороны, уже безъ словесныхъ излияній... Сошлись на другой, на третій день; а потомъ воинъ, какъ духъ, сталъ всюду подкарауливать друга и настойчиво таскать въ «мѣста забвенія»,—«злачныхъ уюлковъ» просвѣтленія духа у эксъ-кипитана Пытушева нашлось по Москвѣ много, идъ бы онъ не поймалъ «человѣка-мякотъ»—«уюлокъ отрады» былъ тутъ какъ тутъ и будто поджидалъ сводныхъ друзей... И. З. не выдержалъ горькихъ испытаній жизни, сталъ чаще и чаще прибѣгать къ русской влать забвенья, отрады въ безотрадной долѣ... Рѣдкій надломленный русскій человѣкъ, попадая въ ежовыя рукавицы жизни, проходилъ, переживалъ години страданій, не касаясь «спирнаго масла», разбавленнаго щедро или скупо той или другой мѣстной водой,—это горелосчастіе, лыкомъ подпоясанное, шляющееся по Русской землѣ, навязалось со своею дружбою и къ И. З. Теперь при горечи онъ пилъ «горькую», ища при ея посредствѣ забытья,—его любимыя книжки, которыя когда-то заботливо собирались, скупались долгимъ временемъ, съ трудомъ, урывками, которыя онъ, молодой, берегъ дороже всего, теперь пошли въ ходъ, продавались за безцѣнокъ; онъ спускалъ все, что еще можно было спустить и уходилъ въ шумныя мѣста забвенья...

Путешествіе свое на Каменный мостъ, на мошлу матери, встрѣчу и знакомство съ воиномъ «безъ воинскаго духа» Пытушевымъ онъ скрылъ, «утаилъ», какъ выражался, отъ жены, отъ отца, вообще отъ родныхъ и

большинства близкихъ, не желая ихъ смущать, тревожить, — открывать это душевное состояніе кому-либо И. З. было больно,—глаза его застилали слезы; душа его вновь терзалась, полагаясь, не забытое, конечно, а за то, что у него не нашлось тогда силы воли одолѣть переживаемое, стоять передъ грозою, не моргая глазомъ; тѣмъ болѣе, что силою воли позднѣе онъ одолѣвалъ все, что не посылала ему жизнь и держался за нее, какъ за каменную юру... Эти тяжелыя событія своей жизни поэтъ печатно отъицалъ въ произведеніяхъ: «У моилы матери» (62 стр.), «На мосту» (65 стр.), «Шумъ и гамъ въ кабацкѣ» (9 стр.); о нихъ ясно хотѣ и кратко упоминаетъ онъ въ письмѣ къ N N (стр. 50 писемъ къ разнымъ лицамъ), идъ говоритъ прямо, что подробности этого времени и этихъ обстоятельствъ излагать онъ не можетъ,—у него захватываетъ духъ!..» Письмо это писано за полтора года до смерти, когда поэтъ уже чувствовалъ свой конецъ, писано къ лицу, которое покойный любилъ глубоко и отъ котораго ничего не «таилъ». Въ текстъ письма происшествіе на мосту при сжатости, конечно, изложенія, очерчено одновременно съ ближайшимъ къ нему періодомъ питья; мы слышали отъ И. З. подробности этихъ обстоятельствъ года за два ранѣе упоминаемаго письма—въ какомъ порядкѣ и какъ слышали со всѣми деталями, такъ и изложили выше. Эти тяжелыя сутки въ жизни поэта, такъ надломили его, что онъ, при страшномъ нервномъ расстройствѣ, при инецирующихъ болязняхъ, приближаясь къ моилѣ, къ которой пятнадцать лѣтъ предъ тѣмъ такъ стремился, а тутъ страшно жаждалъ жизни, всѣ событія того времени сливалъ, такъ сказать, подъ одно, уже не раздѣляя ихъ послѣдовательно,—они мутили его душу, терзали сердце...

Нашлась сила воли въ И. З., которая подняла его духъ, отвела дальше отъ веселыхъ притоновъ, идъ оскорбленная русская душа ищетъ утoleniя своего горя,—периодъ «питья» у него, къ счастью, былъ непродолжительный; въ немъ вдругъ проснулся иной человекъ; ему опротивилъ даже запахъ «стирнаго масла»,—оно мутило его—и человекъ убитый горемъ возродился для лучшей жизни. Страданiе, разладъ съ жизнью, съ эгоизмомъ окружающихъ въ немъ отчасти пересторбли, размышленiе доказало: «жить—это бороться до смерти»,—въ этомъ муки человека, въ этомъ и наслажденiе его...

И вотъ И. З. опять входитъ въ колею этой борьбы; первое онъ узнаетъ отъ отца, что дѣлается у него. Слышитъ: матица въ одинъ счастливый или несчастный день, забравши тайкомъ все свое имущество, Богъ вѣсть куда скрылась отъ З. А. и болѣе уже не являлась, проживши съ Захаромъ Адриановичемъ не много болѣе полугода. Отецъ одинокъ—и безъ жены, и безъ сына; И. З. хорошо знаетъ: «тятенька» не привыкъ жить одинъ, безъ семьи онъ не мыслимъ. Сердце сына наполнилось жалостью,—онъ идетъ къ отцу, мирится, перебивается къ нему, опять усаживается въ лавочку—къ улю, ржавому желѣзу. Энергiя вернулась; передумалъ, переиспыталъ онъ много, не вычиталъ, а вынесъ изъ личной жизни, что «переплыть въ бурю грозное море только сильному духомъ дается»,—и напрягъ свои силы И. З., переплывая эту самую жизнь. Отдыхъ и наслажденiе онъ находилъ только въ любимомъ творчествѣ, набрасывая время отъ времени свои «стихины», въ которыхъ само собою изливалось переболевшее чувство и та правда, которую давала ему сама жизнь—не обильная разнообразiемъ, сѣренькая, ничѣмъ ни прикрашенная, ни подслащенная жизнь. Привычка къ само-

образованію, тревожное желаніе объяснить себѣ, что возникало въ головѣ, заставили И. З. опять пріобрѣтать книжку за книжкою,—и вотъ при скудныхъ средствахъ онъ сумѣлъ лѣтъ въ 12—14 составить не большую, но хорошую библіотеку—она была до конца дней его утѣшительницею, радостью и забвеніемъ отъ всѣхъ терзаній и дрязь жизни. И. З. ушелъ въ себя, замкнулся и все свободное время отъ купли-продажи трудился одиноко самъ надъ собою, саморазвиваясь; читалъ онъ много, не разставаясь съ книгою и въ лавкѣ: продастъ мѣру, полумѣрокъ угля, десятокъ воздей, или купитъ принесенный какой-нибудь ржавый ломаный замокъ и т. п. и опять возвращается за прилавокъ къ раскрытой книгѣ. До 1870—1872 г. знакомство его было очень мало, изъ лавки открытой отъ 7 часовъ утра и до 7 ч. вечера, онъ отходилъ только на часъ обѣдать и раза два въ ближайшій трактиръ попить чайку, идѣ читалъ въ это время и газеты, иногда отправлялся со своимъ товаромъ въ развозку, при сбытѣ его въ большія лавки желѣзниковъ,—не дальше и не больше. Тяжелое однообразіе!.. Что подѣлаешь; отходить было нельзя нигуда, — заводитъ знакомства, выходитъ, значитъ, тревожитъ отца,—«что его волновать изъ пустяка», — одна и та же фраза, которую приходилось постоянно и слышать отъ покойнаго поэта и встрѣчать нерѣдко въ получаемыхъ отъ него письмахъ. Въ праздники, и то рѣдко, выйдетъ, бывало И. З. съ женою къ ея роднымъ; чуть приближается время къ вечеру,—онъ уже пристаетъ:—«Пойдемъ, Маша... пора!..» —Да подожди минутику, И. З; куда тебѣ торопиться? «Какъ тамъ одинъ-то тятенъка ужинать будетъ... Поди, ужъ проголодался онъ... можетъ и скушаетъ, никого не видя»... И стѣшитъ домой.

Когда лавка Суриковыхъ была еще на Тверской ул., рядомъ съ трактиромъ Ушакова, идѣ они начали торговлю тряпьемъ и желѣзомъ, какъ мы говорили выше, тамъ съ ними бокъ-о-бокъ, послѣ возвращенія И. З. къ отцу, помѣщалась табачная лавка,—при этой маленькой торговлѣ находился бойкій мальчикъ лѣтъ 14 Мотя; И. З. замѣтилъ въ Мотѣ большія дарованія и на свободѣ занялся развитіемъ его. Мальчикъ, дѣйствительно, оказался талантливымъ любознательнымъ юношей, воспринималъ разъясненія быстро, сталъ читать книжки, пописывать стихи, затѣмъ перешелъ къ бытовымъ очеркамъ, разсказамъ. Это глубоко радовало И. З., онъ полюбилъ юношу, какъ брата, потомъ какъ товарища, какъ друга. Мотя росъ, росла и его наблюдательность, умѣнье быстро схватывать типичныя черты въ окружающемъ. Прошло четыре-пять лѣтъ и питомецъ И. З. (Мотя) М. А. Козыревъ сдавалъ въ печать — въ «Развлеченіе», «Грамотей» — стихи, разсказы. Это новый, свѣжій самоучка. Теперь И. З. не одинокъ,—ихъ двое. Такъ составилъ центръ имѣющаго быть въ Москвѣ кружка самоучекъ. Мысль о такомъ кружкѣ уже нѣсколько разъ являлась въ голову И. З. за эти годы,—теперь она созрѣла, время и личный трудъ его отчасти приготовили почву, могли поселить довѣріе къ нему, какъ къ человѣку почти выбившемуся на дорогу, получившему нѣкоторую извѣстность на литературномъ рынкѣ. Произведенія Сурикова уже печатались въ разныхъ литературныхъ органахъ еженедѣльныхъ, иллюстрированныхъ, идѣ хотя платили ему и мало, нѣкоторые органы совсѣмъ не платили; но, помѣщая въ этихъ изданіяхъ свои работы, онъ пріобрѣталъ извѣстность. Правда, толстые журналы пока оставляли письма его со стихотвореніями безъ от-

вѣта; но поэтъ мало этимъ тревожился,—онъ настойчивъ и объяснялъ себѣ молчаніе редакцій очень просто: «можетъ, мы туда не подходимъ по убѣжденіямъ; можетъ, попалось въ руки кому и такому, который видитъ: фамилія сму неизвестна, — ну, и бросилъ, не думая до.но, въ корзину ненужныхъ бумагъ; можетъ, находятъ и «не додѣланнымъ, — пошлю еще, когда что-нибудь сложится болѣе обработанное, — тамъ увидимъ», — не волнуется: посылаетъ вновь и вновь... Въ такихъ литературныхъ мытарствахъ прошло не мало времени, о чемъ поэтъ въ письмѣ отъ 9-го ноября 1872 г. къ И. Г. Воронину говоритъ, не стѣсняясь, прямо: «если бы я разсказалъ тебѣ всѣ мои неудачи,—(нужно разумѣть литературныя),—ты вѣрно бы сказалъ: какъ это тебя утѣшило все вынести и не упасть духомъ... Да вотъ устоялъ же!... Только робкій дома сидѣть остается» (см. стр. 13 писемъ); а сидѣть съ волновавшими его думами дома онъ не могъ—и посылалъ эти думы, что строфа за строфой выступали на бумагѣ «хмурыми рядами», въ тѣ мѣста, откуда идутъ онъ по бѣлу свѣту, будятъ мысли, волнуютъ мягкія сердца.

Въ 1870 г. одно изъ стихотвореній И. З. Сурикова является въ толстомъ журналѣ «Дѣло»; поэтъ аккуратно получаетъ за него гонораръ по 25 к. за строчку и любезное приглашеніе издателя этого журнала Г. Е. Благосвѣтлова на постоянное сотрудничество, — вотъ онъ время отъ времени и посылаетъ туда ежегодно до самой смерти свои произведенія, получая часто письма съ требованіями стиховъ или отъ самого издателя, покойнаго Благосвѣтлова, или отъ талантливаго беллетриста этого органа А. К. Шеллеръ (А. Михайлова), близко стоявшаго тогда къ редакціи журнала «Дѣло».

*А. К. Шеллеръ относился къ покойному И. З. Сурикову, какъ къ искреннему поэту, тепло, душевно, хотя лично они никогда и не встрѣчались; равно и И. З. любилъ произведенія А. Михайлова, идѣ находилъ онъ живыя правдивыя лица, мягкость колорита въ изложеніи,—«Гни-
лыя Болота», «Жизнь Шупова, его родыхъ и знакомыхъ», «Лѣсъ рубятъ, щепки летятъ» И. З. перечитывалъ нѣсколько разъ,—романы А. Михайлова читались у насъ и читаются въ провинціальныхъ городахъ съ большимъ интересомъ,—«неглубокомысленный читатель», не морища свой лобъ, не задаваясь разными теоріями и подтеоріями, скорѣе «иною» глубокомысленнаго критика пойметъ простымъ здравымъ смысломъ, чутьемъ, идѣ правда, талантъ, художественность, и идѣ все подчищено, подстрижено, надумано и жизни человѣческой столько же, сколько ее на блядной лунѣ.*

Неразъ, начиная съ 1875 года, покойный И. З. Суриковъ рвался въ С.-Петербургъ, желая повидаться тамъ съ А. Н. Плещевымъ, куда послѣдній перѣхалъ въ 1872 г.,—за годъ до смерти поэтъ уже полуумирающій писалъ намъ. «Крѣпко, крѣпко мнѣ хотѣлось бы повидать этого милаго челоуѣка, (т. е. А. Н. Плещева), который понялъ и оцѣнилъ меня лѣтъ 15 тому назадъ и поощрилъ мои стремленія» (см. стр. 37 писемъ); тамъ ему лично хотѣлось встрѣтиться съ А. К. Шеллеръ, съ А. Н. Якоби, знакомыми ему по перепискѣ, повидать М. К. Цѣбрикову, какъ лицъ симпатизировавшихъ ему и его твореніямъ; но обстоятельства — эти постоянныя его недруи — сложились такъ, что онъ не могъ по-
пасть въ городъ Великаго Петра, и хотя нѣсколько дней отдохнуть душою, освѣжиться умственно среди ува-
жаемыхъ петербургскихъ друзей,—жизнь его прошла вдали

отъ журнальныхъ кружковъ, литературныхъ связей, послѣдними онъ совсѣмъ не пользовался.

Въ 1871 г. И. З. издаетъ первое собраніе своихъ произведеній, количествомъ 54 піесы,—всѣ онѣ были напечатаны въ большинствѣ въ «Развлеченіи» О. Б. Миллеръ, «Воскресномъ Досугѣ», въ «Иллюстрированной Газетѣ» и др. иллюстрированныхъ органахъ, и многіе изъ нихъ, какъ мы и сказали выше, печатались бесплатно, часть оплачена по 10 к. строка. Въ этомъ же году «Иллюстрированная Газета», идѣ было помѣщено не мало стихотвореній И. З. Сурикова, печатаетъ въ № 17 краткія біографическія свѣдѣнія о немъ, какъ о поэтѣ-самоучкѣ, крестьянинѣ и даетъ портретъ его—впрочемъ, очень неудачный. Все это сильно ободряетъ человѣка затертаго было въ конецъ обстоятельствами,—такое движеніе впередъ для крестьянина, выбившагося головою и трудью на литературный путь, укрѣпляетъ вѣру въ себя, даетъ сильный толчекъ мысли и энергіи самоучкѣ,—такъ что онъ въ послѣдующіе восемь лѣтъ при физическихъ тягостныхъ болѣзняхъ, при стѣсненной обстановкѣ творитъ до ста піесъ, обработанныхъ художественно, изъ которыхъ нѣкоторыя (какъ напр. былины, историческія сказанія и т. д.) очень обширны. Теперь, послѣ пятилѣтія, считая отъ періода скитаній, мысль о кружкѣ самоучекъ, разбросанныхъ по разнымъ угламъ Россіи, вполне окрѣпла въ душѣ поэта.

Протекавшее десятилѣтіе «крестьянской воли» пробудило и вызвало дарованія тамъ, идѣ все было принижено, запущено. Въ это знаменательное десятилѣтіе въ жизни молчаливой Россіи въ литературу выступилъ широко и смѣло «разночинецъ»—чиновникъ, поповичъ, сынъ цеха, купца, медика, сынъ раба, — въ органы нашей прессы

явилась бытовая жизнь; разрабатывалась она усердно и горячо всеми, кто чувствовалъ въ себѣ «Божію искру,» нервный огонь, — выступили талантливые народники, бытописатели купца, показавъ свою физиономію открыто «забитый бурсакъ,» спорившій въ терпливой выносливости со всевыносившимъ «Иваномъ,» горемыкою Антономъ; птенцы школы Гоголя дали блестящія свои произведенія, литература завоевала себѣ право гражданства, право слова, сатира въ дароватыхъ представителяхъ своихъ меньше и рѣже прибѣгала къ оборотамъ, говорившимъ ясно: «догадливый читатель, читай тамъ и тутъ между строкъ!..» Въ это нервное время въ жизни нашей литературы печатному слову не всегда приходилось обращаться къ намекамъ, «рабьему языку»... Литераторъ-дворянинъ, помѣщикъ, правда, далъ нѣсколько крупныхъ, гениальныхъ произведеній; но теперь разночинецъ шелъ настойчивѣе и наполнялъ журналистику, выдѣляя изъ разныхъ сословій крупныя силы въ отдѣлъ публицистики, критики, которая создана у насъ и поставлена высоко почти исключительно разночинцами, въ частности поповичами, — разночинецъ шелъ въ отдѣлъ беллетристики, драммы, комедіи т. д.; явилось и нѣсколько семействъ самоучекъ-крестьянъ, болѣею частію въ мелкой прессѣ, выступившихъ съ стихотворными произведеніями... Создался и у насъ классъ людей, живущихъ исключительно литературнымъ трудомъ, — чего ранѣе не было... Объединить, сплотить самоучекъ, раскинутыхъ по широкой Руси, вездѣ одинокихъ, оттолкнутыхъ отъ мыслящей интеллигентной среды самымъ матеріальнымъ своимъ положеніемъ, И. З. находилъ крайне необходимымъ и кликнулъ кличъ, прилашая черезъ публикаціи, на одно общее дѣло — изданіе сборника произведеній исключительно са-

моучекъ. Ему сочувственно откликаются самоучки—и жившіе въ Москвѣ, частію уже извѣстные И. З. по журналу «Грамматей», идѣ они въ большинствѣ печатали тогда свои произведенія, и изъ разныхъ мѣстъ провинцій,—такъ собирается нѣсколько лицъ—и. Раззоре-новъ, Деруновъ, Тарусинъ, Кондратьевъ, Григорьевъ, Родіоновъ, даровитый питомецъ покойнаго поэта (Мотя) Козыревъ и др.,—провинціалы-самоучки присылаютъ рукописи, фотографическія карточки, требуя въ обмѣнъ карточки друіихъ самоучекъ; самоучки, живущіе въ Москвѣ, заходятъ частовъ трактиръ Утакова близъ Тверской заставы и вблизи лавки И. З., (когда она уже перешла на Большую Грузинскую улицу д. Славуцаго), посылаютъ мальчика за нимъ,—пьютъ чай, читаютъ свои произведенія, толкуютъ, спорятъ, шутятъ, острятъ. Создается кружекъ самоучекъ, полный оживленія, обмѣна мыслей. Кружекъ этотъ составляетъ первый свой альманахъ, или сборникъ самоучекъ «Разсвѣтъ», напечатанный въ Москвѣ въ 1872 г. Пока составлялся этотъ сборникъ И. З. сошелся изъ молодыхъ сотрудниковъ его особенно близко съ покойными теперь—Григорьевымъ—человѣкомъ съ дарованіемъ, но обездоленнымъ жизнью, надломленнымъ, котораго уже изнуряла чахотка, съ Родіоновымъ, человѣкомъ мягкой души, порывистымъ, какъ юноша, крайне впечатлительнымъ и тоже уже знакомымъ съ чахоткою,—эти двое очень еще молодые люди крѣпко полюбили, привязались дружески къ И. З. и оставались вѣрными этой дружбѣ до своей кончины.

Въ товарищество, дружбу И. З. вѣрилъ глубоко, горячо,—это чувство въ человѣкѣ онъ ставилъ выше всѣхъ иныхъ чувствъ; тутъ онъ былъ юноша съ головы до пятъ, что называется, хотя за годъ до смерти чувство это

въ немъ сильно поколебалось, благодаря чему, стоя уже на краю могилы, онъ вновь переживалъ душевно состояніе сходное съ тѣмъ психіатрическимъ состояніемъ духа, что испыталъ на Каменномъ мосту, и все-таки поэтъ ушелъ отъ страданій и дрязгъ жизни съ вѣрою въ чувство дружбы. Милолюбивый, крайне уступчивый, покойный З. И. не страдалъ самомнѣніемъ, — эти важныя качества, прежде всего, помогли молодому кружку объединиться именно около него. Это было горячее время литературной работы поэта, — онъ трудился тогда много, то набрасывая лично свои произведенія, то прочитывая и редактируя присылаемыя рукописи для сборника «Разсвѣтъ», нерѣдко просиживая далеко за полночь; тогда онъ принялся за переработку былинъ, мечталъ о многомъ; собранія и бесѣды въ трактиръ Ушакова въ отдѣльной комнаткѣ бывали въ это время у друзей-самоучекъ. заходившихъ туда, оживленны, продолжительны. Рукописи то и дѣло прибывали отъ провинціаловъ-собратій, тамъ онъ нерѣдко совмѣстно прочитывались, — одніе оставлялись для сборника, другія И. З. отправлялъ въ «Грамматей», въ Петербургскія редакціи, — хлопотать о рукописяхъ пріятелей по редакціямъ у И. З. была страсть: примутъ ли, не примутъ ли работу, — онъ отправляетъ... Бывало, долго нѣтъ отвѣта, мертвое молчаніе, возвращаютъ, молодой авторъ волнуется, — онъ найдетъся, успокоитъ: «не подходитъ, братецъ, видно, подъ направленіе...» — Какое тамъ направленіе? возражаетъ тотъ.. «Ежели никакого нѣтъ, по твоему, направленія, — ну, у тебя, стало-быть, замѣтили направленіе, тенденцію... драпировочки мало пустилъ, — увидали остовъ-то вотъ и не подошло, — и только... Что горячиться, переписать еще разъ, малость пополнить —

пошлемъ въ другое мѣсто... Я это ужъ хорошо знаю... сколько чего испыталъ...» Молодой авторъ успокоивается, видя воочию примѣръ: «вотъ онъ выбивался и выбился»,— работаетъ, вѣритъ въ свои силы; И. З. посылаетъ его произведеніе въ другое мѣсто, тоже вѣря: «кажется тамъ пойдетъ, тиснутъ...»

Сборникъ «Разсвѣтъ», хотя и встрѣченъ былъ нѣкоторыми періодическими изданіями сочувственно, но въ продажъ пошелъ туго; пришлось почти все изданіе передать въ одні руки менѣе чѣмъ за полицыны,—издавать второй выпускъ собратъ-самоучки уже не рисковали: затрачивать силы, деньги — отъ крупицъ крупицы — при ничтожныхъ средствахъ членовъ кружка, не умѣя распространять свои изданія — Сизифова работа, — кто отъ нея не отступится?! Кружокъ сплотился; Москвичи-самоучки сходились, провинціалы постоянно переписывались съ И. З.; знакомство его значительно расширилось: такъ напр. сошелся онъ съ Д. Н. Кафтыревымъ, писавшимъ очень звучныя и содержательныя стихи, рассказы, крайне нуждавшимся человѣкомъ, страдавшимъ чахоткою, — 1875 году этого молодого еще (30 лѣтъ) даровитаго человѣка И. З. оплакивалъ и хоронилъ на Ваганьковскомъ кладбищѣ, вблизи могильной насыпи, подъ которою ему пришлось опустить не много ранѣе друга Григорьева, — все это были люди боровшіеся съ жизнью, о которыхъ поэтъ съ юречью въ сердцѣ уронилъ не одну слезу, сказавъ нервно (1875 г. см. стих. «Покойникъ», стр. 171):

«Жилъ, молъ, онъ какъ голъ забитая,
«Безпріютной птицей жилъ,
«Гнѣзда вилъ, но и не свитыя
«Буйный вѣтеръ разносилъ;

«И была, молъ, смѣлость бойкая,
 «Да затонтана судьбой;
 «И была, молъ, воля стойкая,
 «Да разбита злой нуждой;
 «И была, молъ, сила—силушка,
 «Да сожгла ее тоска...» (И. Суриковъ).

Мошлы взяли у И. З. нѣсколькихъ друзей и среди стихотвореній его читатель встрѣтитъ много грустныхъ строфъ, вызванныхъ именно этими ранними и глубоко обидными потерями, при которыхъ невольно являются горькіе вопросы: «зачѣмъ онъ жилъ? зачѣмъ страдалъ? Зачѣмъ эту землю увидалъ?..» Чтобы умереть развѣ, или для разнообразія въ природѣ и въ нашемъ социальномъ человѣческомъ обществѣ!.. Жизнь сурова, она то-и-знай: «у счастливаго беретъ врага, у несчастнаго друга хоронитъ». Это испыталъ и И. З., проводивъ на молчаливое Ваганьковское кладбище ни одного друга-товарища по чувствамъ, по «единомыслію»...

Съ 1873 г. начинаетъ серьезно прихварывать и И. З., — то посѣщаютъ его изнурительныя лихорадки, то сухой кашель, холодный ослабляющій потъ, — неутѣшительныя признаки; но нравственная энергія, литературныя успѣхи ободряютъ поэта. Еще въ 1872 въ августовской книжкѣ печатается его былина «Садко» въ «Вѣст. Европы,» хорошо оплачивается предупредительнымъ издателемъ-редакторомъ этого журнала, почтеннымъ М. М. Стасюлевичемъ; вскорѣ въ томъ же журналѣ является его «Богатырская жена.» Онъ вчитывается въ лѣтописи и готовитъ историческую поэму — «Василько.» Съ 1874 года И. З. набрасываетъ стихотвореніе за стихотвореніемъ для дѣтей—простыя, образныя, полныя тепла и свѣжести, участвуя въ лучшихъ дѣтскихъ журналахъ

и сборникахъ для дѣтей; такъ онъ сотрудничалъ: въ «Дѣтскомъ Читаніи,» въ «Семьѣ и Школѣ,» въ «Воспитаніи и Обученіи» М. К. Цсбриковой,—послѣдняя не разъ посѣщала поэта, проѣздомъ, заѣзжая на Большую Грузинскую ул., прямо въ лавку,—серьезный умъ, честную литературную дѣятельность этой женщины — писательницы И. З. ставилъ высоко и съ увлеченіемъ обрабатывалъ стихотворенія для ея дѣтскаго журнала. Съ большимъ сочувствіемъ покойный поэтъ относился къ сборникамъ для дѣтей А. Н. Якоби, которая была поклонницей его произведеній, немало хлопотала о положеніи поэта, не будучи лично знакома, вела дѣятельную переписку съ нимъ, сострадала горькой участи поэта, котораго унетали годъ за годомъ болѣе и болѣе и недуги физическіе, и однообразіе, безвыходность...

Въ Москвѣ, въ періодъ большей своей извѣстности, И. З. между друими самоучками знакомится съ Г. У — мѣ, (въ то время импѣвшимъ свою булочную противъ Сухаревой башни), человекомъ энергичнымъ съ разнообразными дарованіями и наклонностями къ искусствамъ—онъ въ то время писалъ довольно бойкія критическія, замѣтки о музыкѣ, о художественныхъ выставкахъ, рисовалъ, импровизировалъ маленькія музыкальныя піески, имѣлъ общеніе со многими Московскими молодыми художниками. Г. У—въ познакомилъ И. З. съ писателемъ Н. А. Чаевымъ, у котораго, бывая изрѣдка, покойный поэтъ встрѣчался съ С. А. Юрьевымъ; тогда же И. З. сошелся съ нѣкоторыми художниками и особенно съ скульпторомъ С. И. Ивановымъ—человѣкомъ мягкимъ, всецѣло преданнымъ искусству, къ которому поэтъ тяготѣлъ душою по сродству, тождеству личнаго характера, нерѣдко посѣщала его студию... Эти знакомства и сближенія

значительно освѣжали грустную душу поэта, матеріально сжатаго, привязаннаго къ мелкой торгowl, къ лавочкѣ, какъ на цѣпи, ради хлѣба. Литературная извѣстность къ сыну деревни, брошенному въ сутолоку мѣщанской городской жизни, послѣ долгихъ лѣтъ борьбы, лишеній, пришла, нашлись въ Москвѣ, въ Петербургѣ сочувствующіе талантливые люди... Послѣ 2-го изданія его стихотвореній (количествомъ 77 піесъ), вышедшаго въ 1875 г., куда вошли произведенія, печатавшіяся въ журналахъ «Дѣло», «Вѣст. Европы», «Всемирная Иллюстрація» и др., оплаченныя уже 25 к. и 50 к. за строку,—печать хотя и въ краткихъ рецензіяхъ, замѣткахъ, но заговорила pro и contra объ И. З., какъ о поэтѣ... Это «извѣстность», говорятъ; но поэту стало извѣстно и то, что въ груди его чахотка, годы его сочтены—смерть близка,—временами пошла кровь горломъ, на клочкахъ и обрывкахъ чаще и чаще невольнo звучали «стихины» въ запѣвахъ, припѣвахъ о смерти, поэтъ чувствовалъ, что идетъ быстро къ могилѣ,—являлась страшная жажда жизни, какъ это бываетъ у всѣхъ чахоточныхъ,—тѣлось грустно. И. З. дѣлается нервнѣе, чувствительнѣе къ мелочамъ; на него нападаетъ страшное уныніе... «Иногда такъ становится тяжело, что по неволѣ, склониши голову и опустиши руки, до умственного ли труда въ это время?»

«Убилъ я силы мною, мною,

«А мнѣ изъ тѣмы исхода нѣтъ».

«Писать?.. но, что писать?.. Душа у меня по природѣ мягкая,—я способенъ только плакать въ стихахъ, но никакъ ни упрекать, ни бичевать людей»... «Подумаю бросить все писанье, что оно мнѣ принесло... Кромѣ нездоровья да преждевременной старости—это писанье мнѣ не дало ничего. Жизнь моя сложилась очень гадко»...

«Бываютъ такіа минуты, что при всей терпѣливости и стойкости моего характера, дѣлается невыносимо тяжело и радъ бы, завязавши глаза, бѣжать Богъ знаетъ куда!.. Я чувствую, что жить мнѣ остается недолгіе годы, ибо этому имѣются уже признаки, — какъ-нибудь до-маюсь, да и въ мошлу... При иной жизни, болѣзнь моя можетъ протянуться долго; но при той, какою я живу, едва ли мною я просуществую». Все это писалъ поэтъ другу своему И. Г. Воронину въ 1873 и 1874 г. (см. стр. 7, 8, 9, 10, 16, 17 писемъ). Велъ И. З. въ это время жизнь крайне воздержную, не позволяя себѣ, кромѣ чаю, никакихъ наркотическихъ напитковъ, но злобный кашель беспокоилъ его. Поэтъ обращается къ специалистамъ-медикамъ,—они советуютъ пхаться весной на кумысъ, затѣмъ перемѣнить образъ занятій, бросить лавочку, имѣть болѣе покоя. Советы, конечно, прекрасные, вполне разумные, — слова нѣтъ... но... но, идѣ найти необходимые денежныя ресурсы для поѣздки на кумысъ—это разъ; второе—за что взяться, чтобы бросить лавочку, какъ оставить отца, который, какъ человѣкъ обойденный жизнью, нерѣдко раздражителенъ, ворчливъ,—это положимъ очень естественно и бываетъ со многими недовольными, надломленными людьми,—но оттого не легче поэту; и дальше—какъ будетъ жить отецъ безъ него—«совѣтъ пропасть»,—постоянныя слова И. З. Поэтъ думаетъ не разъ открыть библіотеку-читальню; но при чемъ будетъ тогда отецъ, онъ такъ привыкъ къ лавкѣ съ улемъ и старымъ желѣзомъ, что безъ нея, кажется, и немислимъ,—безъ дѣла совѣтъ заскушаетъ, опустится... И какъ еще пойдетъ эта библіотека,—ну-какъ прогоришь,—вѣчная мнительность юнитъ опять И. З. за тотъ же узкій пыльный прилавокъ къ улю, желѣзу. Болѣзнь не ждетъ,

знай себѣ усиливается,— въ легкихъ является сильная хрипота.

Второе изданіе стихотвореній И. З. расходуется сравнительно быстро—въ два года. Въ этотъ промежутокъ времени, именно въ концѣ 1875 г. Общество Любителей Русской Словесности въ Москвѣ, по предложенію О. Б. Миллеръ и г. Буслаева, избираетъ поэта И. З. Сурикова въ свои члены и онъ начинаетъ участвовать въ чтеніяхъ и заведеніяхъ этого Общества среди его ученыхъ славистовъ, беллетристовъ и поэтовъ,—большой подъемъ для духа самоучки; но тѣло замѣтно слабѣетъ...

Къ лѣту 1877 года второе изданіе стихотвореній И. З. разошлось все и, при той извѣстности, какою онъ уже пользовался, поэтъ могъ передать третье изданіе своихъ произведеній такому лицу, какъ К. Т. Солдатенковъ, изданія котораго по своей солидности всегда пользовались у насъ популярностью среди людей, любящихъ серьезную литературу, и оплачивались хорошо. И вотъ третье изданіе устроено, осенью 1877 г. оно вышло въ свѣтъ, въ количествѣ 102 піесъ,—тогда явилась нѣкоторая возможность лѣчиться... Весною 1878 г. поэтъ ѣдетъ на кумысъ въ Самарскія степи. Путешествіе по Волю, къ которой И. З. съ дѣтства стремился, сильно занимаетъ его (см. письма къ И. И. Б—ву), въ души его воскресло дѣтство; прогулки по необозримымъ степямъ, питье кумыса сильно укрѣпляютъ поэта, — онъ набираетъ тамъ нѣсколько «степныхъ» стихотвореній, какъ называетъ ихъ въ письмахъ къ друзьямъ, отправляетъ нѣкоторыя изъ этихъ произведеній частію въ «Вѣст. Европы», частію въ «Дѣло», и «Будильникъ», въ послѣднемъ съ 1877 г. онъ помѣщаетъ много стихотвореній и подъ своей фамиліей и подъ псевдонимомъ—«И.

Келлеръ». Окончивъ курсъ лѣченія въ Самарскихъ степяхъ, И. З. слышитъ тоже напутствіе отъ докторовъ: «советуемъ вамъ непременно по пріѣздѣ въ Москву оставить занятіе торіовлею углемъ и желѣзомъ, — это вредно для вашихъ больныхъ легкихъ; а на слѣдующій годъ опять пріѣзжайте въ степи». Крѣпко задумался И. З. надъ этимъ приговоромъ врачей и здѣсь; но чувствуя большую бодрость, все еще толковалъ: „протяну; можетъ, они ошибаются». Возвратился въ Москву, опять пошелъ по докторамъ — тоже и тоже — одинъ общій приговоръ: «бросайте торіовлю углемъ». И вотъ онъ ищетъ исхода чѣмъ бы заняться: библіотека, типографія, покупка журнала подешевле, съ разсрочкою — то «Развлеченія», то «Маляр», то хлопоты о новомъ журналѣ «Заря», — обо всѣхъ этихъ планахъ, вѣрнѣе мечтаніяхъ, ведетъ онъ съ нами то учащенную переписку, то стихающую, съ осени 1878 г. до весны 1879 г. Къ веснѣ и весной, какъ это постоянно бываетъ со всѣми чахоточными, началось у него сильнѣйшее недомоганіе — кашель, кровохарканіе, слабость и холодный потъ: день ходитъ, два дня лежитъ. Онъ пишетъ намъ, что приходитъ такое время: «ни къ какой работѣ не способенъ и махнулъ на все рукою — какой я работникъ, мнѣ нечѣмъ дышать... Пріѣзжайте хотя на-день, на-два... смерть близка»...

Пятница страстной недѣли 1879 г.; ѣду изъ Петербурга и прямо съ Московскаго вокзала въ лавочку, на Большую Грузинскую. За прилавкомъ нѣтъ И. З., сидитъ въ сторонкѣ Захаръ Адриановичъ.

— Дѣдушка, идѣ И. З?..

— Дома, батюшка, лежитъ... плохъ онъ, очень плохъ... Туда пожалуйте...

Иду на другой угол той же улицы, въ домъ Карманова; въ прежней квартирѣ въ одну комнатку съ перегородкою новыя жильцы,—спрашиваю Суриковыхъ, говорятъ недавно переехали въ передній домъ того же хозяина, вонъ, что выходитъ окнами на Тверскую ул. Нахожу; три маленькія свѣтлыя комнаты,—всѣ проходныя, изъ самой дальней—слышенъ удушливый сухой кашель, въ полуотворенную дверь виднѣ знакомый шкафъ съ книгами. Вхожу; тамъ полулежитъ обложенный подушками И. З., блѣдный, желтый,—трудно узнать,—такъ перемѣнился за полгода,—въ исхудалой рукѣ сжатъ платокъ, покрытый кровавыми пятнами...

— Умираю, голубчикъ Н. А.

— погоди, поживемъ еще... не пугай себя...

— Нѣтъ; наврядъ ли переживу эту весну... мокрота заливаешь... того гляди, задохнусь. Какъ слѣдуетъ лечь не могу!.. и закашлялся... Почти весь день просидѣлъ я у кровати больного. Говорить о чемъ-либо было очень трудно,—больной то и дѣло волновался, кашель сильнѣе и сильнѣе подступалъ и душилъ его; заговорить самъ о чемъ-нибудь и того хуже... Пришлось переживать тяжелыя ощущенія, — къ вечеру И. З. совсѣмъ ослабъ; но немного забылся.

Ночь прошла тихо; подъ утро въ третьей маленькой комнатѣ я забылся,—вдругъ надъ ухомъ моимъ раздалось слезливое, болѣзненное всхлипыванье,—вскакиваю.

— Батюшка, Н. А., Ваня-то вѣдь умираетъ... иди скорѣй!.. прижавшись безпомощно къ стѣнѣ, плакалъ растерявшійся Захаръ Андреановичъ.

Бросился я къ больному; онъ хрипѣлъ, мокрота душила его, лихорадочный взоръ помутившихся глазъ искалъ помощи,—мы подняли больного, онъ прохрипѣлъ: «у-ми-

ра-ю!..» мокрота обильно хлынула съ кровью, И. З. отдышался и, видимо, былъ радъ, что прошелъ благополучно тяжелый припадокъ кашля.—«Вотъ, голубчикъ, такъ-то одна минута—и нѣтъ меня... калъка теперь я, какой ужъ работникъ»... Послали за докторомъ и И. И. Мясницкимъ, молодымъ другомъ И. З. и Мясницкій талантливый современный бытописатель нравовъ Московскаго купечества, который тогда работалъ въ «Будильникъ и выпустилъ въ свѣтъ, на сколько помнится, книгу острыхъ очерковъ, полныхъ наблюдательности и легкаго неподдѣльнаго юмора,—съ этимъ молодымъ человекомъ покойный поэтъ въ послѣдніе годы жизни сблизился сердечно—и тотъ, и другой до конца не измѣнили въ искренности чувства другъ другу.

Черезъ часъ-два пріѣхали вмѣстѣ И. И. Мясницкій и молодой докторъ П. Н. Б--- въ,—одинъ своимъ внимательнымъ осмотромъ, другой живымъ разговоромъ ободрили больного, — ему хотѣлось поговорить, пошутить даже, но кашель, какъ на зло, не давалъ и на минуту забыться...

Прошли и первые три дня праздниковъ, И. З. не могъ подняться съ постели, всѣ навѣщавшіе его сидѣли у кровати,—эти простыщенія хотя нѣсколько и оживляли поэта; но онъ грустилъ, что нельзя, какъ слѣдуетъ, поговорить... — «Кашель, братъ, совсѣмъ меня обезсловилъ...» говорилъ онъ нѣсколько разъ.

Въ четвергъ на Пасху я долженъ былъ ѣхать изъ Москвы,—И. З. былъ въ такомъ же положеніи... На другой день, какъ онъ потомъ писалъ мнѣ, былъ у него поэтъ Трефоловъ, произведенія котораго покойный очень любилъ, — и тотъ, и другой были грустны,—

нельзя было имъ поговорить по душѣ, обмѣняться мыслями...

Какъ стало нѣсколько лучше И. З., онъ двинулся опять въ Самарскую степь; но на этотъ разъ кумысъ не оказалъ ему почти никакой помощи,—доктора посылали въ Крымъ. Расходы на двѣ поѣздки одна за другою сильно тревожили И. З.; но жажда жизни настоятельно гнала его искать спасенья: ему тяжело было тревожить добраго, душевно относившагося къ нему, издателя его стихотвореній, книга которыхъ была только еще наполовину продана. Въ концѣ августа 1879 г. мы видѣли покойнаго И. З., проѣздомъ, въ Москвѣ, нѣсколько часовъ; онъ только что вернулся изъ второй поѣздки изъ Самарской степи,—нашли мы его донельзя исхудалымъ, блѣднымъ, мрачнымъ...

— Попусту я только людей тревожу... кажется, не пхать,—какъ ты думаешь?!.. Ждать смерти здѣсь—и баста...

— Нѣтъ, братъ, поѣзжай... Иначе выходитъ малодушіе... Въдѣ самоубицей ты не хочешь быть,—такъ, въдѣ?...

— Да-а...

— Разъ не ищешь ты средствъ къ поддержанію здоровья, не предпринимаешь никакихъ мѣръ къ уничтоженію болѣзни,—значитъ, докалачиваешь самъ себя...

Поэтъ закашлялся; опять хлынула кровь...

— Видишь!... прохрипѣлъ онъ...

— Ну, вижу; но это еще не смерть... Видѣлъ я на Пасху,—ты совсѣмъ задыхался, исходилъ, такъ сказать, духомъ; но вотъ живъ...

— Вѣрно; живу чѣловѣкъ; но все-таки я, братъ, скоро умру... Простимся братски, — ты меня уже не увидишь...

У И. З. навернулись слезы; руки были холодны, нервно дрожали... Что тутъ скажешь?.. Въ такія минуты нервы само собою бьютъ тревогу; на душѣ жутко; слово трудно вытянуть изъ себя...

Мы молча простились; это была дѣйствительно послѣдняя наша встрѣча; потомъ, живымъ я уже не видѣлъ его... Нахожу, съ крыльца, еще разъ крикнулъ я:

— Въ Крымъ потъжай!.. призови волю на помощь!.. прими вѣсть мѣры!..

Въ Крымъ онъ уѣхалъ; пробылъ тамъ до конца ноября, далѣе жить въ Ялтѣ не хватила энергіи; болѣзни отца, любимой женщиной сестры погнали его въ Москву, хотя литературный фондъ, по заявленію А. Н. Плещеева и А. Н. Якоби о положеніи И. З. предсѣдателю г. Гаевскому, отпустилъ по частямъ сумму въ 300 р., на что покойный поэтъ имѣлъ неотъемлимое право, печатаясь въ періодическихъ изданіяхъ 16 лѣтъ, и за добрую половину своихъ произведеній не получивъ гонорара, или получивъ его въ очень скудномъ размѣрѣ. Во всѣхъ поездкахъ, (дважды въ Самарскія степи и однажды въ Крымъ), какъ не стѣснялся И. З. беспокоить, помогалъ ему и радушный издатель его твореній, относящійся вообще тепло къ талантливымъ людямъ пера, кисти и рѣзца.

Какъ только возвратился И. З. въ Москву изъ Крыма, онъ сталъ замѣтно угасать съ каждымъ мѣсяцемъ, — лице осунулось, носъ обострился, борода рѣзко поспѣла, хотя ему было только еще 38 лѣтъ; онъ болѣе лежалъ и мучался... Такъ прошелъ и январь, и февраль 1880 г., въ половинѣ марта, постомъ, у него отекли ноги; говорилъ онъ уже съ трудомъ, голова не работала, — это тоже его крѣпко тревожило, — ему хотѣлось мыслить,

дѣлать хотя наброски до смерти; но скорбная муза оставила поэта, предоставивъ ему томиться и умирать одиноко. Близились весна; близились и его очередь сжечь очи, забыться и уснуть непробудно; поэтъ уже не вѣрилъ въ жизнь,—его раздражала всякая мелочь; голова бессильно опускалась на грудь... На шестой недѣль поста М. Н. (жена поэта) съ трудомъ довела его до церкви Василія Неокисарійскаго, идъ онъ исповѣдался и приобщился св. Таинъ, какъ слабо больной,—стоятъ И. З. уже не могъ, у него тряслись руки, ноги... Съ каждою недѣлей дышать поэту становилось труднѣе, кровь при легкомъ кашлѣ струей стекала на большую обросшую бороду; пувлвифизація нѣсколько поддерживала дыханіе... Послѣдніе дни при И. З. часто находился и съ достойной энергіею хлопоталъ о возможномъ облегченіи страданій умирающаго одинъ изъ молодыхъ его друзей—самочуекъ, симпатичный и даровитый юноша *Θ. С. Гуринъ*... Измученный въ концѣ физически и духовно поэтъ часто метался въ страшномъ нервномъ волненіи. Пробуждавшаяся весна, красные Пасхальные дни, оживленный звонъ—все звало къ жизни,—и ему хотѣлось страстно жить, а жизнь часъ за часомъ отлетала; полумумирающій то стихнетъ, то съ дрожью, съ тяжкимъ усиліемъ поднимется, схватитъ судорожно руку молодого друга, Гурина, хочетъ сжать ее—и не находитъ силъ, хочетъ сказать что-нибудь—и слышится одна глухая хрипота... Онъ волнуется, взоры лихорадочно обращаются къ окну, идъ пріятно играютъ лучи солнца, быстро переходятъ на шкафъ съ любимыми книгами—и онъ измѣнили ему, не даютъ уже минутъ забвенья, силы тревожному духу...

Въ среду, 23 апрѣля, на Пасху заѣхалъ И. И. Мясницкій. Поэтъ встрѣтилъ его печальнымъ взлядомъ и

чуть внятно прохрипѣлъ:—«Ва-а-ня, у-ми-раю»... за-
кашлялся, хлынула кровь изъ гортани, и слезы смочили
свалившіяся и уже потемнѣвшія щеки... Говорить онъ
больше не могъ, только слабо оцѣпывалъ и охоранивалъ
дрожащей рукою бороду и, казалось, влиядывался въ свои
исхудалыя руки... Часы его были сочтены... Онъ
уже со всѣми домашними простился... Четвергъ, 8 ча-
совъ утра; солнце весело играло на бѣлыхъ переплетахъ
рамъ; въ чистенькой горенкѣ свѣтло; какъ остовъ су-
хой, тихо хрипѣлъ И. З... Вдругъ встрепенулся всѣмъ
тѣломъ, какъ смертельно подстрѣленная птица, вски-
нулъ ослабѣвшую голову къ окну, тусклый блуждающій
взоръ, казалось, хотѣлъ что-то уловить, но былъ безси-
ленъ что-нибудь понять,—минута—и голова свалилась въ
сторону, взлядъ упалъ на желтый шкафъ съ книгами,
послышалась тихая хрипотѣ съ продолжительнымъ кло-
котаньемъ въ груди,—все тѣло разомъ вытянулось; губы
сразу плотно сжались, кровь застыла въ носомъ; туск-
лый, оловянный взлядъ застылъ... Жизнь отлетѣла...
Поэта не стало... Тихо въ комнату... Слезы... Плачъ...
Къ чему они?!.. Поздно... плачутъ о поэтѣ его пѣсни ..

Въ свѣтлый день его хоронили; по Москвѣ шелъ не-
умолкаемый красный звонъ. Солнце припѣвало тепло,
сладко, молодая зелень новой весны на тихомъ кладбищѣ
пріятно услаждала глазъ прибывшихъ почтѣ скорбнаго
поэта... Природа—мать приняла въ нѣдра земли сво-
его грустнаго сына любовно, обвявъ брѣнные останки
изстрадавшагося тѣла всѣми ласками ранней весны...
Вѣтвистый кустъ бузины широко раскинулъ зеленыя
листья надъ темной ямой. Какая-то птичка весело пѣла
свою простую, скромную пѣсенку... На души грустно,
тяжело; а кругомъ полная жизни свѣжая весна, отри-

цающая смерть, непризнающая ся подземной работы...

Все кончено... Что могутъ сказать объ умершемъ друзья и враги, кромѣ того: «Человѣкъ онъ былъ»... Улыбнулась ли ему жизнь хоть передъ смертью?.. Улыбнулась, по мнѣнію однихъ,—онъ умеръ въ свѣтлой, чистой комнатѣ, похороненъ въ хорошемъ гробѣ, съ цвѣтами, на могилѣ его стѣрый мраморъ... Чего же еще?! Кажется, все... Да, все, что найти подобаетъ человѣку на землѣ,—только улыбнулась жизнь и этимъ благомъ, охвативъ грудь поэта удушливой смертью и выравъ ему обычнымъ заступомъ глубокую яму... „Не въ больницу умеръ, не по подпискѣ хоронили?! волнуются одни — друзья. „Мало жилъ!“ беспокоятся друзья—другіе. „Много ли сдѣлалъ?!“ толкуютъ третьи и т. д. и т. д. Безконечная серія вопросовъ и словъ-словъ пока еще не умершихъ собратій... Истрепанная эта тѣма у насъ среди пишущей братіи, идѣ эгоизмъ такъ щекотливъ, а нервы вѣчно бьются тревогу... «Что сдѣлалъ?»—Выбился, человѣкомъ умеръ, оставилъ тѣсни, — содержаніе ихъ не пропадетъ, ибо «не погубятъ люди слова»,—кажется, не мало, господа!.. Распинатъ теперь за это?! Что же, все можно,—люди никогда не прощали ближнему ни хорошаго, ни худаго, смотря по своимъ вкусамъ,—это старые пріемы рынка нашей жизни... Судить—открытое поле для каждаго; но поэтъ спитъ себѣ спокойно и отвѣта, конечно, не дастъ... Грустновѣ иныя минуты; а присмотришься, читатель, ближе—изъ чего мянутъ въ сутолокѣ друзья и враги, иногда даже вблизи гроба,—скука охватываетъ и не хочется слушать эту старую, воркотливую сказку, подъ которую и не заснешь какъ слѣдуетъ, и не проснешься бодро...

Н. А. Соловьевъ-Несмѣловъ.



Фото Гравюра. Сергей Волковъ и Н. в. Москва.

ПАМЯТНИКЪ НА МОГИЛЪ И. З. СУРИКОВА
на Пятницкомъ Кладбищѣ въ Москвѣ.

ПИСЬМА

И. З. СУРИКОВА

КЪ РАЗНЫМЪ ЛИЦАМЪ.



I

КЪ И. Г. ВОРОНИНУ. *)

Москва, 8 сентября, 1872 г. Другъ мой, Иванъ Григорьевичъ! Извини за долгое молчаніе; письмо твое получилъ во время болѣзни. Ходилъ на Политехническую выставку и тамъ простудился. Я очень долго пробылъ въ Морскомъ Отдѣлѣ, который имѣетъ четыре огромныхъ входа,—день былъ пасмурный, вѣтряный; а я былъ въ легкомъ сюртучикѣ и изволилъ захватить сильнѣйшую простуду со всѣми ея атрибутами—болью головы, жаромъ, ознобомъ, болью поясницы, слабостью рукъ и ногъ,—ко всему этому въ горлѣ развилась сильная жаба, такъ что я не могъ ни пить, ни ѣсть, ни даже говорить и пролежалъ почти мѣсяцъ. Во время моей болѣзни были получены письма—изъ Козмодемьянска отъ Д., изъ Перми отъ Г., изъ Таганрога отъ М., изъ Романова отъ М., изъ Полтавы отъ В.,—на эти письма отвѣчали уже мои товарищи—Р. и К. Сборникъ теперь пушенъ,—въ немъ слѣданы нѣкоторыя перепечатки, продажа его идетъ хорошо; въ „Ил. Газетѣ“ была рецензія довольно благопріятная.—„Газета“ сочувственно встрѣтила это изданіе и выразила желаніе скорѣйшаго выхода втораго выпуска такого же сборника,—благопріятно отозвалась о статьяхъ и стихотвореніяхъ писателей—самоучекъ Д., Г., Н., К., Р., Ж. и моихъ. Рецензію потрудитесь написать; „Очерки Приволжскаго края“ можете прислать и „Записки приказчика“ также; второй выпускъ долженъ выйдти въ концѣ 1873 года. О вашихъ общественныхъ и литературныхъ замѣткахъ скажу вамъ одно: Ю. уѣхалъ за границу, дѣлами „Бесѣды“ управляетъ М., у кото-

*) И. Г. Воронинъ—по происхожденію крестьянинъ Рязанской губерніи; родился 1840 г., умеръ 11 июля 1883 г., въ Пятигорскѣ. Съ дѣтства жилъ въ Саратовѣ, гдѣ въ юные годы торговалъ на „пизшемъ базарѣ“ мальчачами отъ своего вятки. На казачьемъ привалѣ онъ написалъ много стихотвореній—песенъ. Цѣнителями этихъ начальныхъ пронаведеній его были частые семинаристы и кѣ преподаватели. Со времени изданія въ Саратовѣ (1863 г.) г. Флоровымъ еженедельной газеты—„Сар. Справ. Листовъ“ И. Г. Воронинъ выступаетъ въ печать и является дѣтельнымъ сотрудникомъ этого органа, какъ стихотворецъ. Тогда же найдено ему мѣсто на пароходѣ и служебная дѣтельность его расширялась, а вѣсть—и литературная; онъ принялся за писаніе разсказовъ, небольшихъ повѣстей, публицистическихъ

раго я былъ. Онъ мнѣ сказалъ, что статья ваша признана редакцією неудобною къ напечатанію въ „Бесѣдѣ“ и хотѣлъ мнѣ возвратить, или просилъ подождать Ю.—И. Г., вы отъ этой неудачи не унывайте, всякій журналъ имѣетъ свой взглядъ и свой кружокъ сотрудниковъ, а подлѣ мѣрку этого кружка мы не подходимъ по своимъ взглядамъ.—Вотъ вамъ и рѣшеніе задачи почему иногда наши произведенія не печатаются. Посылаю вамъ свою карточку и еще три—Р., К. и Г. Со временемъ я вамъ вышлю карточки и другихъ самоучекъ. Жду вашего письма. Истинно преданный вамъ И. Суриковъ.

Москва, 31 октября, 1872 г. Другъ Ваня! Когда я получилъ твое письмо, въ это время сваливалъ уголья,—я торгую ими. Молодецъ, который живетъ у меня, сдѣлался не здоровъ. Вообрази себѣ трубочиста,—это буду я. Получилъ ли ты книги, которыя я тебѣ послалъ. Писать надо было много, да некогда, извини. Опять нужно сваливать уголья,—горькая жизнь. Прощай.

Друже мій шірый якъ бы можо було быть птахомъ, то прилетѣвъ бы до тебѣ, но криль нема. Гіркая доля, друкуй вікъ віковичный и ничего нема! И. Суриковъ.

Р. S. Ваня! Жду письмишка отъ тебя. Надѣлали мы толковъ въ журналистикѣ изданіемъ „Разсвѣта“,—къ лучшему ли, Богъ вѣсть.

Москва, 9 ноября, 1872 г. 11 часовъ ночи. Другъ Ваня! Письмо твое отъ 7 ноября получилъ. Я просилъ тебя написать, что будутъ стоять публикаціи въ „Сар. Справ. Листкѣ“, — это мнѣ нужно знать. Тебѣ редакторъ напечатаетъ безвозмездно, какъ ты пишешь, прекрасно,—но я-то что тутъ такое?—Теперь поговоримъ о дорогой цѣнѣ, по твоимъ словамъ, на книгу „Разсвѣтъ“. Милый Ваня! надо знать специально дѣло изданій и сбыта ихъ при посредствѣ комиссій, тогда и судить о дороговизнѣ. Вотъ тебѣ данныя, по которымъ ты можешь судить: публикаціи о вызовѣ сотрудниковъ, бумага, наборъ, печатаніе и брошу-

статеи и рецензіи въ провинціальныхъ газетахъ, издаваемыхъ по Поволжью; стихи писались рѣже, а потому и совсемъ оставлены. Читалъ И. Г. много, читалъ все попадавшееся въ руки, и обо всемъ: любилъ вести споры въ жилой рѣчѣ и въ письмахъ съ пріятелями по интересующимъ его вопросамъ дня; говорилъ живо, съ увлеченіемъ; былъ искрененъ въ своихъ взглядахъ и отношеніяхъ къ людямъ. Среди современныхъ ему самоучекъ, онъ почти одинъ ушелъ въ область публицистики: но не имѣя никакой серьезной научной подготовки, кромѣ большой начитанности, часто западалъ, при всей искренности, въ крайности... Въ своихъ воззрѣніяхъ онъ представляетъ нечто среднее между нашими, такъ называемыми, славяно-филами и западниками, — по крайней мѣрѣ, онъ искалъ средины, хотя въ действительности и симпатизировалъ болѣе славянофиламъ. Когда покойный И. З. Суриковъ съ московскими сотоварищами-самоучками затѣялъ изданіе сборника—„Разсвѣтъ“ и черезъ публикаціи предлагалъ всѣмъ пишущимъ изъ крестьянъ примкнуть къ этому изданію, которое предполагалось выпускать сборниками,—И. Г. Воронинъ тутъ же откликнулся и велъ дѣятельную переписку съ И. З. и съ некоторыми молодыми самоучками, жившими тогда въ Москвѣ.—Съ 1870—1881 г. было три изданія произведеній И. Г. Воронина: 1-е) напечатанное въ Казани покойнымъ инспекторомъ чувашскихъ школъ Н. И. Золотницкимъ; 2-е) въ Москвѣ г. Комовымъ и 3-е) въ С.-Петербургѣ г. Журавлевскимъ, почерческими людьми съ Поволжья. Благодаря и покойному И. Г. Воронину. Все эти изданія шли хорошо по Поволжью.

Н.—к.

рование стало 612 руб.; теперь дѣлаются публикаціи о его продажѣ, на что опредѣляется 84 руб. и того 696, а сколько окажется мелкой траты? издано ихъ 1460 эк., 200 экз. оказались испорченными, стало быть осталось 1200, да 100 экз. разобрано сотрудниками, въ остаткѣ 1100; каждый экземпляръ обошелся 64 коп. Въ Москвѣ и С.-Петербургѣ книгопродавцы берутъ книги на комиссію изъ 40%, иначе у нихъ книга преспокойно будетъ лежать,—они никому ее безъ требованія и не предложатъ, если съ нея скидка будетъ 20%—это дѣло я хорошо знаю. Я книгопродавцамъ разослалъ книги, такъ, чтобъ мнѣ по продажѣ получить за каждую книгу 80 к. А развѣ все изданіе разойдется? это и немислимо. Дѣло издателя, дѣло самое неблагодарное. Еслибъ эту книгу издать въ 5-ти заводахъ, тогда она бы обошлась 27 к., да куда же ея дѣвать? Ты, Ваня, не подумай, что тутъ была цѣль какой либо выгоды, т. е. матеріальной жизни,—нѣтъ,—цѣль моя, была собрать писателей—самоучекъ воедино. Обезкорыстіи моемъ могутъ тебѣ подтвердить всѣ знающіе меня лично писатели-самоучки,—имъ хорошо извѣстно, что я за челоуѣкъ. Во всю мою жизнь я никому никогда не переходилъ никакой дороги,—никогда никому не подставлялъ ноги, чтобъ черезъ паденіе ближняго выиграть время и его опередить; отъ слабѣйшихъ посторонялся, давалъ имъ ходъ. Дѣлаю это въ силу того соображенія, что въ природѣ нѣтъ двухъ предметовъ одинаковаго вида и свойства. Мнѣ случалось это наблюдать по деревьямъ и даже по кочкамъ, находящимся на полѣ, издали глядишь, кажутся одинаковы, а подойдешь и тщательно оглядишь, находишь разницу, что нибудь да не такъ, есть своеобразность. По этому мое убѣжденіе такого рода: И. Г. Воронину какъ не загораживай дорогу, какъ не подставляй ногу, все-таки онъ будетъ И. Г. Воронинъ, а никто либо другой. Сдѣлай этотъ пріемъ съ И. З. Суриковымъ будетъ тоже, съ Р., съ Д., съ Г. исходъ одинъ, всякій останется самимъ собой. Нужна общая связь, нужны общія силы и всякое дѣло личности, въ общемъ поступаніи впередъ надо гнать къ черту... Не далъ мнѣ Богъ ни зависти, ни зложелательства, да и къ чему онъ? Нужны христіанская любовь и братство.

Ваня, ты ошибся, говоря о смыслѣ словъ письма П—ва; ты говоришь такъ: „г. П—въ разсуждаетъ странно, что всѣ ваши товарищи безъ таланта.“ Онъ говоритъ въ общемъ о произведеніяхъ сборника „Разсвѣтъ“, не исключая и моихъ—„что стремленіе можно похвалить, но таланта въ этихъ произведеніяхъ мало“,—а если онъ нашелъ мои стихотворенія лучшими—это еще ничего не значить,—но признавать въ нихъ талантливость—это еще не истина... По отдѣлкѣ они, можетъ быть, лучше другихъ, но по мысли есть тамъ вещи и получше моихъ. Ты, братъ, меня изъ числа товарищей не исключай, я есть не отдѣлимая единица отъ нашего общаго цѣлага. Посылаю тебѣ книженку моихъ стихоплетеній.

Р. S. Другъ Ваня, пожалуйста, прошу тебя, уничтожай въ своихъ письмахъ ко мнѣ слова—„вы, ваше...“ Пиши братъ, прямо на „ты,“—къ чему между нами—„Вы...“ Прощай. Другъ твой И. Суриковъ.

1872 г. (безъ числа и мѣсяца). Другъ мой, Иванъ Григорьевичъ! Благодарю

за совѣтъ отдать часть сборника—„Разсвѣтъ“ на комиссію въ магазинъ „Приволжской Книжной Торговли“ и воспользуюсь этимъ предложеніемъ, если не состоится дѣло о продажѣ всего сборника книгопродавцу П—ву. Если это дѣло не уладится, то я 50 эк. вышлю на твое имя, и ты ихъ сдашь въ магазинъ „Привол. Кн. Торговли“ со скидкой 20% за комиссію. Объ изданіи втораго выпуска пока сказать еще ничего не могу. Дѣло такого рода: первый выпускъ редактировалъ я, отъ редактированія втораго положительно отказался, на томъ основаніи, что очень много дѣла. Представь себѣ человѣка, занятаго съ утра до вечера матеріальнымъ дѣломъ изъ-за куска хлѣба: у меня семья, слѣдовательно нужно ей приготовить, чтѣ ѣсть. Дневной работой измучаешься до упаду, потомъ редактированіе сборника. За первымъ выпускомъ такимъ образомъ приходилось просиживать часовъ до трехъ—четырехъ ночи. Если бы тебѣ разсказать всѣ труды, которые я вынесъ при редактированіи сборника, потомъ при корректированіи его и хлопотахъ по типографіи, то ты невольно пожалѣлъ бы меня. Пока не знаю, состоится ли изданіе втораго выпуска или нѣтъ. Во всякомъ случаѣ заранѣе увѣдомлю. Позволяю тебѣ замѣтить одно,—въ письмѣ ты говоришь: „стихами писать должны только истинные таланты, которыми форма стиха, какъ намъ форма простой рѣчи, дается сразу?“ Это несовсѣмъ такъ, ты впадаешь въ ошибку... Какъ легко доставалась форма истиннымъ талантамъ,—это видно изъ біографіи Кольцева, которому давалась форма трудно; а Никитину она доставалась развѣ легко, онъ изволилъ передѣлывать свои стихотворенія до 7—8 разъ. Припомни факсимиле Пушкина, гдѣ видно, что форма измѣнялась нѣсколько разъ. Затѣмъ возьми факсимиле Лермонтова—„Зимняя сказка“—сколько разъ она подвергалась передѣлкамъ?... Я еще хотѣлъ бы тебѣ указать на Гоголя, которому тоже нелегко давались его произведенія. Съ такимъ взглядомъ, какой выражаешь ты, кажется, можно попасть на ложную дорогу,—впрочемъ у всякаго свой взглядъ. Чѣмъ я занимаюсь—это ты можешь увидѣть въ № 17 „Иллюстрированной Газеты“ за 1871 годъ, гдѣ находится краткая моя біографія и даже портретъ, только фигура тамъ невѣрна съ подлинникомъ. Прощай; желаю здоровья. И. Суриковъ.

Москва, 1873 г., 3 апрѣля. Другъ мой, Иванъ Григорьевичъ! Желаю тебѣ радостно встрѣтить праздникъ Воскресенія Христова и также его провести. Ты говоришь въ своемъ письмѣ, что нашелъ нужнымъ отречься печатно отъ своего произведенія,—это возможно и пожалуй считается разумно только съ той стороны, чтобы не нажить непріятностей отъ своего хозяина, который можетъ тебя лишитъ занимаемой у него должности. Съ силою внѣшнихъ обстоятельствъ ничего, говорятъ, не подѣлаешь,—отречешься самъ отъ себя, хотя это и не совсѣмъ-то честно, но извинительно. Отвѣтственности за этотъ разсказъ тебѣ быть не можетъ никакой. Законъ по дѣламъ печати за обличеніе какихъ либо фактовъ никого не имѣетъ права преслѣдовать. Да кстати есть ли у тебя книга: „Законы о печати,“ изданіе 1873 г. По своей забывчивости я купилъ двѣ,—одна, значить, лишняя; если тебѣ она нужна, вышлю. „Очерки Приволжскаго края“

вышли мнѣ, я ихъ отдамъ въ редакцію журнала—„Грамотей.“ Д. прислалъ 5-й очеркъ—„Суевѣрныхъ и поэтическихъ воззрѣній народа въ Пошехонскомъ уѣздѣ,“ который я отдалъ Н. И. Алябеву, издателю журнала—„Грамотей“... Первые 3 очерка были напечатаны въ Ярославскихъ Вѣдомостяхъ, 4-й очеркъ въ сборникѣ „Разсвѣтъ“ и 5-й переданъ въ „Грамотей.“ Еще онъ мнѣ прислалъ разсказъ „Народный учитель“ и нѣсколько стихотвореній, которыя просилъ пристроить. Я просилъ редактора „Грамотей,“ чтобы онъ выслалъ тебѣ этотъ журналъ; послѣ Святой недѣли общался это исполнить; ты въ этомъ журналѣ встрѣтишь знакомыя тебѣ фамилии.—Сборникъ „Разсвѣтъ“ принесть мнѣ убытокъ 397 р. Я его продалъ и затѣвать другое изданіе, чтобы затянуть въ него матеріальными средствами другихъ, считаю безчестнымъ, зная напередъ дурной исходъ этого дѣла. Прощай, милый Ваня! Посылаю тебѣ карточку Д.,—дурно вышла, но лице похоже. Извини, что письмо неразборчиво написано,—ужасно неловко писать,—пишу на деревянномъ ящикѣ, который то и дѣло качается; на квартирѣ заняться нельзя, тамъ маляры клеятъ да мажутъ. И. Суриковъ.

Москва, 8 іюня, 1873 г. Дорогой мой другъ Ваня! Здоровье мое поправилось. Отъ лихорадки я отдѣлался. Одно мнѣ очень непріятно, что она не дозволила мнѣ побывать на этихъ дняхъ у Ч—ва (я думаю тебѣ эта личность извѣстна по его литературнымъ трудамъ), мнѣ хотѣлось его съ тобою познакомить. У—въ на этихъ дняхъ былъ у меня и сообщилъ мнѣ, что Н. А. Ч—въ скоро уѣзжаетъ путешествовать по Волгѣ и звалъ къ нему, а въ это время меня трепала, какъ выразился Г. „лихоманка.“ По этому случаю я не могъ поѣхать съ У—вымъ, при всемъ моемъ желаніи побывать у Ч—ва и дать ему письмо для передачи тебѣ. Не знаю уѣхалъ ли онъ или нѣтъ. На этихъ дняхъ узнаю и если не уѣхалъ, то я попрошу его доставить тебѣ письмо, тогда ты и познакомишься съ нимъ. Въ Саратовѣ онъ долженъ прожить нѣсколько дней, какъ говорилъ мнѣ У—въ. Цѣль поѣздки Ч—ва по Волгѣ заключается въ томъ: ему нужно наглядно изучить тѣ мѣстности Волги, которыя запечатлены въ народной памяти преданіями о движеніи Стеньки Разина. Ч—въ задумалъ писать романъ—„С т е н ь к а Р а з и н ѣ.“ Для этого онъ долженъ поѣхать по Волгѣ, потомъ двинуться на Донъ, мѣсто родины Стеньки.

Ты говоришь: „мы въ большинствѣ сами себя пилимъ...“ Что правда, то правда; сознаюсь тебѣ, другъ, это пиленіе самого себя убиваетъ всѣ благородныя и свѣтлыя порывы души, но что же станешь дѣлать, когда тебя душитъ среда, окружающее и возникаетъ такой вопросъ: изъ-за чего ты борешься? чего ты добьешься? Ты хочешь воздуха, ты хочешь свѣта,—кто тебѣ его дастъ?.. Не жди, напрасная надежда и бесполезная борьба!.. Вотъ тебѣ экспромтъ подобнаго состоянія моего духа:

Темна, темна моя дорога—

Все ночь да ночь,—когда жъ разсвѣтъ?..

Убилъ я силы много, много,

А мнѣ изъ тьмы исхода нѣтъ.

Къ чему борьба, къ чему стремленье?
Вѣдь нѣтъ исхода впереди!..
И тяготитъ меня сомнѣнье
На полупройдennomъ пути.

Куда иду? За чѣмъ?.. какая
Есть цѣль тяжелаго труда?
И ноетъ грудь моя больная,
Что жизнь проходить безслѣда.

Не охота мириться съ окружающимъ,—это, я думаю, ты и самъ знаешь, и самъ на себѣ испыталъ; мириться съ тѣмъ, кто тебя каждый день и душистъ, и давить, и всячески старается втоптать въ грязь, въ которой онъ самъ по своему нерадѣнію къ себѣ изволитъ стоять по самое горло. Грустно, ей Богу, грустно!.. Писать?.. Но что писать?.. Душа у меня по природѣ мягкая,—я способенъ только плакать въ стихахъ, но никакъ ни упрекать, ни бичевать людей. Богъ съ ними, — „они не вѣдаютъ бо, что творять...“ Прощай, мой другъ Ваня!

Р. С. Писать больше не могу, грустно настроенъ, а чтобы моя грусть не сообщилась и тебѣ, чего я не желаю, то я обрываю письмо. И. Суриковъ.

Москва, 4 августа, 1873 г. Дорогой мой другъ, Иванъ Григорьевичъ! Не знаю, застанетъ ли мое письмо тебя въ Саратовѣ; пишу его 4-го августа вечеромъ. Какъ только получилъ твое письмо сейчасъ же и отвѣчаю. Изъ редакціи многодумнаго „Грамотея“, (какъ ты выразился), я еще отвѣта о твоей статьѣ не получалъ и о статьяхъ Д—ва, которыя представлены мною туда еще прежде твоей. Н. И. Алябьевъ третій мѣсяцъ не пріѣзжаетъ въ Москву, живетъ на дачѣ, гдѣ-то за Подольскомъ. Дѣлами редакціи управляетъ Н. А. Гангесъ, у котораго я справлялся о рукописяхъ Д—ва и твоей, онъ говоритъ, что эти рукописи Н. И. увезъ съ собою и вѣроятно ихъ читаетъ. Подождемъ, дѣлать нечего. Ты говоришь: „нѣтъ, рабства въ насъ очень много.—Грустно это еще потому, что мы все это холопство сознаемъ и остаемся все-таки холопами“. Милый мой, стряхнувши это холопство съ плечъ до послѣдней ниточки, что бы мы съ тобою сдѣлали? развѣ только то, что остались бы безъ угла и безъ куска насущнаго хлѣба! Кажется, ты своимъ Скворушкинымъ доказалъ это, хотя этотъ человѣкъ и не стряхнулъ еще холопства, а сдѣлалъ только намекъ, что хочетъ стряхнуть и участь его была рѣшена,—печальный, но вѣрный фактъ! Каменной стѣны лбомъ не прошибешь—тѣмъ болѣе это невозможно, что пока у насъ съ тобою ни за нами, ни передъ нами,—матеріальныхъ средствъ, обезпечивающихъ наше существованіе, не имѣется.

1-го августа вышла VIII книга „Вѣстника Европы“ и въ ней напечатанъ мой „Садко“—и 1-го же августа я получилъ изъ С.-П—бурга отъ М. М. Стасюлевича переводъ изъ С.-Петербургскаго Купеческаго Банка на Московскій Купеческій Банкъ въ 114 руб. и въ этотъ же день получилъ деньги. Въ „Садко“ 228 строкъ, по 50 к. за строку,—плата хорошая и

платять аккуратно. Это первый мой трудъ, оплаченный хорошо, а то получалъ по 10 к. за строчку, только С. Г. Мей, издательница „Моднаго Магазина“ заплатила мнѣ по 40 к. за строчку. Тамъ были напечатаны два мои стихотворенія безъ моей подписи. Одно—

И снится мнѣ, что подъ горою,
Гдѣ дремлютъ вербы надъ водою,
Избушка ветхая стоитъ,—
Предъ нею старый дѣдъ сидитъ.

Виньетка для этого стихотворенія рисована Шарлеманемъ, рѣзана Сѣряковымъ. Изображаетъ она—старика, сидящаго у избы, у ногъ его играющій ребенокъ и собака не сводитъ глазъ съ ребенка. Солнечные лучи при вечернемъ закатѣ чуть-чуть сквозятъ въ листьѣ вербы.—И другое стихотвореніе: „Ты усни, усни мое дитятко“. Прощай. Любящій тебя И. Суриковъ.

Москва, 30 октября, 1873 г. Уважаемый другъ мой, Иванъ Григорьевичъ! Радъ бы, душевно радъ, почаще говорить съ тобою при посредствѣ бумаги, но дѣло такого рода: писать что либо не выберешь времени, чернила въ лавочкѣ у меня замерзли, (тамъ я все почти пишу, когда урвусь), на квартирѣ писать даже негдѣ, да днемъ нельзя и уйти изъ лавки, потому что я тамъ нахожусь эти дни одинъ: отецъ лежитъ, нездоровъ, женинъ братъ весь день развозитъ уголья. Вечеромъ придешь домой измученный, какъ собака, бѣгавшая весь день, ища какой нибудь пищи,—до письма ли тутъ? Да еслибъ и вздумалось, что написать, прийдя вечеромъ домой, гдѣ же?.. Если я примусь писать, то долженъ сидѣть съ огнемъ, а это помѣшаетъ другимъ: тогда они не могутъ заснуть,—такъ какъ помѣщеніе, гдѣ я живу, заключается въ одной комнаткѣ.

Другъ мой, я ужъ подумываю бросить все писанье, что оно мнѣ привнесло?.. Кромѣ нездоровья да преждевременной старости—это писанье мнѣ не дало ничего. Жизнь моя сложилась очень гадко: то былъ гнетъ отца, то гнетъ нужды.

Что ты жизнь мнѣ дала,
Когда молодъ я былъ?—
Чѣмъ ты жизнь разцвѣла,
Когда жизнь я любилъ?

Только въ сердцѣ сожгла
Ты горячую кровь,
Только мнѣ ты дала
Безъ отвѣта любовь.

Что ты жизнь мнѣ дала,
Когда я возмужалъ?
Когда пылкость прошла—
Жизнь разсудкомъ понять?

Только съ горемъ, съ бѣдой,
Ко мнѣ день приходилъ;
Жаръ души молодой
Бурный холодъ убилъ!..

Не знаю, мой милый Ваня, какъ ты, а я ужъ начинаю къ писательству охлаждать, силы духа моего всѣ уже изломаны, то самодурствомъ моего отца (человѣка суроваго), то заботами о существованіи не одного только себя, а цѣлой семьи. Если я не долго проживу на свѣтѣ и уберусь туда: „И гдѣ же нѣсть печали и въздыханія,“ то причиную моей преждевремен-

ной смерти,—(говорю тебѣ какъ моему другу),—причиною этой смерти будетъ мой отецъ,—онъ всю жизнь меня мучить и ломаетъ до сихъ поръ. Сколько я вынесъ отъ него горя, это вѣдомо Богу одному.

Прочти мое стихотвореніе „На могилѣ матери“ и тебѣ будетъ понятно отчасти, что я выносилъ.

На этихъ дняхъ я писалъ къ Н. И. Алябьеву, о статьяхъ Д—ва и твоей и жду его отвѣта. Въ ноябрьской книгѣ будетъ помѣщенъ рассказъ Д—ва „Школьный учитель.“ Эту статью я еще отдалъ до твоей, а она печатается только теперь. Въ этомъ же номерѣ будетъ очеркъ Г-на „Егорычъ.“ Посылаю тебѣ его карточку. Извини, братъ, пишу несвязно, разстроены,—Д—въ находится на порукахъ, его обвиняютъ за какую-то статью. Назначено слѣдствіе.

Писать ничего не пишу—некогда и не охотно и къ тому же страшно не здоровится: весь ослабъ, едва двигаю ноги. Прощай мой другъ и будь здоровъ, не забывай меня. И. Суриковъ.

Р. S. Сообщенный тобою фактъ о Золотницкомъ глубоко меня тронулъ. Вотъ судьба нашихъ умныхъ тружениковъ на пользу народную, ихъ швыряютъ какъ ненужный худой сапогъ, потому что онъ отслужилъ свое дѣло и теперь не нуженъ,—валяясь въ грязи или мокни гдѣ-нибудь подъ дождемъ у забора. Пишу наскорою руку въ трактирѣ,—дома нѣтъ чернилъ.

Москва, 19 октября *) Другъ мой Ваня! Твои слова: „поэты говорили иногда экспромптомъ, или прочтите записки Хвостовой въ „В. Европы“ и вы увидите, какъ Лермонтовъ писалъ ей посланія,—каждая двѣ минуты у него было готово посланіе“. „В. Европы“ я читалъ; Хвостовой вѣры дать нельзя, у ней замѣшено личное самолюбіе. Она на Лермонтова взвела такія небылицы, которыхъ съ нимъ и не случилось. (Поэтъ былъ въ нее влюбленъ — это ея слабая струнка.) Дѣло не въ томъ, что я отстаиваю стихотворную форму, какъ лучшую для выраженія мыслей,—но дѣло въ томъ, что эту форму совсѣмъ уничтожить нельзя. По моему красота и истина—это вѣчные идеалы, которымъ человѣчество будетъ поклоняться всегда. Почва для поэтическихъ произведеній въ настоящее время скудна, съ этимъ я исполнѣ съ тобой согласенъ. Теперь время различныхъ реформъ, время заданныхъ, но неразрѣшенныхъ вопросовъ,—общественная жизнь начинаетъ укладываться въ новыя рамки. Все это вмѣстѣ взятое и не благоприятствуетъ развитію поэзіи. Читалъ ты стихотвореніе „Поэту“ А. Н. Плещеева.

„Сѣй поэтъ въ сердца людскія
„Вѣчной правды сѣмена,—
„Сѣй хоть нынче и плохія
„Для посѣва времена“...

Онъ мѣсяца три тому назадъ уѣхалъ на службу въ С.-Петербургъ въ Государственный Контроль и оттуда писалъ мнѣ, что сотрудничаетъ въ

*) Года нѣтъ; но, видимо, это письмо относится къ концу 1872 г. или 1873 г.

двух педагогических журналах—„Семья и Школа“ и „Дѣтское Чтеніе“,—куда приглашалъ сотрудничать и меня. Для этихъ журналовъ идутъ стихотворенія изъ міра сказачнаго или изъ міра природы, но таковыхъ у меня теперь не нашлось.

Въ этомъ стихотвореніи много правды и Евангельская истина: „не зарывай въ землю даннаго тебѣ Богомъ таланта“... Второй выпускъ „Разсвѣта“ предполагается издать артелью писателей-самоучекъ на общія средства. Г—въ изъ Перми и Д—въ изъ Козмодемьянска были въ Москвѣ, видались со мною и условились такъ, чтобъ издать общими средствами и на затраченную сумму по изданію каждому участвующему матеріальными средствами выслать книгами, которыя онъ у себя на мѣстѣ и распродастъ. Этотъ способъ и въ отношеніи распространенія сборника самый удобный. Сумма на каждого члена не опредѣляется, а кто сколько въ состояніи уѣлѣть. И. Д. Р—въ, М. А. К—въ, Д. Е. Ж—въ, И. Е. Т—нъ дали согласіе на это дѣло. Если и ты согласенъ на это,—увѣдомъ меня. Первый выпускъ издалъ Н. П. Е—въ, кандидатъ правъ. Редактировать сборникъ выбрали двое: я и И. К. К—въ... Ну, будь здоровъ. Твой И. Суриковъ.

Р. С. Мы сообща—Г—въ, К—въ, Р—въ и я получаемъ „В. Европы,“ „Отеч. Зап.,“ „Дѣло,“ „Всем. Трудъ.“ По прочтеніи журналовъ у насъ обыкновенно затѣваются споры.

Москва, 27 марта, 1874 г. Дорогой мой другъ, Иванъ Григорьевичъ! Поздравляю тебя съ наступающимъ днемъ свѣтлаго Христова Воскресенія, желаю тебѣ счастливо его встрѣтить. На новую квартиру я еще не переехалъ; но у меня была страшная возня съ угольями: дня четыре я изволилъ съ ними пѣстовать (ихъ у меня на весну заготавливается поря-лочное количество—до 900 кулей). Помѣщеніе, которое я занималъ уголь-ями, домовладѣлецъ сдалъ другому жильцу и я долженъ былъ выбирать въ другое мѣсто. И 900 кулей уголья изволили побывать два раза на нашихъ спинахъ, моей и моего шурина, живущаго у меня. Мы перетаскивали ихъ на себѣ съ одной улицы на другую,—но это мимо!.. Интерес-наго тутъ мало...

Что это у тебя за манера такая?.. Въ каждомъ своемъ письмѣ ко мнѣ ты оговариваешься—что ты меня обременилъ, что ты меня обременяешь, что ты мнѣ дѣлаешь хлопоты и т. д. и т. д. Стыдно, братъ, тебѣ вты-кать въ свои письма ко мнѣ подобныя оговорки. Братъ къ брату, такъ не относится; а мы по духу братья.

Вѣдь не поле насъ насяно:

(Нѣтъ, не много насъ, братъ, видано)—

И всего-то горстка малая

По святой Руси раскидина!

Значитъ, мы одинъ другому обязаны помогать, и слова: „хлопоты, обременяю!“ тутъ положительно неумѣстны. Это какая-то формальность, чтобъ сюртукъ былъ застегнутъ на всѣ пуговицы; а я по своей натурѣ

растрепай и застегиванье сюртука на всѣ пуговицы не терплю,—у меня сюртукъ постоянно растегнутъ,—оно какъ-то вольнѣй...

Меня положительно удивляетъ—почему „Всемирная Иллюстрація“ такъ долго тебѣ не отвѣчаетъ; развѣ причина сему такая: я письмо писалъ отъ твоего имени и просилъ увѣдомить по слѣдующему адресу: Саратовъ. Въ контору Кокуева. И. Г. Воронину. Редакція, быть можетъ, сообразила, что И. Г. Воронинъ какой-нибудь конторщикъ,—стоитъ ли д е с к а т ь отвѣчать. Если такъ,—не дѣлаетъ чести ей... Я во „Всемир. Иллюстрацію“ кой о чемъ корреспондировалъ и отвѣты получалъ очень скоро; а я фигура тоже не очень важная.

Изъ нашего лучшаго дѣтскаго журнала „Дѣтское чтеніе“ получилъ отвѣтъ,—редакція признала мое стихотвореніе „Весна“ очень хорошимъ и удобнымъ для „Дѣтскаго чтенія“ и напечатаетъ его въ майской книжкѣ, съ платою по 50 к. за строку. Редакція эта проситъ меня сотрудничать въ журналъ постоянно,—постараюсь. Издается этотъ журналъ шестой уже годъ.—1-го апрѣля у меня будетъ имениница моя жена и соберется однодушное компанство. Изъ Минска пріѣдетъ С. А. Г—въ, будутъ М. А. К—въ, И. Д. Р—въ, Г. Г. У—въ, О. С. Г—въ и еще кое-кто и побесѣдуемъ кое о чемъ. Началь стишину „На сѣверѣ.“

Не роскошна, не богата,
Сѣвера природа,—
Спитъ она укрыта снѣгомъ
Больше полугола.

Спитъ,—и грезится ей небо
Голубое Юга;
А надъ ней морозъ гуляетъ,
Завываетъ вьюга.

Прощай, мой добрый другъ. Истинно уважающій тебя И. Суриковъ.

Р. С. Ваня, возврати мнѣ письма Д—ва, посланныя тебѣ,—всѣ писанія моихъ друзей у меня хранятся. Я дорожу ими какъ святыней и вѣрю, что нѣтъ на свѣтѣ ничего выше чувства дружбы. Любовь, слава, почти все проходитъ; но дружба остается! И помретъ если одинъ изъ друзей, то память о немъ живетъ долго въ сердцахъ его оставшихся друзей. Вокругъ могильнаго креста дружба обовьется тонкимъ плющемъ. Это я говорю образно—просто же выйдетъ такъ: придетъ другъ на могилу своего умершаго друга и, въ знакъ памяти о немъ, посадитъ у могильнаго креста тонкій плющъ, который и будетъ символомъ дружбы.

Москва, 12 апрѣля, 1874 года. Добрый другъ, Ваня! Я послалъ тебѣ письмо, а не записочку. Въ письмѣ я писалъ тебѣ, что расскажъ твой переписанъ и послалъ въ редакцію „Всемирной Иллюстраціи“. Отвѣтъ редакціи получишь ты лично.

Литературной твоей неудачи я еще пока не вижу. Да если бы она и была (хотя въ видѣ неблагоприятнаго отвѣта редакціи „Всемирной Иллюстраціи“), что жъ изъ того? Это ровно ничего не значить, о такихъ пустякахъ сокрушаться не стоитъ. Въ отказѣ редакцій въ непечатаніи какого либо произведенія заключается иногда и ни недостойнство произведенія; а просто личное воззрѣніе какой либо личности, завѣдующей подборомъ статей для журнала—и только!

Другъ мой! ты спроси меня, сколько вынесъ я этихъ неудачъ! Еслибъ я разсказалъ тебѣ всѣ мои неудачи,—то ты вѣроятно сказалъ бы: какъ это тебя нелегкая угораздила все это вынести и не упасть духомъ?.. Да вотъ устоялъ же!.. Стой, братъ, и ты!..

Впереди, видя зло, видя горе,
Робкій дома сидѣть остается;

И совершенно резонно, ибо—

Переплыть въ бурю грозное море,
Только сильному духомъ дается.

А развѣ у тебя силы духа занимать стать?.. Это видно изъ твоихъ писемъ къ издателю твоихъ стихотвореній. Эхъ, братъ, Ваня! ты ерундовалъ надъ самими собою и коверкаешь самъ себя. Сказалъ бы я тебѣ,—ну, да помолчу.

„Литераторомъ нужно быть или извѣстнымъ или вовсе не быть имъ“. Какъ это понять? т. е. или быть писателемъ замѣчательнымъ или вовсе не быть писателемъ,—такъ что ли? Или быть сразу извѣстнымъ? Но съ извѣстности никто не начиналъ и замѣчательнымъ никто сразу не дѣлался. Нужно поработать, потрудиться, тогда что нибудь да и выйдетъ.

Разсказъ твой задуманъ хорошо; но черезъ чуръ коротокъ и основная мысль рѣзко бросается въ глаза; на нее нужно бы накинуть легонькую драпировочку, а то выходитъ, что образование (положимъ хоть и безцѣльное) есть корень зла, отъ котораго исходить ни единство сына съ отцемъ, ни общность интересовъ и убѣжденій. Голубенскій—отецъ говоритъ (въ твоёмъ разсказѣ) складомъ рѣчи Голубенскаго сына, — это не совсѣмъ удобно, между отцемъ и сыномъ, при разности ихъ образованія и ихъ понятій, должна быть въ ихъ выраженіяхъ (т. е. въ способахъ ихъ выраженія внутреннихъ чувствъ и воззрѣній) громадная разница. Я понимаю такъ: въ воззрѣніяхъ Голубенскаго отца,—твои личныя воззрѣнія, а въ воззрѣніяхъ и убѣжденіяхъ Краюхина, это ты пребываешь весь съ плотью и кровью. Разсказъ не дуренъ; но очень тенденціозенъ,—это ему вредитъ, вредитъ потому, что ты изволилъ поскупишься на декорации.

Съ какою цѣлью я принялся издать сборникъ „Разсвѣтъ“ я думаю тебѣ извѣстно. Я хотѣлъ чтобъ о писателяхъ самоучкахъ, сказали что нибудь журналы, чтобъ выдвинуть писателей — самоучекъ на свѣтъ Божій. Тутъ моего личнаго я не имѣется, имѣется общность, а не единичность. Изданіе это принесло мнѣ убытку болѣе 300 руб., кромѣ хлопотъ.

Свое личное я нигдѣ впередъ не ставлю и не ставилъ. Въ этомъ могутъ поручиться М. А. К.—въ, И. Д. Родіоновъ, Ѳ. С. Г.—нѣ и Григорьевъ, которымъ я помогалъ совѣтомъ, заботился о ихъ развитіи, насколько хватало моихъ силъ и умственныхъ способностей; хлопоталъ о помѣщеніи ихъ произведеній въ журналахъ.

Вчерашній день, т. е. 11 апрѣля мнѣ нужно было сходить къ Сухаревой башнѣ къ одному желѣзнику за деньгами, отъ котораго завернулъ къ Г. Г. У—ву. Вхожу къ нему онъ что-то читаетъ съ такимъ жаромъ и съ раз-

махиваніемъ рукъ,—я остановился; У—въ стоялъ ко мнѣ спиной и меня не видалъ. А—въ (извѣстный живописецъ—пейзажистъ), увида меня, улыбнулся. Когда Г. Г. дочиталъ, Н. В. А—въ всталъ и сказалъ: „ну И. З. поблагодарите Г. Г., что онъ съ такимъ жаромъ изволилъ прочитатъ ваше стихотвореніе. Онъ читалъ мой „Морозъ“,—это стихотвореніе давнишнее, въ изданіи 1871 г. Г. Г. У—въ, А—въ и С. И. И—въ собрались идти къ Н. А. Ч—ву, тащили туда и меня, тамъ общался быть. С. А. Ю—въ, издатель и редакторъ журнала „Бесѣда“ (теперь уже неиздающагося); но мнѣ положительно идти было нельзя,—не имѣлъ времени. Мы на „черногрязкѣ“ въ трактирѣ прочаепитничали, попереживали изъ пустаго въ порожнее. У—въ посылалъ статью о концертѣ Патти въ „Гражданинъ“; но редакція ему даже и не отвѣтила. Что же сокрушается что-ли? Не напечатали,—большое что ли лишеніе,—онъ не сокрушается. Не напечатали эту статью У—ва не потому что бы она была слаба, а тутъ просто личная неприязнь. У—въ въ одномъ журналѣ напечатавъ замѣтку о статьѣ „Гражданина“,—замѣтка эта была довольно рѣзкаго характера. Редакція „Гражданина“,—вѣроятно, запомнила его фамилію. Прощай, мой добрый другъ, Ваня. Желаю тебѣ всего хорошаго. И. Суриковъ.

Р. С. Сейчасъ видѣлся съ Д. Н. Кафтыревымъ; редакторъ „Грамматика“ Н. И. Амябевъ, просилъ его написатъ сельскія сцены „выборъ старшины“, для его журнала. Я говорилъ ему, что онъ вольно иль невольн въ этой работѣ повторитъ М. К—ва. У М. К—ва въ его только что оконченной повѣсти—„Старшина“ есть сцены, выборъ старшины и надо отдать справедливость написаны превосходно. Кафтыревъ необходимо попадетъ на эти сцены и попадетъ такъ, какъ онѣ написаны у К—ва, иначе и быть не можетъ, Кафтыревъ передавалъ мнѣ какую мысль просилъ Алябевъ его провести въ этихъ сценахъ, у К—ва именно это и проведено.—значитъ одинъ совпадаетъ съ другимъ. И. С.

Москва, 1874 г. (безъ числа и мѣсяца). Добрый, дорогой другъ мой, Ваня! Извини за мое долгое молчаніе. Много прошло времени какъ я получилъ твое письмо и не отвѣчалъ на него, да и сей-часъ сего тоже не исполняю. Ей-Богу некогда! М. А. К—въ уѣхалъ въ Петербургъ, и будетъ тамъ грузить, проданную имъ, кость на корабли—заграницу. При отъѣздѣ своемъ изъ Москвы, онъ часть своихъ дѣлъ возложилъ на меня, такъ какъ отецъ его человѣкъ неграмотный,—то отправочныя квитанціи приходится сдаватъ въ контору И. В. Юнкера и получать по нимъ деньги мнѣ. И корреспондирую о его Московскихъ дѣлахъ ему въ Петербургъ тоже я. Все это у меня отнимаетъ много времени, къ тому жъ и свое дѣло безъ меня не обходится. Послалъ ли ты въ „Дѣло“ „Лучшіе люди“, увѣдомъ меня. Здоровъ-ли Н. А. С—въ, да и здоровъ ли ты и самъ? все сіе сообщи и что у васъ въ Саратовѣ новаго? Я написалъ два стихотворенія: 1) „Лѣтомъ“ и 2) „Въ Ночномъ“. Куда ихъ послать, еще не рѣшилъ, да все некогда. Будь здоровъ, мой добрый другъ. Истинно уважающій тебя И. Суриковъ.

Москва, 1874 г. 1-го мая. Милый Ваня! Спѣшу тебѣ отвѣтитъ, дабы

письмо мое могло заставить тебя в Саратовъ,—такъ-какъ ты писалъ, что долженъ выѣхать в Сызрань,— отвѣчаю: статьи твои только что нынѣшній день получилъ съ почты, все было некогда сходить за ними, — пустяковые дѣла измучили меня; а все добываніе куса хлѣба. Матеріальными думами поглощенъ совсѣмъ и о чемъ другомъ помыслить даже не находишь свободнаго времени. Недостаточность средствъ къ жизни принудила меня торговать угольями и я торгую. Каждый день илеть пересыпка изъ кулей в другіе кули и я хожу какъ трубочистъ. Если тебѣ когда-нибудь вздумается представить меня в какомъ я видѣ нахожусь, взгляни на трубочиста и будетъ предъ тобой другъ твой Суриковъ. Тяжело и черно, сморкнешь—угольная пыль, откашленешь мокроту—угольная пыль,—о, нужда, чего она не заставляетъ дѣлать?! Семья: жена, отецъ, больной женнинъ братъ, еще женнина сестра, (надо тебѣ замѣтить, что у жены моей ни отца ни матери нѣтъ) и всѣ около меня, надежда одинъ я. Иногда такъ становится тяжело, что по неволѣ склонишь голову и опустишь руки, до умственного ли труда в это время?... Впрочемъ, это въ сторону: у кого нѣтъ горя и нужды.

Ты удивляешься, почему в журналѣ „Грамотей“ мало помѣщается статей моихъ товарищей? Не всякая статья можетъ быть годна для этого журнала, — такъ-какъ онъ предназначенъ для народныхъ школъ; то статьи должны быть нравственнаго содержанія или касающіяся близко народнаго быта, его нуждъ и недостатковъ, или сельскаго хозяйства, или этнографическіе очерки, или статьи научнаго содержанія, соприкасающіяся съ народнымъ бытомъ.

Какъ я смотрю на вещи?—точно также, мой другъ, какъ и ты; но у всякаго свои силы и способности, насиловать себя не ловко. Прозой для меня писать—тяжело, хотя я и могу писать, у меня къ прозѣ не лежитъ сердце. Ты не подумай, что я на нее гляжу съ пренебреженіемъ, вовсе нѣтъ, я ее уважаю; но такъ какъ-то прозой писать мнѣ нѣтъ охоты. Прозой я писалъ и даже печаталъ; в „Развлеченіи“ былъ напечатанъ мой разсказъ „Кулакъ“, в „Воскресномъ Досугѣ“ „Кладъ“—изъ народныхъ вымысловъ, в „Разсвѣтѣ“ „Утопленица“, „Дядя Игнатъ“. В прозѣ я, братъ, слабъ. Теперь вообще пишу мало,—не то чтобъ не было матеріала; а такъ какъ-то не пишется, идетъ какая-то внутренняя ломка.

Я иногда вспоминаю о тебѣ и думаю, что ты одинъ, понимающихъ тебя людей тамъ мало, и становится мнѣ грустно, грустно—что ты одинъ, и поговорить по душѣ тебѣ не съкъмъ. Я совсѣмъ дѣло другое. Воскресенье часа два проходить в трактирѣ: М. К—въ и Р—въ и кой когда О. Г—нъ, И. К—въ присылаютъ за мною и начинается продолжительная бесѣда, кто что написали, показываютъ, совѣтуются сообща. Моя доля была тяжелая, некому мнѣ было что-либо разъяснить, посоветовать,—я былъ одинъ; ни одной души, которая бы сочувствовала, у меня не было, до тѣхъ поръ я былъ одинъ, пока не получилъ нѣкотораго рода извѣстность — и отыскались друзья. Бывало, надъ какой-нибудь простой вещью, пустымъ вопросомъ, продумаешь день и не разрешишь его. По-

совѣтоваться съ кѣмъ? и добиваешься самъ. Богъ знаетъ какими усиліями разрѣшалъ я всякій возникавшій въ моей головѣ вопросъ. И ты тамъ одинокъ, думаю, и тебѣ достается много выносить грустныхъ часовъ и тяжелаго раздумья.

Повѣсть пиши; жму тебѣ руку и цѣлую тебя, какъ друга и какъ брата по духу. Уважающій И. Суриковъ.

Москва, 18 июня, 1874 года. Дорогой мой другъ, Иванъ Григорьевичъ! Пишу тебѣ это письмо въ трактирѣ кое-какъ, потому что писать нечѣмъ и негдѣ: я въ настоящее время живу на дачѣ, т. е. среди двора, подъ открытымъ небомъ. У насъ былъ пожаръ, все изломали, жить негдѣ. По окончаніи пожара много вытасканнаго имущества нѣтъ: изъ довольно порядочной моей библиотеки не могъ собрать книгъ и половины, а ихъ у меня было достаточно, такъ что, по моему приблизительному счету,—книгъ у меня было руб. на 900 или на 1000, — все это собиралось годами и пропало разомъ. Нѣкоторыя отыскалъ, но оказались разрозненными.—рукописи распропали, а у меня много было чужихъ, — что очень скверно. Но что всего досаднѣе, такъ это то, что портфеля съ письмами моихъ друзей и знакомыхъ не отыскивается и до сихъ поръ,—очень жаль. Угольный мой складъ надѣлалъ мнѣ столько хлопотъ, что полиція заставила меня бросить квартиру и имущество и вывозить уголья, какъ горючій матеріалъ. Кто у меня изъ квартиры вытаскивалъ имущество, я положительно не знаю; меня не отпускали отъ сараевъ, гдѣ помѣщались уголья. Кой-какія вещи моего имущества попали чрезъ двѣ-три улицы отъ пожара и доставлены мнѣ; но все-таки многого нѣтъ. Потерялъ два паспорта. Въ домѣ у насъ не горѣло, но все изломали. Пожаръ начался отъ нашего дома, чрезъ четыре дома, и окончился по самую мою квартиру,—сарай загорались, но были потушены,—крыши сняты и вездѣ все изломано. Прощай, другъ; писать теперь некогда, да я думаю, ты меня на этотъ разъ извинишь. И. Суриковъ.

Р. С. Пишу на обрывкѣ письма г. Острогорскаго (А. Н.), которое получилъ въ самый пожаръ, — рядомъ даже бумаги негдѣ найти, потому что въ сгорѣвшихъ-то домахъ и помѣщались всѣ эти лавки, какъ-то: овощная, галантерейныя и т. п.; за маркой посылалъ ужъ изъ трактира на другую улицу.

1874 г. (безъ числа и мѣсяца).

Уважаемый другъ мой, Иванъ Григорьевичъ! Прошу извинить, что столько времени не могъ написать тебѣ письма. Оправдываю себя тѣмъ, что не имѣлъ положительно времени для сего многотруднаго подвига. Помощникъ мой по лавкѣ, женнинъ братъ, сдѣлался нездоровъ и легъ въ больницу, остался одинъ я и для торговли по лавкѣ, и для развозки въ кузницы уголья. По сему-то случаю, заняться писаньемъ было некогда, старикъ мой все ворчить... Бываютъ такія минуты, что при всей терпѣливости и стойкости моего характера, дѣлается невыносимо тяжело, и радъ бы, завязавши глаза, бѣжать Богъ знаетъ куда! но чтожъ изъ этого? положимъ, я не пропаду, а другой? что онъ безъ меня будетъ дѣлать! т. е. отецъ мой, который ежедневно меня нравственно терзаетъ и мучить,

онъ пропадетъ безъ меня. Господи, неужели я никогда не увижу хоть единого свѣтлаго дня въ жизни моей?!.. Я чую, что жить мнѣ остается не долгіе годы, ибо этому имѣются уже признаки, — какъ-нибудь домаюсь, да и въ могилу! При спокойной жизни, я знаю, что болѣзнь моя можетъ протянуться долго; но при той жизни, которою живу, едва ли я долго просуществоую. Другъ Ваня! когда меня не будетъ, — помани меня добрымъ словомъ; если я и ничего путнаго не сдѣлалъ, то хотя за то, что я рвался на свѣтъ и волю, не жалѣлъ ни силъ, ни здоровья... Паль на половинѣ дороги, вина не моя, у меня было стремленіе, я шелъ на проломъ — и назадъ не пятился.

Редакція „Дѣла“ прислала мнѣ письмо съ деньгами за мое стихотвореніе „Въ полѣ“, и просила меня увѣдомить ее, что можетъ ли она рассчитывать на мое сотрудничество въ будущемъ. Замѣчу въ скобкахъ: редакція „Дѣла“ меня на 7 руб. обсчитала; мнѣ слѣдовало получить съ нея, по ея назначенію, за мое стихотвореніе 37 руб. 20 коп., — она выслала мнѣ 30 руб. Это я тебѣ сообщаю смѣха ради, — къ тому, что журналъ „Дѣло“ проповѣдывалъ о развитіи въ нашемъ народѣ умственнаго и физическаго труда и о нестѣсняемости его; зло преслѣдовалъ всякую эксплуатацію на личный трудъ человѣка. Слова, слова, слова и слова!.. Разумѣется, я не жалѣю 7 руб., — они для меня штука неважная; но мнѣ смѣшно и только. К—въ посылалъ въ „Дѣло“ своего „Старшину“ и получалъ отвѣтъ такого рода: „Мы съ удовольствіемъ напечатали бы вашу повѣсть; но у насъ есть постоянный сотрудникъ, г. Наумовъ, который касается въ своихъ произведеніяхъ тѣхъ же вопросовъ, которыхъ коснулись и вы, — поэтому мы и не можемъ напечатать вашей повѣсти“. Р—въ, женившись, почти ничего не пишетъ. На этихъ дняхъ онъ приносилъ ко мнѣ одно изъ своихъ новыхъ стихотвореній, — вещь еще требуетъ большой отдѣлки. Сейчасъ былъ у меня У—въ. Не дописавши тебѣ письма, я ходилъ съ нимъ пить чай, онъ читалъ мнѣ свою статью — „О выставкѣ картинъ въ училищѣ живописи, на Мясницкой“. Статья большая. У—въ просилъ моего совѣта, куда эту статью помѣстить, — въ „Современныя Извѣстія“ она по своему объему не подходитъ; я посовѣтовалъ ему отправиться въ редакцію „Русскаго Вѣстника“, что онъ и сдѣлалъ, и заходилъ оттуда обратно ко мнѣ, говорилъ, что секретарь редакціи его очень любезно принялъ и статья его, должно быть, будетъ напечатана въ іюньской книгѣ „Русскаго Вѣстника“. Я тогда тебѣ сообщу о ней. Т—нѣ доставилъ мнѣ рукопись своихъ стихотвореній, которыя были напечатаны въ разныхъ Петербургскихъ журналахъ прежняго времени, т. е. года четыре или пять тому назадъ, — онъ могъ бы еще работать. Читая его стихотворенія, убѣждаешься, что у этого человѣка было дарованіе и могъ бы изъ него со временемъ выйти замѣчательный талантъ; но судьба распорядилась иначе, по своему!... Поэтическая дѣятельность Т—на закончена, — онъ разбитъ параличемъ. Жаль, до страшной боли сердца жаль, что человѣкъ этотъ безвозвратно потерянь. Онъ еще молодъ, — ему всего тридцать три года. Онъ уроженецъ села Дѣднова, гор. Коломны, — былъ

промыслѣмъ цѣловальникъ, иначе сказать—кабатчикъ. Онъ живетъ теперь въ деревнѣ, — для занятія чѣмъ либо неспособенъ. На этихъ дняхъ онъ былъ съ своею женою въ Москвѣ, и я затащилъ его въ фотографію, гдѣ сняли съ него карточку; но такъ-какъ это было уже вечеромъ,—то и карточка вышла неудачно. До другого дня ждать было нельзя,—онъ въ этотъ же вечеръ уѣзжалъ совсѣмъ въ деревню... *)

* * *

**)

Пришла желанная свобода,—
И деспотизмъ предъ ней поникъ;
Но въ массы темнаго народа
Еще свѣтъ мысли не проникъ.
И дремлетъ силъ живыхъ родникъ.

Когда жъ ты свѣтлая свобода
Во тьмѣ свѣтильникъ свой зажгешь,—
И массы темнаго народа
Науки словомъ разовьешь—
И къ новой жизни воззовешь?

Пусть говорятъ, что въ дни свободы
Народа жизнь не разсвѣтетъ.
Свобода темные народы
Собой къ добру не воззоветъ,—
Нужна имъ палка, вишь, да гнетъ.

Народъ погрязъ среди порока
Во лжи и злѣ онъ закоснѣлъ,—
И корни зла сидятъ глубоко,—
И кто бы вырвать ихъ хотѣлъ
Безплодный трудъ,—его удѣлъ!

Не виноватъ онъ, что пороченъ,
Что много въ немъ сокрыто ***) золь;
Былъ жизни день его урочень:
Съ утра до вечера онъ шелъ
Въ ярмо заложенный, какъ волю.

*) Последняя страница этого письма оборвана и затеряна.

**) Среди писемъ И. З. Сурикова къ И. Г. Ворониному мы встрѣтили два стихотворенія на отдѣльномъ почтовомъ листѣ малаго формата съ подписью „И. Суриковъ“, писанныя рукою покойнаго поэта, съ поправками въ нѣсколькихъ мѣстахъ. Этихъ стихотвореній въ печати, при жизни поэта, мы не встрѣчали, потому и помѣщаемъ ихъ, какъ посмертныя. Въ концѣ писемъ къ г. Ворониному. Они писаны были, видимо, въ 1861—1862 гг. Одно подъ „*“, другое съ заглавіемъ „Колыбельная пѣсня“.

***) Надъ этимъ словомъ другое слово—„тантася“.

Н—въ.

Когда жъ ему свои пороки
Бывало время исправлять,—
И гдѣ жъ онъ могъ добра уроки
Въ тѣмъ безразсвѣтной увидать?
И кто жъ бы могъ ему ихъ дать?..

Жизнь проходила безразсвѣтно.
Бѣднякъ работалъ и страдалъ,—
И все сносилъ онъ безотвѣтно,
И въ жизни лучшаго не ждалъ,—
Безсвѣтно *) жилъ и погибалъ.

Надъ нимъ царила тьма ночная,
Разсвѣта не было ему,—
И завѣшалъ онъ, умирая,
Все тоже сыну своему:
Безплодный трудъ, да жизни тьму.

Приди жъ, приди жъ ты, свѣтъ науки,
Во тѣмъ свѣтильникъ свой зажечь,
Да пусть услышать наши внуки
Не чуть трепещущіе звуки,—
Живую мысль, живую рѣчь!...

И. Суриковъ.

Колыбельная пѣсня.

Въ селеньѣ избушка нова и красива,—
И въ новой избушкѣ довольство живетъ;
Надъ люлькой, нагнувшись, въ избушкѣ крестьянка
Качаетъ ребенка и пѣсню поетъ:

„Мы долюшку нашу,—тяжелую долю,
Безропотно вынесли, Богъ помогалъ,—
И вотъ дождалися, послалъ Господь волю,—
Ты вольнымъ родился и свѣтъ увидалъ!

„Взростешь ты на волѣ могучъ и не робокъ,
Управишься самъ ты разсудкомъ своимъ;
А мы-то, родимый, запуганы были:
Предъ тонкой былинкой сейчасъ все дрожимъ.

*) Другое слово наверху—„безсвѣтно“...

„И рѣчь твоя будетъ смѣла и правдива,
Ты самъ свое дѣло собой отстоишь;
А мы-то, бывало, придешь боязливо,
Задвинешься въ уголъ, стоишь и молчишь *).

„И слова тебѣ никакого не скажутъ,—
Увидятъ, и только махнутъ лишь рукой...
Сробѣешь, родимый, дверей не отыщешь,—
Укажутъ, и съ горемъ вернешься домой.

„И все-то вотъ такъ мы сносили, молчали,
И ропота нашего Богъ не слыхалъ;
И волюшки свѣтлой мы ждали и ждали,—
И вотъ дождались, ея свѣтъ возсіялъ.

„Да, было то время,—тяжелое время,—
Не стоитъ, родимый, о немъ вспоминать;
Свалилось теперь съ нашихъ плечъ это бремя,—
Тебѣ не придется его испытать.

„Горитъ надъ тобою свѣтило свободы.
Тебя озаряетъ науки восходъ;
Не будешь ты знать рабства горькіе годы,
И прежняго времени тягостный гнетъ!“

И. Суриковъ.

*) Надъ словами: „стоишь и молчишь“—написано карандашомъ—„и молча стоишь“.

II

КЪ Н. А. С—ВУ.

Москва, 30 сентября, 1875 года. Добрый Н. А!... Давно я съ тобою не бесѣдовалъ,—скучно, грустно, тяжело!... Что у васъ, мой добрый, новаго въ Саратовѣ? Приѣхалъ ли Ив. Гр?.. Здоровы ли вы и А. А. Волковъ? Я живу день за днемъ, т. е. не живу, прозябаю,—очень грустно; положеніе мое нисколько не улучшается, а все становится хуже. Невыносимо становится, Н. А., я задыхаюсь, грудь болитъ, всякая непріятность тяжело отзывается на моемъ разбитомъ организмѣ. Нѣтъ прежнихъ силъ, нѣтъ прежней стойкости и нѣтъ прежней вѣры въ людей... Я сталъ даже раздражителенъ, а это признакъ нехорошій... Въ сентябрьской книгѣ „Дѣло“ напечатаны мои два стихотворенія: „Въ могилѣ“ и „На мосту“. Отъ А. К. Шеллеръ получилъ письмо, проситъ что-нибудь для октябрьской книжки. Послалъ два новыхъ стихотворенія, только-что испеченныхъ: „Жизнь“ и „Въ острогѣ“. „Въ острогѣ“ довольно большое. — думаю, оно займетъ страницъ пять журнала „Дѣло“; а пожалуй и шесть. Вотъ письмо А. К. Ш—ръ: „Другъ, Иванъ Захаровичъ, пишу къ вамъ во-первыхъ потому, что я еще въ долгу у васъ: долженъ вамъ сказать искреннее спасибо за вашъ портретъ, въ обмѣнъ пришло на дняхъ свой; во вторыхъ—у меня есть до васъ просьба. Нѣкто А. Н. Я—би, одна изъ вашихъ поклонницъ, собирается издать сборникъ для дѣтей и проситъ васъ дать ей какое-нибудь стихотвореніе. Что-нибудь въ родѣ нашего стихотворенія „Въ Ночномъ“ было бы очень хорошо. — Плата за стихотвореніе такая же, какъ въ „Дѣлѣ“. Если вы надумаетесь прислать что-нибудь, то нельзя ли скорѣе. Да будьте такъ добры пришлите и намъ стиховъ. Ваши всѣ напечатаны, а для октябрьской книги было бы нужно: оригинальныхъ у нихъ почти нѣтъ, все переводы. Думалъ я лично повидаться съ вами; но дѣла задержали и не дали возможности побывать въ Москвѣ. Хотѣлось бы о многомъ поговорить съ вами, чего не передашь въ письмѣ. Что вы замышляете на будущее время? Не проэктируете ли

чего-нибудь крупного изъ стиховъ? Пишите; жму дружески вашу руку. Всегда вашъ А. Ш—ръ“.

Вчерашній день я получилъ письмо отъ самой А. Н. Я—би, которая очень любезно проситъ написать что-нибудь для ея сборника: она уже нѣкоторыми писателями заручилась, какъ-то: Н. А. Некрасовымъ, Я. П. Полонскимъ, А. Н. Майковымъ, А. Н. Плещеевымъ, А. К. Шеллеръ и др. и желала бы имѣть что либо и мое. Постараюсь что-нибудь написать для этого сборника. Матеріаль для созданія стихотворенія у меня уже есть: я хочу написать поэтическую картину „На рѣкѣ“. Это—ночная рыбная ловля,—„Лученіе рыбы“. Не знаю, какъ оно у меня выйдетъ, а задумано поэтично. Дѣйствующія лица въ этой картинѣ будутъ—старый рыбакъ и 12-ти-лѣтній мальчикъ: борьба свѣта съ ночной тьмой, фантастическіе образы ночи. Впрочемъ, когда напишу, тогда прочтете. Въ „Ремесленной Газетѣ“ напечатанъ мой „Покойникъ“. Ходить куда не хожу, некогда и непріятностей не хочу заводить съ отцомъ. Н. А. Ч—въ нѣсколько разъ говорилъ Г. Г. У—ву, чтобъ онъ заташилъ меня къ нему,—не могу выбрать времени. В. А. Слѣпцовъ и А. И. Левитовъ, (послѣдній пишетъ статью обо мнѣ для „Рем. Газеты“, тоже просили И. К. К—ва, чтобъ онъ заташилъ меня къ нимъ: они живутъ въ гостинницѣ „Римъ“. Но что я подѣлаю,—когда урваться отъ гнетущей обыденщины?.. Да къ тому же я страшно одичалъ, изневѣжился...

Я огрубѣлъ и одичалъ,—
Я сталъ подобенъ звѣрю...
Вовсе я вѣру потерялъ
И никому не вѣрю...

Будь у меня средства, я вырвался бы изъ моего жизненнаго омута, въ которомъ начинаю уже задыхаться. Я живу и ничего не вижу; мнѣ кой-когда нужно бы побывать въ театрѣ, хотя для освѣженія и просвѣтлѣнія души; нужно бывать въ обществѣ мыслящихъ людей для обмѣна взглядовъ, для уловленія жизненныхъ интересовъ, волнующихъ наше общество. Я ничего этого сдѣлать не могу: жизненная моя обстановка грязна, душна и безвыходна... Я гибну и тону,—день ото дня все глубже омутъ меня затягиваетъ,—чувствую, что скоро совсѣмъ опушу крылья — и прощай тогда мои пѣсни!—жди спасенія!—откуда?... кто подастъ мнѣ руку помощи? — Всякій занятъ самъ собой: дарованіе нынче не въ цѣнѣ — его топчутъ въ грязь... Вотъ вамъ, голубчикъ Н. А., первый набросокъ моего стихотворенія: „Наши пѣсни“.

I

Много спѣли грустныхъ пѣсенъ
Въ этой жизни мы печальной.
Легкій смѣхъ намъ неизвѣстенъ,—
Нѣтъ въ насъ струнки идеальной...

2

Большинство судей суровыхъ
Отъ пѣвцовъ печали старой
Проситъ думъ и пѣсенъ новыхъ,
Иль сатиры злой и ярой.

3

Наше пѣнье имъ не любо...
Неприятенъ грусти запахъ...
Что за диво?—очень грубо
Горе насъ сжимало въ лапахъ.

4

Изъ когтей его могучихъ
Вышли мы порядкомъ смяты,
И запасомъ слезъ горючихъ,
Думъ мучительныхъ богаты.

5

Чувствъ возвышенныхъ дороже
Намъ бытыя наши муки,
И съ шипучкою не схожи
Нашей пѣсни грустной звуки.

6

То ли дѣло лирикъ кровный,
Отъ тяжелыхъ думъ свободный,
Кто поэзии свободной
Посвятилъ свой даръ природный.

7

Какъ ребенокъ прихотливый,
Онъ ничѣмъ вполне не занятъ,
И въ самомъ себѣ счастливый
О другихъ скорбѣть не станетъ.

8

Чувство ль муза въ немъ разбудить,—
Много онъ не размышляетъ...
Самъ не знаетъ онъ, что будетъ
Пѣть; но пѣсня созрѣваетъ.

9

Онъ поетъ легко, какъ птица,
Какъ ручей, журчитъ онъ сладко;
Но стиховъ его страница
Для ума, порой, загадка.

10

Намъ же способъ этотъ птичій—
Пѣть для пѣнія—не вѣдомъ;
Стихъ у насъ—таковъ обычай—
Въ ходъ идетъ за мыслью слѣдомъ.

11

Словомъ правды, горькимъ стономъ
Часто спящихъ мы тревожимъ;
Но пугать мечомъ картоннымъ
И гремушкою не можемъ.

12

Для утонченного слуха
Наше пѣнье не годится:
Наши пѣсни рѣжутъ ухо,—
Горечь сердца въ нихъ таится.

Жду вашего письма. „Вѣстникъ Европы“ молчитъ. Все подумываю снять извѣстный вамъ книжный магазинъ въ д. Пороховщикова; но не имѣю средствъ—скверно. Думаю пустить въ лотерею свое стихотворное дарованіе,—не выручить ли хоть это? Начинаю шутить; но что же остается дѣлать? И. Суриковъ.

Москва. Ноябрь, 1875 г. Добрый Н. А!.. О своемъ житьѣ-бытьѣ ничего вамъ не пишу,—говорить на эту тѣму надоѣло и тяжело... Теперь принялся писать историческую поэму „Василько“. Какъ только окончу, распрошусь съ этимъ родомъ поэзии, обращусь къ бытовой современной, ремесленной и крестьянской жизни. Хотя и удаются мнѣ билинныя и историческія стихотворенія, но душа моя къ нимъ не очень-то лежитъ: меня тянетъ въ другую сторону—къ дѣйствительной жизни. Нужда заставляетъ идти не въ ту сторону, куда влечетъ тебя призваніе, а совершенно въ противоположную. Терпи, Макаръ, пока телята не выросли,—выростутъ, прода-

димъ, деньги будутъ. Прощай, голубчикъ Н. А. Написалъ бы вамъ болѣе; но нынѣшній день что-то очень не здоровится: кашель замучилъ, грудь болить, мокрота одолѣла, хоть бросай всю работу. А. К. Ш—ръ писалъ мнѣ, что моими стихами многіе петербуржцы очень интересуются и желали бы лично со мною познакомиться. Пишетъ: не прїѣду-ли я какъ-нибудь въ Петербургъ,—кажется, нѣтъ!... И. Суриковъ.

Р. С. А. Н. А—би осталась очень довольна моимъ стихотвореніемъ „На рѣкѣ“. Писать „Василько“ для меня нелегкая матерія: копаюсь въ исторіи по различнымъ лѣтописямъ, просматриваю въ подлинникѣ „Слово о полку Игоревѣ“.—Мнѣ нужно знать, былъ ли женатъ „Василько“,—исторія объ этомъ ничего не говоритъ. Я отыскалъ въ Волинской Лѣтописи, что у Василько былъ сынъ Иванъ Васильковичъ, впоследствии князь Галицскій,—это меня очень порадовало, потому что у меня появилась въ Василько одна сцена очень драматичная. Когда Василько уже ослѣпленъ и сидитъ въ темницѣ у Давида Игоревича, вѣсть объ этомъ доходитъ до молодой Васильковой княгини и вызываетъ скорбь о любимомъ мужѣ. Впрочемъ, что же я распространяюсь,—напишу,—увидите.

Москва. 1875 г. Ноябрь. Добрый Н. А!.. Я совсѣмъ разболѣлся. Въ тотъ самый день, когда И. Г. уѣхалъ изъ Москвы, я воротился отъ Сухаревой башни,—куда возилъ товаръ, воротился и слегъ, — и до сихъ поръ изволю киснуть на квартирѣ. У меня появилась прошлогодняя осенняя болѣзнь: кашель весь день и всю ночь, боль поясницы, позвоночного столбца, одышка,—какъ по комнатѣ пройдешь изъ конца въ конецъ. то и задохся,—по вечерамъ ознобъ; ночью холодный потъ и страшное обиліе мокроты, слабость во всемъ тѣлѣ,—какъ видите собралась цѣлая коалиція болѣзней для уничтоженія моихъ силъ. Когда пройдутъ эти болѣзни, вѣдомо Богу единному. Въ лавкѣ безъ меня дѣла расклеились со всѣмъ: деньги всѣ истратили, накупили товару, везти его продать безъ меня некому, — хоть волкомъ вой! Изъ „Вѣстника Европы“ получилъ за „Богатырскую жену“ переводъ 200 руб. на Московскій Учет. Банкъ; но деньги лежатъ тамъ еще и до сихъ поръ. На переводѣ я написалъ довѣренность на имя жены, однако ей не выдали ихъ, а велѣли прїидти мнѣ самому. Скверное положеніе!.. Самъ идти не могу: лежу да сижу, чѣмъ это кончится,—голова болить, точно ее кто расколотилъ полѣномъ. Вижу, голубчикъ Н. А., что торговля моя и мои занятія въ конецъ доколотятъ мое и безъ того слабое здоровье. Ив. Гр. Корчагинъ (докторъ) уже говорилъ, что мнѣ нужно перемѣнить мои занятія, иначе я скоро сковырнусь. Но за что я примусь? Куда я годенъ? Мнѣ нуженъ покой, я его не вижу. А. Н. Я—би мнѣ писала въ двухъ письмахъ, чтобы я прїѣхалъ въ Петербургъ и она пристроитъ меня тамъ къ хорошему мѣсту; но, милый мой Н. А., кинуть все въ Москвѣ и ѣхать въ Петербургъ,—при одной даже мысли каидаетъ въ жаръ!.. Да и куда я гожусь съ плохимъ моимъ здоровьемъ? На этихъ дняхъ прїѣхалъ изъ Петербурга Н. Н. и привезъ мнѣ отъ А. Н. Я—би нѣсколько книгъ ея изданія, былъ у меня на квартирѣ; но я въ это время лежалъ на печкѣ, жена моя сказала ему, что

меня нѣтъ дома; онъ ушелъ съ книгами въ лавку, гдѣ и оставилъ ихъ и письмо А. Н. Я—би, а также свою карточку, сказавши моему отцу, чтобы я пришелъ къ нему: о чемъ-то нужно ему со мною поговорить.—О чемъ поговорить? Не знаю, но идти къ нему я теперь не могу. **Э. Б. Миллеръ** въ обыкновенномъ засѣданіи Общества Любителей Россійской словестности изволилъ предложить меня въ дѣйствительные члены Общества, что съ удовольствіемъ было принято членами Общества, особенно **г. Буслаевымъ**, который, какъ передавалъ мнѣ членъ Общества **Ф. Д. Нефедовъ**, выставилъ Обществу въ сочувственныхъ словахъ мои заслуги для русскаго слова. Въ будущемъ засѣданіи меня будутъ баллотировать въ дѣйствительные члены. Большинство членовъ очень радо тому, что **Э. Б. Миллеръ** предложилъ меня въ члены Общества и если въ слѣдующемъ засѣданіи будутъ они, то вѣрно меня выберутъ. Эти члены **С. А. Юрьевъ**, **А. Н. Чаевъ**, **Н. П. Платоновъ-Гиляровъ**, **Н. В. Путята**, **Б. Н. Алмазовъ**, **Л. Н. Толстой**, **Ф. Д. Нефедовъ** и др. **С. А. Юрьевъ** предложилъ мнѣ, что онъ съ удовольствіемъ возьметъ на себя трудъ, въ одномъ изъ будущихъ публичныхъ засѣданій Общества, прочесть что либо изъ моихъ новыхъ стихотвореній,—для этого я и приготовлю „Василько“ (историческое сказаніе), если успѣю. **С. А. Юрьевъ** читаемъ прекрасно, голосъ у него очень симпатичный. Вотъ и всѣ новости. Пишите пожалуйста; мнѣ очень скучно, сижу на квартирѣ, какъ окаянный какой, никого не вижу. **Василько** лежитъ безъ движенія. Подумываю открыть библіотеку для чтенія, но для этого нужны деньги. Положимъ, мнѣ книгъ много дадутъ въ кредитъ; но это будетъ меня очень тяготить, да и будетъ ли еще толкъ? А развязаться съ моею поскудною торговлею необходимо, необходимо еще пмненно и потому, что мнѣ нужно нѣкотораго рода самостоятельность,—отецъ убиваетъ во мнѣ всю энергію къ литературному труду,—я работою урывками, сходить куда-нибудь безъ непріятностей не могу. —Надо же когда-нибудь положить конецъ этому скверному положенію, изъ за чего я бьюсь и что я вижу?—Радостнаго ничего, горя много... Нѣкоторые Московскіе книгопродавцы пророчатъ мнѣ успѣхъ, если я открою библіотеку для чтенія. Они говорятъ, что у меня подписчиковъ будетъ много, потому что васъ уже въ настоящіе время многіе знаютъ, въ библіотекѣ имя содержателя значить много. Подумай, милый мой **Н. А.**, и сообщи мнѣ свое мнѣніе, имъ я очень дорожу; а провалиться мнѣ тоже не хочется. Истинно васъ любящій **И. Суриковъ**.

Москва. Ноябрь, 1875 г. Милый мой **Н. А.**!.. Я сталъ не много поправляться, меня лечитъ **Н. Н.** домашній врачъ. Теперь выхожу на улицу; но кашель все еще не прекращается. Врачъ **Н. Н.** говоритъ, что мнѣ необходимо нуженъ покой. Покой, а гдѣ его искать? **Н. Н.** мнѣ прислалъ всѣ свои изданія, теперь весь уголъ моей убогой комнаты полонъ книгами. Набросалъ на дняхъ стихотвореніе для дѣтей „Зимой“. Прощай, голубчикъ; будь здоровъ. Пишется плохо. **И. Суриковъ**.

Москва. 25 мая, 1877 г. (Петровский паркъ). Добрый мой **Н. А.**!.. Мы съ **Михайловичемъ** живемъ теперь на дачѣ въ Петровскомъ паркѣ. Намъ кое-

когда посѣщаютъ Родіоновъ, К—въ и другіе; живемъ мы только двое. Здоровье мое очень, очень плохо. Доктора нашли легкія мои въ крайнемъ безпорядкѣ; говорятъ, что мнѣ остается единственный исходъ—ѣхать въ степи и пить кумысъ, иначе, по мнѣнію здѣшнихъ специалистовъ, къ зимѣ мнѣ придется убраться на тотъ свѣтъ,—перспектива очень грустная! Думаю бросить все и ѣхать въ Самарскія степи. Пиши скорѣе, а то числа 10-го іюня уѣду. Что сказалъ Ш—ръ о моемъ стихотвореніи? У меня есть еще два новыхъ, только въ наброскахъ,—все не здоровится, отдѣлать ихъ не могу. И. Суриковъ.

Москва. 20 августа, 1877 г. Милый Н. А..! Давненько не писалъ—хлопочу все о пріобрѣтеніи типографіи съ платою по годамъ и, пожалуй, печатникамъ придется быть. На извѣстную тебѣ типографію по публикаціи покупателей никого не явилось. Если до конца октября никто не явится, то эта типографія останется за мною. Голубчикъ Н. А..! Посоветуйся тамъ съ кѣмъ-нибудь о типографскомъ дѣлѣ,—условія ты знаешь, т. е. тѣ условія на какихъ это типографія должна перейти ко мнѣ. Я все боюсь, какъ бы мнѣ не попасть въ хомутъ, какъ бы не метнуться изъ кулъка да въ рогожку. Твой И. Суриковъ.

3-го сентября—77 г. Добрый мой Н. А..! Напрасно вы отдали Н. П. Вагнеръ стихотвореніе подъ „Свѣтъ“,—это просто набросокъ. Нельзя ли уничтожить это стихотвореніе и я взамѣнъ его пришлю другое, или передѣлаю это. Голубчикъ, пиши мнѣ чаще,—на меня нападаетъ, по временамъ, страшная тоска и я радъ, когда получу твое письмо. И Суриковъ.

11-го сентября—77 г. Добрый мой Н. А..! Стихотвореніе подъ „Оставъ у Н. П. Вагнеръ“,—пускай печатаетъ. Для „Иллюстрированной Газеты“ что-нибудь напишу. Во мнѣ проявилась, какая-то бездѣятельность,—душа проситъ покоя. Изданіе моихъ стихотвореній поступитъ въ продажу въ концѣ этого мѣсяца. Я вамъ вышлю чрезъ книжный магазинъ Васильева 10 экземпляровъ, раздайте ихъ въ редакціи газетъ, какія вы знаете,—я никогда не посылалъ ни одного экземпляра; а раздать нѣсколько книгъ по редакціямъ, пожалуй, надо. Все что-нибудь да скажутъ, хоть побранятъ—и то ладно... „Воспилько“ печатается,—идетъ 3-я глава. Душевно преданный И. Суриковъ.

16-го сентября—77 г. Милый Н. А..! Не желая васъ утруждать порученіями, я отправилъ мои книженки по почтѣ въ слѣдующія редакціи: „Одесскій вѣстникъ“, „Голосъ“, „Нева“, „Недѣля“, „Новое время“, „Русскій Міръ“, „Вѣстникъ Европы“, „Мірское Слово“, „Всемирная Иллюстрація“, „Новости“. Будьте такъ добры послѣдите за отзывами и замѣтками; а если возможно, то пріобрѣтите тѣ номера газетъ, гдѣ будетъ что-нибудь сказано. Прощай жду твоего посланія. И. Суриковъ.

18-го Сентября—77 г. вечеръ. Милый Н. А..! Сейчасъ получилъ твое письмо. Какъ выпадетъ свободное время,—засяду за отдѣлку набросковъ и вышлю нѣсколько стиховъ. Голубчикъ Н. А., я знаю свои силы, и знаю, что могу создать кое-что порядочное, но... Для литературныхъ работъ мнѣ необходимо имѣть свободное время, — его не имѣю; нужно имѣть книги,

много книгъ,—у меня въ нихъ недостатокъ; здоровье таетъ, нѣтъ—нѣтъ и пѣлые дни скриплю... При этихъ неблагоприятныхъ условіяхъ не могу начать ничего большаго почастіи бытовой жизни хотя въ душѣ зрѣютъ образы, картины, очерчиваются и лица... Желая вамъ полнѣйшаго успѣха въ составленіи книгъ для народнаго чтенія изъ произведеній нашихъ художниковъ слова,—это самое разумное проведеніе правдивыхъ типовъ и здоровыхъ мыслей, выраженныхъ въ художественной формѣ. Завтрашній день я вамъ пришлю отвѣтъ Салаева, т. е. даетъ ли онъ согласіе или право на извлеченіе нѣсколькихъ разсказовъ изъ „Записокъ Охотника“, И. С. Тургенева. „Въ Осторгѣ“ напечатано въ „Будильникѣ“. Уважающій васъ И. Суриковъ.

19. Сентября—77 г. Добрый Н. А!.. Θ . И. Салаевъ боленъ и въ магазинъ не выходитъ. По моей просьбѣ приказчикъ ходилъ на домъ къ Θ . И. Салаеву, онъ далъ такой словесный отвѣтъ: если И. С. Тургеневъ даетъ свое согласіе на напечатаніе нѣкоторыхъ его произведеній, то онъ, Салаевъ, противъ этого ничего не имѣетъ,—сочиненія Тургенева онъ купилъ только на одно изданіе и были уже случаи, что они печатались и одно даже недавно, въ какомъ-то сборникѣ разнѣромъ болѣе печатнаго листа. Письменнаго согласія Салаевъ дать никакого не можетъ.

Относительно фотографіи „Забытыхъ“ достать не берусь, потому что не знаю, гдѣ ихъ взять. Вороновъ, Левитовъ до насъ уже искали, но не нашли. Афанасьева я гдѣ-то видѣлъ литографію, но не знаю гдѣ. Пишу наскоро. И. Суриковъ.

25 Сентября—77 г. Милый мой Н. А!.. Душевно васъ благодарю за №№ газетъ съ отзывами о моей книжкѣ стиховъ. Голубчикъ, будь добръ, что только попадется гдѣ, сейчасъ же купи и пришли, мнѣ достать негдѣ,—я нигу да не хожу. Нужно смотрѣть во всѣхъ газетахъ и журналахъ,—книжки всюду разосланы, даже посланы въ провинціальныя газеты.—Меня не мало удивляютъ нѣкоторые рецензенты,—они непременно хотятъ видѣть во мнѣ Кольцова,—хоть мы и самоучки, но мы разные, при разныхъ условіяхъ пришлось намъ жить, чахнуть да я и не думалъ никогда быть Кольцовымъ и тянуться за нимъ, я хотѣлъ быть просто Суриковымъ, хоть лыкомъ шитымъ, но быть самимъ собой. И. Суриковъ.

30 Сентября—77 г. Добрый Н. А!.. Спроси В. А. Слѣпцова, если онъ въ Петербургѣ, сколько онъ возьметъ за право изданія его сочиненій, кромѣ романа „Трудное время“, и дай мнѣ отвѣтъ съ его согласіемъ. Если онъ пожелаетъ продать свои сочиненія, я передамъ желающему издатъ его произведенія. Пожалуйста отыщи Слѣпцова въ Петербургѣ или спишишься съ нимъ, если онъ опять возвратился въ Саратовъ. Еще просьба,—не возьмете ли вы на себя трудъ похлопотать въ Петербургѣ въ Главномъ Управленіи по дѣламъ печати о разрѣшеніи изданія новаго еженедѣльнаго юмористическаго, литературнаго журнала. Пишу наскоро. И. Суриковъ.

20 октября—77 г. Голубчикъ Н. А!.. Постарайся пожалуйста отыскать адресъ В. А. Слѣпцова. Я слышалъ отъ А. А. Гатцука, что В. А. находится въ Пятигорскѣ,—но за вѣрность этого онъ не ручался, передавалъ

какъ слухъ. Не было ли гдѣ рецензій о моихъ стишонкахъ. Гатицукъ за „Василько“ отдалъ мнѣ 80 руб. Я все думаю появиться въ С.-Петербургъ. Душевно преданный И. Суриковъ.

26-го октября—77 г. Добрый мой Н. А! О Бернсъ въ 1876 г., въ лѣтнихъ мѣсяцахъ журнала „Дѣло“, была помѣщена статья, въ 9 №, кажется, г. Алеевой,—статья обширная, въ ней много помѣщено его стиховъ. Въ моей жизни о Бернсъ, мнѣ приходилось читать много разныхъ замѣтокъ и различныхъ свѣдѣній,—но я перезабылъ, гдѣ это было напечатано и когда. Благодарю за присылку № „Иллюст. Недѣли“. И. Суриковъ.

Р. С. Въ „Дѣло“ я не посылалъ книги моихъ стиховъ, да и нужно ли это? Видь у А. К. III—ръ моя книга есть.

10 ноября—77 г. Милый мой Н. А!.. Я все собирался написать тебѣ обстоятельное письмо, но по нездоровью поневолѣ не бралъ пера въ руки. Ну, какъ ты живешь,—плохо или хорошо? Я отъ типографіи отказался. Что я съ моимъ изломаннымъ здоровьемъ за работниковъ? Плохо, голубчикъ, и скверно мнѣ! Силы день за днемъ исчезаютъ; фантазія отказывается работать, душа проситъ отдыха, измучилась она этой безотрадной, безразсвѣтной жизнью... Что у васъ въ Петербургѣ новаго. Душевно преданный И. Суриковъ.

Р. С. Вышло новое изданіе стихотвореній И. С. Никитина,—но я еще его не видалъ,—мнѣ хотѣлось прочитать написанную вновь біографію М. Э. Де-Пуле.

21-го ноября—77 г. Добрый мой Н. А!.. Здоровье мое такъ же плохо, какъ и прежде: глухой кашель не прекращается, потъ по ночамъ все усиливается. Бываютъ дни, что мнѣ дѣлается очень—очень гадко, хотя домашнимъ моимъ объ этомъ ни слова, все перемагаюсь, что ихъ пугать. Голубчикъ мой! Меня занимаетъ одинъ вопросъ: можетъ, случится это скоро; а если и не скоро все-таки не долго заживусь я и вдругъ протяну ноги—жена моя останется безъ гроша,—лавченка, да какъ они поведутъ ее безъ меня и много ли она дастъ,—ты знаешь всѣхъ моихъ, стало быть и объяснять всѣ мелочи тебѣ нечего. И вотъ я думаю, думаю: занимаетъ меня и тревожитъ вотъ что. Теперь стихотворенія мои идутъ такъ себѣ; но когда меня не будетъ, тогда они, можетъ, и найдутъ себѣ бѣльшее сочувствіе и чего-нибудь будутъ стоить.—Разойдется изданіе, кому хлопотать о новомъ,—женѣ, гдѣ ей!.. Кому ихъ тогда издавать?.. Не возмешь ли ты на себя обязанность, если переживешь меня, послѣ мой смерти написать мою біографію,—ты меня лучше всѣхъ знаешь,—и тогда предложишь К. Т. С—ву издать мои творенія и вырученнымъ остаткомъ отъ изданія помочь моей бѣдной женѣ. Эта мысль давно меня занимаетъ—и я, кажется, высказывалъ тебѣ ее лично,—я хочу привести эту мысль въ исполненіе формально, научи меня, какъ это нужно слѣлать,—спроси кого-нибудь и сообщи мнѣ. Всѣ рецензіи и замѣтки на мои творенія я собираю и перешлю,—они у тебя будутъ цѣлы, да можетъ быть понадобятся тебѣ, а впрочемъ, тогда дѣлай, какъ ужъ знаешь. Теперь о другомъ; посылаю карточку А. И. Левитова. Вчера приобрѣлъ и просматривалъ новое изданіе соч. И. С. Никитина „съ и справленою біографіею“,

какъ заявлено г. Де-Пуле,—эдакой обманъ публики,—біографія эта нигдѣ не исправлена, за исключеніемъ развѣ 5—6 словъ. При новомъ изданіи приложенъ портретъ Никитина,—и такой плохой, какіе встрѣчаются только въ лубочныхъ изданіяхъ. У меня есть литографированный портретъ Никитина,—преlestь,—новой же, Богъ его знаетъ, съ чего и слѣланъ; но перлъ всего это предисловіе отъ издателя. (Писано оно,—это мнѣ извѣстно хорошо,—самимъ же М. Э. Де-Пуле,—но не подписанно имъ). Вотъ вамъ одно мѣсто: „Только благодаря покровительству и поддержкѣ такихъ людей, какъ г. г. Де-Пуле, Александровъ-Дольникъ и покойный Второвъ удалось Никитину встать на ноги и, руководствуясь совѣтами и указаніями ихъ, развить свой поэтический талантъ“. Я же прозрѣваю въ этихъ людяхъ—совершенно противное: эти люди изломали, высушили Никитина, насилуя его талантъ, навязываньемъ ему своихъ взглядовъ, убѣжденій и подгибаньемъ его подъ принятое ими направленіе. Впрочемъ, это мой личный взглядъ, основанный на нѣкоторыхъ, извѣстныхъ мнѣ, фактахъ; но ты можешь съ нимъ и не соглашаться. II часовъ ночи; на душѣ тоскливо; улягусь и постараюсь во-снѣ забыться отъ всего гнетущаго на-яву. Преданный тебѣ И. Суриковъ.

Добрый мой Н. А!.. Портретъ свой для передачи Н. П. Вагнеръ для журнала „Свѣтъ“, какъ ты писалъ мнѣ, я послалъ по адресу А. Н. Я - би. съ передачею тебѣ. Получена ли эта фотографія,—я послалъ ее простымъ письмомъ.

Мнѣ жалко не себя, обидно и жестоко.

Ошибся я въ себѣ,—ошибкой горькой той

Душа моя и умъ уязвлены глубоко,

И сердце мнѣ гнететъ мучительной тоской.

Мнѣ жалко, что въ себя я вѣровалъ такъ много,

И много я надеждъ прекрасныхъ погубилъ...

Для жизни же принесъ я скудный вкладъ, убогой *),

И всѣ мои дары я праздно расточилъ.

Мнѣ жалко, что съ своей тяжелою обидой

Придется мнѣ уйти изъ міра безъ слѣда,

Прикрывшись своей позорною хламидой

Мучительной тоски и жгучаго стыда.

Р. С. Это набросокъ. Мысль эту нужно развить полнѣе. И. Суриковъ.

11-го января—78 г. Добрейшій Н. А!.. Деньги 10 р. получилъ; причина моего долгаго молчанія болѣзнь; я пролежалъ весь декабрь и начало января, какъ колода. Сообщите Н. П. Вагнеръ, что я №№ 10, 11, и 12 его „Свѣта“ не получилъ; онъ выслалъ мнѣ только девять №№; передайте ему и мой адресъ. Типографія Грачева продана. Пишите мнѣ, голубчикъ. И. Суриковъ.

22-го января—78 г. Милый Н. А!.. Извини, что рѣдко пишу—ей Богу.

*) Вариантъ: „Для жизни же я далъ вкладъ скудный и убогій“

нѣтъ времени. Отецъ мой опять поймалъ „черта за рога“,—и вотъ уже больше двухъ недѣль канителится съ ранняго утра до поздняго вечера. Все дѣло хоть брось. Статьи „Чуткіе люди“ не читалъ, ибо до сихъ поръ не вижу послѣднихъ №№ „Свѣта“ за 1877 годъ. Пишите. И Суриковъ.

5-го февраля—78 г. Добрый мой Н. А!.. Батка мой все еще ведетъ свою канитель.—здоровье мое очень плохо; а я торчу цѣлые дни въ лавкѣ. Живется тяжело и скверно. На писанье махнулъ рукою и ничего не пишу, да и желаніе писательствовать пропало. Нужно заняться матеріальнымъ дѣломъ и позаботиться о семьѣ, иначе ей придется нищенствовать.—писательство мнѣ ничего не дало, кромѣ лишеній и душевной скорби. Будетъ; я намучился и здоровье изломалъ. Прощайте! Будьте здоровы. И. Суриковъ.

26 февраля—78 г. Добрѣйшій Н. А!.. Благодарю за письма. Здоровье мое такъ же плохо, какъ и было,—кашель замучилъ совсѣмъ. А. К. III—ръ сожалеетъ, что я послѣднее время мало творю,—я долженъ сказать, что онъ не знаетъ моей житейской обстановки, да, вѣроятно, не знаетъ и того, что болѣе года чахну положительно въ болѣзни. Что за писательство, когда и тѣло чахнетъ и духомъ боленъ! Но главная причина моего неписанія стиховъ — это ложь и фразерство, съ которыми мнѣ въ послѣднее время пришлось познакомиться при моемъ столкновеніи со многими редакціями журналовъ и ихъ сотрудниками—эта ложь и безсодержательное фразерство большинства убили во мнѣ всю энергію къ писательству. Если многіе завѣдомо лгутъ, то я что же буду дѣлать съ моимъ стономъ, плачемъ и завѣтными стремленіями къ искренности и правдѣ, какъ понимаю. Нѣтъ Богъ съ нимъ съ этимъ писательствомъ—я лгать не хочу. Пишите. Уважающій душевно И. Суриковъ.

23-го марта—78 г. Милый Н. А!.. У меня есть предположеніе открыть бібліотеку для чтенія,—не поможете ли вы мнѣ своею бібліотекою, оставшеюся у васъ въ Саратовѣ, разумѣется, я вамъ за эти книги заплачу,—мнѣ книги нужны будутъ для бібліотеки разныя и старыя, а то я стану пріобрѣтать новыя. Если вы можете исполнить это, то сообщите мнѣ поскорѣе. Любящій васъ И. Суриковъ.

Р. С. Отецъ мой боленъ горячкою,—это меня очень тревожитъ, выдержать ли его организмъ.

18-го апрѣля—78 г. „Воистину Христосъ воскресъ!“ Добрый Н. А!.. Душевно благодаренъ за письмо. Я все болѣю, — кашель меня заматалъ въ конецъ. Поблагодарите сердечнаго человѣка А. Н. Плещеева за память обо мнѣ. Очень радъ видѣть его книгу „Подснѣжникъ“. Въ Петербургѣ будетъ издаваться какой-то новый журналъ „Фонарь“; редакторъ его, Смирновъ М. П., прислалъ мнѣ письмо и просилъ сотрудничать въ его журналѣ,—на это письмо я еще не отвѣчалъ. Въ Москвѣ съ 1-го мая будетъ издаваться еженедѣльный художественный и литературный журналъ „Свѣтъ и Тѣнь“. Нѣсколько стихотвореній моихъ кѣмъ-то переведено на нѣмецкій языкъ и напечатаны они въ нѣмецкомъ журналѣ „Кладезъ радочъ“. Это мнѣ говорилъ Н. Н. Удивляюсь, почему это журналъ „Дѣло“

не далъ никакого отзыва о третьемъ изданіи моихъ стихотвореній. Книжка моя говорятъ идетъ хорошо—половина ея продана; посмотримъ, что будетъ дальше. Жду вашего писанія „обстоятельнаго“. Сердечно преданный И. Суриковъ.

Р. С. Стиховъ не пишу; пропала моя поэзія.

10-го мая—78 г. Добрый мой Н. А!.. Книгу А. Н. Плещеева получилъ,—и отъ души его благодарю. Здоровье мое очень плохо, день хожу, да два лежу. Послалъ я малую стишину въ „Дѣло“; но послѣдняя строфа мнѣ не нравится—очень печаленъ выводъ. Не увидите ли вы А. К. Шеллеръ, — попросите его напечатать это стихотвореніе безъ послѣдней строфы. Стихотвореніе это начинается такъ:

Полно вамъ, поэты братья,
Съ ненавистной жизнью спора,
Налагать свои проклятья
На пѣвцовъ тоски и горя?

Послѣдняя строфа его:

Будетъ время, что и сами
Силы вы въ борьбѣ уьете,
И тогда-то вмѣстѣ съ нами
Пѣсню горя запоете.

Не закончить ли сію стишину въ такомъ родѣ:

Дай Богъ вамъ дойти счастливо
До своей высокой цѣли... и т. д...

Иначе конецъ выходитъ очень безотраденъ,—подумайте и сообщите свое мнѣніе... Но лучше, мнѣ сдастся, совсѣмъ послѣднее четверостишіе смахнуть въ сторону. Что вы пріѣдете въ Москву, или нѣтъ? Душевно преданный И. Суриковъ.

14-го мая—78 г. Добрый мой Н. А...! „Маляръ“—журналъ юмористическій съ карриатурами—прекращаетъ свое существованіе, издательница его Волкова продаетъ право на изданіе этого журнала. Голубчикъ, сходите къ г. Волковой и спросите сколько она возьметъ за свой умирающій журналъ. Я слышалъ, что она проситъ 2000; но говорятъ, возьметъ съ удовольствіемъ и 1000 р. Если дѣйствительно возможно дать эту сумму, то мы его купимъ маленькимъ кружкомъ. Возмите у Волковой копію программы журнала и перешлите мнѣ. Издавать „Маляръ“, мы будемъ въ Москвѣ,—отвѣтственнаго редактора найдемъ, издателемъ могу фигурировать и я. Думаю, что не провалимся. Сотрудники для этого журнала есть—художники и писатели. Сообщите мнѣ скорѣй ваши переговоры съ Волковой, и я тогда пріѣду въ Петербургъ. Денегъ для покупки и начала изданія мы найдемъ, — или сложимся, говорю, компаніей.—Надѣюсь, общими силами журналъ этотъ мы поставимъ хорошо. И. Суриковъ.

31-го мая—1878 г. Голубчикъ Н. А!.. Нынѣ среда, а въ субботу я уѣзжаю въ Самарскія степи. Иного исхода нѣтъ: или ѣхать въ степи и

пить кумысъ, или остаться въ Москвѣ и къ зимѣ протянуть ноги... Я рѣшил ѣхать и бросить всѣ занятія въ Москвѣ. — Если останусь живъ, опять всѣ дѣла устрою; а нѣтъ, тогда пускай устраиваютъ другіе.

Весна вступила въ свои права—цвѣтеть все; а мнѣ дышется тяжело.

Распустилися деревья,	Хорошо весной живется,
Соловьи запѣли,—	Дышется вольнѣе—
А меня недугъ тяжелый	Да не мнѣ, меня злой кашель
Приковаль къ постели.	Душить все сильнѣе.

Вы знаете, душевный мой, что я васъ горячо люблю, потому я не могу уѣхать, не простясь и не увѣдомивъ васъ. Желаю всего хорошаго. Писать вамъ изъ степи, если будетъ возможность, не примину. И. Суриковъ.

Р. С. Поклонитесь А. Н. Якоби; увидите А. Н. Плещеева, засвидѣтельствуйте ему мое душевное почтеніе. Для журнала „Обученіе и Воспитаніе“ я началъ писать стихотвореніе; но оно за моимъ отъѣздомъ, вѣроятно, такъ и останется неоконченнымъ, а можетъ быть, я его окончу въ степи,—планъ увезу въ головѣ. Мнѣ совѣстно предъ М. К. Цебриковой.—далъ ей обѣщаніе написать стихотвореніе и постараюсь это исполнить.

1878 г., 5 іюня. Симбирскъ. Параходъ „Путникъ“. Милый мой Н. А..! Въ дорогѣ на меня напала страшная тоска, и подъ давленіемъ ея всѣ мои умственныя и душевныя силы замерли—молчатъ. Москва теперь далеко и что же я могу сказать о ней при видѣ Волжскихъ степей:

Городъ шумный, городъ пыльный,
Городъ полный нищеты!
Точно склепъ сырой могильный,
Бодрыхъ духомъ давишь ты!

Радъ, что я тебя покинулъ,
Душный городъ, гдѣ я росъ,
Гдѣ едва-едва не сгинулъ
Въ безднѣ горя, въ морѣ слезъ.

Солнце тамъ меня не грѣло
Золотымъ своимъ лучемъ,—
Здѣсь въ степи же закипѣла
Снова жизнь во мнѣ ключемъ.

Я впиваю воздухъ жадно...
Душный городъ далеко!..
Какъ душѣ моей отрадно,
Какъ груди моей легко...

Р. С. Провожалъ меня на станцію Нижегородской дороги весь нашъ кружокъ: М. А. К—въ, Родіоновъ, Михалычъ, К—гъ, В—довъ, С—ловъ. Распростились со слезнымъ цѣлованіемъ: должно быть я для нихъ что-нибудь значилъ,—они собирались ко мнѣ каждую недѣлю потолковать о литературѣ, поэзіи, искусствѣ, дѣлиться взглядами, такъ сказать, освѣжаться

отъ житейской пыли. Будутъ ли они собираться теперь и у кого? И мнѣ безъ нихъ тоскливо. и они безъ меня осиротѣли. Передъ отъѣздомъ изъ Москвы я снимался у Шереръ и Набоглицъ. Изъ Самары, когда развяжу чемоданъ, вашего „Захарыча“ вышлю вамъ. Фотографія очень вѣрная, она удалась, кажется, въ первый разъ. —Гдѣ я устроюсь, и какъ устроюсь—напишу,—и тогда сообщу свой адресъ. И. Суриковъ.

11-го іюня—78 г. д. Хомякова, Самарская губернія. Добрый мой Н. А! Я нахожусь въ степи за 139 верстъ отъ Самары. Ѣзда отъ станціи Безенчукъ до Хомяковки въ степь на лошадахъ такъ меня растрясла, что я, пріѣхавши на мѣсто, слегъ и пролежалъ два дня. Нынѣшній день всталъ и принялся за питье кумыса, что будетъ,—не знаю. Въ дорогѣ я набросалъ два стихотворенія—„На Одрѣ“ и въ „Степи“. Теперь принялся марать третье стихотвореніе—лирическое:

„Потухаетъ румяная зорька вдали,—
И по степи вечернія тѣни легли...“

Окончу его, или брошу,—не знаю. Кумысолечебное заведеніе, гдѣ обрѣтаюсь я, находится въ глухой ковылевой степи и куда не взглянешь все степь, да степь...

Взглянешь влѣво, взглянешь вправо,—
Всюду ширь и тонетъ взоръ...
Степь! тебѣ и честь, и слава
За могучій твой просторъ!..

Письма изъ этой степной глуши отправляются „по okazji“ разъ въ недѣлю до станціи Марьевка, а отъ Марьевки до станціи Безенчукъ, что на Сызранской желѣзной дорогѣ, т. д.,—и пропутешествуетъ письмо — Богъ знаетъ сколько времени.

Плановъ для стихотвореній у меня много, но исполню ли ихъ,—вотъ вопросъ? Я очень слабъ, поболтаюсь по степи версты три, четыре,—и задохся, кашель меня мучаетъ страшно. Пишите на станцію Марьевка, Самарской губ.—Сердечно преданный. И. Суриковъ.

15-го августа—78 г. Добрый мой Н. А!.. Вчерашний день я прибылъ изъ Самарскихъ степей въ душную Москву. Здоровье мое поправилось. Свистъ и хрипѣніе въ легкихъ пропали; отдышки нѣтъ,—силы окрѣпли. Но вотъ вопросъ? Докторъ, отпускающая меня изъ своего лечебнаго заведенія совѣтовала мнѣ положительно оставить торговлю ржавымъ желѣзомъ и угольями, какъ вредными веществами для больныхъ легкихъ. Что дѣлать? чѣмъ заняться? Есть у меня два дѣла на виду. Одно—это открыть книжный магазинъ. Другое—купить у Ѳ. Б. Миллеръ право на изданіе журнала „Развлеченіе“, — онъ его продаетъ. Голубчикъ, подумайте и посоветуйте за что лучше взяться? Миллеръ, можетъ быть, уступить мнѣ дешевле, чѣмъ другимъ свое „Развлеченіе“ и плату разсрочить на года. Жду вашего ответа въ скорости. Оставаться опять при старомъ дѣлѣ — я погибъ! по-

гибъ и тѣломъ и духомъ! Страшное положеніе. Душевно васъ любящій И. Суриковъ.

18-го августа—78 г. Добрый Н. А!.. О. Б. Миллеръ свой журналъ „Развлечение“ продавать отдумалъ, — я какъ-то валь писалъ о журналѣ „Маляръ“, — не постараетесь ли вы узнать подробно засколько продаетъ его Волкова. — Если это дѣло подходящее, — можно его купить и перевести въ Москву. Голубчикъ, узнай все это и сообщи мнѣ поскорѣй. Пишу набѣгомъ въ трактирѣ. И. Суриковъ.

22-го августа 1878 г. Мой добрый Н. А!.. При этомъ письмѣ прилагаю вамъ составленную мною программу, задуманнаго вновь журнала „Зарница“. Задача этого органа печати — освѣщать какъ хорошія, такъ и дурныя стороны нашей общественной жизни. Однѣ — какъ отрадные явленія и по этому заслуживающія уваженія, — другія, — какъ уродства и потому должны быть преданы порицанію и осмѣянію. Разчетъ мною сдѣланъ на 5,000 №№ еженедѣльно. Годичная стоимость этого журнала, съ платою сотрудникамъ, художникамъ, за бумагу, печать, наборъ, наемъ помѣщенія для редакціи, платы редактору и т. д. — обойдется 25 т. Тутъ включены всѣ даже непредвидѣнные расходы. Къ сотрудничеству должны быть приглашены лучшія наши силы какъ въ литературѣ, такъ и въ художествѣ. Разузнайте, голубчикъ, можно ли надѣяться, что этотъ журналъ разрѣшатъ. Поговорите объ этомъ дѣлѣ со свѣдущими людьми. Для начатія и веденія этого дѣла можно будетъ достать безъ всякихъ процентовъ 5.000 р., кромѣ этого есть кредитъ, — за бумагу и типографію подождать. И. Суриковъ.

„Зарница“. Журналъ литературный, художественный и юмористическій. Программа: Отдѣлъ литературный. 1) Романы, повѣсти, разсказы, драмы, комедіи, какъ оригинальныя, такъ и переводныя, очерки, сцены и стихотворенія, какъ чисто художественныя, такъ и юмористическія. 2) Біографіи замѣчательныхъ людей. 3) Шутки, анекдоты, сказки, замѣтки, изрѣченія, происшествія, фельетонъ изъ общественной жизни, обзоръ художественныхъ выставокъ. 4) Библіографическія замѣтки о вновь выходящихъ книгахъ. 5) Некрологи. 6) Почтовый ящикъ (отвѣты редакціи). 7) объявленія. Отдѣлъ художественный. 1) Рисунки къ романамъ, повѣстямъ, разсказамъ, драмамъ, комедіямъ, сценамъ и стихотвореніямъ, снимки съ извѣстныхъ художественныхъ произведеній. 2) Каррикатуры изъ жизни общественной. 3) Художественныя рекламы. Изданіе журнала еженедѣльное — по субботамъ, въ объемѣ двухъ печатныхъ листовъ. Подписная цѣна въ Москвѣ безъ доставки 7 р. 50 к., съ пересылкою въ города 8 р. 50 к.

31-е августа, 1878 г. Милый Н. А.! Вы одобряете мое намѣреніе хлопотать о разрѣшеніи новаго журнала; но мнѣ Московскій Оберъ-Полицеймейстеръ въ полицейскомъ свидѣтельствѣ отказалъ. Когда я тронусь изъ Москвы въ Петербургъ — сообщу. Пишу наскоро. И. Суриковъ.

1-е сентября, 1878 г. Милый Н. А.! Я писалъ Волковой (издательницѣ журнала „Маляръ“) сколько она возьметъ за право. Купивши этотъ журналъ, названіе его можно измѣнить и, немного поиздававши, можно просить и программу его порасширить, и сдѣлать его журналомъ литературнымъ

и художественнымъ. Министръ новыхъ журналовъ, говорятъ, положительно не разрѣшаетъ теперь, а программу стараго журнала расширить онъ дозволить. Отъ Волковой я еще отвѣта не получалъ, потому что еще вчера только ей писалъ. Сходите къ ней и узнайте цѣну права и самую программу и скажите ей, что вы спрашиваете отъ моего же имени,— а то она можетъ подумать, что вы новый покупатель. Узнайте отъ Волковой крайнюю цѣну и поторгуйтесь съ ней, — дорого не давайте, — онъ уже не издается. Жду вашего скорого отвѣта. И. Суриковъ.

20-го сентября—78 г. Добрый мой Н. А!.. Наступила осень; полили дожди; здоровье мое опять стало плохо: боль головы, поясницы, явились сильный кашель и одышка. О всякомъ новомъ дѣлѣ теперь слѣдуетъ и думать отложить: куда я съ такимъ здоровьемъ и на какое дѣло гожусь? По прїѣздѣ моемъ изъ степи, думалъ, что болѣзнь моя прошла, я чувствовалъ себя хорошо,—и былъ готовъ приняться за дѣло, но оказывается, что ошибся — я опять разшатался. Что вы мнѣ долго не пишете? Вы знаете, какъ я васъ люблю—и долгое ваше молчаніе меня убиваетъ. Поклонитесь А. Н. Якоби и милому А. Н. Плещееву. Если немного слѣдается мнѣ получше, я прїѣду въ Петербургъ. Голубчикъ, Н. А., прочитайте, прилагаемый степной набросокъ и скажите мнѣ куда онъ годенъ? Не годится ли для дѣтскаго журнала? Душевно васъ любящій И. Суриковъ.

Р. С. Михайлычъ вамъ кланяется. Я переѣхалъ на другую квартиру, но въ томъ же домѣ.

12-го октября—78 г. Добрый мой Н. А!.. Пишу вамъ кое-какъ, очень не здоровится, кашель мучаетъ—дѣло мое плохо. Голова моя въ какомъ-то оступѣніи, душа болитъ...

Какъ засну на вѣки,	Видѣлъ я не мало!
И замолкнуть въ сердцѣ	И тоска—кручина
Скорбныхъ пѣсень звуки,—	Грудь мою сжимала,
Не судите, братья,	И отъ боли кровью
Вы меня сурово	Сердце обливалося,
За мое больное,	И невольно слово
Горестное слово.	Горькое сказалось.
Охъ, людскаго горя	

Прощай, мой хорошій! Жду твоего письма. Поклонись А. Н. Плещееву, А. Н. Якоби. И. Суриковъ.

Р. С. Отецъ мой опять свихнулся и пошелъ по своей стезѣ. Горько и обидно.—Журналъ „Будильникъ“ сталъ платить мнѣ 35 к. за строчку, просить давать ему чаще стихи. Шесть стихотвореній за нынѣшній годъ я уже напечаталъ тамъ, да пять хочу туда же послать завтрашній день. Не знаю успѣю ли ихъ нынче переписать и будули въ силахъ,—грудь очень болитъ,—кашлемъ всю разбило.

14-го октября—78 г. Добрый Н. А!.. Что вы замолкли? М. К. Цебрикова просила меня письмомъ, чтобы я что-нибудь написалъ для ея журналы—„Обученіе и Воспитаніе“,—думаю изобразить сказку—„Сумка“, мате-

ріалъ для этой сказки у меня есть—и хороший. Передайте, мой добрый, прилагаемую карточку милому А. Н. Плещееву,—карточка эта снята по приѣздѣ моемъ изъ степи. Жду вашихъ писаній „яко нѣкой благодати“. И. Суриковъ.

20 января, 1879 г. Милый Н. А!.... Я честно мыслилъ и пѣсни мои были искренны; а пускай обо мнѣ думаютъ, что хотятъ. День за днемъ я начинаю уходить глубже въ самого себя—и жить въ самомъ себѣ. Грустное положеніе! Но что дѣлать?—Иначе жить нельзя. Твою сердечность, твою откровенность часто люди предають поруганію, — по неволѣ будешь молчаливымъ и будешь жить въ самомъ себѣ. Завтрашній день я буду въ университетѣ, въ публичномъ засѣданіи Общества любителей Русской словесности, на чтеніи. Билетовъ на чтеніе я никому не выдавалъ,—не хочу. Душевно любящій И. Суриковъ.

8 февраля, 1879 г. Милый мой А. Н.! Нового ничего нѣтъ въ Москвѣ и у меня, а потому и писать даже нечего. Нынче я видѣлъ И. И. Б—ва,—онъ вамъ кланяется,—пошли мы съ Б—вымъ въ музей Гаснера и проболтались тамъ часа полтора. Д. Н. Садовниковъ мнѣ писалъ изъ Петербурга, что онъ нѣсколько своихъ произведеній сдалъ въ редакцію „Русская Рѣчь“, затѣмъ въ „Вѣстникъ Европы“. Садовниковъ былъ у Н. П. Вагнера и узналъ отъ него, что литературнымъ отдѣломъ завѣдуетъ Л. Е. Оболенскій. С. А. Юрьевъ ждетъ разрѣшенія изъ Главнаго Управленія по дѣламъ печати на изданіе журнала „Русская Мысль“, — журналъ будетъ ежемѣсячный.

Какъ-бы мнѣ, голубчикъ, хотѣлось повидаться съ вами. Душа моя изболѣла, видя неправды, ложь, фразерство, двоедушіе, — я становлюсь подозрительнымъ, раздражительнымъ и желчнымъ. По временамъ на меня нападаетъ какая-то страшная тоска и я по цѣлымъ днямъ хожу изъ угла въ уголъ и не могу ни съ кѣмъ говорить. Мнѣ даже иногда приходится въ голову,—долго ли, коротко ли, но со мной должно случиться умпомѣшательство. Болѣзнь и внутренняя и внѣшняя, т. е. наружная, меня мучаютъ. Кашель расколотилъ всю грудь. Образовавшаяся опухоль на позвоночномъ столбѣ растетъ день за днемъ все болѣе. Неужели это начало гніенія позвоночнаго столба?... И. Суриковъ.

21 февраля, 1879 г. Добрый Н. А.! Ваши три письма и четвертое стихотвореніе Я. П. Полонскаго я получилъ. Извини, голубчикъ, что я отвѣтомъ запоздалъ. Каждый вечеръ все собираюсь вамъ писать,—приду домой и думаю: вотъ сейчасъ сяду и напишу письмо милому Н. А., анъ не тутъ-то было: чувствуешь—тамъ больно, тутъ больно, кашель, ознобъ... Махнешь рукой, да и ляжешь. Эхъ, плохой я сталъ теперь работникъ!.. Стихотвореніе Я. П. Полонскаго я читалъ еще въ первый мѣсяцъ появленія въ „В. Е.“—стихотвореніе это прекрасно: оно полно драматизма и глубокаго чувства. На первой недѣлѣ Великаго поста мы съ И. И. Б—вымъ ѣздили въ скитъ, гдѣ и причастились Св. Таинъ. Опухоль на позвоночномъ столбѣ все увеличивается,—она мнѣ причиняетъ страшную боль. Чѣмъ эта опухоль у меня кончится—не знаю. И. Н. Новацкій, московская знаменитость

по части хирургіи, сказалъ, что нужно ждать естественнаго разрыва этой опухоли, а операціи дѣлать нельзя. Такъ-какъ эта опухоль, по его мнѣнію, имѣетъ связь съ ребрами лѣвой стороны груди—и есть проявленіе другой болѣзни — то онъ операцію признаетъ опасною. Въ прошлое воскресенье въ публичномъ засѣданіи Общества Русской словесности былъ И. С. Тургеневъ, гдѣ публика восторженно встрѣтила нашего великаго писателя-художника. Въ этотъ день я не могъ идти въ засѣданіе, — пролежалъ въ постели. Въ будущее воскресенье въ засѣданіи будетъ другой И. С. читать свое стихотвореніе, — это И. С. Аксаковъ, — если буду въ состояніи идти, пойду. Стихотворенія Д. я читалъ и знаю ихъ. Посовѣтовали бы вы ему, голубчикъ, не вдаваться въ гражданскіе мотивы, — для этого есть писатели, которые больше нашего съ нимъ развиты, — у нихъ эти пѣсни лучше выходятъ; у насъ же въ пѣсняхъ подобнаго рода только будутъ слова, слова и слова... Да въ нашихъ пѣсняхъ эти слова и смѣшны и не свойственны нашей простой натурѣ. Впрочемъ, это личное мое мнѣніе, съ которымъ вы можете и не согласиться. Жду вашего писанія. И. Суриковъ.

1-го марта, 1879 г. Милый Н. А!.. Я дня три тому назадъ получилъ ваше письмо—и все не могъ отвѣтить, два дня лежалъ и никуда не выходилъ. Я положительно одеревянѣлъ и сталъ ни къ чему не способенъ, — меня ничто не занимаетъ, ничто не интересуетъ, хотя я физически живу, но духовно умеръ. Страшное состояніе, — и долго ли это будетъ, не знаю. И. Суриковъ.

3-го марта, 1879 г. Голубчикъ Н. А!.. Только-что отправилъ вамъ письмо и на другой день получилъ ваше. Душевно благодарю А. Н. Плещеева за его память обо мнѣ. Крѣпко, крѣпко мнѣ хотѣлось бы повидать этого милаго человѣка, который понялъ и оцѣнилъ меня лѣтъ 15-тъ тому назадъ и поощрилъ мои стремленія; но этотъ милый человѣкъ, встрѣтись со мною, меня теперь бы не узналъ: волоса на головѣ моей и борода моя побѣлѣли, — зовутъ теперь простые, добрые мои знакомые меня — дѣдушкою. Что дѣлать! Жизнь вашего „Захарыча“ не баловала. Да она, пожалуй, и резонно поступала такъ со мною. Зачѣмъ? Невольно припоминаются характерныя слова покойнаго Н. А. Некрасова изъ поэмы „Несчастные“: „Зачѣмъ?... Чтобъ человѣкъ не б а л о в а л с я!“... Голубчикъ Н. А!.. Не прѣдешь ли на Пасху въ Москву? Нужно бы мнѣ кое о чемъ лично поговорить съ вами. Пиши. Душевно васъ любящій И. Суриковъ.

3-го іюня, 1879 г. Милый мой Н. А.! Пишу вамъ изъ кумысолечебнаго заведенія, гдѣ нахожусь уже 15 дней. Погода здѣсь стоитъ мерзвѣйшая, — вѣтеръ, дождь, холодъ, — изъ своего номера никуда не вылѣзю, не здоровится страшно; кумысъ не пью, — въ эту погоду его пить нельзя. Что новаго въ Петербургѣ и въ литературѣ, — сообщите мнѣ, голубчикъ, я сижу здѣсь, какъ въ заключеніи. Пишу вамъ кое-какъ, потому что чувствую себя очень плохо и сейчасъ лягу въ постель — голова кружится, слабость въ тѣлѣ страшная. Жду вашего письма по адресу прошлаго года. Душевно васъ уважающій И. Суриковъ.

21-го іюня, 1879 г. Добрый мой Н. А!.. Получилъ ваше письмо и сердечно васъ за него благодарю. Здѣсь въ степномъ захолустьѣ письма родныхъ и друзей доставляютъ величайшую радость и ихъ перечитываешь по нѣскольку разъ. Здоровье мое, голубчикъ, какъ будто стало немного лучше; но мучительный кашель меня не оставляетъ, — онъ разбилъ мнѣ всю грудь, больно бока, больно спину. Нѣтъ, видно, отъ этого кашля мнѣ не отдѣлаться, такъ и придется съ нимъ убраться. Больныхъ здѣсь на кумысолечебномъ заведеніи противъ прошлаго года въ полтора раза болѣе, дороговизна страшная, хоть бѣги отсюда. Мѣсть для больныхъ давнымъ давно нѣтъ, а больные каждый день пріѣзжаютъ; но имъ отказываютъ, — они уже помѣщаются въ деревушкѣ Хомяковкѣ, находящейся отъ заведенія въ 4-хъ верстахъ, — не удобно, да что дѣлать. Жена моя все прихварываетъ, у нея болитъ голова, вѣроятно отъ жары; жара и духота здѣсь, дѣйствительно, трудно терпимая, 39°. Сегодня получилъ я письмо отъ И. Д. Родіонова изъ Ялты, онъ мнѣ пишетъ, что здоровье его тамъ быстро поправляется и бранить меня, что я не поѣхалъ туда, зоветь по окончаніи курса моего лѣченія здѣсь пріѣхать въ Ялту. Если скопятся у меня денженки, то я, пожалуй, мѣсяца на два уѣду туда. Я набросалъ три стихотворенія: „Умирающая дѣвушка“, „Нашла коса на камень“ и „Пѣсня — былъ“, хотѣлъ вамъ ихъ переслать, но два изъ нихъ очень длинны, а я очень слабъ и писать могу съ трудомъ. Есть еще два наброска, но они не совсѣмъ обработаны. „Пѣсня — былъ“ посвящается А. Н. Я.... Прощайте, мой добрый!.. Да хранить васъ Богъ! Уважающій васъ и любящій И. Суриковъ.

Р. С. При состояніи душевнаго покоя, я могу еще кое-что сдѣлать; но попаду въ Москву и столкнусь съ извѣстными вамъ дразгами — я пропалъ, меня бросай! ни строчки не напишу. Я ужасно нервентъ, дразги меня раздражаютъ и убиваютъ, даже, какъ видите, доколотили.

20 іюля, 1879 г. Милый, добрый Н. А!.. Пишу вамъ на-скоро, потому что изъ Самары собираюсь уѣзжать. Кумысъ мнѣ не принесъ никакой пользы, кашель мой усилился, одышка увеличилась, затѣмъ открылся кровавый поносъ и питье кумыса мнѣ докторъ велѣлъ прекратить. На позвоночномъ столбѣ у меня образовался еще нарывъ. Господи! когда я отдѣлаюсь отъ этихъ болѣзней и внѣшнихъ и внутреннихъ. Отъ А. Н. Якоби получилъ письмо, но отвѣчать я на него буду или изъ Москвы или Нижняго. Въ половинѣ августа я хочу ѣхать въ Крымъ мѣсяца на два. Голубчикъ, пишите мнѣ въ Москву, что новаго въ литературѣ? — Я началъ было переписывать для васъ всѣ свои стихотворные наброски, сдѣланные здѣсь, но не одолѣлъ и бросилъ, слабость меня замучила. Эхъ, какъ бы прежняя мочь да сила!... А то только теперь и ждешь, что вотъ-вотъ протянешь ноги... Прощай, мой добрый! И. Суриковъ.

1-го августа, 1879 г. Голубчикъ Н. А!... Я пріѣхалъ въ Москву, но здоровье мое также скверно, какъ и было, — кумысъ мнѣ нынче не оказалъ никакой пользы, кашель мой усилился, — я докашлялся до кровохарканія. Доктора посылаютъ меня въ Крымъ, — хочу ѣхать. Поѣду я туда въ поло-

винѣ этого мѣсяца. Нужно кончить въ Москвѣ кое-какія дѣла. Я жду вашего письма. Голубчикъ, попросите у А. Н. Я—би извиненія, что я не отвѣчаю на письмо, ей-Богу я очень слабъ, писать могу съ трудомъ. Какъ соберусь съ силами, то отвѣчу. Читали ли вы мою стишину „Пѣсня былъ“? „Нашла коса на камень“ я вамъ посылаю. Прощайте. И. Суриковъ.

6-го ноября, 1879 г. Милый Н. А!.. Душевно благодарю васъ за письмо. Въ Ялтѣ погода испортилась,—дожди каждый день. Грустно,—все лежу.

Распоряженіемъ вашимъ относительно литературнаго фонда я очень доволенъ. Но дѣло, голубчикъ, вотъ въ чемъ: я въ Ялтѣ долженъ прожить только до первыхъ чиселъ декабря, а затѣмъ уѣхать въ Москву, — такъ какъ въ Ялтѣ погода испортилась, да и дальше лучшую не пророчать, то доктора находятъ возможнымъ возвратиться мнѣ въ Москву, только нужно беречься простуды и сидѣть дома, на улицу не ходить. Весной же, какъ совѣтуютъ доктора, опять нужно приѣхать въ Ялту, или уѣхать въ Самару на кумысъ. Такъ вотъ что, мой добрый, если литературный фондъ пожелаетъ оказать мнѣ помощь (если даже онъ сумму пособія и разсрочить), то выслать мнѣ первое пособіе (если это будетъ въ ноябрѣ) сюда въ Ялту по извѣстному вамъ адресу, а затѣмъ переслать въ Москву. Сумма пособія мнѣ можетъ пригодиться весною (если доживу) уѣхать опять въ Самару, или въ Ялту. Въ Ялтѣ жизнь ужасно дорога,—я здѣсь проживаю 160 р. въ мѣсяцъ,—кромѣ докторовъ и аптечныхъ медикаментовъ, самъ не знаю куда, это квартира и содержаніе. Денегъ у меня было съ собою 600 р., и онѣ уже всѣ, — одинъ проѣздъ въ Ялту съ багажемъ стоитъ 108 р.,—я прожилъ совсѣмъ. И. Суриковъ.

14-го ноября, 1879 г. Добрый мой Н. А!.. Письмо ваше и карточку г. Гаевского я получилъ. Душевно благодарю васъ за ваше попеченіе обо мнѣ. Первое пособіе въ 100 р. я долженъ получить въ Ялтѣ, потому что проживу здѣсь до конца ноября, а затѣмъ уѣду въ Москву. Голубчикъ! нельзя ли устроить такъ, чтобъ другія мѣсячныя пособія въ январѣ, февралѣ, мартѣ и апрѣлѣ по 50 р. высылались мнѣ въ Москву. Въ Ялтѣ стоитъ теперь дурная погода, идутъ проливные дожди день и ночь, по улицамъ грязь непроходимая. Здоровье мое очень скверно, дышать мнѣ очень трудно, грудь разбило кашлемъ, мокрота душитъ; сплю я въ полулежащемъ положеніи, прислонясь спиною къ подушкамъ,—иначе я отъ прилива мокроты задохнусь. Плохо мнѣ, очень плохо,—пойду куда, на десяти шагахъ устану, закашляюсь и задохнусь. Когда вы посылали карточку г. Гаевского, вы, вѣроятно, еще не получали моего письма, въ которомъ я просилъ васъ выслать мнѣ послѣднюю сумму пособія въ Москву,—вы ничего объ этомъ письмѣ не упоминаете, поэтому я пишу вамъ вторично. И. Д. Родіоновъ опять свалился,—у него идетъ кровь горломъ,—онъ очень слабъ и никуда не выходитъ. Жена моя вамъ кланяется и желаетъ всего хорошаго. Бѣдная женщина! мнѣ ея очень жалко, видя гадость моего положенія, она какъ-то упала духомъ. Мой добрый, поблагодарите А. Н. Якоби и А. Н. Плещеева за ихъ заботы обо мнѣ. Прощайте. Жду скорого письма. Душевно любящій И. Суриковъ.

Р. S. Хотѣлось что-нибудь написать для „Дѣло“ или „Вѣстника Европы“ и не могу,—голова и душа отказались работать. Я сталъ теперь какой-то гнилой деревяшкой.

17-го ноября, 1879 г. Милый Н. А.! Вы писали мнѣ, что деньги 100 р. посланы мнѣ 8 ноября,—такъ значится и на карточкѣ г. Гаевского; но этихъ денегъ я не получалъ. 25 ноября я уѣду изъ Ялты, а нынѣ 17-е. Если деньги еще не посланы, то нельзя ли будетъ пересылать ихъ въ Москву. Получилъ телеграмму изъ Москвы, что отецъ мой опасно боленъ, его исповѣдали и причастили, я долженъ былъ нынче же ѣхать въ Москву, но у меня въ эту минуту нѣтъ денегъ на выѣздъ, а у Родіонова будутъ деньги только 25 ноября, я и возьму у него взаймы. Пишу это письмо съ трудомъ, у меня очень болитъ голова, я сильно разстроился. Нынче получено письмо, что сестра моей жены очень больна и едва ли встанетъ, а это ея любимая сестра,—жена плачетъ. Прощайте. И. Суриковъ.

24 ноября, 1879 г. Милый Н. А.! Я нынче послалъ вамъ телеграмму. И вотъ нынче же получилъ ваше письмо, на которое на-скоро и отвѣчаю. Вы пишете, что деньги 100 р. я, вѣроятно, уже изъ фонда получилъ. Этихъ денегъ, голубчикъ, я не получалъ и завтра уѣзжаю. Если деньги 100 р. еще не посланы, то перешлите ихъ въ Москву—мой адресъ вамъ извѣстенъ. Моя жена вамъ кланяется и желаетъ всего хорошаго. Непонятная карточка г. Гаевского сбила меня съ толку; рассчитывая получить изъ фонда 100 р., я не хлопоталъ о деньгахъ изъ Москвы, и вдругъ такой афронтъ! И я сталъ въ критическое положеніе: денегъ ни гроша, а выѣзжать нужно; хорошо что выручилъ Родіоновъ! Будь здоровъ. Пиши ко мнѣ въ Москву. Душевно преданный И. Суриковъ.

11-го декабря, 1879 г. Добрый мой Н. А.! Деньги 100 р. я получилъ: онѣ присланы были въ Ялту уже въ мое отсутствіе, 28-го ноября; но по заявленію Родіонова, оставленному имъ въ ялтской почтовой конторѣ, деньги эти мнѣ прислали въ Москву 9-го декабря. Здоровье мое, голубчикъ, день за днемъ становится все хуже,—въ лавку я уже не выхожу и дѣла по лавкѣ идутъ зря, т. е. лавка не приноситъ барыша. Я задыхаюсь, мой милый, и едва-едва могу переводить духъ. Ёсть я почти ничего не ѣмъ—аппетита нѣтъ, да и желудокъ не варитъ. Едва ли я, мой добрый, дотяну до весны, да и самому мнѣ это состояніе надоѣло—я выношу страшныя мученія: боль въ желудкѣ, убійственный кашель днемъ и ночью, трудность дыханія меня измучили въ конецъ. При этомъ положеніи я ни читать, ни писать не могу; я не человѣкъ, а такъ что-то такое истрепанное, изношенное, но еще движущееся и живущее. Жена моя вамъ кланяется. Прощайте, мой хорошій. Жду письма. И. Суриковъ.

23-го декабря, 1879 г. Голубчикъ, Н. А.! Я жду васъ на праздникъ къ себѣ. Утѣшите меня находящагося въ домашнемъ заключеніи,—я изъ комнаты никуда не выхожу, пріѣзжайте. Вчера я сдѣлалъ для „Будильника“ переводъ одной литовской пѣсни изъ Э. Одынца. Ничего, переводъ вышелъ удачный. Нужно признаться, что голова моя давно не работала и плохо меня слушается. И. Суриковъ.

III.

КЪ А. Н. Я....

Москва, сентября 28 дня, 1875 г. Многоуважаемая А. Н.! Исполняя ваше желаніе, переданное мнѣ добрѣйшимъ А. К. Шеллеръ, посылаю новое стихотвореніе „У пруда“. Если вы найдете его удобнымъ, то помѣстите въ вашемъ сборникѣ. При этомъ позвольте искренно поблагодарить за ваше вниманіе, которымъ вы удостоили меня. Вашъ покорнѣйшій слуга И. Суриковъ.

Москва, 1875 г. (безъ числа и мѣсяца). Многоуважаемая А. Н.! Душевно благодарю васъ за письмо. Книжку моихъ стихотвореній съ моею фотографическою карточкою я послалъ вамъ чрезъ книжный магазинъ Васильева. Жду вашей карточки и вашихъ изданій. Я обѣщался написать для сборника еще стихотвореніе, кромѣ посланнаго вамъ „У пруда“, — обѣщаніе это исполнилъ, — написалъ стихотвореніе „На рѣкѣ“. Это нѣчто похожее на мое стихотвореніе „Въ ночномъ“. Въ стихотвореніи „У пруда“ я провелъ передъ ребенкомъ темную сторону крестьянской жизни, но эта жизнь имѣетъ и свои свѣтлыя поэтическія картины. Въ моемъ стихотвореніи „На рѣкѣ“ я провожу свѣтлую сторону (разумѣется для ребенка) крестьянской жизни; для этого я взялъ впечатлительнаго мальчика, съ поэтическими наклонностями къ фантазіи. — Торговья мои занятія такъ мало даютъ мнѣ свободы, что не могу выбрать времени: чтобы переписать стихотвореніе на-бѣло, — весь день идетъ въ хлопотахъ и суетѣ, вечеромъ вернешься домой измученный физически и нравственно, какое ужъ тутъ писаніе? На этихъ дняхъ постараюсь переслать вамъ это стихотвореніе. Искренно васъ уважающій И. Суриковъ.

P. S. Съ большимъ удовольствіемъ написалъ бы для вашего сборника, для дѣтей-юношей, стихотвореніе по мысли, изложенной вами въ письмѣ; но, какъ я уже вамъ сказалъ, что торговья мои занятія мнѣ очень мало удѣляютъ свободнаго времени для литературы, то едва ли я успѣю что-нибудь написать. Въ маѣ мѣсяцѣ 1875 г. я надѣюсь побывать въ Пе-

тербургъ: мнѣ хочется повидаться съ А. Н. Плещеевымъ и съ А. К. Шеллеръ. Съ А. Н. Плещеевымъ, когда онъ жилъ въ Москвѣ, мы очень были дружны. Какъ попаду въ Петербургъ, то не промину посѣтить васъ. Я надѣюсь, что вы не откажете въ моей просьбѣ: когда выйдетъ ваша книга, вышлите мнѣ 2 экз.

Москва. 19 сентября, 1875 года. Добрѣйшая А. Н.! Извините ради Бога, что посылаю вамъ стихотвореніе „На рѣкѣ“ съ пометками, черновое,—переписать, право, некогда. Въ ноябрской книгѣ „Вѣстн. Европы“ печатается мое стихотвореніе—былина „Богатырская жена“; она должна мнѣ дать руб. 200, что при моихъ скудныхъ средствахъ много значить. Теперь я принялся писать стихотвореніе „Василько“. Приходится копаться въ лѣтописяхъ, въ разныхъ сказаніяхъ о Руси: эта работа очень кропотливая, скучная. Писать наскоро, того и гляди сдѣлаешь промахъ, неточность. Искренно васъ уважающій И. Суриковъ.

Москва, 1875 г. (безъ числа и мѣсяца). Милостивая Государыня А. Н. При всякой спѣшной работѣ неизбѣжны ошибки, такъ онѣ оказались и у меня. Нынче вечеромъ, просматривая первую черновую моего стихотворенія „На рѣкѣ“, я нашелъ нѣсколько повторовъ однихъ и тѣхъ же словъ,—посылаю вамъ это стихотвореніе уже въ исправленномъ видѣ. Прошу меня великодушно извинить за недосмотръ, если бы я сталъ переписывать стихотвореніе набѣло, то я эти промахи увидалъ бы и исправилъ; но я послалъ его вамъ въ черновомъ видѣ, поэтому и случилось такъ. Покорный слуга И. Суриковъ.

Москва. 17 ноября, 1875 года. Добрая А. Н.! Благодарю васъ за присылку книгъ; книги и ваше письмо переданы мнѣ N N. Я давно бы васъ поблагодарилъ, но страшно былъ нездоровъ и не могъ писать. Боль груди, кашель, головная боль и страшная одышка, по ночамъ холодный потъ. Теперь я оправился и могу писать. Я хорошо сознаю печальное мое положеніе,—при тѣхъ физическихъ работахъ, которыя приходится мнѣ каждодневно исполнять и при тѣхъ нравственныхъ страданіяхъ, которыя выпали на мою долю, я едва ли долго просуществую. Чувствую, что силы мои надломились, — физическій и нервный трудъ меня доколотили. Выхода изъ этого страшнаго, отравительнаго житья-бытья нѣтъ и не видится, остается махнуть рукой и ждать спокойно смерти.

Бываютъ дни—дни безотрадныхъ думъ,
И тяжестію ихъ разбить, подавленъ умъ.
Прекрасенъ Божій міръ и воздухъ свѣжъ ночной,
И небо такъ прекрасно-сине;
А жизнь прошедшая несется предо мной
Безплодной, голою пустыней.
И радъ бы смерти былъ, какъ Божьей благодатью...

Вотъ вамъ мое жизненное положеніе, которое я изобразилъ въ моемъ послѣднемъ стихотвореніи „Во тьмѣ“—

„Охваченъ я житейской тьмой,
„И нѣтъ пути изъ тьмы...
„Такая жизнь, о, Боже мой!
„Ужаснѣ тюрьмы“.

Тутъ все: мое положеніе и окружающая меня среда. Я послалъ это стихотвореніе А. К. Шеллеръ, — не знаю, помѣстятъ ли его. Извините за нѣкоторыя мои откровенности, я человѣкъ прямой и скрывать ничего не люблю, — это не въ моемъ характерѣ. Душевно преданный вамъ и глубоко васъ уважающій И. Суриковъ.

Р. С. Въ сентябрьской книгѣ (на дняхъ только вышедшей) „Общедоступной Библіотеки“ напечатано мое стихотвореніе „Наши пѣсни“. Меня всколыхнула одна фельетонная замѣтка „Голоса“ о скорбныхъ поэтахъ „Дѣло“, — въ отвѣтъ на эту замѣтку я и написалъ это стихотвореніе.

Москва, декабря 4 дня, 1875 года. Добрая А. Н.! Душевное мое спасибо за фотографическую карточку. Я, не зная васъ близко, глубоко васъ уважалъ за вашу дѣятельность на пользу общечеловѣческой мысли. Хотя мои жизненные идеалы, — въ чемъ, къ прискорбію, я долженъ вамъ сознаться, — давно уже разбиты, но вѣра въ честно-мыслящихъ людей во мнѣ еще жива. Я вѣчно буду ихъ уважать и даже готовъ на нихъ молиться: они святы по вѣчно неумирающему въ нихъ духу, по ихъ страданіямъ и борьбѣ.... Жду вашихъ книгъ. „Василько“ я почти кончилъ, — остается написать эпилогъ. Крѣпко жму вашу руку и желаю здоровья. Душевно преданный И. Суриковъ.

Москва, декабря 6 дня; ночь. 1875 г. Добрая А. Н.! Ваша карточка находится у меня на рабочемъ столѣ, и когда мнѣ приходится что-нибудь писать, она у меня передъ глазами и какъ будто говоритъ мнѣ:

Трудись, трудись, лукавый рабъ!	И пусть катится потъ съ чела,
Рабъ недостойный и лѣнивый:	Кровавый потъ, струей обильной.
Ты крѣпокъ тѣломъ, духъ не слабъ,—	Земля, что влагу приняла,
Трудись надъ жизненною нивой!	Дастъ плодъ...

И я принимаюсь энергичнѣе работать. Вы какъ-то писали мнѣ: „Не напишите ли вы еще какое нибудь стихотвореніе? Этотъ сборникъ предназначенъ для юношей. Скажите имъ о томъ горѣ и страданіяхъ, которыя испытываютъ умственные труженики“. Вотъ ваши слова. Посылаю вамъ стихотвореніе „Труженикъ“, — это стихотвореніе могло бы, мнѣ кажется, быть удобнымъ для вашего сборника „Мысль и Трудъ“, потому что въ основу его положена мною та же самая идея — „Мысль и трудъ“... Но сборникъ зданъ вами уже въ цензуру — поэтому, если вы найдете это стихотвореніе удобнымъ, то можете оставить его для будущаго вашего сборника. Если же оно почему нибудь окажется несоотвѣтствующимъ вашему взгляду. — надѣюсь получить отъ васъ отвѣтъ, — тогда я его пошлю въ другое мѣсто. Желаю вамъ всего хорошаго и крѣпко-крѣпко жму вашу руку. Сердечно преданный и душевно уважающій васъ И. Суриковъ.

Р. С. Добрая А. Н. въ стихотвореніи „На рѣкѣ“ одно мѣсто я просилъ бы васъ исправить,—это

Валежникъ, рыба, камни, пни,
Какъ сквозь туманъ, на днѣ виднѣлись,—

замѣнить слѣдующимъ:

Валежникъ, рыба, камни, пни,
Какъ на полу, на днѣ виднѣлись...

Я знаю, что вы теперь заняты дѣлами, и потому не могу просить короткаго письма.

Москва, декабря 7 дня, 1875 года. Добрая А. Н.! Я сейчасъ только получилъ ваше письмо и вмѣстѣ съ вами горю о погибшемъ сборникѣ. Что остается дѣлать? — Прекраснодушествовать? Но едва ли это намъ возможно? Ни по складу нашего ума, ни по нашему характеру мы подъ эту мѣрку не подойдемъ. Сидѣть сложа руки въ отупѣніи, похоронить себя за живо въ могилу, „чтобъ сердце сгнивало и умъ высыхалъ“—дѣло скверное. Жить такъ—черезчуръ тяжело!... Посланное мною вамъ стихотвореніе „Труженикъ“, вѣроятно, уже будетъ не нужно, перебросьте его въ „Дѣло“. Между прочимъ, позвольте вамъ слѣлать маленькій упрекъ за то, что въ вашемъ письмѣ есть слова: „и теперь гонораръ вашъ немного замедлится“. Неужели вы думаете, что я, посылая вамъ два стихотворенія, руководился только денежными интересами? Я уважаю васъ и готовъ сдѣлать для васъ все, что въ моихъ силахъ, на сколько хватить моего ума, души и сердца. Впрочемъ, прошу извиненія, если эти слова были вами сказаны такъ, между прочимъ... Прошу меня великодушно простить. Я долженъ вамъ по душѣ сознаться, что нынче очень скверно настроенъ, мнѣ все чернымъ кажется. Нынче я читалъ рецензію на мои стихотворенія, въ 40 № „Ремесленной Газеты“, гдѣ мнѣ, въ учительскомъ тонѣ, дается много наставленій, что у меня есть несомнѣнный талантъ, но что я долженъ изучать больше жизнь (какую?), изучать образцы человѣческой мысли (какой?). Странное самообольщеніе рецензента „Ремесленной Газеты“ въ своемъ знаніи! Неужели онъ принимаетъ меня за такого крайняго невѣжду, что я не знаю жизни и что вовсе ничего не читаю и не знаю образцовъ человѣческой мысли. Если я не учился школьнымъ порядкамъ, если меня не формулировали извѣстной мѣркой, то это еще не доказываетъ того, что я ничего не знаю и меня слѣдуетъ наставлять и поучать. И меня наставляютъ, что я долженъ пѣть, и какъ! Жаль только одного, что рецензентъ мнѣ не далъ совѣта, какъ бы я могъ дать душу своимъ произведеніямъ! Впрочемъ, онъ говоритъ, что душа въ моихъ произведеніяхъ есть, поэтому, стало-быть, онъ мнѣ и не преподавалъ совѣта по части душевнаго вопроса. Грызутся два рецензента изъ-за моихъ стихотвореній, отстаиваетъ каждый изъ нихъ свой взглядъ,—это: рецензентъ „Спб. Вѣдом.“ и рецензентъ „Ремесл. Газеты“, а меня терзаютъ. Я при чемъ

тут? До свиданія, добрая А. Н. Послѣ новаго года надѣюсь быть въ Петербургѣ, это моя завѣтная мечта, но не знаю, сбудется ли она. Меня въ жизни многое обманывало,—пожалуй, и это можетъ обмануть. Крѣпко жму вашу руку. Всегда вашъ И. Суриковъ.

Москва, декабря 29 дня, 1875 года. Добрая А. Н.! Прежде всего поздравляю васъ съ наступающимъ новымъ годомъ! Такъ-какъ вы, вѣроятно, все довольны старымъ счастьемъ, то желаю вамъ „новаго“.

Душевно благодаренъ за присылку книги „Путешествіе Ливингстона“. Въ послѣдній день передъ праздникомъ Р. Х. у меня была М. К. Цебрикова. но не застала меня дома,—я въ это время былъ въ городѣ. Прихожу домой, мнѣ говорятъ, что М. К. дожидалась меня часа полтора и сейчасъ только ушла. Я, быть можетъ, и засталъ бы ее, управившись со своими дѣлами въ городѣ; но тамъ, въ „Теплыхъ рядахъ“, случился пожаръ, и я простоялъ болѣе получаса въ числѣ „зѣвающихъ“, поэтому ее не засталъ. Очень сожалѣю, что не имѣлъ счастья видѣть М. К. Я ее такъ глубоко, глубоко уважаю за ея честную и даровитую литературную дѣятельность.

Журналъ „Природа и Люди“ прекращается до его начала. Вчера я получилъ письмо отъ С—ва, онъ пишетъ мнѣ: „Ваше стихотвореніе „Зимой“ я готовилъ въ № 2-й (первый уже набранъ); но, увы! Главное Управление по дѣламъ печати не разрѣшило мнѣ вести періодическое изданіе“... Теперь, изъ готоваго уже матеріала, С—въ намѣренъ издать сборникъ, и проситъ написать ему что-нибудь еще, кромѣ стихотворенія „Зимой“. Если успѣю, то напишу, у меня есть мысль написать стихотвореніе: „Городъ, дорога, деревня и лѣсъ“. Я желалъ бы посвятить его вамъ. Жалко С—ва,—ему пришлось записать въ расходъ 4,500 руб. И. чтобъ сколько нибудь оправиться отъ погрома, онъ рѣшается издать сборникъ.

Порадуйтесь вмѣстѣ со мною, добрая А. Н. Я 22 декабря избранъ въ дѣйствительные члены Общества Любителей Русской Словесности. Нѣкоторые изъ членовъ этого Общества мнѣ нѣсколько разъ заявляли, что они меня предлагаютъ въ дѣйствительные члены, но на эти предложенія я всегда отказывался, имѣя въ виду, что заслуги мои для словесности очень ничтожны. Теперь же предложенъ я былъ даже безъ моего вѣдома, и уже послѣ избранія получилъ письменное увѣдомленіе отъ казначея Общества Ѳ. Б. Миллеръ. Душевно буду радъ, если вамъ удастся приобрести дѣтскій журналъ,—я готовъ буду потрудиться для него. Кромѣ того, есть еще одинъ человѣкъ, который не прочь поработать тоже для вашего журнала: это одинъ изъ даровитыхъ моихъ пріятелей, А. Н. Трефолевъ. Человѣкъ этотъ одинаковаго пошиба со мною, и способенъ высказывать дѣтямъ жизненную правду въ очень изящной художественной формѣ.

Въ Петербургъ я думаю пріѣхать послѣ 15 января. До свиданія. Жму крѣпко вашу руку. Всегда вашъ И. Суриковъ.

Москва, 7 февраля, 1877 года. Добрая А. Н.! Благодарю васъ за память, 1-й № „Воспитанія“ я получилъ. Давно, давно я отъ васъ не слышалъ ни слова. Здоровы ли вы? и какъ вамъ живется? Литературныя силы гибнутъ: нѣтъ Демерта, нѣтъ и Левитова.

Рѣдѣютъ силы между нами, Одинъ закопанъ въ общей ямѣ,
И гаснутъ свѣтлые огни: Другой въ больницѣ кончилъ дни *)...

Некрологъ А. И. Левитова я помѣстилъ въ 4-мъ № „Пчелы“. В. А. Слѣпцевъ очень боленъ, его едва живаго перевезли изъ деревни въ Саратовъ, гдѣ онъ теперь и находится. Ф. Д. Нефедовъ мнѣ писалъ изъ Вологды, что онъ тоже очень боленъ.

Здорова ли Н. К. Цебрикова? Не видали ли А. Н. Плещеева и здоровъ ли онъ?

Хотѣлось что-нибудь написать для журнала „Воспитаніе“; но времени положительно нѣтъ, приходится литературныя занятія бросать. Торговныя мои дѣла и семейныя обстоятельства сложились такъ нехорошо, что нужно покинуть литературныя работы, иначе придется бѣдствовать.

Письмо это я началъ писать вамъ 7-го, а кончаю 13 февраля. Я не успѣлъ докончить вамъ письма,—за мною прислалъ больной мой товарищъ, писатель Д. Н. Кафтыревъ. И 8-го числа онъ умеръ отъ чахотки, 30-ти лѣтъ отъ роду, 11-го я его похоронилъ рядомъ съ Левитовымъ. Приведенное мною выше четверостишіе принадлежит моему умершему другу. Нынѣшній день я написалъ некрологъ о Д. Н. Кафтыревѣ для „Пчелы“, который въ одно время съ этимъ письмомъ и посылаю. Прощайте. Жму крѣпко вашу руку. Истинно вамъ преданный И. Суриковъ.

Москва, апрѣля 27 дня, 1877 года. Добрая А. Н.! Прошу меня великодушно простить, что я на письмо, присланное вами, такъ долго не отвѣчалъ: я былъ все это время нездоровъ; проклятый кашель не даетъ покоя, кромѣ этого пошла еще кровь горломъ, но усиліями доктора П—на кровотечение это остановлено. П—нъ совѣтуетъ мнѣ пить кумысъ и лѣтомъ ѣхать въ деревню, но по торговымъ моимъ занятіямъ ѣхать въ деревню мнѣ нельзя. На этихъ дняхъ только-что принялся за перо, кое что написалъ для журнала „Будильникъ“; для М. К. Цебриковой написалъ стихотвореніе „Кладъ“ (Бабушкина сказка); она мнѣ отвѣчала, что стихотвореніе это по объему своему не по средствамъ журнала. Да развѣ я за него назначалъ цифру гонорара? Сколько М. К. будетъ угодно за него заплатить, столько я и возьму, считаться съ нею я не могу. К. Т. Солдатенковъ издаетъ мои стихотворенія; 4 листа уже напечатаны.

Для „Дѣло“ я еще ничего не писалъ, да и не знаю, буду ли въ состояніи что написать, я здоровѣю „плохъ зѣло“. Въ нынѣшнемъ году для журнала „Дѣло“ не надѣюсь дать много. Желаю вамъ, добрая, всего хорошаго. Искренно васъ уважающій И. Суриковъ.

*) Известно, что Н. А. Демертъ умеръ въ Москвѣ, бывши тамъ проездомъ, а гдѣ и какъ похороненъ—не могли добраться ни родственники, ни литературные друзья, ни редакція, гдѣ покойникъ въ это время постоянно сотрудничалъ. А. И. Левитовъ, скончавшійся въ больницѣ, скоропеченъ въ складчину, въ которой участвовала тогда и И. З. Суриковъ. На эти скорбныя утраты при такихъ грустныхъ и обидныхъ положеніяхъ и важность это четверостишіе.

Н—нъ.

IV

КЪ N. N.

Деревня Хомякова. 11 іюня, 1878 г. Добрый N. N. Наконецъ я въ степной глуши! Деревня Хомякова, гдѣ я изволю обрѣтаться, находится въ глухой ковылевой степи за 139 верстъ отъ Самары. Такъ ли это,—не знаю. Разстоянія здѣшнихъ мѣстъ, одно отъ другаго, кажется, мѣряла баба клюкой да и махнула рукой... Спрашиваешь ямщика: а сколько верстъ до такого-то мѣста?—„Да верстъ 60 будетъ; а тамъ кто жъ ее знаетъ,—верстъ-то вишь нѣтъ.“ И ѣдешь эти 60 верстъ, чуть не цѣлый день,—и куда не взглянешь—все степь и степь...

По прїѣздѣ моемъ въ степь со мной сдѣлалась лихорадка, и я пролежалъ два дня въ постели,—это, вѣроятно, меня растрясла ѣзда на лошадахъ. Нынѣшній день я всталъ и принялся за питье кумыса. Плановъ для стихотвореній—у меня много,—но исполню ли я ихъ—вотъ вопросъ? А очень слабъ, поболтаюсь по степи часы два и задохся,—сидись и отдыхай. Прощайте! мой добрый N. N. Желаю вамъ всего хорошаго. Душевно васъ уважающій И. Суриковъ.

Москва. 3-го сентября 1878 г. Добрый N. N. Давно я вамъ не писалъ; но мнѣ былъ не извѣстенъ вашъ адресъ. Въ мірѣ литературномъ пока новаго ничего нѣтъ, — въ газетахъ — пережевываніе стараго, въ журналахъ безцвѣтность. Журналъ „Кругозоръ“ по милости г. Гоппе, купившаго его у Ключникова, преобразился въ „Огонекъ“. Относительно устройства себя, все еще ничего не придумалъ... Здоровье мое поправилось; но положеніе мое хоть плюнь!... Желаю вамъ всего хорошаго. Сердечно преданный И. Суриковъ.

Москва, 7-го сентября, 1878 г. Душевный мой N. N. Стихотвореніемъ моимъ „На одрѣ“, напечатаннымъ въ № 8 „Дѣло“, я угодилъ нѣкоторымъ газетнымъ рецензентамъ, какъ напр. газетъ „Новости“, „Петербургскій листокъ“, „Иллюстрированной газетѣ“, — другихъ газетъ не читалъ. Такъ въ одномъ изъ этихъ органовъ напечатано: „На одрѣ“ стихотворе-

ніе г. Сурикова проникнуто глубокимъ чувствомъ и горькою жизненною правдою. Это сѣтованіе бѣднаго поэта на то, что—

Хорошо весной живется,
Дышится вольнѣ,—
Да не мнѣ—меня злой кашель
Душитъ все сильнѣ.
Вижу я, близка развязка,
Не видать мнѣ лѣта...

До конца доходить сказка,—
Пѣснь моя допѣта...
Пусть и такъ! разстаться съ жизнью
Мнѣ не жаль, ей—Богу,
И безъ скорби я отправлюсь
Въ дальнюю дорогу...

Отчего же не жаль? отчего и въ могилу, замѣтимъ мы, русскій писатель уходить, не скорбя даже? И это не одинъ, не два-три, даже не десятокъ. Всѣ талантливые люди, положительно всѣ, заканчиваютъ служеніе музамъ—скорбною, минорною нотою“ и т. д. Все выписывать утомительно. На этихъ дняхъ, разбирая мои бумаги, я натолкнулся на два письма; одно изъ нихъ писано профессоромъ Моск. Универ. Естественныхъ наукъ, уважаемымъ К. Ф. Рулье, (давно уже умершимъ), и адресованно къ вамъ. Какъ это письмо осталось у меня—я и самъ не знаю. Другое письмо Н. М. Щ. Первое письмо писано 21 годъ тому назадъ, другое 13 лѣтъ. При взглядѣ на эти письма мнѣ припомнилось многое, забытое мною. Я припомнилъ весь мой, начиная съ письма Рулье, 21 годичный скорбный литературный путь. Вотъ въ 1857 г. я, бывши еще 16 лѣтнимъ юношею, съ письмомъ К. Ф. Рулье и съ тетрадкою моихъ начальныхъ опытовъ въ стихотворствѣ, (судя по времени, вѣроятно, очень плохихъ), съ трепетаніемъ и замираніемъ сердца являюсь къ вамъ. Вы въ это время были заняты.—съ кѣмъ-то разговаривали,—и я дожидался окончанія разговора. Я ощипывался и стоялъ, какъ на иголькахъ, чувствуя не ловкость своего положенія. Наконецъ вы окончили разговоръ, обратились ко мнѣ:—„Что вамъ нужно?“ Я хотѣлъ что-то сказать,—но замаялся, растерялся и, ничего не сказавши, сунулъ вамъ письмо Рулье и тетрадку стиховъ. Вы радушно просмотрѣли тетрадку стиховъ, обласкали меня и послали съ запискою къ К. Вотъ, съ тѣмъ же замираніемъ сердца я отправляюсь къ К. Прихожу, вручаю ему вашу записку; К. усаживаетъ меня на диванъ,—прочитываетъ мои опыты. Спрашиваетъ меня, курю-ли я? И затѣмъ предлагаетъ мнѣ трубку Жукова табаку. Начинается бесѣда, приблизительно такими словами:—„Вотъ А. В. Кольцовъ—это, дѣйствительно, самобытный талантъ; а Никитинъ—это подражатель. У васъ тоже ничего нѣтъ, — я совѣтую вамъ заниматься торговлей, — бросьте всѣ эти маранья, выкиньте ихъ изъ головы“... Я, глубоко убитый, этими воззрѣніями, не помню какъ вышелъ отъ К. съ поникшей головой. Движеніе ободрило меня и, идя по улицѣ, я написалъ на клочкѣ бумаги, приткнувшись къ забору, стихотвореніе такого содержания:

Я не о томъ тебя прошу,
Мой Богъ, благое Провидѣнье!
Чтобъ безнаказанно прощенье
Ты бь мнѣ послалъ, въ чемъ я грѣшу;

Иль далъ бы мнѣ богатства свѣта,
 Блескъ гражданина въ забытѣи,
 Иль бѣ окружилъ младыя лѣта
 Всѣмъ счастьемъ земной любви.
 О, нѣтъ! пускай сыны другіе
 Подъ милосердіемъ твоимъ
 Проводятъ въ счастья дни земные,—
 Не позавидуя я имъ.
 Творецъ, на жизнь мою земную
 Пошли страданья тяжкій крестъ,
 Лишь удостой у горнихъ мѣстъ—
 Смиренно стать мнѣ одесную.

Высокопарно и слабо! Стихотвореніе это и тетрадку стиховъ у меня взялъ нѣкто И. П. Л.—нѣ и передалъ пописывавшему стихи нѣкому А. Д.—вѣ для оцѣнки ихъ. Д.—ва я не видалъ, оцѣнки не слыхалъ,—стихи пропали.

И съ этихъ поръ я болѣе не встрѣчался ни съ К., ни съ вами, мой добрый Н. Н. Я не потерялъ вѣру въ себя, и продолжалъ заниматься писаніемъ стиховъ. Писалъ, рвалъ, опять писалъ. И такъ было до 1862 года, до моего знакомства съ А. Н. Плещеевымъ, которому я показалъ свои писанья: онъ ихъ одобрилъ, нашелъ въ нихъ черты самобытности, а главное задушевность, глубокое чувство. И вотъ съ 1863 г. стихи мои начинаютъ печататься въ разныхъ мелкихъ журналахъ,—наконецъ обращаютъ на себя вниманіе читающаго и пишущаго люда, имя мое пріобрѣтаетъ нѣкоторую извѣстность, я перебираюсь въ толстые журналы. Но каковъ былъ этотъ 21 годичный путь? Путь борьбы, лишенія, невзгодъ и труда,—это только знаетъ моя грудь да подошлека!

И вотъ спустя 19 лѣтъ, послѣ моей встрѣчи съ вами и съ г. К., я опять встрѣчаюсь съ вами, мой добрый Н. Н. Я согнулся; вы посѣдѣли.

Теперь перехожу къ письму К. М. Щ., писанному въ 1865 году,—13 лѣтъ тому назадъ. Это было самое горькое время въ моей жизни. Мать моя умерла, отецъ женился на другой, мнѣ тогда было 24 года, я былъ уже женатъ. Отецъ мой, женившись на другой, сталъ ко мнѣ требовательнѣе, придиричивѣе,—и, наконецъ, въ одинъ день по жалобѣ на меня моей ма- чихи, выгналъ меня изъ дома. Я сталъ безъ пріюта и безъ куска хлѣба. Тутъ начинается мое горькое скитаніе. Въ это время написано мною стихотвореніе: „На могилѣ матери“.

Спишь ты, спишь, моя родная,
 Спишь въ землѣ сырой.
 Я пришелъ къ твоей могилѣ
 Съ горемъ и тоской и т. д.

Въ это время принимаютъ участіе въ моей горькой судьбѣ А. С. У.—въ и Н. М. Щ. Щ.—нѣ даетъ мнѣ письмо къ В. Е. Г.—ву. И вотъ я являюсь къ нему и поступаю въ наборщики,—первоначально, разумеется, бесплатно.

Въ типографіи наборщикомъ я пробылъ всего 6-ть дней. По непри-
вычкѣ моей къ этой работѣ, подъ гнетомъ нужды и безысходнаго моего
положенія (мнѣ не чѣмъ было платить за квартиру и не на что было ку-
пить хлѣба) я захворалъ и слегъ. Поправившись отъ болѣзни, я не появ-
лялся больше въ типографію В. Е. Г—ва, чувствуя неспособность мою къ
этому дѣлу,—я близорукъ,—набиралъ медленно, каждую букву мнѣ нужно
было подносить къ глазамъ,—въ этомъ уходило много времени и выраба-
тывать я могъ современемъ—пустяки. Затѣмъ опять начинается мое ски-
таніе и голоданіе, я попадаю къ В. А. Б—ну, поступаю къ нему пере-
писывать нѣкоторыя дѣловыя бумаги; но эта работа была времен-
ная,—она кончилась,—и я опять безъ работы. Къ большому моему не-
счастію теряю паспортъ (я тогда былъ крестьянинъ); а безъ паспорта
я положительно не могъ никуда поступить. Выписывать новый, нужны
деньги, нужно было заплатить оброкъ; а у меня денегъ не было, съ
квартиры меня гнали, на другую переѣхать не съ чѣмъ. Я не выдер-
жалъ наплыва всѣхъ этихъ горечей жизни—и началъ пить!.. Продавалъ
послѣднее мое имущественное отребье, книги и т. п. и пропивалъ. На-
конецъ дошелъ до того, что задумалъ покончить съ собою!.. Рано утромъ,
не сказавши ни слова женѣ, я ушелъ изъ дома и направился къ Камен-
ному мосту. Въ воду и конецъ!... чтожъ такъ жить и мучиться! Только
что начало разсвѣтать, я стоялъ уже на мосту. Дальше, мой милый N. N.,
я писать объ этомъ случаѣ не въ состояніи,—у меня захватываетъ духъ!..
Мнѣ страшно! позднѣе, я описалъ этотъ случай, бывшій со мною, въ мо-
емъ стихотвореніи: „На мосту.“

Въ раздумьи на мосту стоялъ
Бѣднякъ бездомный одиноко;
Осенній вѣтеръ бушевалъ
И волны вскидывалъ высоко.

Но какъ бы тамъ не было, я уцѣлѣлъ все-таки—не бросился съ моста
и нашелъ въ себѣ силы для жизни. Этотъ случай я скрылъ отъ моихъ
семейныхъ. Я знаю, вы простите и извините мнѣ всѣ мои вины и ошибки—
я въ этомъ увѣренъ. Вы не станете порицать меня за упадокъ силъ, за вре-
менное пьянство въ моемъ прошломъ. Добрый мой В. Е. и сей-часъ не знаетъ,
что я когда-то былъ у него наборщикомъ. Я его хорошо знаю, этотъ
человѣкъ, суровый на видъ, имѣетъ прекрасную, добрую душу,—я его глу-
боко, глубоко уважаю и чту.

Простите меня, что я утомилъ васъ этимъ большимъ письмомъ. Но
попавшіяся на глаза два письма всколыхнули во мнѣ многое пережитое,—
и я не могъ удержаться, чтобъ не написать объ этомъ. При воспоминаніи
о пережитой мною жизненной горечи, я не одну слезу смахнулъ съ сво-
ихъ глазъ. Желаю вамъ, мой добрый, всего хорошаго. Душевно васъ ува-
жающій И. Суриковъ.

Р. S. Я взялъ у васъ нѣсколько №№ „Древней и Новой Россіи“,—читаю
статью Де-Пуле о Кольцовѣ.

23-го юля, 1879 г. Добрый Н. Н!.. Кумысь мнѣ нынѣшній годъ не принесъ, голубчикъ, никакой пользы; но этому виною были, мнѣ кажется, чисто мѣстныя климатическія условія нынѣшняго года въ Самарскихъ степяхъ. Самарскія степи въ началѣ іюня всѣ отъ страшной жары при бездождіи выгорѣли и кобылицъ кормить было нечѣмъ, онѣ отъ жары только пили воду и поэтому кумысь былъ плохъ и производилъ рвоту и кровавый поносъ. Больныхъ было нынѣшній годъ много, но испѣлвшихся очень, очень мало и всѣ въ озлобленіи разѣхались, кто въ Крымъ, кто домой, посылая проклятія и доктору, и кумысу. Прошлаго года если кумысь не приносилъ пользы, то степной воздухъ былъ прекрасный,—теперь въ степи не увидите ни зеленой травы, ни цвѣтка, а только слышите въ воздухѣ гарь,—степи отчего-то другую недѣлю горятъ и причины горѣнія не могутъ доискаться. Мѣстами степь вспыхивала и выгорала версты на двѣ въ поперечникъ и версты на три въ длину. Крестьяне, опасаясь за посѣвы и стога сѣна, опахиваютъ степь, чтобы огонь не перебѣгалъ. Въ прошломъ году вѣсь моего тѣла была 144 ф.; нынѣшній годъ во мнѣ вѣсело 133 ф.; а теперь, уѣзжая отсюда, я вѣшу уже 126 $\frac{1}{2}$ ф. Здѣсь я хотя не поправился и кашель мой еще усилился; но за то я былъ покоенъ, меня ничто не раздражало,—и за это благодареніе Богу! За послѣднее время, я долженъ сознаться откровенно, скрывать считаю грѣхомъ, я сталъ ужасно раздражителенъ и каждый пустякъ меня волнуетъ и беспокоитъ. Въ Москвѣ безъ этихъ пустяковъ обойтись я не могу, меня эти пустяки раздражать,—и я слегъ. Мнѣ, мой голубчикъ, опять должно быть, приходится попасть подъ оперативный ножъ г. Новацкаго, у меня опять образовывается нарывъ на спинѣ повыше прежняго и идетъ отъ позвоночнаго столбца по ребру. Желаю вамъ, добрый мой, всего хорошаго. Душевно васъ уважающій И. Суриковъ.

29-го іюля, 1879 г. Добрый Н. Н!.. Состояніе моего здоровья настолько улучшилось, что мнѣ кажется, я могъ бы теперь кое-что сдѣлать. Въ продолженіи моего пребыванія здѣсь въ степи меня не терзали ни семейныя, ни житейскія дразги,—я отдохнулъ и сердцемъ, и душою. При другихъ условіяхъ я могъ бы здѣсь написать что-нибудь серьезное, чѣмъ легкіе наброски; но такъ-какъ кумысь имѣетъ охмѣляющее свойство—голова постоянно находится въ броженіи, мысль отказывается работать, по этому я и не писалъ ничего большаго. Теперь меня мучитъ мысль, что я изъ чистаго степнаго воздуха долженъ скоро возвратиться въ Москву, опять погрузиться въ мои торговныя занятія и глотать угольную и желѣзную пыль, наполнять ею больныя легкія. Я опять долженъ столкнуться съ растерзавшими уже мое сердце семейными и не семейными дразгами, опять затонуть въ омутъ житейской грязи!.. Ужасное положеніе! Ужасное,—а выхода нѣтъ! жизнь дѣлаетъ свое: ей нѣтъ никакого дѣла до вашихъ честныхъ стремленій, до вашихъ идеаловъ: она беретъ васъ за шиворотъ, тащитъ на житейскій базаръ, заставляетъ васъ увижаться, подличать для того, чтобы добыть нѣсколько грошей на насущный хлѣбъ! Тяжело и горько; а между тѣмъ нужно совсѣмъ этимъ

примириться,—потому что нужно существовать и существовать даже не для себя, а для семьи. Простите, мой добрый Н. Н. Душевно васъ уважающій И. Суриковъ.

Ялта. 18-го сентября,—79 г. Добрый Н. Н!.. Пишу вамъ, мой голубчикъ, изъ Ялты, куда пріѣхалъ 7-го числа вечеромъ. У меня дорогою опухли ноги и нельзя было ничего надѣть,—я прожилъ три дня въ Севастополѣ, дожидаясь, когда опадетъ опухоль. Жизнь въ Ялтѣ, голубчикъ, ужасно дорога, къ квартирамъ нѣтъ приступа; а гостиницы биткомъ набиты пріѣзжающими. Ялта—маленькій городишка, имѣющій постоянныхъ жителей 3500 человекъ,—и вдругъ въ этотъ городишка на августъ, сентябрь, октябрь и ноябрь мѣсяцы наѣзжаютъ, Богъ знаетъ откуда. до 8000—9000 человекъ. И что жъ остается дѣлать Ялтинцамъ? Нужно давать этому народу мѣсто, нужно его прокормить,—ну, и даютъ мѣсто, и кормятъ и лупятъ же за это безъ всякаго милосердія. Погода здѣсь въ Ялтѣ стоитъ прекрасная, теплая. Ялта сама по себѣ ничего интереснаго не представляетъ; но, говорятъ, удивительно хороши ея окрестности — какъ-то: Оріанда, Ливадія, водопадъ Учанъ—су, область винодѣлія, Юрзуфъ, Алупка, Масандра, Никитскій садъ и т. д.; но всѣ эти замѣчательныя мѣстности находятся отъ Ялты верстахъ въ 8, 10, 15, 20,—осмотрѣть ихъ нужны конскія ноги; а конскія ноги здѣсь ужасно дороги. Отправляясь въ Ялту, я совѣтывался съ докторомъ Соломкою, который, освѣдѣтельствовавши меня, сказалъ: „вѣроятно и прежніе доктора, которые васъ лѣчили, не скрывали передъ вами серьезности вашей болѣзни, и я не хочу скрывать: правое ваше легкое совсѣмъ безъ дѣйствія да и въ лѣвомъ есть не большое пораженіе: лѣчить эту болѣзнь, какъ знаете вы и сами, медицина не имѣетъ средствъ, вамъ нуженъ покой и хорошій воздухъ,—при этихъ условіяхъ вы еще можете жить.—Если можете, то отъ Московской осени уѣзжайте въ Крымъ, ваша разстроенная грудь здѣшней осени положительно не вынесетъ“. Пріѣхавши въ Ялту, я явился къ доктору Богословскому, этотъ милый человекъ, тщательно осмотрѣвши меня, нашелъ тоже, что г. Соломка и сказалъ, что „для поправленія здоровья мнѣ будетъ мало прожить здѣсь, въ Ялтѣ, двухъ-трехъ мѣсяцевъ; нужно будетъ прожить болѣе“. Я удивляюсь, почему мнѣ П... не сказалъ прямо, что болѣзнь моя серьезна, вѣдь онъ свидѣтельствовалъ меня раза два: боялся, вѣроятно, испугать,—но вѣдь я не юноша. Кашель мой какъ будто сталъ легче и задыхаться я сталъ, какъ мнѣ кажется. менѣе; но все-таки пройду улицу и устану,—нѣтъ силъ. По пріѣздѣ въ Ялту ко мнѣ явился приставъ и все мое имущество и письма перекопалъ, перечиталъ и ушелъ,—такого благоволенія къ другимъ, какъ я спрашивалъ моего хозяина, не было,—экая, подумаешь, честь! Случилось это на другой день прописки моего вида. Душевно вамъ преданный И. Суриковъ.

20-го октября—79 г. Ялта. Душевный мой Н. Н!.. Сердечно васъ благодарю за ваше письмо, которому я былъ такъ радъ, что забылъ даже на время гнетущую болѣзнь. Я подхватилъ, голубчикъ мой, здѣсь въ Ялтѣ, жесточайшую Крымскую лихорадку и вынесъ три ужаснѣйшихъ

ея параксизма, жена моя и не думала, что я встану,—день и ночь сидѣла у моей постели,—жаръ достигалъ тѣлѣ до 42°,—еслибъ достигъ до 44, то и капуть, какъ выразился докторъ,—я былъ все это время безъ сознанія. Лихорадка усиленными приемами хины прекращена,—больше уже не повторяется,—я брожу по Ялтѣ. Общее состояніе моего здоровья все таки плохо: кашель меня мучаетъ, страшная слабость, а объ одышкѣ уже и говорить нечего, шаговъ двадцать пройду,—устану и задохнусь. Теперь опишу заключенія Ялтинскихъ докторовъ, свидѣтельствовавшихъ меня. Являюсь къ доктору Штангееву,—выстукиваетъ, выслушиваетъ грудь и затѣмъ говоритъ: „ну, голубчикъ, я вамъ долженъ сказать, что ваше здоровье очень плохо,—у васъ застарѣлый катаръ желудка, сильнѣйшій катаръ праваго и частию лѣваго легкихъ, уплотненіе верхушки праваго легкаго, раздраженіе и опухоль горловыхъ вѣтвей, короткое дыханіе, что доказываетъ не вѣстимость воздуха легкими и затѣмъ плохое питаніе,—все это вмѣстѣ взятое дѣлаетъ вашу болѣзнь очень, очень опасною. Отноительно опредѣленія болѣзни посредствомъ выслушиванія ухомъ я могъ-бы и ошибиться; но аппаратъ не ошибается“. Я вдыхалъ въ аппаратъ и только могъ выдуть воздуха 1,900 гр., а нужно было 4000—нормальное дыханіе; передо мною одинъ больной выдулъ 2,500 гр., а другой 3,500 гр. Штангеевъ находитъ необходимымъ прожить всю зиму въ Ялтѣ и полѣчиться сжатымъ воздухомъ; а если я возвращусь на зиму въ Москву, то со мною къ веснѣ можетъ быть очень, очень худо... Штангеевъ такъ меня обезкуражилъ, что я совсѣмъ упалъ духомъ и безсильно опустилъ руки. Положимъ, прошедшая моя жизнь была некрасна и жалтъ въ ней нечего; но теперь, благодаря вамъ, мой добрый, жизнь моя просвѣтлѣла, а я долженъ съ нею разстаться, это меня глубоко сокрушаетъ; я могъ бы еще кое-что сдѣлать. Я не повѣрилъ Штангееву, что ужъ такъ плохо, отправился къ доктору Богословскому. Въ опредѣленіи болѣзни моей, въ частностяхъ, онъ разошелся съ Штангеевымъ, но въ общемъ вышло тоже, что если я на зиму возвращусь въ Москву, то весною со мной будетъ плохо,—я долженъ прожить зиму въ Ялтѣ, а на весну возвратиться, въ концѣ апрѣля, въ Москву, тогда я еще на что-нибудь буду годенъ. Затѣмъ я ходилъ къ доктору Дмитріеву—вышло тоже, что здоровье мое гадко—и шабашъ! и что до весны нужно жить въ Ялтѣ. Великіе праздники великая радость встрѣчать дома, въ кругу своей семьи. Только человѣкъ безсердечный, грубый не можетъ понять и оцѣнить этой истинной радости. Оставшись зимовать въ Ялтѣ, я буду лишень душевнаго тепла встрѣтить праздникъ Рождества Христова дома, въ кругу моей семьи, я знаю, что мой отецъ (этотъ безпомощный безъ меня человѣкъ) придетъ въ великій праздникъ отъ обѣдни и, не встрѣтивши меня, горько, горько зарыдаеть,—и будетъ ему праздникъ не въ праздникъ, а въ черный скорбный день!.. Отецъ мой смотреть на меня уже иначе теперь, чѣмъ смотрѣлъ когда-то, не знаетъ даже чѣмъ угодить мнѣ и относится ко мнѣ сердечно, любовно. Онъ видитъ, что здоровье мое очень плохо и вѣроятно, сознаетъ, что причиною разстройства моего здоровья онъ во

многѡмъ виновать и всячески старается загладить свою, быть можетъ, даже не умышленную вину. Да простить ему Богъ!—Я простилъ ему все. Оставшись зимовать въ Ялтѣ, я не буду слышать праздничнаго колокольнаго звона (въ Ялтѣ одна только церковь да и то звонятъ не какъ у насъ,—здѣсь какая-то своеобразность,—хоронятъ даже съ хоругвями), я буду слышать одинъ татарскій, еврейскій и каранскій говоръ, да крики армянъ и персіянъ, вотъ и все.—здѣсь русскую рѣчь услышишь рѣдко. Изъ этого безотраднаго положенія можно еще вывернуться,—прѣхать на декабрь мѣсяцъ въ Москву и, проведя его тамъ, опять уѣхать въ Ялту. Я съ докторами совѣтывался объ этомъ,—они находятъ это возможнымъ и невреднымъ для здоровья; но это возвращеніе стоитъ порядочной суммы денегъ, если разсчитывать по 2-му классу (въ 3-мъ ѣхать невозможно), то будетъ стоить 102 р. и въ конецъ да обратно,—итого 204. Еслибы я побывалъ въ Москвѣ, на душѣ у меня стало бы легче, жену мнѣ надо же будетъ посылать въ Москву, а какъ я безъ нея останусь одинъ въ Ялтѣ? Вдругъ свалюсь, мнѣ и напиться подать будетъ некому. Не знаю, что мнѣ и дѣлать. Погода въ Ялтѣ испортилась, пятый день идутъ дожди. Желая всего хорошаго. Не забывайте больнаго, горемычнаго поэта—пѣвца горя и печали. Душевно васъ уважающій И. Суриковъ.

Москва. 3-го марта, 1880 г. Душевный N. N!.. Я нынче, голубчикъ, всю ночь прокашлялъ напролетъ, такъ что утромъ сталъ уже кашлять съ кровью, которая полилась обильно. Хочу эту недѣлю поговѣть и причаститься,—не знаю, только, отстою ли я хотя 3—4 службы въ церкви? Ноги у меня что-то очень слабы—постойшь немного и затрясутся. Прощайте; будьте здоровы. Душевно уважающій васъ И. Суриковъ.

V

КЪ И. И. Б—ВУ.

Москва. 13-го января, 1878 года. Голубчикъ Ваня! Мнѣ давно хотѣлось все тебя повидать, но случилось такъ, что нельзя отойти отъ лавки,—цѣлые дни все торчу одинъ въ этой помойной ямѣ. Здоровье мое все также плохо. Свою фигуру въ „Свѣтъ“ видѣлъ,—она изображена съ карточки, которая была мною снята лѣтъ 6-тъ тому назадъ и находилась у А. Н. Я—би. Почему г. Вагнеру захотѣлось изобразить меня съ этой карточки, а не съ послѣдней, не знаю. Твой И. Суриковъ.

Москва. 2-го мая,—78 года. Голубъ мой сизый, Ваня. Здоровье мое, братъ, все такъ же плохо, какъ и было,—кашель душитъ меня. П—нъ прописалъ мнѣ „пойло“,—Силезскую воду съ молокомъ. Приняться за это пойло слѣдуетъ, когда будетъ теплая погода. Попробую.

П—нъ совѣтуетъ еще ѣхать куда-нибудь въ деревню на лѣто; но сего, какъ ты знаешь, мой дорогой, я исполнить не могу. А покой мнѣ, дѣйствительно, нуженъ, грудь моя надорвана, душа измучена, вѣры въ себя нѣтъ.

Я былъ восторженный безумецъ,
О свѣтломъ въ жизни я мечталъ—
И въ честь любви и чистой дружбы
Я часто пѣснь мою слагалъ;
Но шли года—и гибла вѣра
Въ житейскій свѣтлый идеалъ...
Въ любви и дружбѣ лицемѣрье
Я лишь холодное сыскалъ.
И вѣра свѣтлая погасла
Въ душѣ на вѣки у меня.
Какъ лампа ветхая безъ масла
Я не даю теперь огня...

Безотрадно; а, между тѣмъ, это правда. Нынѣ я получилъ письмо изъ редакціи „Дѣло“ отъ г. Благосвѣтлова, который упрекаетъ меня за то, что я покинулъ совсѣмъ „Дѣло“ и ничего не присылаю. „При вашемъ талантѣ лѣниться грѣхъ“,—говоритъ Благосвѣтовъ.

Лѣнь ли это, голубчикъ мой, Ваня, что я ничего не пишу? Нѣтъ, мой милый! это, просто, умственное безсиліе,—я усталъ. И. Суриковъ.

Симбирскъ. 5-го юнія 1878 года, 5 часовъ вечера. Паракходъ „Путникъ“ стоитъ полчаса. Душа моя, Ваня! г. Симбирскъ основанъ въ 1648 году, по плану боярина и оружейничаго Б. М. Хитрово; въ томъ-же году, для огражденія всего здѣшняго края отъ набѣговъ Татаръ, обнесли городъ деревянною стѣною, населили его служилыми людьми изъ низовыхъ городовъ и начали устраивать другія укрѣпленія, которыя и были окончены въ 1654 году. Они состояли изъ непривыжнаго землянаго вала съ глубокимъ ровомъ, деревяннымъ тыномъ, рavelинами, башнями и цѣлыми крѣпостями, которыя назывались: Юшанская, Тагай, Коразнь, Урѣнь, Погорѣлая, Аргамъ, Сурскъ и т. д. Все это ты можешь прочесть самъ въ одной изъ старинныхъ географій... Кстати о географіи: одинъ мой знакомый спросилъ разъ своего товарища; видалъ ли онъ когда-нибудь и географію-то въ глаза,—тотъ отвѣтилъ: „не доѣзжая до города Тулы, на лѣвой сторонѣ и стоитъ географія,—я ее видалъ нѣсколько разъ.“

Кстати о Тулѣ; одинъ спросилъ другого: „какой самый древній городъ въ Россіи? Тотъ отвѣтилъ:—Новгородъ.“—Анъ врешь ты, братецъ! не Новгородъ, а Тула. Возьми псалтирь, прочти! Что тамъ въ одномъ псалмѣ сказано? Тамъ сказано: „и изощриша стрѣлы твоя въ тулѣ. Значитъ, Тула существовала еще при псалмопѣвцѣ, царѣ Давидѣ, и тогда еще жили въ ней оружейные мастера, какъ живутъ они тамъ и теперь: и острили стрѣлы.“

Противъ этого вѣскаго доказательства, спорить было уже не возможно, и спорящій согласился, что самый древній городъ въ Россіи есть Тула.

Въ житіи Іоанна Іерусалимскаго есть сказаніе: „когда св. Іоаннъ возвратился изъ церкви, въ свою келію, то онъ услышалъ въ рукомоинникѣ, что-то полошущееся, онъ закрестилъ этотъ рукомоинникъ: въ рукомоинникѣ оказался бѣсъ. Когда бѣсъ сталъ проситься на волю, то св. Іоаннъ согласился выпустить его,—однакоже, съ тѣмъ условіемъ, чтобы бѣсъ свозилъ его на себѣ въ Старый Іерусалимъ, и чтобы поѣздка эта была совершена въ періодъ времени между заутреней и ранней обѣдней.“ Поѣздка, какъ видишь, очень быстрая; но бѣсъ согласился. Когда при такой быстрой ѣздѣ съ Іоанна Іерусалимскаго свалился клубукъ, то св. Іоаннъ просилъ бѣса остановиться, чтобы поднять свой клубукъ. Бѣсъ ему отвѣтилъ: — „пока ты говорилъ, чтобы я остоявился, мы уже промчались 7000 верстъ, — возвращаться за клубукомъ далеко.“ Іоаннъ Іерусалимскій такъ и совершилъ свою поѣздку безъ клубука.

Нѣчто подобное этому сказанію совершилось и со мною: я долженъ проѣхать отъ станціи Тетюши до Симбирска, затѣмъ до Самары безъ фуражки.

На станціи Тетюши я сидѣлъ на трапѣ и пилъ чай, въ это время пароходъ уже отвалилъ: вдругъ порывъ вѣтра,— и, фуражки на моей головѣ, какъ не бывало! И долго-долго я любовался какъ моя бѣлая фуражка то поднималась, то опускалась на волнахъ величественной Волги. Чертъ съ ней, съ фуражкой. Зрѣлище-то, мой другъ, какое? Далеко за пароходомъ, на необозримой широтѣ Волги моя фуражка, какъ бѣлая чайка, то вынырнетъ, то пропадетъ, то опять вынырнетъ. Пассажиры хохотать, вѣдь это приятно и весело! Пассажиры набиваются ко мнѣ, кто со своей шляпой, кто съ фуражкой, (у нихъ, видишь, есть лишнія). Одна веселая, молодая дама предлагала даже свою соломенную полевую шляпку. Вотъ былъ бы я въ ней чучело-то гороховое! Я, разумеется, поблагодарилъ и отказался отъ соломенной, полевой, съ невыразимыми полями шляпы. Буду до Самары безъ фуражки, что будетъ дальше,—не знаю. Я начинаю, кажется, веселѣть,—этому причина потеря фуражки. Не фуражка ли и давила-то меня; а я соображалъ, что меня давитъ тоска. Сердечно любящій тебя И. Суриковъ.

Безенчукъ. 8-го іюня, —78 года. Милѣйшій мой Ваня! Пишу тебѣ съ Сызранской желѣзной дороги, со станціи Безенчукъ. Черезъ полчаса я на лошадахъ долженъ отправиться въ степь верстъ за 35-ть на кумысолечебное заведеніе доктора Чембулатова, устроенное при деревнѣ Хомяковкѣ. Никакихъ, братъ, калмыковъ въ Самарской губерніи, берушихъ къ себѣ больныхъ для питья кумыса—нѣтъ; а есть только до 15-ти кумысолечебныхъ заведеній,— какъ напримѣръ: Постникова, Аннанова, Журавлева, Грачева, Молоканова, Чембулатова и другихъ. Самое лучшее изъ этихъ заведеній по мѣстнымъ условіямъ—это Чембулатова: оно находится въ 98 верстахъ отъ Самары въ ковылевой степи,—кумысъ у Чембулатова самого лучшаго качества, этотъ докторъ Чембулатовъ изъ природныхъ камлыковъ. Со станціи Безенчукъ я послалъ въ „Дѣло“ стихотвореніе: „Въ степи“. Пиши, братъ! Будь здоровъ. И. Суриковъ.

1878 г., іюнь. Милый мой Ваня! Пишу тебѣ изъ степнаго хутора Чембулатова, куда я прибылъ уже два дня и не выѣзжаю изъ своего. У,—холодъ страшный. На желѣзной дорогѣ до Нижняго меня, братъ, порядкомъ порастрысло.

По водамъ широкой Волги
Путь мой былъ хорошъ,
Сѣвши въ Нижнемъ до Самары—
Я, братъ, спалъ все сплошь.

Отъ Самары я отправился по Сызранской желѣзной дорогѣ до станціи Безенчукъ, откуда нужно было ѣхать на лошадахъ 35 верстъ степью до заведенія Чембулатова.

Только выбрался, другъ, въ степь я—
Дѣло вышло брось,—
Поднялся и дождь, и вѣтеръ—

Пронизаль насквозь;
И. прїѣхавши на хуторъ,
Я два дня башки съ подушки
Приподнять не могъ.
Только нынче приподнялся —
И тебѣ пишу...
Вѣтеръ, дождикъ — и отъ стужи
Я. мой другъ, дрожу.

Кумысь еще не принимался пить — въ эту погоду его нельзя пить.
Прощай, мой хорошій, Ваня! Пиши мнѣ — я жду твоего письма. Душевно
любящій И. Суриковъ.

Хомякова. 1878 года, іюнь.

Святославъ и Цимискій.

Историческая поэма.

Грозень былъ и суровъ русскій князь Святославъ,
И, когда на враговъ негодуя,
Наказать ихъ хотѣлъ за кичливый ихъ нравъ,
Извѣщалъ ихъ: „готовьтесь, пиду я“!
Невеликъ ростомъ князь, но плечистъ и широкъ —
Сила князя была, сила — чудо!
Какъ бересто легко свернуть въ трубку онъ могъ
Три тяжелыхъ серебряныхъ блюда.
И въ походахъ его не могли удержать
Ни жары, ни дожди, ни матели, —
И подъ небомъ открытымъ ложился онъ спать,
Не имѣя шатра и постели.
Побѣдивъ Святославъ Вятичей и Хозаръ,
Наказавъ Половцовъ, Пѣченеговъ,
На дружины свои взявъ богатый съ нихъ даръ —
Отучилъ ихъ отъ буйныхъ набѣговъ.
Мирно въ Кіевѣ жизнь Святослава течеть, —
Всѣ сосѣди ему платятъ дани, —
И его воеводы, и ратный народъ
Ужъ не слышатъ давно кличей брани.
И соскучился жизнію той Святославъ, —
Сиднемъ дома сидѣть, сложа руки, —
И своихъ воеводъ, и дружину собравъ,
Говоритъ: „Погибаю отъ скуки!“

„Надоѣло мнѣ, други, здѣсь въ Кіевѣ жить, . . .
 „Заѣдаетъ безъ дѣла кручина.
 „Въ Переяславецъ пойду на Дунаѣ княжить,
 „Тамъ земли моей есть середина!
 „Византія туда свои вина везетъ
 „И Богемія свозить металлы,
 „Свои лучшіе Венгрія кони ведетъ
 „И изъ Руси идетъ медь и сало“.

На этомъ поэма моя, братъ, и стала.

А исторія-то, душа моя, большая. Приходь Святослава съ дружинами подъ Переяславецъ, его битва съ Болгарами и побѣда надъ ними. Потомъ княженіе его въ Переяславецъ, походъ на Византію, котсрая, видя подходящія дружины Святослава и не надѣясь съ ними справиться, въ страхѣ просить мира. Свиданіе Святослава съ Греческимъ императоромъ Іоанномъ Цимисхіемъ—этимъ гордымъ и хитрымъ человѣкомъ. Это должна быть самая яркая картина—и сильное изображеніе характеровъ: одинъ суровый, но прямодушный человѣкъ; другой мягкій, но хитрый. Но, братъ, прозой эту длину матерію рассказывать не хочется, да тебѣ, вѣроятно, она извѣстна по исторіи. Дѣло, милый мой, вотъ въ чемъ: какъ извѣстно, Половецкій князь Кобякъ, засѣвши въ Днѣпровскихъ порогахъ, убилъ Святослава, когда тотъ возвращался на Русь и изъ его черепа, оправленного въ серебро, пилъ вино, какъ изъ чаши. Впослѣдствіи эта чаша, говорятъ, находилась въ Греціи, гдѣ, пожалуй, и сей-часъ находится. Мнѣ эту чашу нужно бы достать,—я сталъ бы пить изъ нея кумысъ. При прежнемъ греческомъ королѣ Оттонѣ, я это дѣло, пожалуй, легко бы могъ устроить,—мы съ нимъ были хорошіе друзья. Но Оттона давно уже удалили и гдѣ онъ теперь находится — неизвѣстно, даже имя его нигдѣ въ газетахъ не упоминается. Я на этихъ дняхъ получилъ письмо отъ отца, который пишетъ мнѣ, что къ нему въ лавку приходилъ какой-то мой знакомый по фамиліи Отто, который живетъ на Прѣснѣ и имѣетъ мелочную лавку и рейнсковой погребъ въ своемъ домѣ,—онъ велѣлъ мнѣ кланяться. Я, братъ, подозреваю тутъ вотъ что: это, вѣроятно, и есть затерявшійся греческій король Оттонъ, немного измѣнившій свою фамилію, послучаю измѣнившихся обстоятельствъ. Я съ нимъ переписусь,—если это действительно Оттонъ, то, вѣроятно, у него существуетъ еще старая связь съ министрами Греціи—и я надѣюсь достать чашу, сдѣланную изъ черепа Святослава. Да и зачѣмъ она грекамъ?.. Прощай, мой милый Ваня! Погода здѣсь стоитъ хорошая; но тучи мошекъ не даютъ возможности выднать изъ №,—такъ и сижу. Кашель меня, братъ, замучилъ. Пиши. И. Суриковъ.

23-го іюня, 1878 года. Милый мой Ваня! Письма твои № 1 и 2 получилъ. Душевно тебя благодарю за память обо мнѣ. Садовникова Д. Н. я въ Симбирскѣ не видалъ, пароходъ стоялъ у пристани только полчаса и я ничего не успѣлъ сдѣлать. На кумысолечебномъ заведеніи

расходъ мой мѣсячный составляютъ слѣдующія цифры: за занимаемый № — 25 руб., за два завтрака и два обѣда 40 руб., за прислугу 3 рубля, за самовары 3 рубля и за кумысъ, разсчитывая 6-ть бутылокъ на день, по 20 коп. каждая, это составитъ 36 руб. да туда—сюда проживешь въ мѣсяцъ р. 10—15,—и выйдетъ въ итогъ 122 руб. Если я проживу здѣсь два мѣсяца, то долженъ буду изтратить 244 руб.; затѣмъ проѣзды и расходы въ дорогѣ 142 руб. Общая сумма выходитъ 386 руб. да еще къ ней прибавить р. 25,—итого 411 руб.,—цифра, братъ, довольно крупная! А что изъ всего этого выйдетъ,—не знаю. При посѣщеніи докторомъ моего №, онъ засталъ меня за литературною работою,—и строго мнѣ эту умственную пищу до времени воспретилъ; „она, говоритъ, напрягаетъ нервы, а вамъ нуженъ покой. Оставьте, пожалуйста, эти занятія, вамъ нужно лѣчиться, а не работать“. Скверно, братъ! А у меня только рука раззудѣлась... „Общество“ здѣсь такое, что не приведетъ Богъ съ нимъ жить и злему татарину,—все больше Исааки, Абрамы, Моисей, Цибульки, затѣмъ Персіане, потомъ—купеческія дѣтки, сынки и дочки, помѣщики, барыньки, съ очень легкимъ пошибомъ; есть здѣсь чело-вѣкъ семь военныхъ, задавшихъ „лататы“ отъ своихъ служебныхъ обязанностей „за болѣзнію“. Лѣчение ихъ состоитъ въ ухаживаніи за барыньками, въ разсыпаніи имъ двусмысленныхъ и, пожалуй, бессмысленныхъ комплиментовъ. Пошлость ужаснѣйшая! Большинство людей съѣхалось сюда, кажется, не лѣчиться, а жизнь прожигать... Есть здѣсь чело-вѣкъ 25, дѣйствительно, очень больныхъ—и одинъ изъ нихъ вчера отправился въ царство мертвыхъ: у него хлынула кровь изъ гортани, и черезъ часъ онъ былъ готовъ. Утромъ рано, когда еще больные спали, покойника унесли въ село Колокольковку,—и слѣдъ его простылъ.

„Компанство“ здѣсь я ни съ кѣмъ не вожу. Здѣсь, душа моя, для чистокровной русской свиньи, каковъ я, не имѣется даже корыта, а все тарелочки... Ну, ловко ли, братъ, ѣсть свинѣ изъ тарелки? Представь себѣ: какъ ѣсть, — ложечки подають серебряныя, осторымыя, — а я ихъ терпѣть не могу,—мнѣ нужна мужицкая, деревянная,—чернаго хлѣба нѣтъ.

Глупѣйшій провинціализмъ здѣсь развитъ страшно, одна барынька во время танцевъ въ вокзалѣ спросила меня:—Вы изъ дворянъ, или купечества? Я ей говорю:—нѣтъ, я просто крестьянинъ!.. и барынька отъ меня „лататы“. А мнѣ, знаешь, это очень нравится.

Голубчикъ, Ванюша! сообщай мнѣ все, что новаго встрѣтишь въ литературѣ. И, братъ, здѣсь заживо погребенъ, — ничего не слышу и не вижу.

Будущаго редактора „Русской Мысли“ г. Ѳедотова, я нѣсколько знаю: онъ живетъ въ Леонтьевскомъ переулкѣ въ д. Лемертъ. Я тебѣ про него, кажется, говорилъ; онъ съ годъ тому назадъ обращался ко мнѣ, чтобы я взялъ на себя трудъ сдѣлать нѣсколько переводовъ изъ В. Сырокомли, такъ-какъ, по его мнѣнію, талантъ мой и направленіе очень близко подходятъ къ этому писателю.

За эти переводы онъ предлагалъ мнѣ по рублю за строчку; но я

плохо вѣдь знаю польскій языкъ, потому, разумѣется, отказался. Ѳедотовъ хотѣлъ издать на русскомъ языкѣ всѣ произведенія Сырокомли. Стихотворенія А. Пальмина „Сны на яву“ изданы тѣмъ же Ѳедотовымъ и его товарищемъ Лавровымъ. Будь здоровъ. И. Суриковъ.

Р. С. Голубчикъ Ваня! Пришли мнѣ почтовыхъ иногороднихъ марочекъ шт. 20 въ письмѣ, взять ихъ здѣсь негдѣ. Взятая съ собою марки я потерялъ на пароходѣ.

Июня 27, 1878 г. Другъ Ваня! Гнетущій меня недугъ развилъ во мнѣ крайнюю субъективность, и я никакъ не могу стать на почву объективности и отрѣшиться отъ своего я; но между тѣмъ, убѣжденъ, что въ душѣ моей есть еще много звуковъ и для объективныхъ пѣсней; а сложившаяся такъ однообразно, поскудно моя жизнь и развившаяся во мнѣ болѣзнь, придавали всю внутреннюю мочь и душа моя издаетъ только болѣзненно субъективные звуки.

Мнѣ нужны потрясенія, толчки и разнообразіе жизни, и тогда я могъ бы создать и объективныя пѣсни; но покуда всего этого нѣтъ и во мнѣ развивается только одна болѣзненная субъективность. Нѣкоторые критики упрекали меня за однообразіе мотивовъ, приписывая это узкости моего взгляда. Это величайшая ошибка. Разнообразіе мотивовъ зависитъ отъ разнообразія жизни, а не отъ широты взгляда. Нужно знать тѣ условія, при которыхъ я жилъ и развивался. Я жилъ и развивался при крайне однообразныхъ условіяхъ, при крайне однообразной обстановкѣ. Область моихъ наблюденій была очень ограничена, нужда и опредѣленный трудъ приковывали меня къ одной и той же мѣстности и не давали мнѣ возможности набраться новыхъ впечатленій. Возьмите Кольцова и Никитина: однообразіе мотивовъ у нихъ страшное. А почему? Жизнь ихъ была однообразна, а талантъ у нихъ былъ, и не малый, противъ этого и спорить никто не станетъ. Затѣмъ: возьмите малороссійскаго поэта Шевченко и Венгерскаго Петефи, разнообразіе мотивовъ у нихъ поразительное. А почему? Шевченко и Петефи жили крайне разнообразною жизнію. Петефи, на примѣръ, былъ и бродягой, и странствующимъ актеромъ, и литературнымъ поденщикомъ, и военнымъ. Онъ зналъ не одну какую-нибудь часть Венгріи, но всю Венгрію, исходивъ ее изъ конца въ конецъ, сталкиваясь и съ солдатами, и съ бретьерами, и съ высшимъ обществомъ, и съ первостепенными писателями. Судьба Шевченко, какъ извѣстно, была не менѣе разнообразна: крѣпостной казачекъ, художникъ, ссыльный, онъ видѣлъ и пережилъ многое. Талантъ Петефи и Шевченко былъ невыше, и взглядъ нешире—Кольцова и Никитина. Все дѣло сводится къ тому: у кого какъ сложится жизнь, какія она дастъ впечатлѣнія и матеріалы, то должно отразиться и въ пѣснѣ.

Жизнь даетъ для пѣсни
Образы и звуки:
Дастъ ли она радость,
Дастъ ли скорбь и муки,

Дастъ ли день роскошный
Тьму ли безъ разсвѣта,
То и отразится—
Въ пѣснѣ у поэта.

Твой И. Суриковъ.

30 іюня, 1878 года. Милый Ваня!

Все люди, люди!... тьма людей!..
Но присмотрись, голубчикъ, строго,
Межъ ними искреннихъ друзей
Найдешь, ей-Богу, ты немного!
Я не хочу тѣмъ оскорбить
Святое чувство человѣка,
Что не способенъ онъ любить...
Онъ только *) нравственный калѣка!
Онъ любить, любить... но кого?
Ты пригляди къ нему поближе,—
Себя онъ любить одного...
И вразуми его поди же,
Что созданъ онъ не для себя—
Его другое назначенье:
Онъ долженъ, каждаго любя,
Нести съ нимъ скорбь и удрученье:
Но это, кажется, мечта,—
Души безплодное стремленье...
Не воплотится никогда
Въ людяхъ великое ученье:
„Что выше нѣтъ любви такой,
И больше нѣтъ такой услуги,
Какъ въ жизни жертвовать собой
За своя ближнія и други“!

Хочешь, я тебѣ на эту „антифилогію“, на эту „тему“ напишу длиннѣйшее стихотвореніе.

Живу я, душа моя! не такъ чтобы такъ, не очень, что-бы очень и не слишкомъ, что бы слишкомъ; а такъ себѣ: ни шатко, ни валко, ни на сторону.

Принялся я за писаніе стихотворенія „Богомольцы“,—хочу въ немъ изобразить два типа: одинъ человѣка религіознаго, вдоволь потрудившагося, пожившаго на свѣтѣ и послѣдніе дни свои посвятившаго молитвѣ и странствованію по монастырямъ,—другого—человѣка молодого, „праздношатающаго“, любителя разныхъ мѣстъ и новыхъ впечатленій, человѣка „непосѣду“, какъ онъ себя и опредѣляетъ:

И я, вотъ тоже много лѣтъ,
Съ сумой таскаюсь неразлучно;
Но я такой ужъ непосѣда,—
Гдѣ пожилъ мѣсяць, глядь, и скучно!

Начинается это стихотвореніе такъ:

Трудна дорога и пыльна.

*) Надъ словомъ—„только“ поставлено—„просто“...

Плетутся ноги черезъ силу.
Въ поляхъ безлюдье, тишина...
Какъ душно, Господи помилуй!
Въ тѣни прилежъ бы на травѣ.—
Тащиться въ полдень не охота,
Да тяжело будетъ головѣ,
Коль размотритъ меня дремота.
Привѣтилъ я, коль въ лѣтній зной
Свернешь не во время съ дороги,
Идешь день цѣлый, какъ шальной,
И ноетъ грудь и ломитъ ноги.
Кто любитъ отдыхъ—не ходокъ.
Пойду же съ Богомъ, какъ ни трудно!
Такъ думалъ бодрый старичекъ,
Тащась дорогою безлюдной.

Но это стихотвореніе, кажется, отправится тоже на богомолье—въ Старый Іерусалимъ. Дорога дальняя,—неиздурено и помереть.

Вдругъ, является ко мнѣ въ № горничная, Елена, приставленная служить къ нашимъ №№ и говорить мнѣ.

— Я, баринъ, слышала, что вы изволите стихи списывать? спишите мнѣ, пожалуйста, на память какой-нибудь стишокъ, я такъ его при себѣ и буду носить.

— Да, вѣдь, ты грамоты не знаешь?

— Да, я людей попрошу прочесть,—я очень люблю стихи. Вотъ, барыня, что живетъ подъ вами, читала ваши стихи въ журналъ,—говорить, что очень хороши.

— Но она почему знаетъ, что это стихи мои?

— Да, она на вокзалѣ узнала ваше имя и фамилію изъ росписной книги,—говоритъ, что стихи списываете вы.

Вотъ, тебѣ и проферансъ!..

Жена моя расхохоталась на эту сцену. Я обѣщалъ горничной Еленѣ „списать“ какой-нибудь стишокъ и она ушла очень довольная. Прощай, мой душевный, милый Ваня! И. Суриковъ.

5-го іюля, 1878 года. Милый мой Ванюша!.. Володька твой попалъ, братъ, ко мнѣ не безъ пользы. Мнѣ припомнился этотъ Володька, когда я былъ у тебя о пасхѣ,—лѣзущій, т. е. цапающійся рученками къ образамъ и желающій молиться, и я написалъ стихотвореніе: „Дѣтская молитва“. Въ стихотвореніи этомъ я провелъ задушевную мою мысль,—любовь ко всѣмъ страждущимъ и угнетеннымъ... Проклятый кумьсь мнѣ не даетъ работать, весь день голова, какъ въ туманѣ, только утромъ и можешь кое-что подѣлать, не хвативши сего отвратительнаго охмѣляющаго пойла. Что новаго въ Москвѣ и въ литературѣ? Прощай, душевный мой друже, Ваня. И. Суриковъ.

7-го іюля, 1878 г. Милый мой Ванюша!..

Ужъ падають, падають желтые листья—
Уносить ихъ вѣтеръ осенній...
Забудь же ты, сердце, про юность былую,
Про цвѣтъ свой роскошный весенній!

Это начало будущаго стихотворенія и очень грустнаго по своему мотиву.

За марки мое душевное тебѣ спасибо! Въ „Дѣло“ я послалъ только одно стихотвореніе „Вотъ и степь съ своей красою“ и больше туда ничего не посылалъ. Въ „Будильникъ“ послалъ третьяго дня:—„На Чужбинѣ“; съ послѣдними же стихотвореніями, испеченными и пекущимися, я распоряджусь уже по прїѣздѣ моемъ въ Москву. Я знаю, что въ Москвѣ надолго умолкну. Скука меня одолѣваетъ здѣсь страшная! Прощай. И. Суриковъ.

Марьевка, Самарск. губер. 10 іюля, 1878 года. Милый мой Ванюша! Письмо твое № 5, писанное отъ 5 іюля, получилъ нынѣшній день. Марокъ при этомъ письмѣ я получилъ не 15, а 25; а ты пишешь 15. Стихотвореніе: „Все люди, люди“... писано. братъ, не для печати,—на него не слѣдуетъ и обращать вниманія, но мысль этого стихотворенія все-таки вѣрна. Изъ сотни людей, взятыхъ огульно, много ли ты найдешь искреннихъ друзей?.. Здѣсь, братъ, тоже идутъ день и ночь дожди, вотъ уже болѣе двухъ недѣль. Лѣченіе мое, кажется, идетъ въ пользу, кашлять я сталъ менѣе. Куда послать стихотвореніе: „На одрѣ“,—ей Богу, не знаю,—когда прїѣду въ Москву, мы съ тобой тогда сотворимъ совѣтъ. Начало этого стихотворенія я, пожалуй, передѣлаю, т. е. нѣсколько вступительныхъ строкъ къ этому стихотворенію припишу и оно будетъ тогда называться „Умирающій поэтъ“; а конецъ его—

Ты прости же, моя пѣсня,
Пѣть нѣтъ больше мочи...
Засыпай больное сердце!
Закрывайтесь очи!

Тогда это стихотвореніе будетъ объективное. Прости покуда; пиши мнѣ. Твои письма мнѣ отрада. И. Суриковъ.

Швейцарія. 24 іюля, 1878 года. Милый мой Ванюша! Кичеевъ прислалъ мнѣ письмо; просить прислать ему стихотворенія изъ украинскихъ мотивовъ, обѣщанныя мною,—но, просматривая ихъ, я нашелъ, что они требуютъ нѣкоторыхъ исправленій, такъ какъ написаны во время броженія кумысныхъ газовъ въ головѣ. Отсылку украинскихъ мотивовъ откладываю до слѣдующей почты,—я ихъ исправлю. Кичееву прислалъ кто-то стихотвореніе подписанное буквами: Е—на, видимо, вызванное моимъ стихотвореніемъ „Въ дорогѣ“, какъ полагаетъ тоже и Кичеевъ; онъ въ печатаніи отказалъ и прислалъ его мнѣ. Вотъ это стихотвореніе:

Къ ... ву.

<p>Какъ соловушка изъ клѣтки, Выпорхнувъ на волю, Ты, покинувъ душный городъ, Ёдешь по раздолью. Кони, пыль столбомъ вздымая, Рѣзвые борзятся, И съ тобою въ степь глухую Быстро, быстро мчатся. За тебя, пѣвецъ унылый, Я молюся Богу, Да пошлетъ тебѣ Онъ милость,— Добрый путь-дорогу. И чтобъ ты въ степи безлюдной, Въ тишинѣ-просторѣ—</p>	<p>Позабылъ свою кручину, Злое жизни горе. Чтобъ душа твоя больная, Сердце отдохнули— И тяжелыя всѣ думы Въ головѣ заснули. Чтобъ отрадныя видѣнья Умъ твой освѣжили— И для новыхъ, свѣтлыхъ пѣсень Душу пробудили. Чтобы новой жизни силой Весь ты оживился, И на родину здоровымъ Скоро воротился.</p>
---	---

Очень радъ, что мои стихи кое-кого трогаютъ и заставляютъ умственно работать.—Это признакъ, стало быть, нѣкоторой моей полезности.

На кумысолечебномъ заведеніи становится пусто и угрюмо,—кумысники разѣзжаются,—они забрались сюда съ 1-го мая. Въ заведеніи остаюсь я, да два учителя, одинъ изъ Гродненской губ., другой изъ Костромы, страдающіе тоюже болѣзью, какою страдаю и я. Эти два человѣка сошлись со мною очень скоро, потому что знали меня по моимъ работамъ,—мы въ троѣмъ и шиемся весь день неразлучно по степи, споримъ, бранимся, расходясь иногда во взглядахъ, — бранимся дружески. Когда мы являемся въ вокзалъ, то кумысники, завидя насъ, говорятъ: вотъ является „троица единоклубная“. Хорошіе, брать, ребята эти учителя,—они бурсаки,—одинъ сынъ попа, другой дьякона. Прости, душа моя, Ванюша! Пиши мнѣ.—И. Суриковъ.

Р. S. Въ началѣ письма изображено „Швейцарія“,—это означаетъ то, что домъ называется на заведеніи „Швейцарія“. Положимъ, что домъ нашъ, стоитъ на берегу пруда, но все-таки это не Женевское же озеро и почему домъ названъ Швейцарія,—кто его знаетъ.

30 іюля, 1878 года. Милый мой Ваня! 8 августа кончится курсъ моего лѣченія и я возвращаюсь въ Москву. Силами я окрѣпъ, но кашель не прекратился, одышка стала менѣе. Третьяго дня увидѣвъ опыта я протанцовалъ нѣсколько кадрили въ курзалѣ и нѣсколько полекъ, — ничего, не задохся. Бородиша, братъ, у меня выросла здѣсь огромная, товарищи мои, учителя, смѣялись даже:—„Ты, братъ, своимъ дамамъ, танцуя польку, бородой всѣ глаза выхлесталъ!“ Если успеешь до 8 числа, то напиши мнѣ письмишко. И. Суриковъ

6-го августа, 1878 года. Милый мой человѣкъ, Ваня! Письмо твое, писанное отъ 28 іюля, получилъ. Пишу тебѣ изъ Самары; курсъ моего лѣченія 8-мъ недѣль кончился. Я нынче выѣзжаю изъ Самары въ Нижній и два дня пробуду въ Нижнемъ. Предполагаю, что въ Москву возвращусь

13—14 числа. Докторъ, отпуская меня изъ лечебнаго заведенія, освидѣтельствовалъ меня: хрипота въ легкихъ исчезла, грудь дышетъ свободно, вѣсу во мнѣ прибыло 16 фун. Но вотъ, душа моя, скверное мое положеніе, докторъ сказалъ мнѣ, что если я буду заниматься торговлею старымъ желѣзомъ и угольями, то опять скоро дойду до того же печальнаго состоянія, въ которомъ находился. Неужели никакъ не дождусь того времени, когда я съ тобой увижусь,—очень соскучился.

Я, братъ, третьяго дня ѣздили по степи верхомъ со своимъ товарищемъ, учителемъ Г—чъ; объѣздили верстъ 20-ть; я простился со степью, быть можетъ, навсегда. Прощай мой хорошій. Твой сердцемъ и душою И. Суриковъ.

Москва. 9 ноября, 1878 года. Душа моя, Ванюша! Я имѣю поползновеніе попасть въ сотрудники духовнаго журнала „Странникъ“; а посему пробую себя въ духовномъ родѣ. Вотъ эта проба:

Вечерняя молитва.

О, тихій свѣтъ святыхъ славы
Царя небеснаго Христось!
Спаси отъ злобы насъ лукавой,
Отъ тяжкихъ бѣдъ и горькихъ слезъ.
Среди грѣха колючихъ терній
Сподоби свято насъ пройти,
И нашей жизни часть вечерній
Благослови и освяти!

Не хорошо, — брось. Будь здоровъ. А мнѣ, братъ, плохо можется. И. Суриковъ.

Москва. 10 марта, 1879 года. Суббота. Душа моя, Ванюша! Нынѣшній день былъ у г. Новацкаго, — и онъ меня изрѣзалъ, — я теперь долженъ сидѣть дома. Прихожу къ И. Н. Новацкому: онъ меня встрѣтилъ слѣдующими словами: — „что, голубчикъ, у васъ нарывъ прорвался, а вы ужъ и хирурга забыли, стали его бѣгать; а я вамъ необходимо нуженъ. Нуте-ка раздѣньтесь!“ Я раздѣлся, г. Новацкій освидѣтельствовалъ рану и крутомъ отверденія: — „нужно, говорить, прозондировать“. Когда онъ мнѣ дѣлалъ проколы опухоли, я едва сдерживалъ крикъ, — очень больно. Потомъ, когда онъ мнѣ сталъ дѣлать разрѣзы опухоли, — я „ахнулъ“ на всѣ комнаты; а онъ только выговорилъ: — „ну, вотъ и все; что жъ дѣлать, нужно терпѣнье!“ Новацкій былъ у П—на, онъ ему сказалъ, что опухоль у меня прорвалась?.. У меня опять явился ознобъ по вечерамъ и сильный потъ по ночамъ, — опять слабѣю; о кашлѣ ужъ говорить нечего. Прости, мой милый, Ваня! И. Суриковъ.

Самарскія степи. 5 іюня, 1879 года. Голубчикъ, Ваня! Я, братъ, тутъ околѣваю, — и отъ тебя ни единого письма въ полторы недѣли. Неужли я чѣмъ противъ тебя „согрѣшилъ“? Ни единого грѣха за мною по этой части „не имамы“.

Пользы, братъ, нынче отъ кумыса, я себѣ не вижу и все лежу, между прочимъ и жена моя тоже,—то я лежу день, то она, дѣло просто дрянъ. Хочу уѣзжать отсюда и только жду твоего письма.

Я началъ писать стишину „Маруся“ да на 11-мъ куплетѣ и сорвался,—сорвался по нездоровью, ибо слегъ, ноги не ходять, голова тупа. Планъ этой стишины таковъ. Солнце садится, мы ѣдемъ тише, вдали виднѣется село. Вотъ мы подъѣзжаемъ къ малороссійскому селу, — описаніе этого села, садочковъ, хатъ и того приволья, которымъ окружена жизнь степняка-малоросса. Солнце садится. Заря алѣетъ. Даль зеленѣющей степи начинается синѣть. Картина вечера въ степи. Возвращеніе въ село съ полей „дѣвчатъ, паробковъ“ съ работъ. Вотъ они собираются у хаты стараго дѣда-кобзаря и просятъ его сыграть имъ про „Гриця“ или про „Марусю“. Старикъ ворчитъ на „дѣвчатъ“,—но это только такъ, онъ поэтъ въ душѣ, и не играть не можетъ,—ворча снимаетъ онъ свою кобзу со стѣнки и садится у хаты,—играетъ и поетъ, про „Марусю“, про ея несчастную судьбу-недолою. Старикъ-кобзарь оканчиваетъ свою грустную пѣсню, „дѣвчата“ и „паробки“ подавлены этою пѣсней про „Марусю“; а между тѣмъ, тихая синяя ночь Украины безмятежно плыветъ надъ селомъ. Все это нужно выразить сжато и облить украинскимъ степнымъ колоритомъ. Чувства, положимъ, мнѣ не занимать, и за картинностью я тоже въ люди не пойду; но, ты знаешь, голубчикъ, я многое задумывалъ, начиналъ и бросаю,—такова моя дурацкая натура—я часто не дорожу поэтичнымъ, бросаю его и принимаюсь за пустякъ. Если здѣсь я не успѣю эту пѣсню кончить,—она, значитъ, пропала. Въ Москвѣ я не писака. При покойномъ состояніи я еще могу кое-что сдѣлать, но вернувшись въ Москву, столкнувшись съ дрязгами,—я пропасть, не напишу ни строчки. Извини за описки и не дописки, разберешь какъ-нибудь. Пишу наскоро. Сейчасъ въ ночь уѣзжаетъ одинъ кумысникъ и сіе письмо посылаю съ нимъ. И. Суриковъ.

12 іюня, 1879 года. Милый мой, Ваня! Получилъ я твое посланіе и зельно былъ имъ обрадованъ. Здѣсь въ степной глуши письма родныхъ и друзей приносятъ, братъ, величайшую радость—и ихъ перечитываешь нѣсколько разъ. На кумысолечебномъ заведеніи нынче больныхъ вполтора раза болѣе противъ прошлаго года, всѣ №№ заняты, хотя ихъ 23 и прибавлено еще. Больные каждый день все пріѣзжаютъ, но имъ отказываютъ. Прошлогднихъ знакомыхъ, но не близкихъ, есть здѣсь человѣка четыре. Кашель мой болѣе усилился и затрепалъ меня въ конецъ, мокротища залушила, не хватаетъ шести платковъ на ночь.

А вѣдь огорода-то мнѣ твоего жаль, что если на немъ ничего не уродится,—дѣло будетъ дрянъ, значитъ закусочнаго запаса у тебя не будетъ, а я принялся собирать полынокъ, что за запахъ,—прелесть! Ахъ, братъ, еслибъ я пилъ водченку, не утерпѣлъ бы, сейчасъ настоялъ и выпилъ. Выѣздъ мой изъ Москвы нынче былъ, братъ, очень бѣдный,—прово- жаль я самъ себя.

Здѣсь живутъ два доктора, одинъ изъ Вильны, другой изъ Костромы,—Мокріевскій и Вильбоа, оба люди дѣльные. Мнѣ пришлось съ ними сой-

тись,—по моей фамилии они узнали, что я есмь пишущая тварь и как-то особенно стали ко мнѣ расположены. Эти-то люди мнѣ положительно совѣтуютъ по окончаніи курса лѣченія кумысомъ отправиться въ Крымъ, но не ранѣ конца августа и дополнить поправленіе своего здоровья лѣченіемъ винограда, они положительно утверждаютъ, что воздухъ Крыма за сентябрь и октябрь, пользование виноградомъ окончательно могутъ поправить здоровье.

Одинъ изъ этихъ докторовъ, г. Вильбоа даетъ мнѣ письмо къ доктору Богословскому, практикующему въ Ялтѣ, „который, говорить, займется вами,—мы съ нимъ хорошіе друзья.“

Пожалуй, нужно было бы исполнить этотъ совѣтъ и отправиться на два мѣсяца въ Крымъ, но какъ ухитриться это устроить,—не придумаю. Попробовать бы это Крымское лѣченіе и если бъ оно не принесло пользы, то махнуть рукой—и не быть людямъ въ тягость, сидѣть въ своей конурѣ и дотягивать дни...

У меня, братъ, по выше бывшаго на спинѣ нарыва образовался перекатывающийся желвачекъ, г. Вильбоа осматривалъ его, говорить, что это будетъ нарывъ, называемый холоднякъ. Вотъ еще радость-то, съ однимъ бился чуть не восемь мѣсяцевъ, теперь является другой. Пиши, братъ, иначе я умру здѣсь отъ скуки.

Кругъ друзей моихъ весь растерялся,
Лишь одинъ у меня ты остался.

Твой И. Суриковъ.

19 іюля, 1876 года. 20-е день Іліи Пророка.

Ужъ вечерѣть... Въ полѣ тѣнь
Ложится низко и широко...
За утро праздникъ,—вѣщій день
Ільи гремящаго Пророка.
Приди ты, немощный,
Приди ты, слабостный!
Звонятъ ко всеношной,
Къ молитвѣ благостной...

Хорошій мой, Ваня! Я нынче получилъ твое письмо и нынче же отвѣчаю. Завтрашній день уѣзжаетъ одинъ изъ кумысниковъ и письмо мое доставитъ до одной изъ станцій желѣзныхъ дорогъ, и оно пойдетъ къ тебѣ.

Состояніе моего здоровья на кумысѣ нынѣшній годъ очень скверно,—кашель мой здѣсь усилился до ужасныхъ размѣровъ, тошнота и кровавый поносъ меня измучили и обезсилили. Докторъ, видя мое состояніе, прекратилъ мнѣ выдачу кумыса и не велѣлъ его мнѣ употреблять, сталъ меня лѣчить пульверизаціей изъ дегтярной воды съ примѣсью еще чего-то; но, убѣдившись, что и это средство мнѣ не помогаетъ, совѣтуетъ ѣхать мнѣ лучше въ Москву, говоря, что нынче весна была ранняя, начавшаяся въ апрѣлѣ, и потому осень должна наступить рано, и дожди могутъ разстроить совершенно мою слабую грудь. Понимаю,—плохъ,

дескать, и убирайся восвояси. Чающих движеніе воды нынѣшній годъ было такъ много, но исплѣвившихся очень мало. На степь нынче даже грустно глядѣть,—она вся сгорѣла отъ жары: ни зеленой былинки, ни швѣтка,—маткамъ, т. е. кобылицамъ, кормиться нечѣмъ.

Курсъ моего лѣченія кончится 29-го, но я уѣду отсюда 25, такъ-какъ докторъ мнѣ и свидѣтельство выдалъ на 23 число, написавъ его на моемъ билетѣ для жительства; но во всякомъ случаѣ послышки я долженъ дожидаться. Жена моя опасается моей слабости, боится, что не дотащить меня до Москвы въ цѣлости. Благодарю тебя, душа моя, за твое попеченіе обо мнѣ... Что я тебѣ? ни братъ, ни свать, а только подходящий по духу человѣкъ,—вотъ и все! Я здѣсь выработалъ до 80-ти руб. и, вѣроятно, скоро ихъ получу. Но „Дѣдъ Климъ“ мой сталъ, прахъ его возьми,—и гдѣ же? Въ сосновомъ лѣсу я заблудился, хотя и описалъ этотъ лѣсъ хорошо. А. Н. Я—би прислала мнѣ письмо и настаиваетъ на томъ, чтобъ я обратился въ литературный фондъ за помощью,—хочетъ похлопотать. Душевно тебя любящій И. Суриковъ.

Севастополь. 5-го сентября, 1879 г. Милый мой Ванюша! Пишу тебѣ изъ Севастополя, куда пріѣхалъ вчера въ 9 час. вечера. Изъ Москвы мнѣ пришлось ѣхать во 2-мъ классѣ, въ 3-мъ ѣзда оказалась невозможною. И заплатилъ я отъ Москвы до Севастополя съ багажемъ 102 руб. 75 коп. Но и во 2-мъ классѣ ѣзда тоже не дай Богъ злому татарину: поль-аршина мѣста, какъ хочешь, такъ на немъ и вертись. По пріѣздѣ въ Севастополь, гдѣ пять гостинницъ, ѣздили, ѣздили—и чуть не Христомъ Богомъ выпросили кое-какой номеришко, — всѣ заняты, хоть на улицѣ ночуй. Если такъ будетъ дальше, то дѣло очень скверное, — скверное потому, что денегъ прожить нужно очень много, да найдешь ли еще мѣсто и въ Ялтѣ? Въ Ялту пароходъ пойдетъ 7 сентября. Вотъ что, голубчикъ, Ваня, плохо: у меня дорогой опухли ноги, ниже колѣнъ, отекли и сбѣлались какъ стеклянные,—хожу въ калошахъ.

Жену мою эта опухоль, видимо, пугаетъ; она отъ кого-то слыхала, да слыхалъ и я, что у чахоточныхъ отекаютъ ноги. Но умирать, братъ, когда-нибудь да надо. Прощай. И. Суриковъ.

Ялта. 12-го сентября, 1879 года. Милый мой Ваня! Я, бысть нездоровъ, но всталъ, и пишу ти. Меня чуть-чуть не поглотила морская волна, но ограничилось тѣмъ, что наполнила водою мои сапоги и затѣмъ уложила меня въ постель. Случился со мной вышесказанный казусъ такъ: пароходъ изъ Севастополя въ Ялту пришелъ въ 9-мъ часу вечера, была тьма и сильное морское волненіе, когда я сталъ спускаться съ парохода на баркасъ (пароходъ далеко не подходитъ къ берегу), то вдругъ набѣжавшей волной окатило меня. Ялта! что бы тебѣ сказать о ней? Я теперь тебѣ объ Ялтѣ, пожалуй, ничего не скажу,—не скажу потому что еще не осмотрѣлъ ея. Жизнь въ Ялтѣ ужасно дорога, квартиръ не отыщешь; номеровъ въ гостинницахъ нѣтъ даже за 5 руб. въ сутки,—положительно биткомъ набиты. Былъ я у здѣшняго доктора Богословскаго и у ялтинской знаменитости, доктора Дмитріева, составителя книги „Лѣченіе виноградомъ“,—

последній мнѣ сказали, что для поправленія моего здоровья мало будетъ прожить трехъ мѣсяцевъ, а нужно прожить всю зиму до конца апрѣля... Грудь мою они тщательно освидѣтельствовали и нашли тоже, что и Соломка,—поражение праваго легкаго. Но прожить до весны, чего это будетъ стоить? это выйдетъ громадная цифра, напримѣръ: проѣздъ до Ялты съ багажемъ 102 р., квартирка объ одной комнаткѣ недешевле 40 руб. въ мѣсяцъ; столъ, т. е. обѣдъ изъ трехъ блюдъ—25 руб. съ человѣка, что составитъ съ двоихъ 50 руб., да затѣмъ если будешь лѣчиться виноградомъ (а здѣсь только этимъ и лѣчать) придется его потреблять не менѣе 8 фунт. въ сутки (это считается малая порція) по 15 коп. фунтъ, это будетъ стоить 36 руб. въ мѣсяцъ, и потомъ рублей 10 проживешь въ мѣсяцъ и не увидишь самъ куда; затѣмъ рублей 5 будетъ становиться стирка бѣлья. Вотъ и считай,—выходить 141 р. придется прожить „каждый мѣсяцъ“, что составитъ за семь мѣсяцевъ, считая до апрѣля, 987 руб., да проѣздъ 200 руб., итого 1187 руб.!!! Объ этомъ и мечтать нечего. Но доктора ручаются, что здоровье мое здѣсь положительно можетъ поправиться и поражение легкаго исчезнетъ совсѣмъ,—показывали мнѣ живые тому примѣры, т. е. тѣхъ людей, у которыхъ были поражены легкія и излѣчились. Да, поразительные факты, и не вѣрить имъ нельзя. Милый Ваня! если я увижу, что здоровье мое будетъ поправляться и мнѣ придется прожить здѣсь долѣе трехъ мѣсяцевъ, какъ я думалъ прежде, то какъ ты думаешь на этотъ счетъ, выскажи мнѣ, мой хорошій, свое мнѣніе. Если же болѣзнь моя не будетъ улучшаться, то я зря въ Крыму не буду долго проживаться. Пиши мнѣ, мой милый, я жду твоего отвѣта съ нетерпѣніемъ. „Вѣстникъ Европы“ прислалъ мнѣ деньги въ Ялту. Душевно тебя любящій И. Суриковъ.

15 сентября, 1879 года. Милый мой Ваня! Жизнь, братъ, въ Ялтѣ дорога и скучна; аристократія здѣсь обрѣтающаяся та, вѣроятно, не скучаетъ, потому что каждый вечеръ играетъ музыка, то на бульварѣ, то въ клубѣ, то у гостиницы Россія, но тамъ требуется плата за входъ.— аристократія платить за этотъ входъ не стѣсняясь, а другимъ этого дѣлать кошельекъ не позволяетъ. Здоровье мое пока еще въ томъ же состояніи, въ какомъ оно было и въ Москвѣ, виноградомъ мнѣ лѣчиться нельзя, у меня страшное разстройство желудка. Погода здѣсь стоитъ теплая. И. Суриковъ.

18 сентября, 1879 года. Милый мой — Ваня! Душевно тебя благодарю за письмо. Здоровье мое какъ будто начинаетъ немного поправляться; но далеко пройти я все-таки не могу, устаю и задыхаюсь. Скука здѣсь страшная, или я еще не привыкъ къ этимъ мѣстамъ. О поэзіи, братъ, и говорить нечего, въ такомъ скверно-болѣзненномъ состояніи можетъ ли прийти въ голову что хорошее. И. Суриковъ.

25 сентября, 1879 года. Ваня! Здоровье мое становится, какъ будто, лучше; но дышется на ходу тяжело, а воздухъ въ Ялтѣ все-таки хорошъ,—думаю, что въ Москвѣ я задохся бы уже давно. Не забывай, мой голубь сизый, грѣшнаго растерзавшагося и изматывагося Ивана. И. Суриковъ.

30 сентября, 1879 года. Ваня! Въ Ялтѣ погода измѣнилась,—третій день идутъ дожди, море покрыто туманомъ. Иерусалимскихъ гражданъ такая бездна, что вся Ялта пропахла чеснокомъ. Здѣсь въ Ялтѣ есть базаръ, заключающійся въ 12 палаткахъ, гдѣ торгуютъ овощемъ и разною разностью, сюда за провизіей сходится вся Ялта. Кое-когда на пристани торгуютъ рыбою,—свѣжая осетрина стоитъ 45 коп. ф.; рыбу привозятъ изъ Керчи; названіе морской мелкой рыбы: кефаль, камбала, лобанъ, крабъ, бычекъ, морская собачка, горбыль, дига, конекъ, да всѣхъ и не припомнишь. Дрова здѣсь продаются, друже мой, 35 руб. саж.,—на горахъ хотя и есть громадныя лѣса, но спускаться съ дровами съ горъ очень трудно и свозять ихъ вязанками, перекинуть на ту и на другую сторону лошади по вязанкѣ. Бѣлые хлѣбы, стоящіе въ Москвѣ 5 к., здѣсь 10 к. Мясная лавка одна на всю Ялту, содержать ея евреи, она у нихъ на откупъ отъ города—и жители Ялты отправляются за говядиною съ 2—3 часовъ ночи и идутъ гуськомъ, по очереди, что дадутъ, то вари и ѣшь. Здоровье мое какъ будто лучше, хотя кашель не прекращается, но дышется какъ-то легче; есть аппетитъ—я могу кушать, а въ Москвѣ я этого не имѣлъ; могу по ночамъ спать,—въ Москвѣ у меня была бессонница и я цѣлыя ночи просаживалъ безъ сна на постели. Будь здоровъ. Сердечно любящій тебя И. Суриковъ.

Ялта. 18 октября, 1879 года. Милый мой Ваня! Я подцѣпилъ здѣсь злѣйшую крымскую лихорадку и насилиу отъ нея отдѣлся, думалъ, что протяну ноги. Здоровье мое все-таки плохо; доктора говорятъ, что зиму необходимо прожить въ Крыму и возвратиться въ Москву въ апрѣлѣ, иначе, если я вернусь на зиму въ Москву, то со мною будетъ очень худо. Я не повѣрилъ одному доктору, что здоровье мое ужъ такъ плохо и опасно, пошелъ къ другому, затѣмъ къ третьему, а въ общемъ выходитъ одно и тоже, что здоровье очень, очень плохо и что зиму мнѣ нужно прожить въ Ялтѣ. Но хотя бы мнѣ и пришлось прожить зиму въ Ялтѣ, а на декабрь я все-таки долженъ возвратиться въ Москву и устроить тамъ кое-какія дѣла, требующія моего присутствія, и затѣмъ возвратиться опять въ Ялту. Вотъ, мой душевный друже, мое положеніе. Если бы ты зналъ, какъ тяжело мнѣ будетъ прожить зиму въ Ялтѣ, я не знаю даже какъ это выразить: быть оторваннымъ на нѣсколько мѣсяцевъ отъ всего дорогаго, къ чему я такъ привязанъ,—это ужасное состояніе!

Однако, братъ, какъ видится, я доматался въ конецъ.

Погода въ Ялтѣ испортилась,—вотъ уже четыре дня лютятъ дожди, грязь непроходимая. Будь здоровъ. Желаю всего хорошаго. Сердечно любящій тебя И. Суриковъ.

Ялта. 23 октября, 1879 года. Сердечный Ваня! Лихорадка такъ меня вытrepала, что я сталъ похожъ на Донъ-Кихота Ламанческаго.

Кромѣ всего этого у меня ночью свела ногу сильнѣйшая судорога и я теперь сижу уже три дня безъ выхода, нога не можетъ ходить, на нее нельзя ступить, вѣроятно, сдѣлалось расширение жилы, или что другое,—я ужъ и не знаю. Кажется, и грудной болѣзни мнѣ было бы достаточно,

а тутъ еще на грѣхъ другія болѣзни, и я все больше доколачиваюсь, слабѣю. Ялтинскіе врачи нашли мою болѣзнь въ такомъ осложненіи: страшно застарѣлый катарръ желудка, сильное катаральное состояніе праваго и частию лѣваго легкихъ, уплотненіе верхушки праваго легкаго и малая вмѣстимость легкими воздуха (что доказано на аппаратѣ: я могъ выдыхать и вдыхать воздуха только 1,900 гр., а нормальное дыханіе должно быть 4,000, — передо мной одинъ больной выдохнулъ 3,500, другой 3,000, а я только 1,900). Затѣмъ у меня раздраженіе и опухоль дыхательныхъ горловыхъ вѣтвей и плохое питаніе. Видишь, мой милый, чего еще не достаетъ, — кажется, все есть. Изъ всего этого, вмѣстѣ взятаго, доктора заключили, что болѣзнь моя очень, очень опасна и что мнѣ нужно пребыть въ Крыму долго и лѣчиться сжатымъ воздухомъ, чтобъ поправиться и быть на что ни будь годнымъ. Вотъ, мой милый, задача и рѣшая ее, какъ знаешь. Я едва хожу и едва дышу, мнѣ нуженъ покой, чтобъ какъ-нибудь еще таскаться, а мнѣ и здѣсь не даютъ покоя, раздражаютъ меня, разстраиваютъ и въ послѣдокъ доколачиваютъ мое здоровье. На этихъ дняхъ отецъ мой прислалъ мнѣ письмо, начинающееся слѣдующими словами: „Богъ съ тобой, Иванъ! Богъ тебѣ за все это отплатитъ, — меня всячески твой Михайло (*) изругалъ и испозорилъ“. Боже мой! и это пишется человѣку еле-еле дышащему и пишется тѣмъ, кто главный виновникъ моей болѣзни, хотя я все ему уже простилъ. Писать мнѣ такіе упреки, что „Богъ мнѣ за все это запластитъ“. Это ужъ чистое безчеловѣчіе! За что мнѣ будетъ Богъ отплачивать, что они тамъ, за 1,500 верстъ отъ меня, въ чемъ-то разлаились; они помиряются. Оба ужъ хороши, — одинъ другому не уступить. Дразги и неприятности доколотили мое здоровье, да и теперь меня, еле дышащаго, не перестаютъ доколачивать. Горькая жизнь, должно быть, и кончиться должна горько. Я прожилъ, братъ, здѣсь „аки грекъ“, — дорога мнѣ стала сюда много болѣе 100 р. Затѣмъ эта проклятая лихорадка, доктора здѣсь дорогіе, потомъ разные медикаменты, проживаешь въ мѣсяць 100 р. и не видишь даже куда, кромѣ докторовъ, медикаментовъ и чистки бѣлья, это только квартира, пища и кое-какіе необходимые предметы, какъ-то: чай, сахаръ, свѣчи и т. п. Это сущая бѣда!.. Здѣсь продается вареная колбаса 60 к. фунтъ, тогда какъ у насъ въ Москвѣ она стоитъ первый сортъ 25 к. Здѣсь за все берутъ дороже. Доктора мнѣ велѣли купить костюмъ изъ сосновой шерсти, т. е. сорочку, кальсоны, чулки, и носить, — я купилъ. Затѣмъ, я пріѣхалъ сюда налегкѣ, а ночи стали порядочно холодныя, по ночамъ подъ покрываломъ я сталъ очень зябнуть, а одѣться нечѣмъ, для этой цѣли, т. е. одѣться ночью и прикрыть плечи и грудь днемъ, во время прогулки, я купилъ пледъ. Все расходы и расходы. Придется ли мнѣ жить зиму въ Ялтѣ или нѣтъ, — зависитъ отъ многихъ обстоятельствъ;

(*) Михайлъ Николаевичъ Ермановъ, братъ жены И. З., жилъ при семействѣ ихъ 18 лѣтъ. былъ и теперь состоятъ помощникомъ по лавочкѣ, съ нимъ нередко бывали разногласія у Захара Андреевича часто изъ мелочей, изъ большого самолюбія, что всегда раздражало и безпокойно покойнаго И. З.; но и тотъ, и другой скоро мирались и были опять въ ладахъ... Н—въ.

ноябрь мѣсяцъ я долженъ прожить здѣсь, а гроши у меня повысохли,— на октябрь мѣсяцъ у меня еще хватитъ, а на ноябрь „нема“. Прощай, мой добрый Ваня. Пиши. И. Суриковъ.

Ялта, 5 ноября, 1879 года. Ваня, голубчикъ!

Живу на южномъ берегу,
Живу я, другъ, скучая,
И пѣсень пѣть я не могу,—
Молчить душа больная...

Напрасно я бросаю взоръ
Къ тебѣ, на сѣверъ дальній;
Но предо мной лишь выси горъ
Да моря видъ зеркальный.

И мнѣ не виденъ край родной
И ты, мой другъ любимый,
И сердце мнѣ гнететъ тоской
Ничѣмъ неодолимой.

Я полетѣлъ къ тебѣ бы, другъ,
Напрягши всѣ усилья,
Но грудь сжигающій недугъ
Мои подрѣзалъ крылья.

Какъ подстрѣленный воронъ, я,
Лишенный прежней силы,
Брожу, на сердцѣ боль тая,
Печальный и унылый.

И жду, что вотъ придетъ чередъ—
И хрупкое созданье
Недугъ томительный добьетъ
И прекратить дыханье...

Здоровье мое не поправляется, ночи провожу почти безъ сна, сидя на постели,—меня душитъ мокрота и кашель. Положеніе гадкое. Теперь погода въ Ялтѣ стоитъ дождливая, но теплая. Сообщи мнѣ, друже, что новаго въ Москвѣ и въ литературѣ; я здѣсь ничего не читаю. Писать ничего не могу,—ни душа, ни голова не могутъ работать. Ходить я много не могу,—устаю и задыхаюсь. Прощай, мой добрый. И. Суриковъ.

7 ноября, 1879 года. Милый Ваня!

Настала скверная пора,
И въ Ялтѣ непогоже,—
Какъ изъ ведра, льетъ дождь съ утра,
И къ вечеру все тоже.
И изъ квартиры не кажи
На улицу хоть носа,—
И цѣлый день лежи, лежи,
Роль занимай барбоса.

Голова, братъ, у меня какъ свинцомъ налитая, насилию могъ подняться съ постели и написать тебѣ нѣсколько строкъ. Прощай; пиши. И. Суриковъ.

Москва. 8-го февраля, 1880 года. Милый мой Ванюша! Я все лежу,—грудь у меня завалило, едва перевожу дыханіе; кашель день за днемъ усиливается, всю ночь на пролетъ мучаетъ. Скверно, братъ; ждатель нужно еще худшаго, ибо и весна не далеко; а съ водой вмѣстѣ, кажется, и я уплюву... Миша-то Виноградовъ умеръ, а?.. И. Суриковъ.

VI

КЪ С. Д. Д—НУ.

Москва. 16 мая, 1879 года. Добрѣйшій С. Д. Душевно вамъ благодаренъ за ваше письмо. Я васъ всегда глубоко уважалъ и уважаю за ваши труды. Сердечно вамъ желаю пойти дальше другихъ, рано сломившихся въ этой суровой борьбѣ съ обстоятельствами и средою. Я на этихъ дняхъ уѣзжаю въ Самарскія степи для поправленія моего въ конецъ разбитаго здоровья. Я теперь сталъ не годенъ никуда, -- ни голова, ни душа не работаютъ, -- кашель меня душитъ, голова и грудь разбиты. Желаю вамъ всего хорошаго, а главное, здоровья. И. Суриковъ.

Москва. 19 декабря, 1879 г. Голубчикъ, С. Д. Письмо ваше, посланное въ Ялту, меня не застало, — я оттуда выѣхалъ 25 ноября, его переслали ко мнѣ въ Москву. Душевно благодарю васъ за ваше сердечное сочувствіе къ моему положенію. Здоровье мое, голубчикъ, ни сколько не поправляется, а становится день отъ дня все хуже и хуже, — пѣсенка моя, какъ видится, спѣта... Я работать ничего не могу, — голова и душа отказались мнѣ служить, съ величайшимъ трудомъ могу написать письмо, — кашель меня душитъ. Пиши, мой добрый, пока есть силы; а когда не будетъ силъ, тогда... Хотя погибнешь ты въ борьбѣ, но не погубять люди слова. Для себя намъ ничего не нужно... А, впрочемъ, забылъ:

Когда разстанемся съ землей,
Сложивъ на груди руки, —
Намъ нуженъ ящикъ тесовой,
Чтобъ спрятаться отъ муки...

Прощай, мой добрый! Будь здоровъ. И. Суриковъ.

П Ъ С Н И.



I

I*



Эхъ ты, доля, эхъ ты, доля,
Доля бѣдняка!
Тяжела ты, безотраднѣ,
Тяжела, горька!

Не твою ли это хату
Вѣтеръ пошатнулъ,
Съ крыши ветхую солому
Разметаль, раздулъ?

И не твой ли подъ горою
Сгнилъ дотла овинъ,
Въ запусѣломъ огородѣ
Повалился тынъ?

Не твоей ли прокатали
Полосой пустой
Мужики дорогу въ городъ
Лѣтнею порой?

Не твоя ль жена, въ лохмотьяхъ,
Ходить босикомъ?
Не твои ли это дѣтки
Просять подь окномъ?

Не тебя ль въ пиру обносятъ
Чаркою съ виномъ,
И не ты ль сидишь послѣднимъ
Гостемъ за столомъ?

Не твои ли это слезы
На пиру текутъ?
Не твои ли это пѣсни
Грустью сердце жгутъ?

Не твоя ль это могила
Смотрить сиротой?—
Крестъ свалился, вся размыта
Дождевой водой.

По краямъ ея крапива
Жгучая растетъ,
А зимой надъ нею вьюга
Плачетъ и поетъ.

И звучить въ тѣхъ пѣсняхъ горе,
Горе да тоска...
Эхъ ты, доля, эхъ ты, доля,
Доля бѣдняка!

~~~~~

\*  
\*   \*  
\*

Ахъ, нужда ли ты, нужда,  
Сирота забытая!  
Ходишь ты безъ зипуна,  
День-деньской несытая.

На твоей на полость  
Рожь не наливается,  
А крапива да трава  
Лѣтомъ колыхается.

Твоего добра и днемъ  
Не сыскать со свѣчкою;  
А въ избѣ зимой морозъ  
Грѣется за печкою.

Да когда же ты, нужда  
Горькая, поправишься?  
Знать, тогда, какъ въ гробъ сойдешь,  
Въ саванъ принарядишься!..

~~~~~


*
* *
*

Бѣдность, ты, бѣдность,
Нуждою убитая,—
Радости, счастья
Ты дочь позабытая!

Вѣкъ свой живешь ты—
Тоской надрываешься,
Точно подъ вѣтромъ
Былинка шатаешься.

Мерзнешь зимой ты
Въ морозы трескучіе.
Жаришься въ лѣто
Горячее-жгучее.

Охъ! нелегко-то
Твой хлѣбъ добывается;
Потомъ кровавымъ
Слезой оmyвается!

Гдѣ жъ твоя радость,—
Куда подѣвалась?
Гдѣ жъ твое счастье—
Другимъ, знать, досталось!

~~~~~

\*  
\*   \*  
\*

**Н**умъ и гамъ въ кабаѣ,  
Людь честной гуляетъ;  
Расходился бѣднякъ,  
Пляшетъ, припѣваетъ:

„Эй, вы—ну, полно спать!  
Пей вино со мною!  
Такъ и быть, ужъ тряхну  
Для друзей мошною!

Денегъ, что ль съ нами нѣтъ?...  
По рублю на брата!  
У меня сто рублей  
Каждая заплата!

Не беречь же ихъ стать,—  
Наживешь заботу;  
Надавали мнѣ ихъ  
За мою работу.

Проживемъ—наживемъ:  
Мышь башку не съѣла;  
А кудрями тряхнемъ,—  
Подавай лишь дѣла!

А помремъ—не возьмемъ  
Ничего съ собою;  
И безъ денегъ дадутъ  
Хату подъ землею.

Эхъ, ты—ну, становись  
На ребро, копѣйка!  
Прочь поди, берегись  
Ты, судьба-злодѣйка!

Иль постой! погоди!  
Выпьемъ-ка со мною!  
Говорятъ, у тебя  
Счастье-то слугою.

Можетъ быть, молодцу  
Ты и улыбнешься;  
А не то, прочь ступай,—  
Слезъ ты не дождешься!“

~~~~~

День я хлѣба не пекла,
Печку не топила,—
Въ городъ съ ранняго утра
Мужа проводила.

Два лукошка толокна
Продала сосѣду,
И купила я вина,
Назвала бесѣду.

Все плясала да пила;
Напилась, свалилась;
Въ это время въ избу дверь
Тихо отворилась.

И съ испугомъ я въ двери
Увидала мужа.
Дѣти съ голода кричатъ
И дрожатъ отъ стужи.

Поглядѣлъ онъ на меня,
Покосился съ гнѣвомъ—
И давай меня стегать
Плѣткою съ припѣвомъ:

„Какъ на улицѣ морозъ,
Въ хатѣ не топлѣно,
Нѣтъ въ лукошкахъ толокна,
Хлѣба не печѣно.

У сосѣда толокно
Дѣтушки хлебають;
Отчего же у тебя
Зябнуть, голодають?

О тебя, моя душа,
Изобью всю плётку,—
Не мѣняй ты никогда
Толокна на водку!“—

Ужъ стегаль меня, стегаль,
Да, знать, стало жалко,—
Бросиль въ уголь свою плеть,
Да схватиль онъ палку.

Раза два перекрестиль,
Плюнулъ съ злостью на полъ,
Поглядѣль онъ на дѣтей,—
Да и самъ заплакалъ.

Охъ, мнѣ это толокно
Дорого досталось!
Двѣ недѣли на бокахъ.
Охая, валялась!

Охъ, болитъ моя спина,
Голова кружится;
Лягу спать, а толокно
И во снѣ мнѣ снится!

~~~~~

\*  
\*   \*  
\*

Сиротой я росла,  
Какъ былинка въ полѣ;  
Моя молодость шла  
У другихъ въ неволѣ.

Я съ тринадцати лѣтъ  
По людямъ ходила:  
Гдѣ качала дѣтей,  
Гдѣ коровъ доила.

Свѣтлой радости я,  
Ласки не видала:  
Износилась моя  
Красота, увяла.

Износили ее  
Горе да неволя:  
Знать, такая моя  
Уродилась доля.

Уродилася я  
Дѣвушкой красивой:  
Да не далъ только Богъ  
Доли мнѣ счастливой.

Птичка въ темномъ саду  
Пѣсни распѣваетъ,  
И волчица въ лѣсу  
Весело играетъ.

Есть у птички гнѣздо,  
У волчицы дѣти,—  
У меня жъ ничего,  
Никого на свѣтѣ.

Охъ, бѣдна я, бѣдна,  
Плохо я одѣта,—  
Никто замужъ меня  
И не взялъ за это!

Эхъ ты, доля моя,  
Доля сиротинка!  
Что полынь ты трава,  
Горькая осинка!



\*  
\*   \*  
\*

Что шумишь, качаясь,  
Тонкая рябина,  
Низко наклоняясь  
Головою къ тыну?

—Съ вѣтромъ рѣчь веду я  
О своей невзгодѣ,  
Что одна расту я  
Въ этомъ огородѣ.

Грустно, сиротинка,  
Я стою, качаюсь,  
Что къ землѣ былинка  
Къ тыну нагибаюсь.

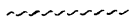
Тамъ, за тыномъ, въ полѣ,  
Надъ рѣкой глубокой,  
На просторѣ, въ волѣ,  
Дубъ растетъ высокій.



Какъ бы я желала  
Къ дубу перебраться;  
Я бъ тогда не стала  
Гнуться да качаться.

Близко бы вѣтвями  
Я къ нему прижалась  
И съ его листьями  
День и ночь шепталась...

Нѣтъ, нельзя рябинкѣ  
Къ дубу перебраться!  
Знать, мнѣ, сиротинкѣ,  
Вѣкъ одной качаться.



\*  
\*   \*

Что не рѣченька,  
Что не быстрая  
Подъ крутой берегъ  
Подмывается.

Нѣтъ, то матушка  
Погубить мою  
Волю дѣвичью  
Собирается.

Погоди, постой,  
Моя матушка,—  
Не губи мою  
Волю дѣвичью!

Погоди, постой,—  
Будетъ времячко,  
Когда дѣ-сыта  
Нагуляюсь я.

По зарямъ, весной.  
Я нанѣжуся;  
Красотой моей  
Я натѣшуся.

Когда игры мнѣ  
Прииграются,  
Думы-думушки  
Нагуляются.

Погибай тогда  
Моя волюшка!  
Пропадай коса  
Подъ повойникомъ!

Буду жить тогда  
Я въ чужой семьѣ,  
По избѣ ходить  
По одной доскѣ.

Буду печь топить.  
За скотомъ ходить;  
Отъ свекрови злой  
Брань выслушивать;

Все сносить, терпѣть,  
Ротъ завязывать,  
Ничего людямъ  
Не рассказывать.

~~~~~

Я ли въ полѣ да не травушка была,
Я ли въ полѣ не зеленая росла;
Взяли меня, травушку, скосили,
На солнышкѣ въ полѣ изсушили.

Охъ, ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!

Я ли въ полѣ не пшеничушка была,
Я ли въ полѣ не высокая росла;
Взяли меня, срѣзали серпами,
Склали меня на полѣ снопами.

Охъ, ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!

Я ли въ полѣ не калинушка была,
Я ли въ полѣ да не красная росла;
Взяли калинушку, поломали
И въ жгутики меня посвязали.

Охъ, ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!

Я ль у батюшки не доченька была,
У родимой не цвѣточекъ я росла;
Неволей меня, бѣдную, взяли,
И съ немилымъ сѣдымъ повѣнчали.

Охъ, ты, горе мое, горюшко!
Знать, такая моя долюшка!

~~~~~



Что не жгучая крапивушка  
Въ огородѣ жжется, колется,—  
Изожгла мнѣ сердце бѣдное  
Свекровь-матушка попреками.

„Какъ у сына-то у нашего  
Есть съ оде́жею два короба,  
А тебя-то взяли бѣдную,  
Взяли бѣдную, что голую.“

Что ни шагъ—руганье, выговоръ;  
Что ни шагъ—попреки бѣдностью;  
Точно силой навязалась я  
На ихъ шею, горемычная.

Отъ житья такого горькаго  
По-неволѣ очи всплачутся,  
Потемнѣетъ лицо бѣлое,  
Точно ноченька осенняя.

И стоишь, молчишь, ни слова ты,—  
Только сердце надрывается,  
Только горе закипитъ въ груди  
И слезами оно скажется.





Въ зеленѣмъ саду соловушка  
Звонкой пѣсней заливается;  
У меня, у молодёшеньки,  
Сердце грустью надывается.

Знать, тогда мнѣ, когда попъ крестилъ,  
Вышла доля несчастливая,  
Потому что вся я въ матушку  
Уродилась красивая.

И росла у ней, да нѣжилась  
Я на волѣ, одинёшенька;  
Богачи, купцы проѣзжіе,  
Звали всѣ меня хорошенькой.

Мое личико румяное  
Красной зорькой разгоралось,  
И косою моею русою  
Вся деревня любовалась.

Да сгубилъ меня мой батюшка,  
Выдалъ замужъ за богатаго,  
На житье отдалъ на горькое  
За сѣдаго, бородатаго.

Не живу я съ нимъ, а мучаюсь;  
Сердце горемъ надрывается;  
Не водою лицо бѣлое,  
А слезами умывается.

Что богатство мнѣ безъ радости?  
Безъ любви душа измаялась.  
Безъ поры-то я, безъ времени,  
Молодѣшенька, состарѣлась!



Голова ли ты, головушка!  
Что на грудь ты наклонилася?  
Отчего ты безо-времени  
Бѣлымъ инеемъ покрылася?

Знать, ты въ черный день, да въ часъ лихой  
На свѣтъ Божій показалася,  
На потѣху горю, злой бѣдѣ  
Ты, головушка, досталася.

У людей жизнь—лѣто красное.  
У тебя жъ—зима суровая...  
Эхъ, ты, доля моя, долюшка,  
Горевая, безтолковая!

Гдѣ ты, доля моя, выросла?  
Надъ рѣкою ли глубокою,  
Надъ оврагомъ ли съ крапивою,  
Иль въ болотѣ межъ осокою?



Въ твою избу, избу ветхую,  
Смотритъ темный день безъ солнышка;  
Пьешь ты горе съ утра до ночи,  
Пьешь, не выпьешь все до донышка.

Что ты дѣлать ни задумаешь,—  
Не клеится и не ладится;  
Люди покупать, продадутъ въ барышъ,  
У тебя жъ рублемъ убавится.

У людей веселье, пиръ горой,  
У тебя же горе кучею:  
Ты засѣешь рожью полосу,—  
Заростетъ крапивою жгучею.

Люди женятся, съ женой живутъ,  
Ребятишекъ нарождается,  
Лишь твоя по свѣту долюшка  
Все одна-одной шатается.

Отчего жъ, скажи, головушка,  
Безталанной ты родилася?  
Или матушка—покойница  
Въ церкви Богу не молилася?

Нѣтъ! сосѣди говорили мнѣ,  
Что была, вишь, богомольная...  
Знать, сама собой сложилася  
Жизнь ты горькая, бездольная!

~~~~~



Что, удалый молодецъ,
Опустилъ ты буйную,—
И сидишь за чаркою
Съ не веселой думою?

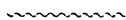
—Съ горя, добрый молодецъ,—
Съ горя я печалюся;
Съ горя моя буйная
Съ плечъ головка валится.—

Да откуда жъ горе—то
Пришло къ добру молодцу?...
Изъ-за моря ль тучею
Принеслося пѣ вътру?

Иль изъ бору темнаго
Мѣдяницей выползло?
На пиру ли хмѣльною
Брагой въ чаркѣ выпито?

—Нѣтъ, не въ чаркѣ выпито
Горе хмѣльной брагою,
Принеслось не тучею
Черною изъ-за моря,

Не изъ бору выползло
Змѣей-мѣдяницею,—
Пришло горе къ молодцу
Красною дѣвицею!





Если бь легкой птицы
Крылья я имѣла,
Вь частый бы кустарникъ
Я не полетѣла.

Если бь я имѣла
Голосъ соловьиный,
Я бы не носилась
Съ пѣсней надъ долиной.

Я бы не летала
На разсвѣтѣ вь поле
Косарямъ усталымъ
Пѣть о лучшей долѣ.

Я бы не кружилась
Вечеромъ надъ хаткой,
Чтобъ ребенка пѣсней
Убаюкать сладкой.

Нѣтъ! я полетѣла бь
Съ пѣсней вь городъ дальній:
Есть тамъ домъ обширный,
Всѣхъ домовъ печальнѣй.

У стѣны высокой
Ходятъ часовые:
Въ окна смотрять люди
Блѣдные, худые.

Имъ никто не скажетъ
Ласковаго слова,—
Только вѣтеръ пѣсни
Имъ поетъ сурово.

Отъ окна къ другому
Тамъ бы я летала,
Узниковъ привѣтной
Пѣсней утѣшала.

Я бѣ имъ навѣвала
Золотыя грезы,
И изъ глазъ потухшихъ
Вызывала слезы.

Чтобы эти слезы
Щеки ихъ смочили,
Полную печали
Душу облегчили...

~~~~~



Не грусти, что листья  
Съ дерева валятся,—  
Будущей весною  
Вновь они родятся,—

А грусти, что силы  
Молодости таютъ,  
Что черствѣетъ сердце,  
Думы засыпаютъ...

Только лишь весною  
Теплою повѣтъ—  
Дерево роскошно  
Вновь зазеленѣтъ...

Силы жъ молодыя  
Сгибнуть—не вернуться,  
Сердце очерствѣтъ—  
Думы не проснутся!



\*  
\*   \*

Ой, дубинушка, ты ухни!  
Дружно мы за трудъ взялись.  
Ты, плечо мое, не пухни!  
Грудь моя, не надорвись!

Ну-ко, ну, товарищъ, въ ногу!  
Налегай плечомъ сильнѣй!—  
И тяжелую дорогу  
Мы пройдемъ съ тобой скорѣй.

Ой, зеленая, подернемъ!—  
Другъ мой! помни объ одномъ;  
Нашу силу вырвемъ съ корнемъ,  
Или многихъ сбережемъ.

Тѣхъ борцовъ, кому сначала  
Легокъ трудъ, кто дѣлу радъ,—  
Вскорѣ жъ—глядь!—все дѣло стало  
Передъ множествомъ преградъ.

Тѣмъ помочь намъ скоро надо,  
Кто не видитъ, гдѣ исходъ,—  
И разрушатся преграды,—  
И пойдутъ они впередъ.

Другъ! трудящемуся брату  
Будемъ смѣло помогать,  
Чтобъ за помогу въ уплату  
Слово доброе принять.

За добро добромъ помянуть  
Люди насъ когда нибудь,  
И судить за то не станутъ,  
Что избрали честный путь.

Злоба съ дочкою покорной—  
Стоязычной клеветой,  
Станутъ насъ слѣдить упорно,—  
Но не страшенъ злобы вой.

Прочь отъ насъ! на мертвыхъ рухни,—  
Твой живыхъ не сломить гнетъ...  
Ой, дубинушка, ты ухни!  
Ой, зеленая, поидеть!

~~~~~

II





(Изъ народныхъ мотивовъ.)

Хорошо тому да весело,
У кого-то нѣтъ заботушки,
На душѣ тоски—кручинушки,
Въ ретивѣмъ сердцѣ зазнобушки.

У меня ли, молодѣшенькой,
Есть кручинушка немалая:
Сокрушилъ меня сердечный другъ,
Голова ли разудалая...

Сокрушилъ меня онъ, высушилъ
Хуже травушки кошенья,
Чтò на жаркомъ лѣтнемъ солнышкѣ
Вò чистомъ полѣ сушенья.

Сокрушилъ меня, младѣшеньку,
Онъ своею перемѣною,
Что сердечною обидою—
Горе-горькою измѣною...

Погоди же, ты, сердечный другъ,
Я сама, млада, на грѣхъ пойду
И мою эмѣю—разлучницу
Отыщу я, отыщу—найду.

О любви твоей, душевный мой,
Я дознаюсь—допытаюсь.
И сама мою разлучницу
Изушить я постараюсь,—

Что ни зельемъ, ни кореньями,
Ни отравой ѣдкой, жгучею—
Изушу ее, разлучницу,
Я слезой моей горючею!

~~~~~



(Изъ народныхъ мотивовъ.)

---

Сговорилися батюшка съ матушкою  
Меня замужъ отдать за немилаго,  
Старика безобразнаго, хилаго.

Убѣгла я туманною ночью,  
Убѣгла къ бобылю одинокому,  
Къ пареньку моему черноокому.

Я открыла ему горе лютое,  
Крѣпко къ груди его прижималася,  
Его бѣлымъ лицомъ любовалася.

Онъ сказалъ: „выходи за богатаго;  
Изведемъ мы его, повѣнчаемся—  
И тогда-то съ тобой нагуляемся“.

Я тогда съ старикомъ повѣнчалася,—  
День-деньской его грызла, бранила я,  
Наконецъ старика отравила я.

Вышла замужъ за парня я милого,—  
Не нашла только долю желанную,  
Совѣсть мучить меня окаянную.

Все мнѣ прежній мой мужъ представляется,  
Чуть прикрытый рубашкой дырявою,  
И грозитъ рукою костлявою.

Ночь не сплю я, дрожу, что осинушка,—  
Все мерещется чья-то косматая  
Голова мнѣ, и шепчетъ: „проклятая!“





(Изъ Украинскихъ мотивовъ.)

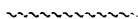
---

Въ полѣ гладкая дорога  
Съ Ромень до Полтавы,—  
И поѣхалъ той дорогой  
Казачина бравый.

Расковался на дорогѣ  
Конь его буланый...  
—Ой, вернися, мой сердечный,  
Воротись, желанный!

Безъ тебя я, мой соколикъ,  
Что былинка въ полѣ  
Свяну, высохну съ кручины  
Въ сиротливой долѣ!...

Но казакъ не воротился—  
Лишь махнулъ рукою,  
Да и сгинулъ на чужбинѣ  
Буйной головою.





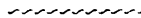
(Изъ Украинскихъ мотивовъ.)

Въ чистомъ полѣ, при дорогѣ  
Ярая пшеница:  
Жнетъ ту ярую пшеницу  
Молодая жница.

Ноютъ руки, ноютъ ноги  
У дѣвицы красной...  
—Гдѣ ты, гдѣ ты пропадаешь,  
Мой соколикъ ясный?

—Ты вернися-воротися,  
Мой желанный-доля!...  
Бѣлая пшеница  
Перезрѣла въ полѣ...

А подъ жаркими лучами  
Погорѣло жито...  
По тебѣ ли, мой соколикъ,  
Много слезъ пролито.





(Изъ Украинскихъ мотивовъ.)

---

**И**ли коровы изъ дубровы,  
Солнце опускалось,—  
У дороги съ казачиной  
Дѣвица прощалась.

—Ты далеко, мой сердечный,  
Ѣдешь—уѣзжаешь,  
И меня ты сиротою  
Въ горѣ покидаешь.

Какъ-то буду безъ тебя я  
Проводить денечки?  
Какъ-то стану одиноко  
Коротать я ночи?

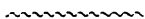
„Ой, гуляй, моя голубка,  
Безъ меня съ другими,—  
Коротай деньки и ночи,  
Какъ ты знаешь, съ ними.



Ой, гуляй, моя голубка,  
Ты съ другими знайся,—  
Только въ правдѣ этой, сердце,  
Мнѣ не открывайся.“

—Ты прости же, мой сердечный,  
Голубь сизокрылый!  
Благодарствую тебя я  
За науку, милый!

Открывать я этой правды  
Никому не буду,  
И тебя я, мой сердечный,  
Скоро позабуду!





(Изъ Т. Шевченко.)

---

Въ огородѣ, возлѣ броду,  
Маковъ цвѣтъ не всходитъ,  
И до броду за водою  
Дѣвица не ходитъ.

Въ огородѣ хмѣль зеленый  
Сохнетъ на тычинѣ;  
Черноброва, бѣлолица  
Дѣвица въ кручинѣ.

Въ огородѣ, возлѣ броду,  
Верба наклонилась;  
Загрустила черноброва,  
Тяжко загрустила.

Плачетъ, бѣдная, рыдаетъ,  
Точно рыбка бьется;  
А надъ нею, молодою,  
Молодецъ смѣется.

~~~~~

*
* *
*

(Изъ Т. Шевченко.)

— — — — —

Иди, вернусь я изъ похода,—
Мнѣ гусаръ сказалъ.
Я ждала, ждала, все нѣту,—
Нѣтъ его, пропалъ.

Что жъ о немъ я такъ тоскую
И себя гублю?
За кафтанъ короткій, что-ли,
Я его люблю?

Иль за то, что усъ онъ черный
Въ кольца завивалъ?
Иль за то, что милой Машей
Часто называлъ?

Нѣтъ, не та моя кручина,—
Жить мнѣ тяжело:
Какъ я выйду, покажуся
Изъ избы въ село,—

Всѣ смѣются надо мною,
Замужъ не берутъ,
И на улицѣ гусаркой
Дѣвицу зовутъ.

~~~~~



(Изъ Т. Шевченко.)

Мѣтъ мнѣ радости, веселья,  
Мать меня ругаетъ,  
И къ сосѣдямъ на бесѣду  
На ночь не пускаетъ.

Долго ль мучиться, терпѣть мнѣ,  
Долго ль съ горемъ биться?  
Выйди ль замужъ за другаго,  
Или утопиться?

Охъ, надѣну я серёжки,  
Въ бусы наряжуся,  
И на ярмарку пойду я,  
Другу покажуся.

Я скажу ему: „послушай,  
Другъ мой, не сердися:  
Если любишь, такъ посватай,—  
Нѣтъ—такъ откажися!“

Чѣмъ терпѣть мнѣ все попреки,  
Съ матерью браниться,  
Чѣмъ идти мнѣ за другаго,—  
Лучше утопиться!...

~~~~~



· (Изъ Т. Шевченко.)

Во чистѣмъ полѣ калина
Красная стояла,
У калинушки дѣвица
Плакала, рыдала.

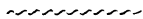
Вѣтеръ буйный,—вѣтеръ буйный!
Услышь мое горе!
Отнеси ты мою душу
За синее море,—

Отнеси ее ты, буйный,
Туда, гдѣ мой милый,—
И поставь кустомъ калины
Надъ его могилкой.

Широко надъ той могилой
Вѣтки я раскину,
Не пекли чтобъ лучи солнца
Въ землѣ сиротину.

Тосковать надъ ней въ ночь стану,
Плакать я зарею,
Выйдетъ солнце,—мои слезы
Заблестятъ росюю.

Солнцемъ высушить мнѣ слезы,
Вѣтромъ посроняетъ,—
И о чемъ калина плачетъ
Никто не узнаетъ.





(Съ малороссійскаго.)

На горѣ калина,
Подъ горою жито;
На горѣ въ калинѣ
Молодецъ убитый.

Онъ лежитъ подъ красной,
Подъ густой калиной;
А лицо покрыто
Бѣлою холстиной.

Вотъ пришла дѣвица
Съ черными очами,
Подняла холстину,
Залилась слезами.

Вотъ пришла другая,—
Слова не сказала,
Въ очи поглядѣла
И поцѣловала.

Вотъ приходитъ третья,—
Холстъ приподнимаетъ,
Смотрить, усмѣхаясь,
Смотрить, упрекаетъ:

„Трехъ дѣвицъ любилъ ты,
И съ тремя ты знался,
И гулялъ со всѣми,—
Вотъ и догулялся!

„Спи жъ теперь, мой милый,
Подъ калиной въ полѣ:
Трехъ дѣвицъ любить ты
Ужъ не будешь болѣ“.

~~~~~



\*  
\*   \*  
(Изъ Т. Ленартовича.)

---

Идетъ дѣвица-сиротка,  
Тяжело вздыхаетъ,  
А надъ нею, горемычной,  
Ласточка летаетъ.

И летаетъ, и щебечетъ,  
Надъ головкой вьется,  
Вьется крошка и крылами  
Въ косу чуть не бьется.

„Что ты вьешься надо мною,  
Надъ сироткой, пташка?  
Ахъ, оставь меня,—и такъ мнѣ  
Жить на свѣтѣ тяжко!“

— Не оставлю, не оставлю!  
Буду я кружиться,—  
Щебетать тебѣ про брата,  
Что въ тюрьмѣ томится.

Онъ просилъ меня: „слетай-ка,  
Пташка, въ край родимый,—  
Поклонись моей сестрицѣ,  
Горячо любимой.

Все ль меня она, голубка,  
Добрымъ вспоминаетъ?  
Все ль она еще о братѣ  
Слезы проливаетъ?“

\*  
\*   \*  
\*

(Изъ Одынца).

---

**Г**то ты такъ невесель,  
Конь мой темнобурый,—  
Опустиль, повѣсилъ  
Голову понуро?

И не ѣшь овесъ ты,  
И не пьешь ты воду,—  
Иль ты утомился—  
Чуешь ли невзгоду?

Двѣсти верстъ—не шутка!.  
День и ночь въ дорогѣ.  
Отдохнемъ мы, конь мой,  
На родномъ порогѣ:

Какъ угаснетъ солнце,—  
Быть намъ нужно дома...  
Вплавъ махнемъ чрезъ рѣчку,—  
Что намъ ждать парома!

Рѣки шире этой  
Мы переплывали;  
Глуби не боялись—  
И не погибали.

Ну, а этой рѣчки  
Намъ чего жъ пугаться?..  
Нужно поскорѣе  
До дому добраться...

Тамъ тебѣ хозяйка  
Дастъ овса корыто,—  
Напоить водою  
Ключевой досыта“...

Выскочилъ изъ рѣчки  
Конь и отряхнулся..  
А сѣдокъ къ хозяйкѣ  
Больше не вернулся.



## ЛИРИЧЕСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.



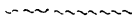
I





Не проси отъ меня  
Свѣтлыхъ пѣсенъ любви;  
Грустны пѣсни мои,  
Какъ осенніе дни!

Звуки ихъ—шумъ дождя,  
За окномъ вѣтра вой:  
То рыданья души,  
Стоны груди больной.

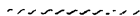






Мнѣ доставались нелегко  
Моей души больные звуки.  
Страдалъ я сердцемъ глубоко,  
Когда слагалась пѣсня муки.

Я въ пѣснѣ жилъ не головой,  
А жилъ скорбящею душою,—  
И оттого мой стонъ больной  
Звучитъ тяжелою тоскою.



\*  
\*   \*   \*

Сердцѣетъ сердце, меркнетъ умъ...  
Грудь надрывается отъ боли...  
Подъ гнетомъ горькихъ чувствъ и думъ  
Поется грустно по неволѣ.

Мнѣ негдѣ думъ отрадныхъ взять:  
Кругомъ меня мертво и сухо.  
Тамъ трудно мыслить и дышать,  
Гдѣ стонъ и вопли слышитъ ухо.

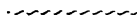
Гдѣ въ лѣтній зной изъ облаковъ  
На землю дождь не упадетъ,—  
Тамъ ни травы нѣтъ, ни цвѣтовъ,  
Бурьянъ тамъ горькій вырастаетъ.

Такъ пѣснь моя всегда горька,  
Какъ тотъ бурьянъ въ степи безводной:  
Звучить въ ней горе и тоска,  
Да плачь надъ долей безысходной!

~~~~~



Не корите, други,
Вы меня за это,
Что въ моихъ твореньяхъ
Нѣтъ тепла и свѣта.
Какъ кому на свѣтѣ
Дышется, живется—
Такова и пѣсня
У него поется.
Жизнь даетъ для пѣсни
Образы и звуки,—
Дастъ ли она радость,
Дастъ ли скорбь и муки,
Дастъ ли день роскошный.
Тьму ли безъ разсвѣта,
То и отразится
Въ пѣсняхъ у поэта.
Пѣснь моя тосклива...
Виноватъ въ томъ я ли,
Что мнѣ жизнь ссудила
Горе да печали?



НАШИ ПѢСНИ.

I.

Много спѣли горькихъ пѣсенъ
Въ этой жизни мы тяжелой.
Легкій смѣхъ намъ неизвѣстенъ,
Пѣсни нѣтъ у насъ веселой.

Большинство людей суровыхъ
Отъ пѣвцовъ печали старой
Просятъ думъ и пѣсенъ новыхъ,
Иль сатиры злой и ярой.

Наше пѣнье имъ не любо,—
Свѣтлой радости въ немъ мало.
Что за диво!—Очень грубо
Горе въ лапахъ насъ сжимало.

Изъ когтей его могучихъ
Вышли мы порядкомъ смяты,
И запасомъ слезъ горючихъ,
Думъ мучительныхъ богаты.

Для изнѣженнаго слуха
Наше пѣнье не годится;
Наши пѣсни рѣжутъ ухо,—
Горечь сердца въ нихъ таится!

II.

Мы родились для страданій,
Но душой въ борьбѣ не пали:
Въ темной чашѣ испытаній
Наши пѣсни мы слагали.

Сила духа, сила воли
Въ этой чашѣ насъ спасала;
Но за то душевной боли
Испытали мы немало.

На просторъ изъ этой чащи
Мы упорно выбивались;
Чѣмъ труднѣй былъ путь, тѣмъ чаще
Наши пѣсни раздавались.

Всюду пѣсенъ этихъ звуки
Эхо громко окликало,
И, съ тоскою, нашей мукѣ
Человѣчество внимало.

Наши пѣсни—не забава,
Пѣли мы—не отъ бездѣлья:
Въ нихъ святая наша слава,
Наше горе и веселье.

Въ этихъ пѣсняхъ миллионы
Мукъ душевныхъ мы считаемъ;
Наши пѣсни, наши стоны
Мы счастливымъ завѣщаемъ.

~~~~~



Есть ли вамъ, поэты-братья,  
Въ напускномъ своемъ задорѣ  
Извергать изъ устъ проклятья  
На пѣвцевъ тоски и горя?

Чѣмъ мы вамъ не угодили,—  
Поперегъ дороги стали?  
Иль не искренни мы были  
Въ пѣсняхъ горя и печали?

Иль братались мы позорно  
Съ ложью темною людскою?  
Нѣтъ! всю жизнь вели упорно  
Мы борьбу съ царящей тьмою.

Наше сердце полно было  
Къ человѣчеству любовью;  
Но отъ мукъ оно изныло,  
Изошло отъ боли кровью...

Честны были въ насъ стремленья,—  
Чисты были мы душою,—  
Такъ за чтожъ кидать каменья  
Въ насъ, измученныхъ борьбою?!

~~~~~

У МОГИЛЫ МАТЕРИ.

Спишь ты, спишь, моя родная,
Спишь въ землѣ сырой.
Я пришелъ къ твоей могилѣ
Съ горемъ и тоской.

Я пришелъ къ тебѣ, родная,
Чтобъ тебѣ сказать,
Что теперь уже другая
У меня есть мать;

Что твой мужъ, тобой любимый,
Мой отецъ родной,
Твоему бѣднягѣ-сыну
Сталъ совсѣмъ чужой.

Никогда твоихъ, родная,
Словъ мнѣ не забыть:
„Безъ меня тебѣ, сыночекъ,
Горько будетъ жить!

Много, много встрѣтишь горя.
Мой родимый, ты;
Много вынесешь несчастья.
Бѣдъ и нищеты!“

И слова твои сбылися,—
Всѣ сбылись они.
Встань ты, встань, моя родная.
На меня взгляни!

Съ неба дождикъ льетъ осенній.
Холодомъ знобить;
У твоей сырой могилы
Сынъ-бѣднякъ стоитъ

Въ старомъ, рваномъ сюртучишкѣ,
Въ ветхихъ сапогахъ:
Но все такъ же твердъ, какъ прежде,
Слезъ нѣтъ на глазахъ.

Знають то судьба-злодѣйка,
Горе и бѣда,
Что отъ нихъ твой сынъ не плакалъ
Въ жизни никогда.

Нѣтъ, въ груди моей горячей
Кровь еще горитъ,
На борьбу съ судьбой суровой
Много силъ кипитъ.

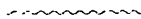
А когда я эти силы
Всѣ убью въ борьбѣ
И когда меня, родная,
Принесутъ къ тебѣ,—

Пріюти тогда меня ты
Тутъ, въ землѣ сырой;
Буду спать я, спать покойно
Рядышкомъ съ тобой.

Будетъ солнце надо мною
Жаркое сіять;
Будутъ звѣзды золотыя
Во всю ночь блистать;

Будетъ вѣтеръ безпокойный
Пѣсни свои пѣть,
Надъ могилой серебристой
Тополью шумѣть;

Будетъ выюга надо мною
Плакать, голосить...
Но напрасно,—силъ погибшихъ
Ей не разбудить.



НА МОСТУ.

Въ раздумьи, на мосту, стоялъ
Бѣднякъ бездомный одиноко.
Осенній вѣтеръ бушевалъ
И волны вскидывалъ выско.

Онъ думалъ: „Боже! для чего жъ
Насъ честно въ мѣръ жить учили,
Когда въ ходу одна здѣсь ложь,
О чести жъ вовсе позабыли?

Я вѣрилъ въ правду на землѣ;
Я честно мыслилъ и трудился;
И что жъ?—морщинъ лишь на челѣ
Я преждевременныхъ добился.

Не разсвѣталъ мой мрачный день;
Давила жизнь меня сурово,
И я скитался, точно тѣнь,
Томимый голодомъ безъ крова.

Мнѣ жизнь въ удѣлъ дала нужду
И вѣру въ счастье надломила.
Чего же я отъ жизни жду,—
Иль вновь моя вернется сила?

Нѣтъ, не воротится она,
Трудомъ убита и нуждою,
Какъ ночь осенняя, темна
Дорога жизни предо мною“...

И внизъ глаза онъ опустилъ,
Томяся думой безъисходной,
И грустно взоръ остановилъ
Онъ на волнахъ рѣки холодной.

И видитъ онъ въ глуби рѣчной
Рядъ жалкихъ жертвъ суровой доли,
Хотѣвшихъ тамъ найти покой
Отъ скорби жизненной и боли.

Въ ихъ лицахъ блѣдныхъ и худыхъ
Слѣды страданія и муки,—
Недвиженъ взоръ стеклянный ихъ
И сжаты судорожно руки.

Надъ ними мрачная рѣка
Неслась и глухо рокотала...
И сжала грудь ему тоска,
И страхомъ душу оковала.

И поднялъ взоръ онъ къ небесамъ,
Надѣясь въ нихъ найти отраду;
Но видитъ съ ужасомъ и тамъ
Одну лишь черныхъ тучъ громаду.

~~~~~



Гдѣ ты, моя юность?  
Гдѣ ты, моя сила?...  
Горькая кручина  
Грудь мою сдавила

Головѣ поникшей  
Тяжело подняться;  
Думы въ ней, какъ тучи  
Черныя, роятся;

И сквозь эти тучи  
Солнце не проблещетъ;  
Сердце, точно голубь  
Раненый, трепещетъ.

Эхъ, судьба-злодѣйка!  
Ты меня сгубила;  
Въ мрачный, тѣсный уголь  
Злой нуждой забила.

Вотъ моя каморка—  
Грязная, сырая;  
Чуть во мракѣ свѣтитъ  
Свѣчка, догорая.

Вотъ у стѣнки столикъ;  
Вотъ два ветхихъ стула;  
Въ уголкѣ икона  
Въ мракѣ утонула.

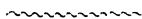
Вотъ моя подруга  
Въ безотрадной долѣ;  
Шьетъ она, трудится,  
Убиваясь въ горѣ.

Вотъ лежитъ въ постели,  
Блѣдная, худая,  
Охаетъ и стонетъ  
Мать моя больная.

Холодно въ каморкѣ;  
Коченѣютъ члены.  
Затопилъ бы печку,—  
Дровъ нѣтъ ни полѣна.

Голова кружится;  
Все чернѣе думы;  
И стоишь да плачешь,  
Грустный и угрюмый.

И невольно въ сердцѣ  
Злоба закипаетъ  
На того, кто въ свѣтѣ  
Злой нужды не знаетъ.





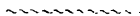
На дворъ бушуетъ вѣтеръ,  
Дождикъ бьетъ въ окно....  
Скучно мнѣ! На сердцѣ холодъ  
И въ душѣ темно.

Взглянешь въ прошлое, не встрѣтишь  
Свѣтлаго лица;  
Поглядишь впередъ, тамъ горе,  
Горе безъ конца.

Дѣтства прошлаго картины!  
Только вы свѣтлы:  
Выступаете вы ярко  
Изъ сердечной мглы.

Время дѣтства золотое.  
Юность безъ тревогъ!  
Хоть бы день изъ этой жизни  
Возвратить я могъ!

Дѣтство—нѣтъ тебѣ возврата!  
Пронеслось, прошло;  
Только въ памяти живешь ты  
Ярко и свѣтло.





Всюду блескъ, куда ни взглянемъ,  
На землѣ и въ небѣ чистомъ.  
Въ лѣсъ пошелъ я утромъ раннимъ,—  
Хорошо въ лѣсу тѣнистомъ!

По травѣ густой, зеленой,  
Межъ кустовъ, цвѣтущихъ пышно,  
Молчаливый и влюбленный,  
Пробираюсь я неслышно..

Если бѣ можно сбросить годы,  
Снова стать былымъ малюткой!..  
Въ этой храминѣ природы  
Все ласкаетъ слухъ мой чуткой.

Все—цвѣты, деревья, птицы,  
Все—любви моей причастно—  
Въ честь ея, моей царицы,  
Пѣснь любви поетъ согласно...

Милый другъ! со мной вездѣ ты.  
Ты слѣдишь за мной украдкой...  
Вотъ глядитъ она въ просвѣты  
Лѣса темнаго такъ сладко.

То потупится, то взглянетъ  
Такъ, что сердце надорвется;  
И зоветъ меня, и манитъ  
Въ глубь лѣсную, и смѣется...

Слышу, шепчетъ мнѣ: „Припомни  
Дней минувшихъ обѣщанья,  
Вспомни, другъ мой милый, чтѣ мнѣ  
Говорилъ ты въ часъ прощанья.“

Да, я помню, помню все я...  
При послѣдней нашей встрѣчѣ,  
Я, надъ гробомъ милой стоя,  
Говорилъ такія рѣчи:

„Безъ тебя, моя родная,  
Не могу на свѣтѣ жить я.  
О минувшемъ вспоминая,  
Доживу ль я до забытья?

Вѣчной скорбью сердце сжато.  
Что мнѣ въ жизни улыбалось,—  
Все съ собою унесла ты,  
Лишь любовь моя осталась.



И теперь къ тебѣ я скоро  
Поплыву съ любовью прежней  
Въ океанѣ томъ, который  
Неба синяго безбрежнѣй.

Мы забудемъ всѣ печали  
Въ свѣтлый часъ той новой встрѣчи“...  
Такъ шепталъ я... и мигали  
Мнѣ въ повязкахъ черныхъ свѣчи.

Ты лежала, другъ мой чистый,  
Холодна, на ложѣ жесткомъ;  
Какъ въ лѣсу смолой душистой,  
Пахло ладаномъ и воскомъ...

~~~~~



Тишь и мракъ... Закрыты ставни;
Мой ночникъ погасъ;
И лежу я одиноко,
Не смыкая глазъ.

И волшебныя мечтанья
Чудною толпой,
Улетая и смѣняясь,
Вьются надо мной.

Вижу я красивый домикъ,
Въ немъ огни горять...
Тишиной объять глубокой,
Дремлетъ темный садъ.

Ночь полна благоуханьемъ;
Въ домѣ смѣхъ и звонъ..
Я стою въ саду подъ ивой...
Тьма со всѣхъ сторонъ.

Бьется сердце молодое
И горять уста...
И она ко мнѣ подходитъ
Тихо, какъ мечта.

Глазки добрые сіяютъ
Страстью и огнемъ...
Соловей поетъ такъ нѣжно
Въ воздухѣ nocturne...

Жадно, трепетно въ объятъя
Я привлекъ ее...
Волоса ея упали
На лицо мое...

Тихо тайныя признанья
Шепчетъ мнѣ она...
Счастьемъ полнымъ, безконечнымъ
Грудь моя полна.

И горять ея лобзанья
На устахъ моихъ...
Въ домѣ смѣхъ и звуки пѣсенъ,
Садъ же темень... тихъ.

Все давно ли это было:
Гдѣ жъ теперь оно?
Сердце сжалось, очерствѣло,
Въ немъ темно, темно...

~~~~~



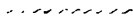
Когда съ тобою встрѣтятся снова  
Послѣ разлуки долгихъ лѣтъ,  
Я ждалъ, что ласковое слово  
Ты скажешь мнѣ, мой другъ, въ привѣтъ;

Я ждалъ, что ты разспросишь жадно  
Меня о томъ, какъ мнѣ жилось,  
И сколько въ грусти безотрадной  
Мнѣ сердцемъ выстрадать пришлось,—

Ты ничего мнѣ не сказала,  
Ты холодна ко мнѣ была,  
Меня какъ будто не узнала  
И, встрѣтись, мимо ты прошла.

И стало мнѣ такъ грустно, больно,  
Что я, придя домой, припалъ  
Лицомъ къ подушкѣ, и невольно  
Я зарыдалъ вдругъ, зарыдалъ—

О томъ, что все прошло, минуло,  
Чего желалось, не сбылось,  
Какъ сонъ лукавый, обмануло  
И безвозвратно унеслось.





**И** вотъ опять пришла весна,  
И снова зеленѣетъ поле:  
Давно ужъ верба разцвѣла,—  
Что жъ ты не разцвѣтаешь, доля?

Что жъ ты такая же опять,  
Какъ и была, убита горемъ?  
Идешь—не радуешь очей  
Тебѣ весна зеленымъ полемъ.

Вотъ скоро птички запоютъ,—  
Въ лѣсу кусты зазеленѣли;  
И стадо выгонитъ пастухъ  
И заиграетъ на свирѣли.

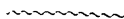
Въ наряды пышные весна  
Сады одѣнетъ въ яркомъ цвѣтѣ;  
Играть и бѣгать по садамъ  
Съ веселой пѣсней будутъ дѣти.

Дождемся ль, доля, мы съ тобой,  
    Что жизнь весельемъ озарится?  
Иль свѣтлой радости для насъ  
    На бѣломъ свѣтѣ не родится?

Иль намъ съ тобой не суждено  
    Встрѣчать весну, какъ малымъ дѣтямъ,  
И мы по-прежнему ее  
    Съ тоской безвыходною встрѣтимъ?

Взгляни кругомъ: какъ хорошо,  
    Весной міръ Божій разцвѣтаетъ!  
Какъ солнце весело глядитъ  
    И въ полѣ травку пригрѣваетъ!

Нѣтъ, не разцвѣсть намъ, доля, нѣтъ!  
    И не запѣть на ладъ веселый.  
Одна, зная, пѣсня намъ дана:  
    Чтобъ пѣть нужду да трудъ тяжелый.



## Ж И З Н Ь.

---

**Ж**изнь, точно сказочная птица,  
Меня надъ бездною несетъ.  
Вверху мерцаетъ звѣздъ станица.  
Внизу шумитъ водоворотъ.

И слышно въ этой безднѣ темной  
Неясный рокоть, ревъ глухой,  
Какъ будто звѣрь рычитъ огромный,  
Въ желѣзной клѣткѣ запертой.

Порою звѣзды скроютъ тучи—  
И я, на трепетномъ хребтѣ,  
Съ тоской и болью въ сердцѣ жгучей  
Мчусь въ безпредѣльной пустотѣ.

Тогда страшить меня молчанье  
Свинцовыхъ тучъ, и вѣтра вой,  
И крылъ холодныхъ колыханье,  
И мракъ, гудящій подо мной.

Когда же тѣни ночи длинной  
Смѣняются кроткимъ блескомъ дня?  
Что будетъ тамъ, въ дали пустынной?  
Куда уносить жизнь меня?

Чѣмъ кончить?—Въ бездну ли уронить,  
Иль въ область свѣта принесетъ,  
И духъ мой въ мирномъ снѣ потонетъ?—  
Иль ждетъ меня иной исходъ?...

Отвѣта нѣтъ,—однѣ догадки,  
Предположеній смутный рой.  
Кружатся мысли въ безпорядкѣ,  
Мечта смѣняется мечтой...

Смерть, вѣчность, тайна мірозданья,—  
Какой хаосъ!—и сверхъ всего,  
Всплываетъ страшное сознанье  
Бизисля духа своего.

~~~~~


В О Т Ъ М Ъ.

Охваченъ я житейской тьмой,
И нѣтъ пути изъ тьмы...
Такая жизнь, о, Боже мой!
Ужаснѣ тюрьмы.

Въ тюрьму хотъ солнца лучъ порой
Въ оконце проскользнетъ,
И вольный вѣтеръ съ мостовой
Шумъ жизни донесетъ.

Тамъ хотъ цѣпей услышишь звукъ,
И стонъ въ глухихъ стѣнахъ,—
И этотъ стонъ напомнитъ вдругъ
О лучшихъ въ жизни дняхъ;

Тамъ хотъ надежды велики,
Чего-то сердце ждетъ,
И заключенный въ часъ тоски
Хотъ пѣсню запоетъ.

И эта пѣсня не замретъ
Съ тюремной тишиной,—
Другой страдалецъ пропоетъ
Ту пѣсню за стѣной.

А здѣсь?.. Не та здѣсь тишина!..

Здѣсь все, какъ гробъ, молчить;
Здѣсь въ холодъ прячется весна,
И пѣсня не звучить;

Здѣсь нѣтъ цѣпей, но здѣсь за то
Есть море тяжкихъ бѣдъ:
Не вѣритъ сердце ни во что,
Въ душѣ надежды нѣтъ.

Здѣсь все темно, темно до дна,—
Прозрѣнья умъ не ждетъ;
Запой здѣсь пѣсню—и она
Безъ отзыва замретъ.

Здѣсь надъ понурой головой,
Надъ волосомъ сѣдымъ—
И чары ласкъ, и звукъ живой
Прносятся какъ дымъ.

И все, и все несется прочь,
Какъ будто отъ чумы...
И что же въ силахъ превозмочь
Давленье этой тьмы?

Исхода нѣтъ передо мной...
Но, сердце! лучше вѣрь:
Быть можетъ, смерть изъ тьмы глухой
Отворить къ свѣту дверь.



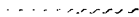


Темна, темна моя дорога,
Все ночь да ночь,—когда жь разсвѣтъ?
Убилъ я силъ душевныхъ много,
А все изъ тьмы исхода нѣтъ.

Къ чему жь борьба, къ чему стремленья?
Мнѣ нѣтъ надежды впереди,
И тяготятъ меня сомнѣнья
На полупройдённомъ пути.

Куда иду? и гдѣ святая
Цѣль неусыпнаго труда?...
И ноетъ грудь моя больная,
Что жизнь проходить безъ слѣда,

Что даромъ гибнетъ сила воли,
Безплодна долгая борьба,
Что не дождусь я лучшей доли,
Не дастъ мнѣ свѣтлыхъ дней судьба.



ОДИНОЧЕСТВО.

Иду я, объятый тоской безотрадной;
Ни звука, ни свѣта... вездѣ тишина.
Грусть сердце сосетъ и язвить безпощадно,
И грудь моя ноетъ, сомнѣнья полна.

Ночь черною тучей висить надо мною
И умъ мой пугаетъ своей темнотою;
Мнѣ страшно дорогой идти одному;
Я шупаю землю и, взоръ напрягая,
Смотрю: не блеститъ ли звѣзда золотая,—
Но вижу одну безотрадную тьму.

Какъ путникъ въ степи необъятной, безводной,
Страдаетъ и жаждетъ источникъ найти,—
Я жажду найти огонекъ путеводный
На этомъ пустынномъ и трудномъ пути.





Я, весь измученный тяжелою работой,
Сажу въ ночной тиши, окончивъ трудъ дневной.
Болитъ моя душа, истерзана заботой,
И ноетъ грудь моя, надорвана тоской.

Проходить жизнь моя темно и безотраднo;
Грядущее мое мнѣ счастья не сулитъ,
И то, къ чему я рвусь душой моей такъ жадно,
Меня едва ли чѣмъ отраднымъ подаритъ.

Мнѣ суждено всегда встрѣчать одни лишенья
Да мучиться въ душѣ тяжелою тоской,
И думать объ одномъ, что всѣ мои стремленья
Безплодно пропадутъ, убиты жизни тьмой.

Суровыхъ, тяжкихъ дней прожито мной довольно,
И много силъ души истрачено въ борьбѣ,—
И дума горькая встаетъ въ душѣ невольно:
За трату этихъ силъ что добылъ я себѣ?

Одно безцвѣтное, пустое жизни поле,
Гдѣ не начемъ кругомъ очей остановить,—
И жаждою томясь, грустишь о горькой долѣ,
Что нечѣмъ жажды той душевной утолить.

И голову въ тоскѣ на грудь невольно склонишь,
И жизни въ этотъ часъ не радъ я, какъ врагу;
И горькую слезу въ ночной тиши уронишь...
Зачѣмъ изъ этой тьмы я выйти не могу?





Я отворилъ окно. Осенняя прохлада
Струею полилась въ мою больную грудь.
Какъ тихо въ глубинѣ увянувшего сада!
Туда, какъ въ темный склепъ, боюсь я заглянуть.

Поблѣкъ и облетѣлъ уборъ его красивый;
Отъ бури и дождя ничѣмъ не защищенъ,
Качаясь и дрожа, стоитъ онъ сиротливо,
И въ шелестѣ вѣтвей печальный слышенъ стонъ...

Раздастся здѣсь порой воронъ полетъ тяжелый,
Да галки на гумнѣ, за садомъ, прокричатъ,—
И стихнетъ все опять... И съ думой невеселой
Гляжу я изъ окна въ пустой, заглохшій садъ.

Здѣсь радостно жилось весной и жаркимъ лѣтомъ;
Но больно вспоминать объ этихъ чудныхъ дняхъ,
О зелени полей, облитыхъ яркимъ свѣтомъ,
О сладкомъ пѣнѣ птицъ въ долинахъ и лѣсахъ.

Природа замерла, нахмурилась сурово;
Поблекнувшей листвою покрылася земля,
И холодомъ зимы повѣялъ сѣверъ снова
Въ раздѣтые лѣса, на темныя поля.

Вотъ желтый листь, кружась, упалъ передомною...
Съ глубокой на него я грустью посмотрѣлъ!
Не такъ же ль я измятъ безжалостной судьбою,
Какъ этотъ слабый листь,—засохъ и пожелтѣлъ?

Прошла моя весна, и лѣто миновало,
И на лугу моемъ засохли всѣ цвѣты;
Ихъ прежняя краса подъ холодомъ увяла;
Разсѣялись мои надежды и мечты.

Какъ желтые листы, давно онѣ опали;
Осенній вѣтеръ ихъ размыкалъ безъ слѣда,
И то, чѣмъ жизнь моя красна была вначалѣ,
Все горькимъ опытомъ убито навсегда.

Вѣкъ доживаю я, какъ дерево сухое,
Минувшему сказавъ печальное „прости!“
И мучить душу мнѣ сознанье роковое,
Что близокъ мой конецъ и мнѣ ужъ не цвѣсти.

ЗА ГОРОДОМЪ.

Наконецъ-то я на волѣ!
Душный городъ далеко;
Мнѣ отрадно въ чистомъ полѣ,
Дышетъ грудь моя легко.

Наконецъ-то птицей вольной
Сталъ я, житель городской,—
И впередъ иду, довольный,
Сбросивъ горе съ плечъ долой.

Любъ мнѣ страническій подсохъ,
Я душой помолодѣлъ;
Умъ мой, въ жизненныхъ вопросахъ
Потемнѣвшій, просвѣтлѣлъ.

Я иду, куда—не знаю...
Все равно, куда нибудь!
Что мнѣ въ томъ, къ какому краю
Приведетъ меня мой путь!

Я иду искать свободы,
Мира въ сельской тишинѣ,—
Горе жизни и невзгоды
Истерзали душу мнѣ.

Я желаю надышаться
Свѣжимъ воздухомъ полей,
Ихъ красой налюбоваться,
Отдохнуть душой моею.

Можетъ быть, судьбѣ послушный,
Кину я полей красу...
Но за то я въ городъ душный
Силь не мало принесу—

Силь, окрѣпнувшихъ на волѣ,
Не измученныхъ борьбой,—
Съ ними вновь на скорбь и горе
Выйду съ твердою душой!



ПО ДОРОГѢ.

Я въѣзжаю въ деревню весенней порой,—
И лѣса, и луга зеленѣютъ:
Всюду трудъ на поляхъ, рѣжутъ землю сохой,
Всюду взрытыя пашни чернѣютъ,—

И, надъ ними кружась, громко птицы звенять,
Въ блескѣ вешняго дня утопая...
И задумался я, тишиною объять:
Мнѣ припомнилась юность былая...

Я съ голубкой тоской вспоминаю мои
Позабутые, прошлые годы...
Много искреннихъ чувствъ, много теплой любви
Я для жизни имѣлъ отъ природы;

Но я все растерялъ, очерствѣлъ я душой...
Гдѣ мое дорогое бывшее?
Рѣдко свѣтлое чувство, какъ лучъ золотой,
Озарить мое сердце больное.

Все убито во мнѣ суетой и нуждой,
Все закидано грязью столицы;
Въ книгѣ жизни моей нѣтъ теперь ни одной
Освѣжающей душу страницы...

И хотѣлось бы мнѣ отъ тревогъ отдохнуть
Въ тишинѣ деревенской природы;
На людей и на міръ посвѣтлѣе взглянуть,
Какъ глядѣлось мнѣ въ прошлые гѣды...

Но напрасно желанье мнѣ душу гнететь.
Точно кроюсь отъ быстрой погони,
По дорогѣ прямой все впередъ и впередъ
Мчатъ меня неустанные кони...

У МОГИЛЫ ДРУГА.

Носѣтилъ я могилу твою.
Мой товарищъ, мой другъ позабытый;
Поросла вся крапивою она,
Крестъ свалился, дождями подмытый.

И шумять надъ ней ивы, склонясь,
И поетъ надъ ней птичка уныло...
Съ невеселой я думою сталъ
Предъ твоею заросшей могилой.

Я припомнилъ бывшее твое, —
Дни печальные юности бѣдной.
Какъ сейчасъ предо мною стоишь
Ты, больной, исхудалый и блѣдный.

Сквозь цвѣты, что стоятъ на окнѣ,
Пробивается солнце лучами;
Ты усѣлся на стулѣ въ углу
И глядишь на меня со слезами.

Оба были въ то время съ тобой
Мы задавлены злою нуждою:
Безъ приюта ходилъ я кой-гдѣ,
Не имѣлъ ты гроша за душою.

Я бумагу, а ты—полотно,
Оба дружно мы, съ жаромъ, марали;
Проливали мы слезы на нихъ
И по цѣлымъ мы днямъ голодали.

Я былъ крѣпче тебя и сильнѣй,
Подъ тяжелой бѣдой я не гнулъся,
И съ суровой моею судьбой
Устоялъ я въ борьбѣ, не качнулся.

Ты жъ не выдержалъ этой борьбы,
Передъ злою судьбою смирился,
Обезсилѣлъ, и духомъ упалъ,
И подъ тяжестью горя сломился.

Спи же, спи, мой товарищъ, въ землѣ!
Тамъ тебя уже горе не тронетъ;
Тамъ покоенъ бѣднякъ: отъ тоски
И тяжелой нужды не застонетъ...



*
* *
*

Вставай, товарищ мой! Пора!
Пойдемъ! осенній день коротокъ...
Трудились много мы вчера,
Но скуденъ былъ нашъ заработокъ.

Полуголодные, легли
На землю рядомъ мы съ тобою...
Какую ночь мы провели
Въ борьбѣ съ мучительной тоскою!

Въ работѣ выбившись изъ силъ,
Не могъ отъ холода заснуть я,—
Суровый вѣтеръ шевелилъ
На тѣлѣ ветхіе лоскутья.

Но я къ лишеніямъ привыкъ;
Привыкъ ложиться я голодный.
Безъ слезъ и жалобы приникъ
Я головой къ землѣ холодной.

Я равнодушно смерти жду
И не страшитъ меня могила;
Безъ скорби въ вѣчность я пойду...
На что мнѣ жизнь? что въ ней мнѣ мило?

Лишь одного пугаюсь я,
Одной я занять горькой думой:
Уже ль и небо такъ угрюмо,
Такъ непривѣтно, какъ земля?..

~~~~~

\*  
\*   \*  
\*

Отъ деревьевъ тѣни  
На луга легли;  
Пронеслись надъ лѣсомъ  
Съ крикомъ журавли.

Вѣтеръ перелѣтный  
Ходитъ въ тростникѣ...  
Плачетъ колокольчикъ  
Гдѣ-то вдалекѣ...

Гдѣ ты въ это время,  
Другъ далекій мой?  
Спишь ли на ночлегѣ,  
Иль бредешь съ сумой?

Пожалѣй о другѣ  
Въ дальней сторонѣ.  
И въ тиши вечерней  
Вспомни обо мнѣ!

Я одинъ, и не съ кѣмъ  
Слова мнѣ сказать;  
Некому печаль мнѣ,  
Горе передать.

~~~~~



Помнишь: были годы,
Годы свѣтлой вѣры;
Вѣрили мы свято
И любви и ласкѣ,
Вѣрили мы даже
Бабушкиной сказкѣ.

Но пришли другіе —
Годы испытаній;
Въ насъ убила вѣру
Ложь людей и злоба,—
Ужъ любви и ласкѣ
Мы не вѣримъ оба,—

Такъ, что ради дружбы
Сказанное слово,
Стали мы съ тобою
Взвѣшивать и мѣрить,—
Сердце даже правдѣ
Отказалось вѣрить.

*
* *
*

Гдѣ вы, пѣсни свѣтлой доли,
Жаркихъ юношескихъ лѣтъ?—
Пѣсни счастья, пѣсни воли,
Вы исчезли, васъ ужъ нѣтъ!

Намъ легко жилося съ вами,
Отгоняли вы печаль,
И роскошными цвѣтами
Украшали жизни даль.

Не давило горя бремя
Свѣжихъ молодости силъ,
Золотое было время
Кто изъ насъ его забылъ?

Намъ оно лукаво льстило,
Забавляло, какъ дѣтей...
Не забыть намъ до могилы
Прежнихъ пѣсень, прежнихъ дней!

Пѣсни тѣ любовь слагала,
Юность слышалася въ нихъ ..
Но любовь давно увяла,
Голосъ юности затихъ.

Мы душею постарѣли,
Сердцемъ рано отцвѣли;
Чувства въ сердцахъ охладѣли;
Силы въ насъ изнемогли.

Миновало наше лѣто;
И поемъ ужъ рѣдко мы;
Нѣтъ ни радости, ни свѣта
Въ пѣсняхъ сумрачной зимы.



Какъ въ сумерки легко дышать на берегу!
Померкли краски дня, картины измѣнились;
Ряды большихъ стоговъ, стоящихъ на лугу,
Туманомъ голубымъ, какъ дымкою, покрылись.

На пристани давно замолкли шумъ и стукъ;
Все рѣже голоса доносятся до слуха:
Какъ будто стихло все,—но всюду слышенъ звукъ.
И тихій плескъ воды такъ сладко нѣжитъ ухо.

Вотъ черный жукъ гудить... вотъ свиснулъ коростель...
Вотъ, гдѣ-то вдалекѣ, плеснулось утокъ стадо...
Пора бы мнѣ домой—за ужинъ и въ постель:
Но этой тишинѣ душа моя такъ рада.

И я готовъ всю ночь сидѣть на берегу,—
И не ходить домой—и вовсе не ложиться,—
Чтобъ запахомъ травы на скошенномъ лугу
И этой тишиной цѣлебной насладиться.

На ширь глухихъ полей, подъ тѣнь лѣсовъ густыхъ
Душа моя рвалась,—измучена тревогой,—
И, можетъ быть, вдали отъ горькихъ слезъ людскихъ.
Я создалъ бы въ тиши здѣсь свѣтлыхъ пѣсенъ много:

Но жизнь моя прошла въ заботѣ городской—
И силъ моихъ запасъ изсякъ въ борьбѣ суровой...
И вотъ теперь сюда припелся я больной...
Природа-мать! врачуй, и дай мнѣ силы снова!

ПОКОЙ И ТРУДЪ.

Покой и тишь меня объемлютъ,
Я трудъ покинулъ и забылъ;
Мой умъ и сердце сладко дремлютъ,
Пріятень отдыхъ мнѣ и милъ.

И вотъ, въ молчаніи глубокомъ,
Мнѣ чьи-то слышатся слова,
И кто-то шепчетъ мнѣ съ упрекомъ:
„На жизнь утратилъ ты права.

„Ты бросилъ честную работу,
Покой и праздность возлюбилъ,
И создалъ самъ себѣ субботу,
И духомъ мирно опочилъ.

„Твой свѣтлый умъ безъ дѣлъ заржавѣлъ,
И сталь безплоденъ, недвижимъ....
Пойми же, какъ ты обезславилъ
Себя бездѣйствіемъ такимъ?

„Жизнь вкругъ тебя трудомъ кипѣла;
Куда ни падалъ праздный взоръ—
Искали всюду люди дѣла,
Твой ближній былъ тебѣ—укоръ.

„Съ терпѣньемъ, съ волею желѣзной
Тяжелый путь онъ пролагалъ;
А ты, какъ камень бесполезный,
На пашнѣ жизненной лежалъ.

„Уже ль не ныла нестерпимо
Твоя отъ тяжелой скорби грудь,
Нѣмымъ раскаяньемъ томима,
Что бросилъ ты свой честный путь?...“

И, точно острый ножъ, жестоко
Язвили тѣ слова меня,
И отъ дремы нѣмой, глубокой
Душа воспрянула моя.

И пошлость жизни я увидѣлъ,
Уразумѣлъ ее вполнѣ:
И свой покой возненавидѣлъ,
И опротивилъ отдыхъ мнѣ.

И къ мысли я воззвалъ: „Воскресни!
Возобнови остатокъ силъ!
Напомни мнѣ былыя пѣсни!
Я все растратилъ, все забылъ.

Хочу трудиться вновь; но если
Ужъ поздно,—жизнь во мнѣ убей!“—
И силы прежнія воскресли
Въ груди измученной моей.

Все то, чѣмъ въ жизни заразился,
Я отъ себя тогда отсѣкъ,—
И для работы вновь родился,
Убитый лѣнью, человѣкъ.

~~~~~

## СОНЪ И ПРОБУЖДЕНІЕ.

### I.

Я лѣсомъ шелъ, усталый, одинокій;  
Дремучій лѣсъ вершинами шумѣлъ;  
Внизу былъ мракъ таинственно-глубокій...  
И я невольно сердцемъ обробѣлъ.

Послѣдній лучъ румянаго заката  
Погасъ вверху, и лѣсъ одѣла тьма...  
Я изнемогъ... душа рвалась куда-то...  
Мнѣ тяжки были посохъ и сума.

Недолго шелъ я,—ноги подкосились,  
И я упалъ подъ дерево, какъ снопъ...  
Въ моей груди всѣ чувства притупились...  
А лѣсъ былъ тихъ, какъ необъятный гробъ.

Въ глухой тюрьмѣ уснуть мнѣ было бѣ слаще!  
Меня давила эта темнота...  
И слышалъ я, что кто-то шелъ изъ чащи  
Ко мнѣ легко, беззвучно, какъ мечта.

То было что-то грозно-роковое;  
То не былъ сонъ: я слышалъ на яву  
И лязгъ косы о дерево сухое,  
И трескъ вѣтвей, упавшихъ на траву.

И чыхъ-то пальцевъ громкое хрустѣнье...  
Грудь надорвалъ послѣдній страшный стонъ...  
Меня объяло полное забвенье,  
И я уснулъ... Не долгъ былъ мой сонъ.

## II.

Я услыхалъ вдали звучало гдѣ-то:  
„Вставай, вставай! день близится! пора!“  
Мой сонъ прервалъ блестящій лучъ разсвѣта,  
Лучъ золотой счастливаго утра.

И я дивился свѣта переливамъ...  
Тяжелый страхъ въ душѣ моей исчезъ...  
Какимъ румянцемъ дѣвственно-стыдливымъ  
Онъ былъ покрытъ. дремучій этотъ лѣсъ!

Какъ онъ шумѣлъ, омытый, стройный, чистый!  
Такимъ я лѣсъ не видѣлъ никогда.  
Вокругъ меня въ кустахъ, въ травѣ росистой  
Жизнь пробуждалась всюду для труда.



И въ воздухѣ, прохладою напоенномъ,  
Чаруя слухъ, лилися звуки струнъ,—  
И кто-то пѣлъ, носясь въ лѣсу зеленомъ,  
Такъ чудно пѣлъ, невидимый пѣвунъ!

Казалось мнѣ, то было вдохновенье...  
Вздыхалась грудь, кружилась голова,—  
Я весь горѣлъ, и въ томъ безсловномъ пѣньи  
Я находилъ и мысли, и слова.

И мнилось мнѣ, что сила жизни новой  
Съ разсвѣтомъ дня въ мою вливалась грудь.  
Я бодро всталъ, счастливый и здоровый,  
И радостно пошелъ въ далекій путь...





Гоняй, ямщикъ, скорѣе!  
Кони, мчитесь, мчитесь!  
Въ степь безлюдную, глухую  
Дальше уноситесь.

И меня въ кибиткѣ тряской  
Мчите, колыхайте—  
И, какъ малаго ребенка  
Въ люлькѣ, закачайте.

Я заснуть хочу, забыться,  
Отъ тревогъ на время—  
И стряхнуть съ души усталой  
Думъ тяжелыхъ бремя.

Жизнь не радостныя пѣсни  
Мнѣ такъ долго пѣла,—  
Что душа моя изныла,  
Сердце изболѣло...

Мчитесь, мчитесь же, вы, кони,  
Гривами взвивая!..  
Убаюкай, укачай, ты.  
Степь меня глухая!..



## НА ЧУЖБИНѢ.

И пѣнье птицъ, и зелень сада,—  
Покойна жизнь и хороша!..  
Кажись, чего еще мнѣ надо?  
Но все груститъ моя душа!

Груститъ о томъ, что я далеко  
Отъ милыхъ, искреннихъ друзей,  
Что дни мои здѣсь одиноко  
Идутъ безъ пѣсенъ и рѣчей.

Къ друзьямъ душа моя все рвется—  
И я хожу здѣсь, какъ шальной,  
Безъ нихъ и пѣсня не поется—  
И жизнь мнѣ кажется тюрьмой.

Мнѣ не съ кѣмъ здѣсь промолвить слова,  
И думы сердца передать,—  
И разорваться грудь готова...  
О, какъ мнѣ хочется рыдать!

Пускай друзья мои услышатъ  
Среди дневныхъ своихъ заботъ,  
Что ими грудь моя лишь дышетъ,  
И сердце ими лишь живетъ...

~~~~~

П Р О С Т И !

Я уѣзжаю, другъ, прости!
Съ тобой намъ вновь не увидаться...
Не сожалѣй и не грусти,
Что намъ приходится разстаться.

Лѣта неравныя у насъ—
И намъ нейти одной дорогой...
Зачѣмъ же мучить намъ подчасъ
Себя душевно тревогой?

Ты смотришь, другъ, на жизнь свѣтло,—
И все весна передъ тобою...
А мнѣ и лѣтомъ не тепло,
И сердце стынетъ, что зимою.

Случайно мы съ тобой сошлись
Въ степи глухой въ минуты скуки...
Зачѣмъ же мы отравимъ жизнь
Другъ другу ядомъ жгучей муки?

Прости же, другъ мой, навсегда!
И наша встрѣча будетъ тайной...
И если въ жизни иногда
Тебѣ припомнюсь я случайно,—

Не сожалѣй и не грусти,
Что разошлись мы съ тобою,—
Тебѣ на жизненномъ пути
Не могъ я счастья дать собою.

Ты разцвѣла едва душой—
И не жила, и не страдала,—
Меня жъ житейскою борьбой
Давнымъ давно уже сломало.



Истрадался душой и измучился я...
Няня, няня! гдѣ ты, золотая моя?!
Появись, покажись на-яву иль во снѣ;
Спой мнѣ прежнюю пѣснь, что пѣвала ты мнѣ,—

Унеси ты меня отъ рыданій и слезъ
Въ чудный сказочный міръ свѣтлыхъ, радужныхъ грезъ,—
Чтобы сердцемъ моимъ позабыться я могъ
Отъ тяжелой борьбы и житейскихъ тревогъ.



Н А О Д Р Ъ.

(Посвящается И. И. Барышеву).

Смолкли зимнія мятели,
Вьюги миновали,—
Свѣтитъ сольнышко отрадно,
Дни весны настали.

Поле зеленью одѣлось,—
Соловы запѣли;
А меня недугъ тяжелый
Приковалъ къ постели.

Хорошо весной живется,
Дышется вольнѣе:
Да не мнѣ, меня злой кашель
Душитъ все сильнѣе.

И не радостная дума
Душу мнѣ тревожить:
„Скоро ты заснешь навѣки,—
Въ гробъ тебя уложить,

И въ холодную могилу
Глубоко заркоуть,—
И отъ думъ, и отъ заботы
Навсегда укроють.“

Пусть и такъ! разстаться съ жизнью
Мнѣ не жаль, ей-Богу!
И безъ скорби я отправлюсь
Въ дальнюю дорогу...

Въ жизни радости такъ мало,
Горя же довольно.
И не съ жизнью мнѣ разстаться
Тяжело и больно.

Тяжело мнѣ кинуть дѣло,
Избранное мною,—
Что, не конча трудъ начатый,
Я глаза закрою.

Жаль мнѣ то, что въ жизни этой
Сдѣлалъ я немного,
И моею горькой пѣсней
Даръ принесъ убогой.

Ты прости же, моя пѣсня!—
Пѣть нѣтъ больше мочи...
Засыпай больное сердце!
Закрывайтесь очи!...





Что грустно мнѣ? О чемъ я такъ жалѣю?—
Во мнѣ ужъ нѣтъ ни силы, ни огня...
Слабѣтъ взоръ... Я стыну, холодѣю...
И жизнь, и свѣтъ отходятъ отъ меня.

Меня зоветъ какой-то голосъ свыше.
Мнѣ кажется, что я ужъ не живу:
И шумъ людской становится все тише,
И смерти вздохъ я слышу на-яву.

Какъ листъ въ ручьѣ, теченьемъ струй гонимый,
Поблекшій листъ, оторванный съ куста,—
Куда-то вдаль я мчусь неудержимо,
Не слышно мчусь, какъ духъ или мечта.

Душа назадъ, какъ птица, рвется жадно;
Но мчитъ впередъ потокъ ее нѣмой...
А солнце свѣтитъ ярко и отрадно,
Душистый клѣнь шумить надъ головой.

И дѣроги душѣ моеи скорбящей
Лѣса, луга, сіяющая высь,—
И я взываю къ жизни уходящей:
„Не покидай! Постой! Остановись!“

„Мнѣ дорогъ свѣтъ!“ Твержу въ бреду я, страстно:
„Не уходи!“ Желаньемъ грудь полна!
Я трепещу, я плачу,—но напрасно!
Вотъ-вотъ уйдетъ послѣдняя волна...

Что жъ будетъ тамъ, въ невѣдомомъ мнѣ мірѣ
За этой страшной, тайною чертой?
Польется ль жизнь спокойнѣе и шире
Въ пространствѣ свѣтломъ вѣчности нѣмой?

Иль будетъ тьма мертвящая, и эта
Нѣмая тишь, и бездна пустоты?...
Ни чувствъ, ни словъ, ни времени, ни свѣта,
Ни мимолетной радостной мечты...

Нестися вдаль, не чувствуя движенія,
Жить и не жить, томиться въ полуснѣ,
Не видя сновъ, не зная пробужденія...
Ничтожнымъ быть!—О, страшно, страшно мнѣ!





И. И. Б—ву.

Когда разстанусь я съ землею,
Сложивъ на грѣди руки,
И въ домовинѣ гробовой
Засну, покинувъ муки,—

И пѣсня скорбная моя
Замретъ на вѣки—вѣчно,
Тогда ты вспомни, другъ, что я
Любилъ тебя сердечно.

И предъ тобою въ этотъ мигъ
Воскреснетъ другъ любящій,
И ты припомнишь вновь мой стихъ
Болѣзненный, скорбящій,—

И скажешь ты: „его ужъ нѣтъ,—
Онъ спитъ, скорбей не зная;
Но пѣсня та, что спѣлъ поэтъ,
Звучить еще, рыдая.“



М. Н. С—вой.

Я въ тѣсной могилѣ лежу одиноко,
Объятый мучительно-тягостнымъ сномъ,
Засыпанъ землею, безъ словъ и движенья,
Безсильныя руки сложивши крестомъ.

И давить меня сонъ тяжелый, глубокій,
И насыпь могильная грудь мнѣ гнетъ,
И слышится смутно мнѣ чье-то рыданье,
И кто-то меня изъ могилы зоветъ.

И чья-то слеза, прорывая могилу,
Мнѣ грудь прожигаетъ сильнѣе огня...
О, знаю, кто эти слезы роняетъ,
Кто кличитъ изъ темной могилы меня.

Голубка моя, это ты тамъ рыдаешь!
Горячія слезы роняешь ко мнѣ:
Одна только ты мои пѣсни любила,
Какъ не были грустны и скорбны онѣ.

Одной я тебѣ только въ жизни былъ дорогъ,
Одна только ты озаряла мой путь,
Когда же я падалъ на трудной дорогѣ,
Ты вѣрой своей согрѣвала мнѣ грудь.

Теперь ты желаешь поднять меня снова
Для пѣсенъ былыхъ, но заглохъ ихъ родникъ:
Лежу я придавленъ холодной землею,
Мой умъ безъ движенья и нѣмъ мой языкъ.

Не кличь, не зови ты меня изъ могилы,
Не трать понапрасну слезъ горькихъ своихъ:
Не вѣрю я въ счастье, растратилъ я силы,—
И мнѣ не воскреснуть для пѣсенъ былыхъ.



II



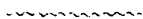
Занялася зря—
Скоро солнце взойдетъ.
Слышишь... чу!... соловей
Щелкнулъ гдѣ-то, поетъ.

И все ярче, свѣтлѣй
Переливы зари;
Словно паръ надъ рѣкой
Поднялся, посмотри.

Отъ цвѣтовъ, на поляхъ,
Льется запахъ кругомъ,
И сіяетъ роса
На травѣ серебромъ.

Надъ рѣкой, наклонясь,
Что-то шепчетъ камышъ;
А кругомъ, на поляхъ,
Непробудная тишь.

Какъ отрадно, легко,
Широко дышитъ грудь!
Ну, молись же скорѣй!
Ну, молись, да и въ путь!

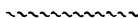




Встало утро, сыплеть на цвѣты росую,
Тростникомъ озёрнымъ тихо колыхая;
Слышитъ ухо, будто кто-то надъ водою
Въ тростникѣ озёрномъ ходитъ, распѣвая.

Никого не видно.... надъ водой лишь гнутся
Водяной кувшинки маковки, бѣлѣя;
А вверху надъ ними, поднимаясь, вьются
Мотыльки, на солнцѣ ярко голубѣя.

Приглядишься зорко—и за тростниками,
На водѣ, подъ легкимъ утреннимъ туманомъ,
Кто-то будто смотритъ свѣтлыми очами,
Колыхаясь тихо тонкимъ, гибкимъ станомъ.





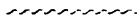
Засвѣтилась вдали, загорѣлась заря,
Ярко пышетъ она, разливается,
Въ полѣ грустная пѣсня звенить косаря;
Надъ заливомъ тростникъ колыхается.

Отъ деревъ и кустовъ полемъ тѣни ползутъ,
Полемъ тѣни ползутъ и сливаются;
Въ темномъ небѣ, вверху, поглядишь—тамъ и тутъ
Звѣзды яркія въ мглѣ загораются.





Громъ отгремѣлъ, прошла гроза,
И въ выси свѣтло-голубой
Прозрачнѣй смотрять небеса,
И на смочённой мостовой
Все громче грохотъ колеса.
Открыты окна по домамъ;
Весенній воздухъ свѣжъ и чистъ;
Куда не взглянешь, тутъ и тамъ
Блестить дождемъ омытый листь.





Солнце утомилось,
Ходя день—деньской;
Тихо догорая,
Гаснетъ за рѣкой.

Край далекій неба
Весь зарей облить,
Заревомъ пожара
Блещетъ и горить.

Ходятъ огневая
Полосы въ рѣкѣ;
Грустно гдѣ-то пѣсня
Льется вдалекѣ.

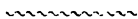




Въ заревѣ огнистомъ
Облаковъ гряда,
И на небѣ чистомъ
Вечера звѣзда.

Наклоняся, ивы
Дремлютъ надъ рѣкой,
И рѣки извивы
Въ краскѣ голубой.

Звукъ свирѣли стройно
Льется и дрожить;
На душѣ покойно,—
Сердце будто спить.

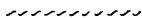




День вечерѣтъ, облака
Лѣниво тянутся грядою,—
И ночи тьма издалека
Идетъ неслышною стопою.

Идетъ и стелеть по полямъ
Ночныя тѣни осторожно,—
И слышитъ ухо тутъ и тамъ,
Какъ тонетъ въ тьмѣ звукъ дня тревожный.

Пора на отдыхъ, на покой,—
Заботы въ сторону дневныя;
Ужъ надъ усталой головой
Летаютъ образы ночные.

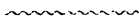




Въ воздухѣ смолкаетъ
Шумъ дневныхъ тревогъ;
Тишь съ небесъ на землю
Посылаетъ Богъ.

Тихо... Отчего же
Въ сердцѣ у меня
Не стихаетъ горе
Прожитаго дня?

Отчего жъ такъ больно
Скорбь сжимаетъ грудь?...
Боже мой! Отъ горя
Дай мнѣ отдохнуть!





Заря занимается, солнце садится,
Сіяють деревья въ огнѣ золотомъ;
Тѣнь отъ лѣсу движется, шире ложится,
Ложится на землю узорнымъ ковромъ.
Домой косари потянулись съ косами.
Ихъ грустныя пѣсни звенятъ средь полей,—
И въ воздухѣ пахнетъ травой и цвѣтами,
Спускается вечеръ съ прохладой своей.

УТРО ВЪ ДЕРЕВНѢ.

Ярко загорѣлась
Въ небѣ голубомъ
Утренняя зорька
Надъ большимъ селомъ.

Засверкало поле
Свѣтлою росой,
Точно изумрудомъ,
Точно бирюзой...

Но кругомъ все тихо:
Спитъ все крѣпкимъ сномъ;
Мельница на горкѣ
Не дрогнетъ крыломъ;

Надъ крутымъ оврагомъ
Лѣсъ не прошумитъ;
Рожь не колыхнется,
Вольный вѣтеръ спитъ...

Тишь... но, чу! въ селеньи
Прокричалъ пѣтухъ...
На свирѣли звонкой
Заигралъ пастухъ...

И выходитъ солнце
Ярко и свѣтло,—
И зашевелилось
Людное село.

Раздается говоръ,
Скрипъ и стукъ воротъ...
Шумный день съ тревогой
Вѣчной настаеть...

Чудною прохладой
Вѣетъ отъ рѣки...
Въ поле на работу
Ѣдутъ мужики...

~~~~~

Ярко солнце свѣтитъ,  
Въ воздухѣ тепло,  
И куда не взглянешь  
Все кругомъ свѣтло.

По лугу пестрѣютъ  
Яркіе цвѣты;  
Золотомъ облиты  
Темные листы.

Дремлетъ лѣсъ; нѣтъ звука;  
Листъ не шелеститъ,—  
Только жаворонокъ  
Въ воздухѣ звенитъ,

Да взмахнетъ порою  
Птичка надъ кустомъ,  
Да жужжа повѣется  
Пчелка надъ цвѣткомъ,

Да золотокрылый  
Жукъ лишь прошумитъ,—  
И опять все тихо,  
Все кругомъ молчитъ.

Хорошо!.. и если бъ  
Трудъ не призывалъ,—  
Долго бы весною  
Въ полѣ простоялъ.





Весной всего милѣй мнѣ жаворонокъ звонкій,  
И пѣніе его отрадно слышать мнѣ.  
Въ поляхъ еще лежитъ снѣгъ пеленою тонкой.  
А онъ уже поетъ пѣснь громкую веснѣ.

Доволенъ долею онъ скромнаго поэта;  
Кружася въ вышинѣ, онъ счастливъ безъ конца.  
Творить онъ пѣснь свою средь воздуха и свѣта;  
Но людямъ не видать весенняго пѣвца.

Его не уловить внимательному взгляду,—  
Доступенъ онъ вверху лишь солнечнымъ лучамъ;  
Въ блаженствѣ творчества находитъ онъ награду  
За пѣсни, за любовь къ веснѣ и къ небесамъ.

Надъ полемъ, въ воздухѣ, для глазъ недоступимый  
Онъ рѣшетъ, потонувъ въ роскошномъ блескѣ дня,—  
И льется пѣснь его, и носится незримо,  
Отъ утренней зари до вечера звеня.

И прямо, и легко, какъ чистое паренье  
Молитвы искренней, возносится она...  
Вотъ отчего люблю я жаворонка пѣнье:  
Я чувствую, что имъ душа просвѣтлена.



## Г Р Е З Ы.

---

Ярко небо пышетъ  
Золотой зарею;  
Чистый воздухъ дышетъ  
Теплою весною.

Садъ густой сіяетъ  
Свѣжестью наряда,  
И въ окно несется  
Пѣсня птицъ изъ сада.

Пышно развернулись  
За окошкомъ розы;  
Въ сердцахъ всколыхнулись  
Молодые грёзы,—

И растутъ, какъ волны  
Рвутся, воли просятъ,—  
Сердце молодое  
Далеко уносятъ...

И въ умѣ рисуютъ  
Свѣтлыя картины:  
Вотъ у рѣчки домикъ,  
У окна рябины...

Вьется межъ кустами  
Въ темный садъ дорожка;  
Дѣвушка-рѣзвушка  
Смотрить изъ окошка,—

Смотрить и смѣется,  
Головой киваетъ...  
Въ садъ взойдешь,—рѣзвушка  
Встрѣтитъ, обнимаетъ.

На губахъ улыбка,  
На рѣсницахъ слёзы:  
Молодаго сердца  
Молодые грёзы.

~~~~~

ВЕСНОЙ.

Утро... Солнце ярко блещетъ;
Въ каждой травкѣ жизнь трепещетъ;
Въ небѣ тучки тихо бродятъ;
Къ рѣчкѣ дѣвушка подходитъ.

Съ берега спустилась,
Къ плоту подошла...
Вдругъ остановилась,
Точно замерла.

Сверху звонко льются звуки...
На груди скрестивши руки,
Пѣсню слушаетъ красotka;
Глазки смотрятъ нѣжно, кротко...

Въ глазкахъ отраженье
Солнечныхъ лучей...
Жаворонка пѣнье
Любо слушать ей...

Громче, громче звуки льются...
Въ сердцѣ чистомъ раздаются
Тѣ же звуки, тѣ же трели...
Ярко щечки заалѣли...

Кровь заговорила
Въ молодой груди;
Губки шепчутъ: „Милый!
Милый мой, приди!..“

В Ъ П О Л Ъ.

Молдень. Тихо въ полѣ.
Вѣтерокъ не вѣетъ,
Точно сонъ-дремоту
Нарушать не смѣетъ.

Лишь въ травѣ кузнечикъ,
Спрятавшись, стрекочетъ,—
Слышишь, точно кто-то
Въ полѣ косу точить.

И томить дремота,
Душу обнимая...
Легъ въ траву я. Грезить
Дума, засыпая...

Вотъ я вижу поле
Дальное, родное,—
И надъ нимъ безъ тучекъ
Небо голубое.

Жарко; воздухъ душень;
Солнце припекаетъ...
Дѣвушка-батрачка
Сѣно подгребаетъ.

Подъ лучами солнца
Жарится бѣдняжка;
Липнетъ къ ея тѣлу
Бѣлая рубашка.

На груди батрачки
Воротъ распустился,
И платочекъ красный
Съ головы свалился...

Тяжело, неровно
Грудь, волнуясь, дышетъ;
На щекахъ горячій
Жаръ-румянецъ пышетъ;

Распустились кѣсы,
Падаютъ на плечи,—
И звучать тоскливо
Дѣвушкины рѣчи:

„Ты вотъ отъ жары-то
Спрятался, поди-ка;
Я же здѣсь на солнцѣ
Жарюсь, горемыка“...

Я ей отвѣчаю:
—Бросила бѣ работу,—
Подъ такой жарою
Дѣло не въ охоту!

„Бросила бѣ работу!
Да вѣдь какъ же бросить?
А придетъ хозяинъ,
Да работу спросить?“

„Я не дочь родная,—
Дѣвка нанятая;
Нанялась, такъ дѣлай,
Устали не зная.

„Дѣлай, хоть убейся,
Не дадутъ потачки...
Тяжела ты, доля,—
Долюшка батрачки!“

Сонъ одолѣваетъ,
Дума засыпаетъ...
Снится ей, что вечеръ
Тихій наступаетъ.

Неба край сіяетъ
Золотой зарею;
Воздухъ свѣжъ, и пахнетъ
Скдшенной травой.

Дѣвушка-батрачка,
Прислонясь у тына,
Смотритъ въ перелѣсокъ,—
На лицѣ кручина...

Вотъ изъ перелѣска
Пѣсня раздается,—
Въ воздухъ росистомъ
И звенить, и льется...

И изъ перелѣска,
Узкою тропюю,
Вышелъ въ поле парень
На плечѣ съ косою.

Подошелъ онъ къ тыну,
Дѣвушку ласкаетъ,—
Дѣвушка, цѣлуя,
Парня обнимаетъ...

Говоритъ: „Желанный!
Долго ли намъ биться:
Отъ людей украдкой
Видѣться, сходиться?

Нѣтъ намъ свѣтлой доли,—
Нѣтъ намъ, видно, счастья!..
У людей жизнь—вѣдро;
А у насъ—нечастье...

У людей свой уголъ,
У людей есть поле,—
А у насъ съ тобою
Ни угла, ни воли...“

—Потерпи, голубка!
Не тужи о долѣ:
Будеть у насъ уголъ,
Будеть у насъ поле...

Потерши, голубка!
Разживусь казною—
И въ селѣ избу я
Свѣтлую построю.

Надъ избой прилажу
Я коньки рѣзные;
Сдѣлаю у оконъ
Ставни расписные.

Обсажу ветлами
У избы крылечко...
На крылечко выйдешь
Ты, мое сердечко!..

И меня изъ поля
Будешь дожидаться,—
Будутъ на насъ люди,
Глядя, дивоваться!..

И подъ эти рѣчи
Позабыто горе,—
И батрачка вѣрить,
Вѣрить свѣтлой долѣ.

Хорошо ей, любо...
Смотрить парню въ очи...
Въ полѣ же ложится
Тихій сумракъ ночи.

~~~~~

## Н О Ч Ь Ю.

---

Осенью дождливой  
Ночь глядитъ въ окошко;  
Въ щели вѣтеръ дуетъ...  
—Что дрожишь ты, крошка?

Что ты шепчешь тихо,  
И глядишь мнѣ въ очи?  
Призраки ли видишь  
Ты во мракѣ ночи?...

„Сядь со мною рядомъ,  
Я къ тебѣ прижмуся,—  
Жутко мнѣ и страшно;  
Я одна боюсь...

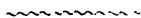
„Слышишь,— чу!... тамъ кто-то  
Плачетъ и рыдаетъ“...  
—Это за окошкомъ  
Вѣтеръ завываетъ.

„Чу! стучать въ окошко...  
Это дѹхи злые“...  
—Нѣтъ, то бьютъ по стѣкламъ  
Капли дождевыя.

И ко мнѣ, малютка,  
Крѣко ты прижалась,  
И веселымъ смѣхомъ  
Звонко засмѣялась.

Понимаю, крошка:  
Призраки—пустое!  
Дрожь во мракѣ ночи,  
Твой испугъ—другое.

Это—грудь сжигаетъ  
Жаръ горячей крови;  
Это—сердце просить  
И любви, и воли...





Ночь тиха садъ объятъ полутьмою,  
Дремлютъ липы надъ соннымъ прудомъ;  
Воздухъ дышетъ цвѣтущей весною;  
Мы сидимъ предъ открытымъ окномъ.

Свѣтятъ яркія звѣзды надъ нами;  
Кротко мѣсяцъ глядитъ съ высоты,—  
И, его голубыми лучами  
Облитая, задумалась ты.

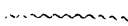
Очарованъ твоей красотою,  
Я люблюсь тобою безъ словъ...  
Въ нашу комнату тихой струею  
Льется запахъ душистыхъ цвѣтовъ.

И прошу въ этотъ часъ я немного:  
Чтобы дни твои тихо текли,  
Чтобы жизни печаль и тревога  
Въ твое сердце пути не нашли.






Ты, какъ утро весны,  
Хороша и свѣтла,  
Какъ цвѣтокъ, ты нѣжна,  
Какъ дитя, весела;  
Но боюся тебя  
Я, мой другъ, полюбить,  
Чтобы скорби моей  
Мнѣ къ тебѣ не привить,  
Чтобы горемъ моимъ  
Мнѣ тебя не убить.





## М О Р О З Ъ.

---

молитъ съ неба мѣсяць блѣдный,  
Точно серпъ стальной;  
По селу морозъ трескучій  
Ходитъ самъ—большой.

По заборамъ, по деревьямъ  
Вѣшаетъ нарядъ:  
Гдѣ идетъ, въ снѣгу алмазы  
По слѣду горятъ.

Шапка на-бокъ, на распашку  
Шуба на плечахъ;  
Серебромъ сіяетъ иней  
На его кудряхъ.

Онъ идетъ; а самъ очами  
Зоркими глядитъ:  
Видитъ онъ,—вотъ, у калитки  
Дѣвица стоитъ...

Поглядѣлъ, тряхнулъ кудрями,—  
Звонко засвисталъ—  
И предъ дѣвицей любимымъ  
Молодцомъ предсталъ.

„Здравствуй, сердце!.. здравствуй, радость!“  
Онъ ей говорить;  
Самъ же жгучими очами  
Въ очи ей глядитъ.

—Здравствуй, Ваня! Что ты долго?  
Я устала ждать.  
На дворѣ такая стужа,  
Что не въ мочь дышать...

И морозъ рукой могучей  
Шею ей обвилъ,  
И въ груди ея горячей  
Духъ онъ захватилъ.

И въ уста ее цѣлуетъ—  
Жарко, горячо;  
Положилъ ея головку  
На свое плечо.

И очей не сводить зоркихъ  
Онъ съ ея очей;  
Рѣчи сладкія такія  
Тихо шепчетъ ей:

„Я люблю тебя, дѣвицу,  
Горячо люблю,  
Ужъ тебя ли лебедицу  
Бѣлюю мою!“

И все жарче онъ цѣлуетъ,  
Жарче, горячѣй;  
Сыплетъ иней серебристый  
На нее съ кудрей.

Съ плечъ дѣвичьихъ душегрѣйка  
Сѣхала долой;  
На косѣ нависъ уборомъ  
Иней пуховой.

На щекахъ горитъ румянецъ,  
Очи не глядятъ,  
Руки бѣлыя повисли,  
Ноги не стоятъ.

И красotka стынетъ—стынетъ...  
Сонъ ее клонитъ...  
Блѣдный мѣсяцъ равнодушно  
Ей въ лицо глядитъ.



## Ч А С О В О Й.

---

Полночь. Злая стужа  
На дворѣ трещить.  
Мѣсяцъ облаками  
Сѣрыми закрытьъ.

У большого зданья,  
Въ улицѣ глухой,  
Мѣрными шагами  
Ходить часовой.

Подъ его ногами  
Жесткій снѣгъ хруститъ,  
А кругомъ глухая  
Улица молчить;

Но шагаетъ ровно  
Бравый часовой,—  
И ружье онъ крѣпко  
Жметъ къ плечу рукой.

Вспомнился солдату  
Край его родной;  
Вспомнилась избушка  
Съ бѣлою трубой;

Вспомнилась голубка  
Милая жена:  
Чай, теперь на печкѣ  
Спить давно она.

Можетъ быть, ей снится,  
Какъ морозъ трещить,  
Какъ солдатъ озябшій  
На часахъ стоитъ.

~~~~~

КОСАРИ.

Утро. Блещетъ роса, и сквозь лѣсъ отъ зари
Яркій свѣтъ на поля разливается.
За рѣкой, на лугу, по росѣ косари
Идутъ, косятъ траву, наклоняются.

—Эй, ты, что жъ отстаешь, соловей записной,
Точно двигаешь бабу тяжелую?
Размахнись посмѣлѣй, да пошире косой,—
И ударь-ка, другъ, пѣсню веселую!..

И плечистый косарь вдругъ кудрями трянуль,
Поднялася его грудь высокая,—
Онъ кудрями трянуль, и легко затянуль:
„Ахъ ты, степь ли моя, степь широкая!

„Поросла—убралась ты травой ковылемъ,
Да песками ты, степь, позасыпалась;
На тебѣ ль отъ бѣды, на просторѣ степномъ,
Не одна голова вихремъ мыкалась.

„И горѣла трава, дымъ до неба стоялъ,—
Выростали могилы безкрестныя;
По нимъ вихорь ходилъ, громъ надъ ними стучалъ,
Да кружились орлы поднебесные!...“

Подхватила артель, дружно пѣсня звенить
И по чистому полю разносится;
Упадая, трава подъ косами шумить,—
Какъ-то легче она съ пѣсней косится.

Ворота у рубахъ всѣ разстегнуты,—грудь
Дышетъ легче, свободнѣе, голая;
Дружно косы блестятъ, дружно ноги идутъ,
И спорится работа тяжелая.

II

Полдень. Солнышко въ небѣ высоко стоитъ;
Отъ жары нѣтъ терпѣнья и моченьки:
Плечи, голову, руки жгетъ и палитъ,
И невольно слипаются оченьки.

Всѣхъ стомила жара, всѣхъ замаяла лѣнь;
И, подъ гнетомъ тяжелой дремотушки,
Людь рабочій отъ солнышка прячется въ тѣнь,
Отдохнуть отъ жары, отъ работушки.

Лошадь щиплетъ траву и лѣниво жуетъ,
Тупо смотрятъ глаза полусжатые;
Точно плетью, хвостомъ мухъ стегнетъ да стегнетъ.—
Не дають ей покоя, проклятыя.

Спать въ тѣни косари, лишь лохматый барбось,
Весь объятый какою-то нѣгою,
Глазъ прищуря, глядитъ на пушистый свой хвостъ...
Вотъ, и онъ задремалъ подъ телегою.

Только мухи жужжать, да въ травѣ трескотня:
Кто-то свищетъ тамъ въ ней, надрывается;
Чуть замѣтно трава вѣтеркомъ полудня
Кое-гдѣ подъ кустомъ наклоняется.

Точно въ рамѣ рѣка тростникомъ поросла,
Спитъ, дремотой полдня очарована;
Изъ травы пустельга лишь взмахнетъ, какъ стрѣла,
И повиснетъверху, какъ прикована.

Солнце зѣ-лѣсь зашло, потянулъ холодокъ,
Всколыхнулъ на рѣкѣ влагой чистою,
И въ лице косарей вдругъ пахнулъ вѣтерокъ
Изъ-за лѣса прохладой душистою.

Потянулся одинъ, потянулся другой,—
Вотъ и всѣ—и рукой загорѣлою
Протирають глаза, и рѣчною водою
Освѣжаютъ лице запотѣлое.

Взяли косы, брускомъ наточили, идутъ...
Берегися, трава, ты, зеленая!
Охъ, недолго тебѣ красоваться ужъ тутъ,—
Упадешь ты, косой подкошенная!

И съ родимыхъ полей тебя люди сгребутъ,
Изушеную травушку блѣдную,
Какъ невѣсту, въ чужую семью увезутъ
На житѣ горемычное, бѣдную!

СЛЕЗА КОСАРЯ.

Полюбилъ парень душу-дѣвицу,
Полюбилъ горячо, горячо...
Но дѣвица надъ нимъ посмѣялась...
Положилъ онъ косу на плечо...

Вышелъ парень въ поле,—
Говорить: „прости!
Грудь—не надрывайся,
Сердце не грусти!

„Я пойду, удалецъ, на Украину,
Бодро травушку стану косить;
За работой, быть можетъ, красотку
Мнѣ удастся забыть, разлюбить.

„Я къ себѣ на помощь
Бога призову!..“
И слеза бѣдняги
Канула въ траву.

Помолившись Богу усердно,
Онъ въ дорогу пошелъ, одинокъ...
И, гдѣ пала слеза удалого,—
Зародился душистый цвѣтокъ.

Солнца лучъ горячій
Ту слезу согрѣлъ,—
И цвѣтокъ душистый
Въ полѣ заалѣлъ.

Поднялся надъ травой онъ зеленой..
Любовались птички однѣ
Лучезарной его красотою
И звенѣли надъ нимъ въ вышинѣ.

Передъ нимъ кружились
Мошки, и пчела
Въ утреннія рѣсы
Сокъ его пила.

И тогда лишь узнала дѣвица,
Какъ любила она удалца;
Въ ней мучительно сердце забилося,
И сбѣжала вся скраска съ лица.

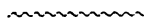
И хотѣлось бѣдной
Милаго вернуть;
Горемъ надрывалась
Молодая грудь.

Выходила красавица въ поле,
И на травушку, плача, легла,
И слезами горячими нѣжный,
Лучезарный цвѣтокъ облила...

Плакала, рыдала,
И звала съ тоской:
„Воротись, желанный,
Милый, дорогой!..“

И, облитый слезами дѣвѣицы
Поблѣднѣлъ и завянулъ цвѣтокъ:
Лепестки опустились безсильно,
И согнулся его стебелекъ.

По пусту дѣвѣица
Милаго звала...
Надъ цвѣткомъ жужжала
Жалобно пчела...



КОСАРЬ.

Утро. Тихо. Въ небѣ зоринька
Ярко пышетъ, разгорается.
Поле спитъ росой покрытое,—
Подъ росой трава склоняется.

На зарѣ косарь траву косить
Косой острою широкою;
Онъ косить, закрыть до пояса
Травой сочною, высокою,—

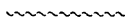
И поетъ про степь родимую,
Волгу-рѣченьку глубокую,
Да про дѣвицу любимую,
Молодую черноокую.

Какъ съ сироткой повстрѣчался онъ,—
Ихъ любовь сойтись заставила;
Какъ нужда, злодѣйка лютая,
Молодой ихъ вѣкъ замаяла.

Раскидала другъ отъ друга ихъ
Жить въ чужихъ людяхъ въ неволюшкѣ,
Подъ чужой избою стариться,
Не выдавши свѣтлой долюшки.

Точно рѣчка въ пору вешнюю,
Полемъ пѣсня разливается.
На зарѣ, объять дремотою
Лѣсъ отъ пѣсни просыпается.

Красна дѣвица, въ рѣкѣ воды
Зачерпнувъ, остановилась;
Косаря она заслушалась,
Изъ очей слеза скатилась.



Ц В Ъ Т Ы.

I.

Въ глуши.

Внутри тюремнаго двора,
Передъ стѣной сырой и мшистой,
Согрѣтый солнечнымъ лучемъ,
Разцвѣлъ весной цвѣтокъ душистый.

Былъ пустъ и тихъ широкій дворъ,
И мрачны каменные стѣны;
За ними хмурый часовой
Шагалъ и ждалъ, скучая, смѣны.

Порой въ рѣшетчатомъ окнѣ
Тѣнь заключеннаго мелькала:
Худое, блѣдное лице
Къ оконнымъ стекламъ припадало.

И взоръ потухшихъ, впалыхъ глазъ,
Какъ отблескъ муки безнадежной,
Безцѣльно падалъ на цвѣтокъ
Благоухающій и нѣжный;

Но разглядѣть его красу
Изъ-за рѣшетки было трудно,
А потускнѣвшее стекло
Не пропускало запахъ чудный.

Воздушный жаворонокъ, вверхъ
Взлетѣвъ и рѣя въ яркомъ свѣтѣ,
Порой невольно умолкалъ,
Цвѣтокъ лазоревый замѣтя.

Дрожалъ отъ радости цвѣтокъ,
Шепча:—„слети ко мнѣ! слети же!“—
И внизъ слеталъ тогда пѣвецъ,
Чтобы узнать его поближе.

Но звонъ цѣпей, и стукъ ружья,
И стонъ колодника больнова
Пугали робкаго пѣвца,—
И уносился въ высь онъ снова.

И скоро былъ имъ позабытъ
Цвѣтокъ, томящійся въ неволѣ,
И пѣлъ онъ пѣснь другимъ цвѣтамъ,
Растущимъ вольно въ чистомъ полѣ.

Дыханьемъ вѣтра на зарѣ
Цвѣтокъ забытый не ласкало,—
И даже самая земля
Ему давала соковъ мало.

Цвѣтокъ блѣднѣлъ—и въ знойный день,
Печальный, грустный, нелюбимый,
Въ глуши тюремнаго двора
Завялъ онъ, жаждою томимый.

II.

На своводъ.

Зеленый лугъ, какъ чудный садъ,
Пахучъ и свѣжъ въ часы разсвѣта.
Красивыхъ, радужныхъ цвѣтовъ
На немъ разбросаны букеты.

Росинки свѣтлыя на нихъ
Сверкають ярко, точно блѣстки.
Цѣлуютъ пчелы ихъ и пьютъ
Благоухающія слѣзки.

На томъ лугу одинъ цвѣтокъ
Былъ всѣхъ душистѣй и прелестнѣй;
Летали ласточки надъ нимъ
И вился жаворонокъ съ пѣсней.

Имъ любовался мотылекъ,
Его красою очарованъ,
И соловей, царь всѣхъ пѣвцовъ,
Любовью былъ къ нему прикованъ.

И тихо радовался онъ,
Что любъ онъ всѣмъ живымъ созданьямъ
Прекраснымъ запахомъ своимъ
И красокъ дивнымъ сочетаньемъ.

Но вотъ пришелъ ученый мужъ,
Искатель рѣдкостныхъ растений,
Замѣтя чудный тотъ цвѣтокъ,
Сорвалъ его безъ сожалѣній.

Расправиль тихо лепестки,
Расплюснулъ стебель, сокомъ полный,
И въ книгу бережно вложилъ,—
И замеръ въ ней цвѣтокъ безмолвно.

Сбѣжали краски съ лепестковъ,
Ихъ покрывавшія въ излишкѣ,
И потерялъ онъ запахъ свой,
Ставъ украшеньемъ умной книжки.

За то, какъ лучший изъ цвѣтовъ,
Какъ рѣдкость, въ видѣ засушенномъ,
Былъ для потомства сохраненъ
Онъ любозначительнымъ ученымъ.



Бдемъ лѣсомъ, и насъ
Онъ накрылъ, точно сводъ;
По корнямъ тарантасъ
Въ перевалку идетъ.

На землѣ отъ вѣтвей
Тѣни сѣткой лежатъ;
Милліоны лучей
Въ глубь лѣсную глядятъ.

Въ вышинѣ—свѣтъ и шумъ;
А въ низу—тишь и тѣнь.
Въ головѣ—рои думъ,—
Въ сердце—тягость и лѣнь.





Вотъ село. Давно знакомы
Въ томъ селѣ моимъ очамъ
Избы, крытыя соломой,
И старинный Божій храмъ.

Я живаль въ селеньи этомъ
Много лѣтъ тому назадъ;
Беззаботно жаркимъ лѣтомъ
Здѣсь игралъ въ кругу ребятъ.

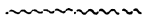
Жизнь тогда была—утѣха
Для меня... Теперь не то!
Здѣсь не слышно больше смѣха,
Глазъ не радуеть ничто...

Помню я, какъ дружно дѣти
Пѣли пѣсни здѣсь порой;
Не звучали пѣсни эти
Ни заботой, ни тоской.

И теперь на нивѣ скудной
Слышны пѣсни; но онѣ
Говорятъ о жизни трудной,
О рабочемъ тяжкомъ днѣ.

Все, что жизнь досель тѣснило,
Снова здѣсь отозвалось.
Сердце чуткое заныло,
Отъ тоски надорвалось.

Ясно въ памяти возстали
Всѣ невзгоды прежнихъ дней...
Видно, горя и печали
Нѣтъ лишь тамъ, гдѣ нѣтъ людей!..



*
* *
*

Осень... Дождикъ ведрѣмъ
Съ неба хмураго лѣтъ.
На работу, чуть свѣтъ,
Молодчина идетъ.

На плечахъ у него
Кафтанишка худой;
Онъ шагаетъ, въ грязи
По колѣна, босой.

Онъ идетъ да поетъ,
Надъ погодой смѣясь;
Изъ-подъ ногъ у него
Брызжетъ въ стороны грязь.

Холодъ, голодъ, нужду
Сносить онъ до конца,—
И не въ силахъ бѣда
Сокрушить молодца.

Иль землю его,
Иль бревномъ пришибетъ,
Или старость его
На одръ пригнететъ.

Да и смерть-то придетъ,—
Не спугнетъ молодца;
Съ ней онъ кончитъ расчетъ,
Не поморщивъ лица.

Эхъ, родимый мой братъ!
Много силы въ тебѣ!
Эту силу твою
Сокрушить ли судьбѣ!...



ТРУЖЕНИКЪ.

(ПАМЯТИ А. В. КОЛЬЦОВА)

„Мнѣ грустно, больно, тяжело...
Что принесли мнѣ эти строки?
Я въ жизни видѣлъ только зло,
Да слышалъ горькіе упреки.

„Вотъ трудъ прошедшей жизни всей!..
Тутъ много думъ и пѣсень стройныхъ.
Онѣ мнѣ стоили ночей,
Ночей безсонныхъ, безпокойныхъ.

„Всегда задумчивъ, грустенъ, тихъ,
Я ихъ писалъ отъ всѣхъ украдкой,—
И сталъ для ближнихъ я своихъ
Неразрѣшимою загадкой.

„За искру чистаго огня,
Что въ грудь вложилъ мнѣ Всемогущій,
Они преслѣдуютъ меня
Своею злобою гнетущей.

Меня гнетутъ въ своей семьѣ,
Въ глуши родной я погибаю!...
Когда жъ достигъ удастся мнѣ,
Чего такъ пламенно желаю?

„Иль къ свѣту мнѣ дороги нѣтъ,
За то, что я правдивъ и честенъ?“—
Такъ думалъ труженикъ-поэтъ,
Склонясь съ тоской надъ книгой пѣсенъ.

Жизнь безъ свободы для него
Была тяжка,—онъ жаждалъ воли,—
И надрывалась грудь его
Отъ горькой скорби и отъ боли.

Передъ собой онъ видѣлъ тьму,
Въ прошедшемъ—море зла лежало;
Но мысль безсмертная ему
Успокоительно шептала:

„На свѣтѣ ты для всѣхъ чужой,
Твой трудъ считаютъ за пустое:
Тебя все близкое, родное
Возненавидѣло душой...

Но не робѣй! Могучей мысли
Горитъ свѣтильникъ предъ тобой.
Пусть тучи черныя нависли
Надъ терпѣливой головой.

Трудись и вѣруй въ дарованье,
Оно спасетъ тебя всегда;
Людская злоба не бѣда
Для тѣхъ, кто чтить свое признание.

Пусть люди, близкіе тебѣ,
Съ тобою борятся сурово;
Хотя погибнешь ты въ борьбѣ,—
Но не погубятъ люди слова.

Придетъ пора, они поймутъ,
Что не напрасно ты трудился,—
И тотъ, кто надъ тобой глумился,
Благословитъ твой честный трудъ!“

И мысли вѣровалъ онъ свято;
Переносилъ и скорбь, и гнетъ,—
И неуклонно шелъ впередъ
Дорогой жизни, тьмой объятой.

Упорно бился онъ съ судьбой,
И пѣсню пѣлъ въ часъ тяжелой муки,
И воплощалъ онъ въ пѣснѣ той
Всѣ стоны сердца, боли звуки...

И умеръ онъ, тоской томимъ,
Въ неволѣ, плача о свободѣ,—
Но пѣсня, созданная имъ,
Жива и носится въ народѣ.



П О Э Т У.

Поэтъ! трудна твоя дорога,—
На ней ты радости не жди:
Тебѣ страдать придется много,
И много слезъ скопить въ груди...

Но, если ты признанью вѣренъ,—
Иди! борьбу веди со тьмой:
Будь сердцемъ чистъ, нелицемѣренъ,
И пѣсни искреннія пой.

Тебя унижать, поругаютъ—
И чувства святость оскорбятъ,
И злобой душу истерзаютъ,
И желчи ядомъ напоятъ...

Но ты, въ вѣнцѣ своемъ терновомъ,
Тебѣ изранившемъ чело,
Прости врагамъ твоимъ суровымъ
Тебѣ содѣянное зло!

И пригвожденъ къ столбу позора,
И чуя въ сердцѣ желчи ядъ,—
Не шли за зло врагамъ укора:
„Они не вѣдятъ, что творятъ!“

ТРУДЯЩЕМУСЯ БРАТУ.

Къ тебѣ, трудящемуся брату,
Я обращаюсь съ мольбой:
Не покидай на полдорогѣ
Работы начатой тобой.

Не дай въ бездѣйствиі мертвящемъ
Душѣ забыться и заснуть,—
Трудомъ тяжелымъ и упорнымъ
Ты пролагай свой честный путь.

И чѣмъ бы въ жизни не грозила
Тебѣ судьба,—ты твердо стой!
И будь высокому призванью
До гроба вѣренъ ты душой.

Пусть громъ гремитъ надъ головою;
Но тучи черныя пройдутъ...
Все одолѣетъ сила духа,
Все побѣдитъ упорный трудъ!

~~~~~

## ПОКОЙНИКЪ.

Ужъ прочли тебѣ отходную,  
И ушелъ твой духовникъ,  
И головушкой холодною,  
Коченѣя, ты поникъ.

На лицѣ тоска глубокая;  
Закатилися глаза;  
На рѣсницѣ одинокая,  
Не застывшая слеза...

Видно, тайное желаніе  
Позабылъ кому нибудь  
Передать ты въ часъ прощанія,  
Отправляясь въ дальній путь.

Предъ тобою гладь безбрежная,—  
Ты достигъ конца пути;  
Унеслась душа мятежная  
Изъ остывшей груди.

Много ты испилъ страданія,  
Много горя ты видалъ,  
Ни любви, ни упованія  
Въ этой жизни ты не зналъ.

Шелъ ты узкой, не пробитою,  
Трудной жизненной тропой,  
И безъ жалобъ, съ болью скрытою,  
Распрощался ты съ землею...

Гробъ готовъ. Какъ гость не прощенный,  
Онъ средь комнаты стоитъ,  
И на трупъ, страданьемъ скошенный,  
Онъ безжалостно глядитъ.

Скоро я съ тоской глубокою,  
Предъ могилою сырой,  
Безотрадной, одинокою,  
Преклонюсь съ нѣмой слезой.

И въ тиши мольбу изустную  
Вознесу за твой покой,  
И твою я повѣсть грустную  
Разскажу могилѣ той.

Жиль, молъ, онъ какъ голь забитая,  
Безпріютной птицей жиль,—  
Гнѣзда виль, но и не свитыя  
Буйный вѣтеръ разносилъ:

И была, молъ, смѣлость бойкая,  
Да затоптана судьбой:  
И была, молъ, воля стойкая,  
Да разбита злой нуждой;

И была, молъ, сила-силушка,  
Да сожгла ее тоска...  
Такъ спасибо же, могилушка,  
Что взяла ты бѣдняка.

~~~~~



Пройдетъ и ночь, пройдетъ и день,
Пройдутъ недѣли и года,
Какъ полемъ облачная тѣнь,—
Пройдутъ—и нѣтъ отъ нихъ слѣда.
Пройдетъ и жизнь, исчезнешь ты,
Исчезнутъ всѣ твои мечты...
И для чего, Богъ вѣсть, ты жилъ—
И ненавидѣлъ, и любилъ?...
И тайна вѣчная Творца
Все будутъ тайной безъ конца.



ПОКОЙНИЦА.

Передъ святой иконой,
Въ горенкѣ тесовой.
Озарень свѣчею,
Гробъ стоитъ сосновый.

Передъ нимъ сиротки—
Дѣти робко жмутся,
Громко кличутъ маму.
Да не дозовутся.

Бѣдная, не слышитъ
Плачь своихъ малютокъ,—
Спитъ она сномъ крѣпкимъ,
Спитъ ужъ двое сутокъ.

Спитъ... Забыты ею
Горе и заботы,—
Съ долею тяжелой
Кончены расчеты.

Жертва нуждъ и горя!
Спи, Господь съ тобою!
Отдохнешь отъ жизни
Ты хоть подъ землею.

На тебя гляжу я
И душой страдаю,
И твою былую
Жизнь припоминаю.

Вотъ ты предо мною—
Дѣвочка-малютка,
Щечки безъ румянца,
Худенькая грудка;

На глазахъ слезинки,—
Грустная такая,—
Больно тебя била
Мачиха лихая...

Вотъ бѣжишь ты въ стужу,
Зимнею порою,
Въ лавочку за квасомъ
Или за водою.

Грязныя лоскутья
Тѣло прикрываютъ;
Сквозь башмакъ дырявый
Пальцы выползаютъ;

И ребячье тѣло
Всѣ почти наружѣ...
И дрожишь, бѣжишь ты
Улицей по стужѣ.

И придешь съ морозу
Не въ тепло, бѣдняжка:
Мачиха прогонитъ
Полоскать рубашки.

Горько тебѣ было,
Тяжело и больно;
Слезъ горючихъ въ тайнѣ
Пролило довольно.

Ты сносила горе
Молча, терпѣливо.
Время шло,—ты стала
Дѣвушкой красивой.

Мачиха, чтобъ съ хлѣба
Сбыть тебя скорѣе,
Выдала бѣдняжку
Замужъ за злодѣя.

Хоть бы лучъ отрады
Былъ тебѣ минутный!
Загубиль-замаялъ
Мужъ тебя безпутный!

Вотъ уйдетъ онъ утромъ
Рано, на разсвѣтѣ;
Нѣтъ ни крошки хлѣба;
Горько плачутъ дѣти.

Дома ни копѣйки...
Заложить? Да что же?
Все давно прожито,—
Нѣтъ клочка одежды.

И заплачешь горько,—
Голова склонится;
Предъ святой иконой
Станешь ты молиться.

Просишь ты у Бога
Не для жизни силы,—
Просишь у Него ты
Для дѣтей могилы.

И въ тоскѣ малютокъ
Обоймешь руками,
Дѣтскія головки
Оросишь слезами.

Жарко ихъ цѣлуешь,
Плачешь и рыдаешь,—
Въ гѣрѣ, да въ кручинѣ
Съ ними засыпаешь.

Въ полночь мужъ вернется,—
Буйство, брань угрозы;
Дѣти въ перепугѣ
Вскочать... крикъ и слезы.


Сдавлена, согнута
Жизнiю такою,
Скоро подружилась
Ты съ чахоткой злою.

Силь твоихъ остатокъ
Злая боль сточила,
Да и въ гробъ сосновый
Жертву уложила.

Плачьте, плачьте, дѣти!
Жизнь горька вамъ будетъ.
Кто-то васъ утѣшитъ?
Кто-то приголубитъ?

~~~~~

\* \* \*

 тихо тощая лошадка  
По пути бредеть;  
Гробъ, рогожею покрытый,  
На саняхъ везеть.

На саняхъ, въ худой шубёнкѣ,  
Мужичекъ сидить;  
Понукаетъ онъ лошадку,  
На нее кричить.

На лицѣ его суровомъ  
Налегла печаль,—  
И жену свою голубку  
Крѣпко ему жаль.

Спитъ въ гробу его подруга,  
Вѣрная жена,—  
Въ часъ родовъ, отъ тяжской муки,  
Умерла она,—

И покинула на мужа  
Пятерыхъ сиротъ;  
Кто-то ихъ теперь обмоетъ?  
Кто-то обошьетъ?!..

Вотъ предъ нимъ мостокъ, часовня,—  
Вотъ и Божій храмъ,—  
И жену свою голубку  
Онъ оставитъ тамъ.

Долго станутъ плакать дѣти,  
Ждать и кликать мать;  
Не придетъ она съ погоста  
Слезы ихъ унять.

~~~~~

ИЗЪ ВЪДНОЙ ЖИЗНИ.

Сырая каморка,—
Бѣдно въ ней, убого:
Два стула, скамейка,
Да столикъ трехногій.

Живетъ въ ней сапожникъ
Съ своею семьею:
Съ малюткою дочкой,
Съ больною женою.

Больная не стонетъ;
Въ тускнѣющемъ взорѣ
Не боли мученье,—
Душевное горе.

На дочку больная
Глаза устремила,
Иссохшія руки
На груди скрестила.

Не съ жизнью разстаться
Жалѣть бѣдняжка,
Но дочку сироткой
Покинуть ей тяжко.

Кто будетъ сиротку
Беречь и лелѣять?
Кто доброе сѣмя
Ей въ сердце посѣть?

Отець?... Но при мысли
О мужѣ больная
Рукой безнадежно
Махнула, вздыхая.

Плохая надежда
Въ отцѣ для малютки!
Какъ добылъ онъ денегъ—
И нѣтъ его сутки.

И пьетъ себѣ, пьетъ онъ,—
Семья позабыта!
Какая жъ малюткѣ
Въ немъ будетъ защита?..

И въ грустныхъ картинахъ
Встаетъ предъ больною
Жизнь дочки, какъ будетъ
Она сиротою...

То мнится ей: дочка
Въ худой душегрѣйкѣ
По улицамъ ходить,
Сбираетъ копѣйки.

То мнится ей: дочка
Съ шарманкой шагаетъ
И пѣсней и пляской
Народъ потѣшаетъ.

То мнится ей: дочка
Въ палатѣ больничной
Прощается съ жизнью
Своей горемычной.

И очи больная
Закрыла рукою,
Чтобъ больше не видѣть
Видѣнье такое...

Въ часъ ночи сапожникъ
Домой воротился
И долго буянилъ,
Шумѣлъ и бранился.

Жена ни полслова,—
Лежитъ безъ движенья;
На брань и на крики
Нѣтъ словъ возраженья.

И грозно сапожникъ
Къ женѣ подступаетъ,
И крѣпко жену онъ
За плечи хватаетъ.

Онъ хочетъ съ постели
Стащить ее силой,—
Но тащить—и что-же?!..
Она ужъ остыла...

~~~~~

## УМИРАЮЩАЯ ДѢВУШКА.

---

Приподнимите занавѣску... Какъ темно,  
Какъ душно въ комнатѣ... Откройте въ садъ окно—  
И дайте воздухомъ весны мнѣ подышать:  
О, какъ не хочется такъ рано умирать!

Теперь ужъ зеленью одѣлися лѣса—  
И птичекъ вольные звенять въ нихъ голоса...  
Но мнѣ травы луговъ ногой моей не мять:  
О, какъ не хочется такъ рано умирать!

Зачѣмъ весна моя такъ пышно расцвѣла—  
И сердце рано мнѣ разбила и сожгла?..  
Увяль мой вешній цвѣтъ—не цвѣсть ему опять:  
О, какъ не хочется такъ рано умирать!

Что это?.. Гаснетъ солнца лучъ, или очей  
Ужъ меркнетъ свѣтъ?.. Въ очахъ все сумрачнѣй, темнѣй...  
Какъ сердце сжало мнѣ, какъ тяжело мнѣ дышать!..  
О, какъ не хочется такъ рано умирать!

## О С Е Н Ь Ю.

---

Въ телегѣ тряской и убогой  
Ташусь я грязною дорогой...  
Лѣниво пара тощихъ клячъ  
Плетется, топчетъ грязь ногами...  
Вотъ запоздалый крикнулъ грачъ  
И пролетѣлъ стрѣлой надъ нами,—  
И снова тихо... Облака  
На землю сѣютъ дождь досадный...  
Кругомъ все пусто, безотраднo...  
Въ душѣ тяжелая тоска...  
Какъ тѣню, скукою покрыто  
Все въ этой мѣстности пустой;  
И небо сѣрое сердито  
Виситъ надъ мокрою землей.  
Все будто плачетъ и горюетъ;  
Чернѣютъ голыя поля,  
Надъ ними вѣтеръ сонный дуетъ,  
Травой поблекшей шевеля.  
Кусты и тощія березы  
Стоять, какъ грустный рядъ тѣней,  
И капли крупныя, какъ слезы,  
Роняютъ медленно съ вѣтвей.  
Порой въ дали печальной гдѣ-то  
Раздастся звукъ—и пропадетъ,—  
И сердце грусть сильнѣй сожметъ...  
Безъ свѣта жизнь! не ты-ли это?..



За окномъ скрипитъ береза,  
Въ комнатѣ темно;  
Отъ трескучаго мороза  
Въ инеѣ окно.

За окномъ... чу!—пѣсню кто-то  
Весело поетъ,—  
Знать, ему нужда-забота  
Душу не гнететъ.

Пой же, другъ, пока поется.  
Жизнь пока свѣтла;  
А какъ горе къ ней привьется,—  
Все одѣнетъ мгла.

Заскрипишь ты, какъ береза  
Подъ окномъ зимой;  
Закипятъ на сердцѣ слезы,  
Смолкнетъ голосъ твой.



## С М Е Р Т Ь.

(А. А. К—ву.)

• ———

Осеннее солнышко скупю лучами  
Проглянетъ на землю и въ тучки уйдетъ;  
Работаетъ дружно артель топорами,—  
Строеніе выше и выше ростетъ.

Окончены стѣны, за балками дѣло,—  
А то хоть совсѣмъ потолокъ настилать;  
Канатъ прикрутили, и начали смѣло  
Тяжелую балку наверхъ поднимать.

Плечистый десятникъ въ конецъ упираетъ  
Широкою грудью и къ верху кричитъ:  
„Держите, ребята,—сдавать начинается...  
Держите, держите!.. Валится... трещить“!..

И рухнула балка, десятникъ шатнулся,—  
Къ землѣ придавило концомъ бѣдняка;  
Лежитъ онъ, не стонетъ,—лежитъ, протянулся;  
За грудь ухватилася крѣпко рука.

Лице побѣлѣло бѣлѣе бумаги;  
Дыханье чуть слышно, глаза не глядятъ...  
Артель собралася, стащили съ бѣдняги  
Тяжелую балку—и молча стоятъ.

Очнулся несчастный, окинулъ глазами  
Артель всю,—и тихо онъ сталъ говорить:  
„Попа позовите; не долго ужъ съ вами  
Осталось, братцы, на свѣтѣ мнѣ жить.

„Предъ смертью меня, мои други, простите:  
Быть можетъ, обидѣлъ васъ рѣчью какой;  
Пойдете домой,—не забудьте, скажите  
Женѣ вы послѣдній наказъ мой такой:

„По мнѣ бѣ не грустила, молилась бы Богу,—  
Такая ужъ, значить, мнѣ смерть подошла;  
Одной ей не справить—скотины-то много,  
Взяла бѣ половину ея продала..

„Скажите вы ей, чтобы нынѣ жъ, зимою,  
Гришутку учиться къ дьячку отвела;  
У шурина Карпа прошедшей весною  
Я бралъ два съ полтиной,—ему бѣ отдала.

„Да если пріѣдетъ Трофимычъ зимою,—  
За лапти бѣ ему отдала четвертакъ:  
Ну, кажется, все,“—и махнулъ онъ рукою,  
Вздохнулъ какъ-то тихо и умеръ, бѣднякъ.

## ВЕРВА.

(СИРОТКЪ Е. Н. Е—ВОЙ).

Ходить вѣтеръ, ходить буйный,  
Подъ полю гуляетъ,  
На краю дороги вербу  
Тонкую сгибаетъ.

Гнется, гнется, сиротинка,—  
Нѣтъ для ней подпоры;  
Всюду поле—точно море—  
Не окинуть взоры.

Солнце жжетъ ее лучами,  
Дождикъ поливаетъ;  
Буйный вѣтеръ съ горемыки  
Листья обрываетъ.

Гнется, гнется, сиротинка,—  
Нѣтъ для ней защиты;  
Всюду поле—точно море—  
Ковылемъ покрыто.

Кто же вербу-сиротинку  
Въ полѣ, на просторѣ,  
Посадилъ здѣсь, при дорогѣ,  
На бѣду, на горе?..

Гнется, гнется, сиротинка, --  
Нѣтъ для ней привѣта;  
Всюду поле—точно море,  
Море безъ отвѣта.

Такъ и ты, моя сиротка,  
Какъ та верба въ полѣ,  
Вырастаешь безъ привѣта  
Въ горемычной долѣ.





Догорѣла румяная зорька вдали, —  
И по степи вечернія тѣни легли...  
И ни звука кругомъ,—всюду тишь и покой,—  
Прожжужитъ только жукъ, промелькнувъ надъ травой.

Степь исчезла во тьмѣ,—а на небо взгляни  
Ктò-то тамъ высоко зажигаетъ огни...  
И надъ степью они, тихо зыблясь, горятъ—  
Въ необъятный свой міръ и зовутъ и манятъ.

И что скрылось въ душѣ,—притаилось днемъ,  
То проснулось теперь и взмахнуло крыломъ,—  
И, стряхнувъ жизни гнетъ, въ міръ надзвѣздный паритъ,—  
И душа, умиляясь, молитвой звучитъ.





Загорѣлась надъ степью заря,—  
На травѣ засверкала роса.  
Поднялись степняки-косари,—  
Загуляла по степи коса!

Что ни взмахъ, то и сѣна копна!  
Здѣсь трава высока и густа,—  
И гуляй, гдѣ ты знаешь, съ косою,—  
Всюду гладь—безъ конца широта!

Здѣсь и духъ степняка-косаря  
Необъятно могучъ и силёнъ,—  
Не положить онъ рукъ отъ тоски,  
Не опустить и голову онъ.

Если горе за сердце возьметъ,  
Навалится злодѣйка-нужда,—  
Онъ кудрями лишь только тряхнетъ—  
И кручины ужъ нѣтъ и слѣда.

И поетъ онъ про матушку степь,  
Про родныя равнины, луга...  
И сверкаетъ, сверкаетъ коса—  
И встаютъ, точно горы, стога.

Я за то тебя вольную степь  
Полюбилъ всей душой глубоко,  
Что сама ты собой широка—  
И въ тебѣ все сильно, широко.





Надъ широкой степью  
Хищный коршунъ вьется,—  
Ласточка по степи  
Мечется и бьется.

Мечется бѣдняжка,  
Точно бы шальная,—  
Бѣлой своей грудкой  
Въ воздухѣ сверкая.

То мелькнетъ стрѣлою  
Надъ травой высокой,  
То начнетъ кружиться  
По степи широкой.

Но напрасны бѣдной  
Тяжкія усилія:  
Хищный коршунъ зорокъ—  
Да и сильны крылья.

Неуйти бѣдняжкѣ  
Отъ когтей злодѣя:  
Взмахи длинныхъ крыльевъ  
Все сильнѣй, быстрѣе...

Вотъ ужъ хищникъ близко...  
И, одна минута—  
Какъ малютку-птичку  
Схватить коршунъ лютый.

Развѣ ужъ помочь мнѣ  
Птичкѣ горемычной?!

И ружье направилъ  
Я рукой привычной...

Глухо степь дрогнула  
Съ края и до края...  
И упала птица  
Хищная, степная!

~~~~~

П Ъ С Н Я—В Ы Л Ъ.

Охъ, сторонка, ты сторонка,
Сторона степная!
Ѣдешь, Ѣдешь—хоть бы хата...
Въ небѣ ночь глухая.

Задремалъ ямщикъ—и кони
Мелкою рысцою
Чуть трусятъ, и колокольчикъ
Смолкнулъ подъ дугою.

По степнымъ оврагамъ волки
Бродятъ, завывая,
Въ тростникахъ свою добычу
Зорко выжидая.

„Эй, ямщикъ! ты дремлешь, милый?
Эдакъ по неволѣ
На зубахъ волковъ придется
Намъ остаться въ полѣ“.

Встрепенулся парень, вскинулъ
Кверху кнутъ ременный,
И стегнулъ имъ коренного:
„Эхъ, ты, забубенный!“

И взвились степные кони,—
Бѣшено несутся;
Колокольчика по степи
Звуки раздаются...

Ѣдемъ, Ѣдемъ,—хоть бы хата...
Огонечекъ въ полѣ...
Отдохнулъ бы на ночлегъ,—
Радъ бы этой долѣ!

Вдругъ мнѣ молвилъ, обернувшись,
Мой ямщикъ удалый,—
„Эдакъ ѣхать, то въ трясину
Угодимъ, пожалуй!“

„Здѣсь лишь чуть свернешь съ дороги,
И затонешь живо“.
Онъ сдержалъ коней—и пѣсню
Затянулъ тоскливо:

„Ахъ, ты молодость,
Моя молодость!
Ахъ, ты буйная,
Ты разгульная!“

„Ты зачѣмъ рано
Прокатилася,—
И пришла старость,
Не спросилася?

„Какъ женилъ меня
Родной батюшка,
Говорила мнѣ
Родна матушка:

—„Ты жеңись, женись,
Мое дитятко,—
Ты женись, женись,
Безталанный сынъ!

„И женился я,
Безталанный сынъ,—
Молода жена
Не въ любовь пришла,

„Не въ любовь пришла—
И не по сердцу,
Не по нраву мнѣ
Молодецкому.

На рукѣ лежитъ,—
Что колодинка;
А въ глаза глядитъ,
Что змѣя шипить...

„Ахъ, не то была
Красна дѣвица,
Моя прежняя
Полюбовница:

„На рукѣ лежитъ,
Будто перышко;
А въ глаза глядитъ—
Цѣловать велить...“

Охъ, сторонка, ты сторонка,
Сторона степная!
У тебя родилась пѣсня,
Пѣсня былевая.

Глубока она, кручинна,
Глубока, какъ море...
Пережита эта пѣсня,
Выстрадана въ горѣ...

И встаетъ въ глазахъ печальный
Парень предо мною,
Загубившій свою долю
Волею чужою.

Слышу тихія слова я
Матери скорбящей,
И рабы безмольной мужа,
Робкой, все сносящей:

„Ты женись, женись, мой милый,
Дорогой, желанный!
Ты женись, женись, родимый,
Сынъ мой безталанный!“

И женился безталанный...
Сгибло счастье-доля:
Что любишь онъ, разлучила
Съ тѣмъ отцова воля.

Охъ, сторонка, ты сторонка.
Сторона степная!
У тебя кручины-горя
Нѣтъ конца и края!





Вотъ и степь съ своей красою,—
Необъятная кругомъ,—
Развернулась предо мною
Зеленѣющимъ коврѣмъ.

Взглянешь влѣво, взглянешь вправо,—
Всюду ширь—и тонетъ взоръ...
Степь, тебѣ и честь, и слава
За могучій твой просторъ!

Городъ шумный, городъ пыльный,
Городъ полный нищеты,
Точно склепъ сырой могильный,
Бодрыхъ духомъ давишь ты!

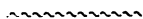
Радъ, что я тебя покинулъ,
Душный городъ, гдѣ я росъ,
Гдѣ едва-едва не сгинулъ
Въ безднѣ горя, въ морѣ слезъ.

Солнце тамъ меня не грѣло
Золотымъ своимъ лучемъ,—
Здѣсь, въ степи же, закипѣла
Снова жизнь во мнѣ ключемъ.

Нѣтъ вокругъ толпы народной,
Горькихъ жалобъ не слышать,
И въ груди моей холодной
Разгорѣлась кровь опять.

Надо мной степные звуки
Въ вешнемъ воздухѣ царять,—
Улеглись былыя муки,
Скорби прежнія молчатъ.

Закипаютъ думы смѣло,
Силы крѣпнуть и растутъ,—
И я вновь готовъ на дѣло,
На борьбу и тяжкій трудъ.



С Т Е П Ъ.

Ѣдешь, Ѣдешь,—степь да небо,
Точно нѣтъ имъ края;
И стоитъ вверху, надъ степью,
Тишина нѣмая.


Нестерпимою жарою
Воздухъ такъ и пышетъ;
Какъ шумитъ трава густая,
Только ухо слышитъ.

Ѣдешь, Ѣдешь,—какъ шальные
Кони мчатся степью;
Вдаль курганы, зеленѣя,
Убѣгаютъ цѣпью.

Промелькнуть передъ глазами
Двѣ-три старыхъ ивы,—
И опять въ травѣ волнами
Вѣтра переливы.

Ѣдешь, Ѣдешь,—степь да небо,—
Степь, все степь, какъ море;
И взгрустнется по-неволѣ
На такомъ просторѣ.

ВЪ У К Р А Й Н Ъ.

 Садится солнце.—Вдемъ тише...
Вдали виднѣется село,—
Чернѣютъ хатъ бѣленыхъ крыши
И ветхой мельницы крыло.

Вотъ подъѣзжаемъ,—хаты, хаты—
И зелень яркая вокругъ хатъ;
Садочки вишнями богаты,
И сливы зрѣлыя висятъ.

И тамъ и сямъ кусты калины,
И макъ качаетъ головой,
И кисти рдѣются рябины, *)
Какъ щеки дѣвушки степной.

И залюбуешься невольно
Житьемъ привольнымъ степняка.
„Здѣсь отпрягай, ямщикъ,—довольно:
Намъ дальше ѣхать не рука!..

(*) *Вариантъ*: И рдѣютъ ягоды рябины...

„Знать, люди здѣсь молились Богу;
Смотри: какая благодать!..
Здѣсь отдохнемъ и въ путь-дорогу
Тихонько тронемся опять“...

Стемнѣло вдругъ... Заря алѣетъ;
Съ луговъ прохладою несетъ;
Зеленой степи даль сияетъ,—
И тихій вечеръ настаетъ.

Съ полей вернулись „дѣвчата“,
Пришли и „паробки“ съ работъ—
И собрались у ветхой хаты,
Гдѣ старый дѣдъ, козбарь, живетъ.

„Сыиграй-ка старый намъ „дѣдуся“,—
Кричатъ „дѣвчата“ старику:
Про „Грица“ или про „Марусю“,
Про ту, что кинулась въ рѣку.

—Ой, надоѣли вы, „дѣвчата“,—
Старикъ ворчитъ; а самъ беретъ
Со стѣнки кобзу—и у хаты
Онъ сѣлъ,—играетъ и поетъ,

Поетъ,—и льется пѣсня стройно,—
И жжетъ сердца дѣвчатъ огнемъ...
А ночка синяя покойно
Плыветъ надъ дремлющимъ селомъ.

ВЪ СТЕПИ

Кони мчатъ-несутъ,
Степь все вдаль бѣжитъ:
Вьюга снѣжная
На степи гудитъ.

Снѣгъ да снѣгъ кругомъ;
Сердце грусть беретъ;
Про моздокскую
Степь ямщикъ поетъ...

Какъ просторъ степной
Широко-великъ;
Какъ въ степи глухой
Умиралъ ямщикъ;

Какъ въ послѣдній свой
Передсмертный часъ
Онъ товарищу
Отдавалъ приказъ:

„Вижу, смерть меня
Здѣсь въ степи сразить,—
Не попомни, другъ,
Злыхъ моихъ обидъ,

„Злыхъ моихъ обидъ,
Да и глупости,
Неразумныхъ словъ,
Прежней грубости.

„Схорони меня
Здѣсь, въ степи глухой;
Вороныхъ коней
Отведи домой,

„Отведи домой,
Сдай ихъ батюшкѣ;
Отнеси поклонъ
Стардѣй матушкѣ.

„Молодой женѣ
Ты скажи, другъ мой,
Чтобъ меня она
Не ждала домой...

„Кстати ей еще
Не забудь сказать:
Тяжело вдовой
Мнѣ ее кидать!

„Передай словцо
Ей прощальное,
И отдай кольцо
Обручальное.

„Пусть о мнѣ она
Не печалится;
Съ тѣмъ, кто пѣ сердцу,
Обвѣнчается!“

Замолчалъ ямщикъ,
Слеза катится...
А въ степи глухой
Вьюга плачется.

Голосить она,
Въ степи стонъ стоитъ,
Та же пѣсня въ ней
Ямщика звучить:

Какъ просторъ степной
Широко-великъ;
Какъ въ степи глухой
Умиралъ ямщикъ...

~~~~~

## М О Г И Л А.

---

Среди степи глухой  
Есть могила одна;  
Межъ кустовъ, сиротой,  
Затерялась она.

Безмятежно кругомъ  
Степь зеленая спить;  
На просторъ степномъ  
Только вѣтеръ шумить.

Надъ могилой весь день  
Блещутъ солнца лучи;  
Ходить облака тѣнь;  
Свѣтять звѣзды въ ночи.

Вѣтеръ, вѣтеръ, скажи,  
Вольный вѣтеръ степной,—  
Кто здѣсь, въ этой глуши,  
Спитъ въ могилѣ сырой?

И, качая травой,  
Буйный вѣтеръ шумить:  
„Здѣсь купецъ молодой  
Въ ночь глухую зарыть.

„Ѣхалъ съ ярмарки онъ  
Не съ пустымъ кошелькомъ;  
Одолѣлъ его сонъ,—  
Онъ убить ямщикомъ.

„Шесть недѣль о купцѣ  
Тосковала жена,  
На седьмой же, въ концѣ,  
Вышла замужъ она.“

# III



## ДУМЫ.

(НА МОТИВЪ Т. ШЕВЧЕНКО).

---

Думы мои, думы,  
Думы, мои дѣти!  
На смѣхъ породило  
Горе васъ на свѣтѣ.

Горе васъ родило,  
Горе вспеленало;  
А тоска надъ вами  
Плакала, рыдала.

Почему жъ слезами  
Васъ не затопило?  
Мнѣ безъ васъ бы легче  
Жить на свѣтѣ было.

Думы мои, думы,  
Что мнѣ дѣлать съ вами? . .  
Кину я васъ въ рѣку,—  
Ходите волнами;

Брошу васъ на вѣтеръ—  
Тучами несетесь;  
Схороню въ лѣсъ темный—  
Соловьемъ зальетесь;

Кину васъ въ огонь я,  
Думаю, сгорите,—  
Вы же предо мною  
Плачете, стоите!

Думы жъ мои, думы,  
Что жъ мнѣ дѣлать съ вами?  
Кинуть, знать, придется  
Васъ мнѣ сиротами!

Лягу я въ могилу,  
Оченьки закрою;  
Прилетайте жъ, думы,  
Плакать надо мною.

На мою могилу  
Падайте слезами,  
Выростайте, думы,  
Надо мной цвѣтами!

~~~~~

В Д О В А.

(изъ т. ШЕВЧЕНКО).

Воетъ вѣтеръ, злится вьюга,
Снѣгъ кругомъ взметаеть.
По селу вдова-старуха
Бродить, чуть ступаеть.

Осыпаемая снѣгомъ
Спереди и сзади,
Бродить, просить горемыка,
Просить Христа-ради.

Бродить, просить со слезами
У людей богатыхъ,
Чтò ея кормильца-сына
Отдали въ солдаты.

А, вѣдь, думала когда-то:
„Вотъ, женю сыночка:
Отдыхать подъ старость буду
За невѣсткой-дочкой.“

Не сбылось!.. Пошла старуха
Пд-міру съ сумою,
По чужимъ угламъ скитаться
Горькой сиротою.

На добытую копѣйку
Свѣчку за сына
Богу ставить, а сама-то
Плачетъ, сиротина...

~~~~~

\*  
\*   \*  
(Изъ Т. Шевченко).

---

И снится мнѣ, что подъ горою,  
Гдѣ дремлютъ вербы надъ водою,  
Избушка ветхая стоитъ;  
Предъ нею старый дѣдъ сидитъ,  
И на рукахъ своихъ качаетъ.  
Сѣдой, кудрявое дитя.  
Смѣется внучекъ и таскаетъ  
Сѣдому бороду, шутя.  
И снится мнѣ, что мать выходитъ,  
Цѣлуетъ дѣда и дитя,  
У старика беретъ малютку  
И спать несетъ его, крестя.  
А дѣдъ сидитъ передъ избушкой,  
Смѣется, старый, и съ собой  
Промолвилъ тихо: „гдѣ жъ ты, горе?  
Ты прожито, забыто мной“...  
И, набожно крестясь, читаетъ  
Старикъ молитву: „Отче нашъ...“  
А солнце тихо угасаетъ...  
Верхушку вербы озаряетъ  
Послѣдній лучъ,—и тотъ погасъ,—  
И все померкло. Суетливой  
Тревоги дня ужъ не слышать;  
И старый дѣдъ неторопливо  
Пошелъ въ избу ложиться спать...

## ЗАКЛЮЧЕННЫЙ.

(Изъ сказокъ Андерсена).

---

**З**а крѣпкой рѣшеткой, въ тюрьмѣ, одиноко  
Сидитъ заключенный, невинно сидитъ,  
И вѣтеръ гуляетъ вкругъ башни высокой,  
И синее море подъ башней шумитъ.

И не съ кѣмъ страдальцу дѣлиться тоскою,  
Печально въ окошко тюрьмы онъ глядитъ,—  
И вотъ, высоко, высоко надъ тюрьмою,  
Могучій орелъ рѣжетъ воздухъ, летитъ.

Кричитъ заключенный ему изъ неволи:  
—Орелъ, опустишь на тюрьму ты мою,  
Скажи мнѣ, какъ люди живутъ тамъ, на волѣ,  
Да спой мнѣ орлиную пѣсню свою!

—„Нѣтъ, другъ мой, тюрьмы я твоей опасаюсь,  
Какъ разъ попадешься тутъ въ руки людей;  
Къ тому же на землю я рѣдко спускаюсь,  
Не знаю. какъ люди живутъ тамъ—на ней.

„Нѣтъ, нѣтъ,—говорить такъ орелъ быстрокрылый,—

Не сяду, другъ мой, на тюрьму я твою,  
И пѣсни моей не спою тебѣ, милый, —

Я пѣсню мою только солнцу пою!“

И вотъ надъ окошкомъ тюрьмы одинокой

Дугой шею бѣлую выгнувъ впередъ,

И, голову гордо поднявши высоко,

По синему воздуху лебедь плыветъ.

Кричитъ заключенный ему изъ неволи:

—Спустись на окошко ты, лебедь, ко мнѣ,

Скажи мнѣ, какъ люди живутъ тамъ, на волѣ,

Да спой ты мнѣ пѣсню о свѣтлой веснѣ!

—„Живу на водѣ я, да въ небѣ летаю,

Въ морскихъ камышахъ ночью сплю я всегда;

Какъ люди живутъ я, ей Богу, не знаю,

Знакомства съ людьми не водилъ никогда.

„Когда небо вспыхнетъ, зажжется зарею

И золотомъ яркимъ затопитъ моря,

Проснусь въ камышахъ я, умоюсь водою,

Кричу:—здравствуй утро, здорово заря!

„И только предъ смертью, глаза закрывая,

Я тихую пѣсню свою запою;

Лишь свѣтлаго моря волна голубая

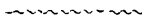
Услышитъ предсмертную пѣсню мою“.

Стоить заключенный, ему нѣтъ отвѣта,  
О родинѣ сердце груститъ и груститъ,  
И нѣтъ ему вѣсточки съ вольнаго свѣта,  
Стоить онъ и плачетъ, а море шумить...

Далеко, далеко, надъ быстрой рѣкою,  
Есть домикъ, у домика тополь растетъ,  
Качаясь, шумить онъ зеленой листвою,  
И въ домикѣ этомъ старушка живетъ.

Сидить у окна старушка, вздыхаетъ,  
Тоскливо она на дорогу глядитъ;  
Изъ дальней сторонки сына поджидаетъ—  
И сердце у бѣдной болить и болить.

Два года о сынѣ нѣтъ вѣсти и слуха,—  
И кто же закроетъ ей, бѣдной, глаза,  
И кто похоронитъ въ могилу старуху?  
И каплетъ, и каплетъ съ рѣсницы слеза!..



## ЧУМАЦКІЯ ДѢТИ.

(Съ малороссійскаго перевода Ломуса изъ Мицкевича)

„Ой вы, дѣтки мои, дѣтки,  
Горе мое, горе!  
На курганъ бѣгите, дѣтки,  
Поглядите въ поле.

„Вдетъ полемъ по дорогѣ  
Чумаковъ не мало;  
Только вашего все тятки  
Нѣтъ, какъ не бывало.

„Лѣто красное проходить,—  
Онъ не пріѣзжаетъ;  
Что-то сердце мое ноетъ,  
Ноетъ, занываетъ.

„Иль пути-дороги степью  
Дождики размыли?  
Иль разбойники напали,  
Чумака убили?

„Помолигесь вы, дѣтки,  
Господу Святому,  
Чтобъ здоровымъ воротился  
Тятыка вашъ до дому“.

Поднялись поспѣшно дѣти,  
И черезъ поляну  
Побѣжали въ перегонку  
Къ дальнему кургану.

Прибѣжали, и съ кургана  
Смотрятъ на дорогу;  
Старшій, ставши на колѣна,  
Сталъ молиться Богу:

„Боже нашъ, Отецъ Небесный,  
Смилуйся надъ нами!  
Вороти намъ тятку къ дому  
Съ сивыми волами.“

„Пусть не плачетъ тихо ночью  
Мама, не рыдаетъ;  
Пусть здоровымъ тятку въ очи  
Мама увидаетъ.“

А для насъ, для малыхъ дѣтокъ,  
Просимъ мы немного:  
Сбереги гостинцы наши  
У отца дорогой“.

Жарко молится ребенокъ  
Господу Святому.  
Жарко... „Гей, гей!—слышно въ полѣ,—  
Гей, волю, до дому!“

—Тятка, тятка!—закричали  
Дѣти, суеются.  
И бѣгутъ къ нему на встрѣчу,  
Кубаремъ катятся.

Кто жъ словами радость тятки  
Передать возьмется?..  
Обнимаетъ онъ малютокъ,  
Плачетъ и смѣется.

„Что, какъ мамка? не хвораеть?  
Тятку поминаеть?“  
А ужъ дѣти на возъ влѣзли,  
Воловъ погоняють.

„Гей, волю вы длиннѣроги!  
Гей, волю, до дому!  
Жарко мы за васъ молились  
Господу Святому!“

Веселится тятка, глядя:  
„Чумаки-ребята!  
Взрастись Господь привель бы,—  
Заживемъ богато!“



Заглядѣлся онъ на дѣтокъ,  
Сердце такъ и бьется...  
„Пощадите!“ крикъ батрацкій  
Сзади раздается.

Оглянулся чумакъ,—горе,  
Горе повстрѣчало:  
Удальцовъ степныхъ ватага  
На воза напала.

Онъ къ дубинкѣ... „Стой, ни съ мѣста!  
И молись Святому,  
Да червонцы доставай-ка,  
Что везешь до дому.

„Вынимай сукно, китайку,  
Вынимай кораллы,—  
Чай, женѣ своей ихъ съ Дону  
Ты везешь не мало.“

—Пощадите, люди Божьи,  
Удалое братство!  
Шесть воловъ и есть лишь только—  
Все мое богатство.

Хоть молись, хоть не молися  
Удальцамъ заклѣтымъ,—  
Не спускаютъ на дорогѣ  
Чумакамъ богатымъ.

—Ой, берите жъ, все берите,  
Что есть, до послѣдокъ:  
Да не дѣлайте лишь только  
Сиротами дѣтокъ!

Дѣти, дѣти!—о, какъ много  
Слово это значить!  
Кто жъ, отца печаль и горе  
Видя, не заплачетъ?

„Стойте, стойте!—старшій крикнулъ,—  
Ничего не трогай!  
Здѣсь добыча, знать, не наша.  
Маршъ своей дорогой!“

И разсыпалась ватага,  
Скрылась за курганы;  
Радъ чумакъ, и повалился  
Въ ноги атаману.

„Ой, не кланяйся, не надо,—  
Не нуждаюсь этимъ;  
Пусть поклонъ твой будетъ Богу,  
Да вотъ малымъ дѣтямъ.

„Видѣлъ я ихъ на курганѣ,  
Какъ они стояли,  
Какъ они за тятку Бога  
Жарко умоляли.

„И смѣшно сперва мнѣ было;  
А потомъ сгрустнулось,—  
Отъ молитвы дѣтской, жаркой  
Сердце шевельнулось...

„И заплакалъ, и заплакалъ,—  
А на сердцѣ тяжело;  
И припомнились мнѣ дѣтки  
И жена-бѣдняжка.

„И меня, быть можетъ, такъ же  
Дѣтки поджидаютъ;  
И о мнѣ, быть можетъ, такъ же  
Бога умоляютъ.

„Но, знать, мнѣ такая доля  
При рожденьи пала,  
Чтобы дѣтокъ не увидѣть,  
Сгинуть, какъ попало!

„Ну, ступайте жъ вы счастливо,  
Къ дому воротитесь;  
О душѣ моей погибшей  
Богу помолитесь...“

# IV



## Д Ъ Т С Т В О .

---

Вотъ моя деревня;  
Вотъ мой домъ родной;  
Вотъ качусь я въ санкахъ  
По горѣ крутой;

Вотъ свернулись санки,  
И я на бокъ—хлопъ!  
Кубаремъ качуся  
Подъ гору, въ сугробъ.

И друзья-мальчишки,  
Стоя надо мной,  
Весело хохочутъ  
Надъ моей бѣдой.

Все лице и руки  
Залѣпилъ мнѣ снѣгъ....  
Мнѣ въ сугробѣ горе,  
А ребятамъ смѣхъ!

Но межъ тѣмъ ужъ сѣло  
Солнышко давно;  
Поднялася вьюга,  
На небѣ темно.

Весь ты перезябнешь,  
Руки не согнешь,  
И домой тихонько,  
Нехотя бредешь.

Ветхую шубенку  
Скинешь съ плечъ долой;  
Заберешься на печь  
Къ бабушкѣ съдой.

И сидишь, ни слова...  
Тихо все кругомъ;  
Только слышишь,—воетъ  
Вьюга за окномъ.

Въ уголкѣ, согнувшись,  
Лапти дѣдъ плететъ;  
Матушка за прялкой,  
Молча, лень прядетъ.

Избу освѣщаетъ  
Огонекъ свѣтца;  
Зимній вечеръ длится,—  
Длится безъ конца...

И начну у бабки  
Сказки я просить;  
И начнетъ мнѣ бабка  
Сказку говорить:

Какъ Иванъ-царевичъ  
Птицу-жаръ поймалъ;  
Какъ ему невѣсту  
Сѣрый волкъ досталъ.

Слушаю я сказку,—  
Сердце такъ и мретъ;  
А въ трубѣ сердито  
Вѣтеръ злой поетъ.

Я прижмусь къ старушкѣ...  
Тихо рѣчь журчить,—  
И глаза мнѣ крѣпко  
Сладкій сонъ смежить.

И во снѣ мнѣ снятся  
Чудные края.  
И Иванъ-царевичъ—  
Это будто я.

Вотъ передо мною  
Чудный садъ цвѣтетъ;  
Въ томъ саду большое  
Дерево растетъ.

Золотая клѣтка  
На сучкѣ виситъ;  
Въ этой клѣткѣ птица  
Точно жаръ горитъ;



Прыгаетъ въ той клѣткѣ,  
Весело поетъ;  
Яркимъ, чуднымъ свѣтомъ  
Садъ весь обдаетъ.

Вотъ я къ ней подкрался  
И за клѣтку—хватъ!  
И хотѣлъ изъ сада  
Съ птицею бѣжать.

Но не тутъ-то было!  
Поднялся шумъ, звонъ;  
Набѣжала стража  
Въ садъ со всѣхъ сторонъ.

Руки мнѣ скрутили,  
И ведутъ меня...  
И, дрожа отъ страха,  
Просыпаюсь я.

Ужъ въ избу, въ окошко,  
Солнышко глядитъ;  
Предъ иконой бабка  
Молится, стоитъ.

Весело текли вы,  
Дѣтскіе года!  
Васъ не омрачали  
Горе и бѣда.

.....

## В Е С Н А.

---

Надъ землею воздухъ дышетъ  
День отъ дня теплѣе;  
Стали утромъ зорьки ярче,  
На небѣ свѣтлѣе.

Всходитъ солнце надъ землею  
Съ каждымъ днемъ все выше,  
И весь день, кружась, воркуютъ  
Голуби на крышѣ.

Вотъ и верба нарядилась  
Въ бѣлыя сережки,  
И у хатъ играютъ дѣти,—  
Веселятся, крошки!

Рады солнечному свѣту,  
Рады дѣти волѣ,  
И теперь ихъ въ душевной хатѣ  
Не удержишь болѣ.

Вотъ и ледъ на рѣчкѣ треснулъ,  
Рѣчка зашумѣла,  
И съ себя зимы оковы  
Сбрасываетъ смѣло;

Берега крутые роетъ,  
Разлилась широко...  
Плескъ и шумъ воды бурливой  
Слышенъ издалёка.

Въ небо тучка набѣжала,  
Мелкій дождикъ сѣетъ...  
Въ полѣ травка показалась,  
Поле зеленѣетъ.

На брединникѣ, на ивахъ  
Развернулись почки,  
И глядятъ, какъ золотые,  
Свѣтлые листочки.

Вотъ и лѣсъ одѣлся, пѣсни  
Птичекъ зазвенѣли,  
Надъ травой цвѣтовъ головки  
Ярко запестрѣли.

Хороша весна-царица,  
Въ плащъ цвѣтной одѣта!  
Много въ воздухѣ разлито  
И тепла, и свѣта...



## ВЪ НОЧНОМЪ.

---

Лѣтній вечеръ. За лѣсами  
Солнышко ужъ сѣло;  
На краю далекомъ неба  
Зорька заалѣла;

Но и та потухла. Топотъ  
Въ полѣ раздается:  
То табунъ коней въ ночное  
По лугамъ несется.

Ухвата коней за гриву,  
Скачутъ дѣти въ полѣ.  
То-то радость и веселье,  
То-то дѣтямъ воля!

По травѣ высокой кони  
На просторѣ бродятъ;  
Собралися дѣти въ кучку,  
Разговоръ заводятъ.

Мужички сторожевые  
Улеглись подъ лѣсомъ,  
И заснули... Не шелохнетъ  
Лѣсъ густымъ навѣсомъ.

Все темнѣй, темнѣй и тише...  
Смолкли къ ночи птицы;  
Только на небѣ сверкаютъ  
Дальнія зарницы.

Кой-гдѣ звякнетъ колокольчикъ,  
Фыркнетъ конь на волѣ,  
Хрухнетъ вѣтка, кустъ,—и снова  
Все смолкаетъ въ полѣ.

И на умъ приходятъ дѣтямъ  
Бабушкины сказки:  
Вотъ съ метлой несется вѣдьма  
На ночныя пляски;

Вотъ надъ лѣсомъ мчится лѣшій  
Съ головой косматой,  
А по небу, сыпля искры,  
Змѣй летитъ крылатый;

И какія-то все въ бѣломъ  
Тѣни въ полѣ ходятъ...  
Дѣтямъ бѣздно—и дѣти  
Огонёкъ разводятъ.

И трещать сухіе сучья,  
Разгораясь жарко,  
Освѣщая тьму ночную  
Далеко и ярко...

~~~~~

Л Ъ Т О М Ъ.

Вотъ и лѣто. Жарко, сухо;
Отъ жары нѣтъ мочи.
Зорька сходится съ зарею,
Нѣтъ совсѣмъ и ночи.

По лугамъ идутъ работы
Въ утреннія рѣсы;
Только зорюшка займется,
Звякають ужъ косы.

И ложится подъ косами
Травушка рядами...
Сколько гнѣздъ шмелиныхъ срѣжутъ
Косари косами!

Вотъ, сверкнувъ, коса взмахнула
И—одна минута—
Ужъ шмели вверху кружатся:
Нѣтъ у нихъ пріюта.

Сколько птичьихъ гнѣздъ задѣнуть
Косари косою!
Сколько малыхъ птичьихъ дѣтокъ
Покосятъ съ травой!

Имъ не врагъ косарь,—косою
Радъ бы ихъ не встрѣтить;
Да трава вездѣ густая,—
Гдѣ жъ ихъ тамъ замѣтить!...

Поднялось и заиграло
Солнце надъ полями,
Поразсыпалось своими
Жгучими лучами;

По лугамъ съ травы высокой
Рѣсу собираетъ,
И отъ солнечнаго зноя
Поле высыхаетъ.

А косить траву сухую—
Не косьба, а горе!...
Косари ушли, и сохнетъ
Сѣно на просторѣ.

Солнце жарче все и жарче:
На небѣ ни тучи;
Только вьется надъ травой
Мошекъ рой летучій;

Да шмели, жужжа, кружатся,
Надъ гнѣздомъ хлопочуть;
Да кобылки, не смолкая,
На полѣ стрекочуть.

Вотъ и полдень. Вышли бабы
На поле толпами,
Полувыхшее сѣно
Ворошатъ граблями.

Растрясаятъ, разбиваютъ,
Пѣдъ лугу ровняютъ;
А на немъ, со смѣхомъ, дѣти
Бѣгаютъ, играютъ.

Растрясали, разворошили,—
Съ плечъ долой забота!
Завтра за-полдень другая
Будетъ имъ работа:

Подгребать сухое сѣно,
Класть его копнами,
Да возить домой изъ поля,
Навивать возами.

Вотъ и вечеръ. Солнце сѣло;
Близко время къ ночи;
Тишина въ поляхъ, безлюдье,—
Конченъ день рабочій.

~~~~~



## Н А Р Ъ К Ъ.

---

Ложится тихо ночи тѣнь...  
Луга росой уже покрыты,  
И тонуть въ сумракъ поля  
И прибрежныя ракиты.

На берегу рѣки костеръ,  
Въ кустахъ разложенный, пылаетъ,—  
И воды дремлющія онъ  
Багровымъ свѣтомъ озаряетъ.

Передъ костромъ старикъ-рыбакъ  
Справляетъ лодку съ старшимъ внукомъ,  
Не нарушая тишины  
Ни громкимъ говоромъ, ни стукомъ;

А младшій внукъ, живой шалунъ,  
Бросая сучьями сухими  
Въ костеръ, любитъ тайкомъ,  
Какъ искры тонуть въ черномъ дымѣ.

Вдругъ громко вымолвилъ старикъ:  
„Ванюшка, полно баловаться!  
Скорѣй неси сюда смольё,  
Пора на ловлю отправляться.“

И мальчикъ весело вскочилъ,  
И торопливо. заметался,  
Собралъ лучину и смольё,  
И къ лодкѣ спущенной помчался.

Ночная ловля для него  
Была завѣтною мечтою,—  
И дѣдъ сегодня въ первый разъ  
На лодку бралъ его съ собою.

„Садись, пострѣль,—сказалъ рыбакъ  
Съ усмѣшкой тихо мальчугану,—  
Да, чуръ, молчи! а то сейчасъ  
Изъ лодки вонъ, шутить не стану!“

Такъ пригрозилъ ему старикъ,  
Глядя въ лице малютки кротко,  
И расторопный мальчуганъ  
Съ веселымъ смѣхомъ прыгнулъ въ лодку.

И рыбаки, перекрестясь,  
На ловъ отправились въ ночную;  
Лучильникъ къ лодкѣ привинтивъ,  
Зажгли лучину смоляную.

Непроницаемая тьма  
Пловцовъ отвсюду окружала;  
Вездѣ царила тишина;  
Ничто ихъ ловлѣ не мѣшало.

Весло до дремлющей воды  
Какъ будто вовсе не касалось,  
И на лучильникѣ смольё  
Все ярче, ярче расгоралось.

Рѣкою тихо лодка шла.  
Верхушки ивъ зеленыхъ рдѣлись,  
Валежникъ, рыба, камни, пни,  
Какъ на полу, на днѣ виднѣлись.

Дѣдъ ловко дѣйствовалъ весломъ,  
А внукъ зубчатой острогдю;  
Но мальчикъ занятъ былъ другимъ,—  
Огня волшебною игрою.

Какъ будто сказочный мірокъ  
Открылся вдругъ передъ глазами:  
Видѣнья чудныя предъ нимъ  
Вставали пестрыми толпами.

Вотъ, вотъ чудовища къ нему  
Руками грозно потянулись,—  
То прибрежные кусты  
Надъ лодкой вѣтвями нагнулись.

Вотъ змѣй-горынычъ скалитъ пасть,  
Прижавши грудью великана,—  
То дубъ, поваленный грозой,  
Собой пугаетъ мальчугана.

Но шаловливый вѣтерокъ  
Вдругъ пламя въ сторону наклонить,—  
И все видѣнье это въ мигъ  
Безслѣдно въ тьмѣ ночной потонетъ.

Тогда малютка взглянетъ вверхъ,  
И тамъ ряды видѣній странныхъ,  
Ряды пугающихъ картинъ,  
Неуловимыхъ и туманныхъ.

Вотъ будто лапы сверху внизъ  
Ползутъ—и жмурится малютка,  
Стараясь страхъ преодолѣть,—  
И хорошо ему, и жутко.

Вотъ старику проворный внукъ  
Кивнулъ кудрявой головою,  
И лодка стала. Острога  
Взвилась и скрылась подъ водою.

Еще мгновенье—и у ногъ  
Малютки рыба очутилась.  
Какъ извивалась она,  
Какъ на зубахъ рвалась и билась!

Глядитъ на рыбу мальчуганъ,  
Чуть-чуть отъ жалости не хныча;  
Но рыбакамъ не до того,  
Чтобы жалѣть свою добычу.

Прибралъ ее сѣдой рыбакъ;  
А ловкій внукъ ужъ цѣлитъ снова,—  
И на зубчатой острогѣ  
Добыча новая готова.

Такъ впечатлѣніе одно  
Другимъ для мальчика смѣнялось;  
А ночь короткая, межъ тѣмъ,  
Къ разсвѣту быстро приближалась.

Неясный, блѣдный лучъ зари  
Ужъ загорѣлся на востокѣ,  
Вдали, почувавши разсвѣтъ,  
Лягушки квакали въ осѣкѣ.

Прохладнѣй стало на рѣкѣ,  
И звѣзды на небѣ блѣднѣли...  
И мальчикъ въ лодкѣ задремалъ,  
Качаясь въ ней, какъ въ колыбели...

~~~~~

У П Р У Д А.

У пруда, гдѣ верба
Стройная растетъ,
Дѣвочка-малютка
Утокъ стережетъ!

Утки на свободѣ
Весело гогочуть;
А въ травѣ кобылки,
Прыгая, стрекочуть.

Нѣсколько избенокъ,
Да господскій домъ
Съ садомъ запустѣвшимъ
Видны за прудомъ.

Ветхіе сараи,
Темные овины
Смотрять такъ уныло,
Точно сиротины.

Пусто и безлюдно...

Въ полѣ весь народъ:
Тамъ теперь работа
Жаркая идетъ.

Бѣдная деревня
Тишиной объята,—
Лишь хохочутъ гдѣ-то
Весело ребята.

Хочется малюткѣ
Убѣжать скорѣй
Въ кругъ веселыхъ, бойкихъ
Сверстниковъ-дѣтей.

Думаетъ: „Какъ птица,
Къ нимъ бы я слетала,—
Да ходить отсюда
Мать не приказала...

„Да! сиди здѣсь смирно,
Стереги утятъ;
А въ лѣсу подружки
Бѣгаютъ-шумятъ!..

„Мнѣ одной нельзя, вишь...
Что жъ! Нельзя—не надо!“
И въ глазахъ сверкнула
Дѣвочки досада.

На лице печали
Облако нашло...
Мигъ одинъ,—и снова
Личико свѣтло.

Шепчетъ, улыбаясь:
„Глупая я, право!
Мать мнѣ говорила:
Намъ не до забавы.

„Вѣдь учить худому
Не захочетъ мать“...
И чулокъ свой стала
Дѣвочка вязать.

Только въ ручкахъ спицы
Ходятъ плохо что-то:
Въ головѣ другая
Началась работа.

Рой вопросовъ темныхъ,
Рой безсвязныхъ думъ
Занимаютъ дѣтскій
Не развитый умъ.

О житьѣ домашнемъ
Думаетъ малютка.
Въ немъ одно понятно
Для ея разсудка:

То, что даже въ праздникъ
Скудень ихъ обѣдъ,
И порою крошки
Хлѣба въ домѣ нѣтъ.

Часто плачутъ дѣти
И кричатъ упрямо:
„Мама! мы не ѣли!
Дай намъ хлѣба, мама!“

Мать съ отцомъ трудятся
Дѣло поту лица;
Говорятъ: „работѣ
Нашей нѣтъ конца.

„Мы ложимся поздно,
А встаемъ до свѣту“...
Что же это значить,
Что конца ей нѣту?..

Вспомнилось малюткѣ,
Какъ отецъ вчера
Выѣхалъ изъ дому
Съ раннего утра.

Мать она спросила:
На работу, что ли,
Онъ чуть свѣтъ поѣхалъ
Съ бороною въ поле?

„Нѣтъ, не на работу,—
Въ городъ“, говоритъ...
Поздно онъ вернулся,—
Ужъ куда сердить!

Молвилъ: „Вотъ, пришлось
Отдавать скотинку...
Эхъ, ты жизнь-кручина!
Лучше бъ подъ холстинку!“

Нынче утромъ рано
Тяжка всталъ опять,
И повель корову
Въ городъ продавать...

Отчего все это?...
Что такое значить,
Что отецъ такъ грустенъ,
Мать такъ часто плачетъ?...

Все длиннѣй вопросовъ
Безпокойныхъ нить,—
Только ихъ малютокъ
Трудно разрѣшить.

Маленькое сердце
Сжалось больно, больно;
А кругомъ такъ тихо,
Ясно и привольно...

~~~~~

## К Л А Д Ъ.

(БАБУШКИНА СКАЗКА).

---

### I.

На краю селенья  
Хатка пошатнулась;  
Къ хаткѣ дружелюбно  
Ивушка нагнулась;

Темными вѣтвями  
Хатку приукрыла,  
Чтобы жаркимъ лѣтомъ  
Ей прохладно было.

Въ хаткѣ одиноко  
Вѣкъ свой доживаетъ  
Бабушка Маланья,—  
Кто ее не знаетъ!

Здѣсь по всей сторонкѣ,  
Въ каждой деревушкѣ,  
Съ дѣда до ребенка  
Знають о старушкѣ.

Хворь кого прихватить,—  
А пора-то—страда,—  
Въ полѣ людъ рабочій  
Въ это время надо.

Ну, а какъ больного  
Безъ призора бросить?  
И бѣгутъ къ старушкѣ,  
Домовничать просятъ.

Нѣтъ у ней отказа,—  
Добрая такая!  
За больнымъ старушка  
Ходить, какъ родная.

Любятъ ее дѣти  
За привѣтъ да ласки,—  
Бабушка Маланья  
Говорить имъ сказки.

## II.

Ясный, лѣтній вечеръ;  
Въ воздухѣ прохлада;  
Съ поля воротилось  
На селенье стадо.

Смолкли шумъ и говоръ:  
Смученъ людъ трудами...  
Ивушка надъ хаткой  
Не качнетъ вѣтвями.

Тишь кругомъ такая—  
Хоть бы гдѣ словечко...  
Бабушка Маланья  
Вышла на крылечко.

Къ бабушкѣ Маланѣ  
Дѣти собралися...  
Глядь, у ней гостинцы  
Для дѣтей нашлися.

То-то дѣтямъ любо,  
То-то имъ утѣха!  
Сколько у малютокъ  
Радости и смѣха!

Пристаютъ къ ней дѣти,  
Зная старой ласку:  
—Бабушка Маланя,  
Разскажи намъ сказку!

„Что мнѣ съ вами дѣлать?  
Бѣловни вы, право!  
Все скажи вамъ сказку—  
Только и забавы.

„Прежде я вотъ много  
Сказокъ этихъ знала,  
Да перезабыла—  
Старость доканала.

„Памяти-то нѣту,—  
Вотъ бѣда-досада;  
А сказать вамъ, дѣтки,  
Сказку, видно, надо.

### III.

Далеко отсюда  
Есть село большое;  
Въ томъ селѣ когда-то  
Жили мужъ съ женою.

Жили по крестьянству  
Люди тѣ богато:  
Дворъ скотомъ былъ полонъ,  
А достаткомъ хата.

Жили эти люди  
И нужды не знали...  
Былъ у нихъ сыночекъ,  
Титушкою звали.

Былъ у нихъ одинъ онъ,—  
Ну, и росъ онъ въ холѣ:  
Бѣлый и румяный,  
Что цвѣточекъ въ полѣ.

Титушку мать любитъ,  
Въ немъ души не слышитъ;  
Только ей и дѣла—  
На сыночка дышетъ.

То его умоетъ,  
То его причешетъ,  
Дастъ ему гостинца,  
Сказкою потѣшитъ.

Лѣтомъ соберутся  
Дѣти на лужайку  
И игру затѣютъ  
Въ городки, иль свайку.

Титушкѣ съ дѣтями  
Поиграть охота,—  
Мать его не пустить:  
„Что ты, милый, что ты!

„Не ходи,—головку  
Напечетъ тамъ солнце;  
Сядь вотъ здѣсь, на лавкѣ,  
И гляди въ оконце.“

А зимой катаньемъ  
Тѣшатся ребята,—  
Титушкѣ же выйти  
Мать не дастъ изъ хаты:

„Не ходи —морозно,  
Дитятко родное!  
Ну, какъ захвораетъ,—  
Горюшко мнѣ злое!

„Что мнѣ бѣдной дѣлать?  
Я умру съ печали...“  
Годы проходили,  
Годы миновали...

Титушка ужъ парнемъ  
Сталь изъ паренёчка;  
Мать же, какъ и прежде,  
Холить все сыночка.

Что онъ не попросить—  
Все ему готово:  
Сапожки ль со скрипомъ,  
Иль кафтанчикъ новый.

Никакой работы  
Титушка не знаетъ:  
То лежитъ на лавкѣ,  
То въ селѣ гуляетъ.

И женѣ, съ досадой,  
Молвить мужъ, бывало:  
„Что ты его холишь,  
Дурень выйдетъ малый!

„Ты бѣ его по дѣму  
Къ дѣлу приучала,  
Чѣмъ къ гульбѣ, къ бездѣлю...  
Толку въ этомъ мало!

„Ну, какъ насъ не будетъ,  
Что онъ станетъ дѣлать?  
Пѣ-міру скитаться,  
У чужихъ обѣдать?“



Ну, да гдѣ жъ, бывало,  
Столковать съ женою:  
Та горой за сына...  
Мужъ махнетъ рукою...

Какъ-то разъ съ сыночкомъ  
Что-то приключилось:  
Слегъ онъ, просить меду—  
Меду не случилось.

Бросилася баба  
Ночью, въ непогоду,  
Съ буракомъ къ сосѣдямъ  
Раздобыться меду.

Гдѣ-то для сыночка  
Меду отыскала;  
Крѣпко застудилась,  
Да и захворала.

Только два дня баба  
Мучилась на свѣтѣ,  
Да и Богу душу  
Отдала на третій;

А за нею вскорѣ  
И мужикъ убрался.  
И одинъ на свѣтѣ  
Титушка остался.

И въ добрѣ, достаткѣ,  
Онъ не долго пѣжилъ,  
Что по дѣму было  
Все проѣлъ да прѣжилъ.

И лежитъ день цѣлый  
Парень—голадаетъ,  
Какъ добыть трудами  
Хлѣбъ себѣ—не знаетъ.

Сжалился надъ малымъ  
Дѣдушка Порфирій;  
Человѣкъ былъ умный  
Онъ въ крестьянскомъ мѣрѣ.

Къ дѣдушкѣ Порфирью  
Собирались часто  
На совѣтъ крестьяне,—  
Скажетъ что, и баста!

Какъ-то дѣдъ Порфирій  
Къ Титушкѣ заходитъ;  
Помолившись Богу,  
Рѣчь онъ съ нимъ заводитъ:

„Ну, скажи, дружище,  
Какъ тебѣ живется?  
Какъ тобой хозяйство  
Пѣ-дому ведется?“

Титушка промолвилъ  
Дѣдушкѣ со вздохомъ:  
—Охъ, живется горько!  
Охъ, живется плохо!

„Слушай, Титъ,—есть слово  
До тебя такое,  
Что свое хозяйство  
Справишь ты плохое.

„Я чужимъ достаткомъ  
Не хочу разжиться:  
Своего довольно—  
Будеть прокормиться.

„Твой отецъ по дружбѣ  
Разказалъ мнѣ это:  
Кладъ—и кладъ не малый—  
Схоронилъ онъ гдѣ-то.

„Ты возьми-ка заступъ,—  
Дѣло на свободѣ,—  
Да вскопай поглубже  
Землю въ огородѣ.

„Можетъ, кладъ отцовскій  
Гдѣ и попадется;  
А тогда, ты знаешь,  
Славно заживется.“

Титъ взялся за заступъ,—  
Малому въ забаву:  
Въ огородѣ землю  
Онъ вскопалъ на славу.

Да на кладъ отцовскій  
Парень не наткнулся.  
Посмотрѣлъ дѣдъ старый,  
Только усмѣхнулся.

„Что нашель?“ онъ молвилъ.  
—Нѣтъ, не отыскался.  
„Экая досада!  
Гдѣ жъ онъ затерялся?

„Кладъ сыскать—не рѣпу  
Выдернуть, примѣрно:  
Все-таки отыщемъ  
Кладъ мы этотъ—вѣрно.

„Огородъ-то вскопанъ,—  
Сдѣлай-ка, братъ, грядки,  
Да на нихъ съ молитвой  
Посади росадки.

„Посмотри—капуста  
Важная родится;  
А она для дому,  
Знаешь, пригодится.“

Титушка охотно  
Дѣлаетъ и гряды,  
И на нихъ съ молитвой  
Садитъ онъ росады.

„Огородъ исправенъ:  
Пусть растетъ росада!  
А теперь ты въ полѣ  
Поищи-ка клада.

„Заступомъ-то трудно,—  
Взрой его сохою.  
Приходи, я лошадь  
Отпущу съ тобою.

„Вѣдь земля сохою  
Глубоко берется;  
Пѣдъ соху навѣрно  
Кладъ и попадется...“

Титушка и поле  
Все вспахалъ сохою...  
Нѣтъ-какъ-нѣтъ все клада,  
Дуй его горою!

Дѣдъ выходитъ въ поле—  
Титушка трудится  
Такъ, что даже градомъ  
Потъ съ лица катится.

„Что, нашель?“ дѣдъ молвилъ.  
—Нѣту, не попался.  
„Экая досада!  
Гдѣ жъ онъ подѣвался?

„Ну, да это горе—  
Горе не большое!  
Вѣдь вспахать и поле  
Дѣло не худое.

„Ты его пройди-ка,  
Парень, бороною,—  
Да зерномъ засѣмъ  
Мы его съ тобою.

„Посмотри, какая  
Рожь у насъ родится!  
Будутъ всѣ сосѣди  
На нее дивиться.“

Взборонилъ Титъ поле,  
И засѣялъ рожью.  
Вырастай, родная,  
Благодать ты божья!...

И съ тѣхъ поръ къ работѣ  
Малый приучился;  
Онъ съ утра до ночи  
По дому трудился.

Сталь такой работникъ,  
Не сыскать другова,—  
За поясъ въ работѣ  
Онъ заткнетъ любова...

Отъ трудовъ-работы  
Зажилъ Титъ богато:  
Дворъ скотомъ сталь полонъ,  
А достаткомъ хата...

#### IV.

Бабушка умолкла.  
Головой сѣдою  
Наклонилась къ дѣтямъ,  
Гладить ихъ рукою.

„Ну, ступайте, дѣтки!  
Время ужъ до хаты...  
Станете трудиться,  
Будете богаты.“

—Бабушка, а кладъ-то  
Гдѣ же подѣвался?  
Али не отысканъ  
Такъ онъ и остался?

Дѣти съ любопытствомъ  
Бабушку спросили.  
„Нѣтъ, сыскался, дѣтки...  
Онъ въ трудѣ да въ силѣ.“

~~~~~

Г О Р Е.

Получилъ письмо отъ внука
Дѣдушка Ѳедотъ;
Внукъ на фабрикѣ прядильной
Въ Питерѣ живетъ.

Что въ письмѣ томъ пишетъ внучекъ
Нужно дѣду знать,—
Да письма-то не умѣетъ
Самъ онъ прочитать.

И выходить на крылечко
Дѣдушка Ѳедотъ,—
Сѣлъ съ письмомъ, и грамотея
Съ нетерпѣньемъ ждетъ.

Время къ вечеру подходитъ,
Скотъ идетъ съ полей.
Вотъ предъ дѣдомъ показался
Жданный грамотей.

Мальчикъ въ бѣленькой рубашкѣ

По селу идетъ.

Дѣдъ кричитъ ему: „Ванюша!

На, прочти-ка вотъ!

„Что тутъ пишетъ милый внучекъ

Нужно мнѣ узнать.“

Мальчикъ взялъ письмо, и бойко

Принялся читать.

Дѣдъ нагнулся къ грамотею,

Слушаетъ его.

Пишетъ внукъ: „чтобы не ждали

Денегъ отъ него.

„Знаетъ онъ, что деньги нужны,

Что оброкъ стоитъ,—

Гдѣ же взять ихъ? Онъ въ больницѣ

Въ Питерѣ лежитъ.

„И едва-ли скоро выйдетъ;

Боль-то не легка:

У него по самый локоть

Отнята рука.

„Раздавило на работѣ

Руку шестерней;

И теперь семьѣ помощникъ

Будетъ онъ плохой.

„Хоть и выйдетъ изъ больницы, —

Такъ опять бѣда:

Искалѣченный, безрукій, —

Годень онъ куда?“

Много въ томъ письмѣ для дѣда

Горя и заботъ!

И заплакалъ горько, горько

Дѣдушка Федотъ.

И глядитъ тоскливо мальчикъ, —

Тяжело ему;

Горе стараго понятно

И его уму.

Онъ поникъ головкой русой,

Опустилъ глаза,

И по личику ребенка

Катится слеза...



ДѢДЪ КЛИМЪ.

Утро. Зорькой золотою
Зарумянился востокъ;
Изъ села выходитъ стадо;
Заливается рожекъ.

Пробудилася забота,
Принимается за трудъ;
По селу скрипятъ ворота,
Бабы пѣ-воду идутъ.

Пробудились въ хатахъ дѣти:
Какъ птенцы изъ-подъ застрѣхъ,
Показались—солнцу рады,—
Слышенъ говоръ ихъ и смѣхъ.

—Что жъ, ребята, къ дѣду Климу?
Онъ вчера намъ говорилъ:
„Приходите! рой я пчелокъ
Въ новый улей отсадилъ.

„Я вамъ, дѣтки, этихъ пчелокъ
Въ новомъ ульѣ покажу,—
Накормлю досыта мѣдомъ,
Сказку новую скажу.“

Кто не знаетъ дѣда Клима,—
Это старый пчеловодъ!..
Домъ покинулъ, въ лѣсъ сосновый
Забрался —и тамъ живетъ.

Лѣтомъ ходитъ за пчелами,
Собираетъ въ ульяхъ медъ,—
А зимой—иное дѣло:
Дѣдъ зимою—зайцевъ бьетъ.

И въ деревню онъ не ходитъ,—
Надоѣла, вишь, ему,
И спросите вы у дѣда:
Отчего и почему?

Дѣдъ отвѣтитъ какъ-то тихо:
„Да ужъ нравъ, знать, мой таковъ,—
Не люблю я ссоръ и брани,
Разныхъ дрязгъ и пустяковъ.

„Ну, а тамъ сосѣди,—знаешь,—
Уберечься какъ же тутъ?...
И горшекъ съ горшкомъ столкнется...
Ну, ихъ къ Богу,—пусть живутъ!..

„Я люблю свой лѣсъ и пчельникъ,—
Отъ деревни я отвыкъ“...
Не пытайте—больше слова
Не отвѣтитъ вамъ старикъ.

Къ дѣду старому на пчельникъ
Изъ сосѣднихъ деревень
Соберутся ребятишки,
И шумятъ тамъ цѣлый день.

Дѣдъ дѣтей сердечно любить,
Не ворчитъ и не бранитъ,—
То по пчельнику ихъ водить,
То имъ сказки говорить.

И теперь толпою дѣти
Къ дѣду старому бѣгутъ:
Знаютъ дѣти, что у дѣда
Ласку встрѣтятъ—медъ найдутъ.

И бѣгутъ они полями
Межъ густой, высокой ржи—
И головками киваютъ
Василечки имъ съ межи...

Хорошо дѣтишкамъ—любо,
На душѣ у нихъ свѣтло,—
Солнце ласково такъ смотреть —
Въ полѣ тихо и тепло.

Миновали дѣти поле—
И бѣгутъ они тропой
По заросшей болотинѣ
Подъ сосновый лѣсъ, густой.

Вотъ и лѣсъ. И малыхъ дѣтокъ
Онъ накрылъ, что тѣмный сводъ—
И смолой своей душистой
Отовсюду обдаётъ.

Чуть шумитьверху соснами
Перелетный вѣтерокъ,—
Ниже темъ и тишь такая...
Что за чудный уголокъ!

Вотъ и пчельникъ дѣда Клина:
Хатка, садикъ и прудокъ—
И угодника Зосима
Надъ калиткой образокъ.

За плетнемъ высокимъ, частымъ
Ульи темные стоятъ,
И надъ ульями день цѣлый
Пчелы выются и жужжатъ.

Старый Климъ сидитъ у хаты,
Точно лунь, онъ весь сѣдой,—
На свои худыя руки
Оперся онъ головой;

Отъ густыхъ, высокихъ сосенъ
На него ложится тѣнь...
Дѣда взоръ такъ тихъ и ясенъ,
Точно свѣтлый лѣтній день.

Знать, чиста душа у дѣда.
Жизнь прожита не грѣша.
Что на Божій міръ онъ ясно
Смотрить—добрая душа!

Дѣдъ, увидя ребятишекъ,
Усмѣхнулся и привсталъ:
— Нутко, материны дѣти!
Маршъ! на пчельникъ—на приваль!

Рады ласкѣ ребятишки.—
Дѣтскій смѣхъ ихъ зазвенѣлъ...
Пчельникъ ожилъ,—точно новый
Рой на пчельникъ прилетѣлъ.

~~~~~

## З И М А.

---

Бѣлый снѣгъ, пушистый,  
Въ воздухѣ кружится,—  
И на землю тихо  
Падаетъ, ложится.

И подъ утро снѣгомъ  
Поле забѣлѣло,  
Точно пеленою  
Все его одѣло.

Тѣмный лѣсъ, что шапкой  
Принакрылся чѹдной—  
И заснулъ подъ нею  
Крѣпко, непробудно...

Божьи дни коротки,  
Солнце свѣтитъ мало,—  
Вотъ пришли морозцы—  
И зима настала.



Труженикъ-крестьянинъ  
Вытащилъ санишки;  
Снѣговя горы  
Строятъ ребятишки.

Ужъ давно крестьянинъ  
Ждалъ зимы и стужи,—  
И избу соломой  
Онъ укрылъ снаружи,

Чтобы въ избу вѣтеръ  
Не проникъ сквозь щели,  
Не надули бъ снѣга  
Вьюги и метели.

Онъ теперь покоенъ—  
Все кругомъ укрыто,—  
И ему не страшенъ  
Злой морозъ, сердитый.



Въ тихомъ сумракѣ лампада  
Свѣтомъ трепетнымъ горитъ;  
Предъ иконой бѣлокурый  
Внучекъ съ дѣдушкой стоитъ.

Говоритъ ребенку тихо,  
Наклоняся, дѣдъ сѣдой:  
„Помолились за всѣхъ мы,  
Мой малютка дорогой.

„Помолились за родныхъ мы,  
Помолились за чужихъ,  
За людей почившихъ въ мирѣ,  
За трудящихся живыхъ.

„Помолились... но забыли  
Помолиться мы за тѣхъ,  
Кто томится въ злой неволѣ  
Безъ отрады и утѣхъ.

„Чье въ тоскѣ сгараеть сердце,  
Гаснуть очи подъ слезой...  
Чья проходить жизнь сурово  
За тюремную стѣной.

„Ихъ не грѣетъ Божье солнце,  
Чуть въ оконце къ нимъ свѣтъ...  
Такъ помолимся же Богу  
Мы за нихъ, мое дитя!

„Тяжела, горька ихъ доля,  
Скорбь да горе въ ихъ груди,—  
Нѣтъ у нихъ ни свѣтлой вѣры,  
Ни надежды впереди.

„Даруй, Богъ, имъ облегченье  
Въ темнотѣ тюрьмы глухой,—  
Ниспошли имъ миръ душевный,  
И сердечный дай покой.

„Воскреси ихъ упованья,  
Съ горькой долей примири,  
Свѣтлой вѣрой и надеждой  
Путь ихъ скорбный озари“....

И кладетъ дитя поклоны  
При мерцающемъ огнѣ,  
И за дѣдушкой молитву  
Повторяетъ въ тишинѣ.



## З И М О Й.

Морозить. Безъ устали внизъ опускаясь,  
Снѣгъ стелется въ полѣ. Изъ рощи дитя  
Санишки съ валежникомъ тащить, крехтя,  
И вязнетъ въ сугробахъ, изъ силъ выбиваясь.  
Онъ къ трудной работѣ такой не привыкъ,  
И радъ отдохнуть,—да попробуй, присядь-ка!  
Чужая вѣдь роща,—накроетъ лѣсникъ,  
И шибко разсердится батька.

Отецъ его занятъ работой домашней.  
Недѣлю назадъ схоронили они  
Родимую мать,—и тяжелые дни  
Въ семьѣ наступили съ нуждою всегдашней.  
Припомнилъ ребенокъ, шагая съ трудомъ,  
Какъ молвилъ отецъ имъ: „Ребятки, куда мы  
Безъ матери дѣнемся? какъ проживемъ?  
Не стало работницы-мамы!

„Какъ сладить мнѣ съ горемъ-несчастьемъ этимъ?  
Вездѣ незадача, куда не взгляну!  
Возьму ли себѣ я другую жену,—  
Не будетъ родимою матерью дѣтямъ.  
Согнетъ меня лютое горе въ дугу!  
Зачахнетъ безъ матери бѣдная Катка!..“  
И мальчикъ вдругъ вскрикнулъ: „Такъ я жъ помогу!  
Пускай не печалится тятка!

„Пускай не горюетъ,—покинетъ заботу!  
Я стану лелѣять и няньчить сестру,  
И съ ранней зарею вставать поутру;  
Потѣмъ подросту и возьмусь за работу.  
Зачѣмъ мнѣ собою отца тяготить?  
Кормиться я буду своими трудами,  
И въ лѣтніе праздники съ батькой ходить  
На сельское кладбище —къ мамѣ“.



## НАПЛА КОСА НА КАМЕНЬ.

---

**П**рѣхалъ баринъ къ кузнецу.  
Онъ былъ силачъ не малый:  
Своей онъ силою любилъ  
Похвастаться, бывало.

—Эй, слушай, братецъ!.. подь коня  
Мнѣ сдѣлай двѣ подковы:  
Желѣзо прочное поставь,—  
За трудъ тебѣ—цѣлковый!

Я нынче съ раннего утра  
Охотиться собрался;  
Уѣхалъ изъ дому, а конь  
Въ дорогѣ расковался.

Кузнецъ за дѣло принялся.  
Вѣдь, баринъ тароватый,—  
Такъ, значить, надо услужить,—  
Не по работѣ плата!

Кипить работа, и одна  
Подкова ужъ готова.  
Подкову баринъ въ руки взялъ,  
Погнулъ—и трахъ подкова!..

—Желѣзо, братецъ мой, плѣхо,—  
Поставь-ка ты другое:  
Не хватить, вѣрно, и на часъ  
Коню добро такое.

Кузнецъ на барина взглянулъ  
Съ усмѣшкою лукавой,—  
И вновь подкову онъ сковалъ,—  
Сковалъ ее на славу.

—„Ну, эту, баринъ, вѣрно, вамъ  
Сломать ужъ не придётся.“  
И баринъ вновь подкову взялъ,  
Погнулъ—не подается.

Онъ натянулся сколько могъ:  
Напружились всѣ жилы...  
Подкова чѣртовски стойка,—  
Сломать ея нѣтъ силы.

—Ну, эта, братецъ мой, прочна,—  
И куй по этой пробѣ:  
Меня охотники давно,  
Чай, ждутъ въ лѣсной трущебѣ.

Подкованъ конь, и въ землю бьетъ  
Онъ новою подковой.  
Кузнецъ за трудъ смиренно ждетъ  
Объщанный цѣлковый.

—Теперь я смѣло на конѣ  
Отправляюсь на охоту:  
Ну, вотъ, мой милый, получи  
Рублевикъ за работу.

—„Эхъ, баринъ, рубль-то не хорошъ,—  
Пускай хоть онъ и новый.“  
И, взявши въ пальцы, какъ стекло,  
Кузнецъ сломалъ цѣлковый.

Теперь ужъ баринъ поглядѣлъ  
На парня,—неказистый:  
Лицомъ невзраченъ, ростомъ малъ,  
Но жилистый, плечистый.

И вновь досталъ изъ кошелька  
Ему онъ два цѣлковыхъ:  
—Ну, эти будутъ хороши,—  
Хотя и не изъ новыхъ?—

—„И эти, баринъ, негодны,—  
Металлъ-то не на чести!“—  
Кузнецъ и эти два рубля  
Сломалъ, сложивши вмѣстѣ.



—Ну, я, братъ, дамъ тебѣ рубли  
Теперь инаго сорта:  
Наткнулся въ жизни я впервѣй  
На этакого чѣрта!

И три рублёвки кузнецу  
Даетъ онъ за работу,—  
И силой хвастать съ этихъ поръ  
Покинулъ онъ охоту.

## Д Ъ Т И.

---

Солнышко ужъ встало  
И глядитъ въ окно;  
Ужъ щебечутъ птички  
За окномъ давно.

Вышли дѣти,— травка  
Отъ росы мокра,  
И на ней сіяютъ  
Капли серебра.

Темный садъ лучами  
Солнышка облить;  
Отъ деревъ рядами  
Тѣнь въ прудѣ лежитъ.

На дорожкахъ сыро,  
Въ воздухѣ легко,—  
И кричитъ дергачикъ  
Гдѣ-то далеко.

## ТИХАЯ ПОСТЕЛЬКА.

---

Ночь; въ углу свѣча горить;  
Никого нѣтъ,—жутко;  
Предъ иконою лежитъ  
Въ гробикѣ малютка.

И лежитъ онъ, точно спитъ  
Въ томъ гробочкѣ птенчикъ,  
И живыхъ цвѣтовъ лежитъ  
На головкѣ вѣнчикъ.

Ручки сложены крестомъ;  
Спитъ дитя съ улыбкой,  
Точно въ гробикѣ онъ томъ  
Положёнъ ошибкой.

Няня старая дитя  
Будто укачала;  
Вмѣсто люльки, да, шутя,  
Въ гробикъ спать уклала.

Хорошо ему лежать,—  
Въ гробикъ уютно.  
Горя онъ не будетъ знать,  
Гость земли минутный.

Не узнаетъ никогда,  
Свѣтлый житель рая,  
Какъ слезами залита  
Наша жизнь земная.



## СИРОТКА.

(По мысли Т. Шевченко).

День святой, великой Пасхи.  
Ярко солнце свѣтитъ;  
Передъ солнцемъ, на крылечкѣ,  
Собралися дѣти.  
Похваляясь другъ предъ другомъ,  
Весело шумѣли,  
Что, какія кто обновки  
На себя надѣли:  
Кто платокъ, кто душегрѣйку,  
Башмачки козловы,  
А кто платье... Одна только  
Стоитъ безъ обновы  
Сиротинка,—рученки  
На груди сложила,—  
На дѣтей богатыхъ смотреть,  
Бѣдная, уныло.  
Вотъ за нею молвить слово  
Очередь настала,—  
Нечѣмъ бѣдной похвалиться,  
И она сказала:  
„Есть у всѣхъ у васъ обновки;  
„Но вамъ не случилось  
„У попа гостить въ день свѣтлый...  
„А я... разговлялась“....

БЫЛИНЫ, СКАЗАНИЯ, ПОЭМЫ.



## САДКО.

### I.

Садко въ Новѣгородѣ.

### I.

На Святой Руси, въ Новѣгородѣ,  
Жиль богатый гость, звали Садкою;  
Прежде Садко былъ бѣднякомъ-бѣднякъ,  
А потомъ казну мѣрилъ кадкою.

Гдѣ же Садко такъ разжился, казной,  
Отчего же такъ Садко сталъ богатъ?...  
Садко былъ гусларь, на пирахъ игралъ,—  
Садкѣ грошъ дадутъ, Садко грошу радъ.

Разъ онъ ходитъ день, не зовутъ играть,  
Ходитъ онъ другой, хоть бы кто позвалъ;  
И на третій день Садкѣ зову нѣтъ,  
На четвертый день Садко грустенъ сталъ.

Онъ пошелъ тогда къ Ильмень-озеру,  
И надъ озеромъ Садко сталъ играть;  
Звуки чудные полились, дрожать,—  
Встрепенулася озерная гладь.

Всколыхнулося Ильмень-озеро—  
И подводный царь передъ Садкой всталъ ;  
Говоритъ ему: „За игру твою  
Наградить хочу,—хорошо игралъ!



„Награжу тебя,—будешь въ почести,  
Золотой казной будешь ты богатъ.  
Ступай въ Новгородъ, бейся, Садко, ты  
Съ Новгородцами на великъ закладъ.

„Заложи ты имъ свою голову,  
А они въ закладъ пусть кладутъ товаръ,—  
Что поймашь ты въ Ильмень-озерѣ  
Золотыхъ трехъ рыбъ, золотыхъ, какъ жаръ.

„Какъ побьешься ты съ Новгородцами  
На великъ закладъ,—приходи сюда,  
Закинь въ озеро неводъ шелковый,—  
Золотыхъ трехъ рыбъ тебѣ дамъ тогда.“

Всколыхнулося Ильмень-озеро,  
Всколыхнулося во всю ширь и мочь—  
И подводный царь подъ водой исчезъ;  
И отъ озера пошелъ Садко прочь.

Входитъ въ Новгородъ,—Садку ждуть давно  
На почестный пиръ—поиграть, попѣть;  
Зеленымъ виномъ Садку подчуютъ;  
Съ зелена вина Садко сталъ хмѣлѣть.

Захмѣлѣвши, онъ сталъ похвастывать,  
На честномъ пиру похваляться сталъ,  
Будто знаетъ онъ чудо чудное,  
Будто чудо то онъ не разъ видалъ.

Въ Ильмень-озерѣ есть три рыбины,  
„Чѣста золота чешуя на нихъ.“  
Купцы Садкѣ въ томъ не повѣрили,—  
Говорятъ ему: „Нѣту рыбъ такихъ.“

„Я кладу въ закладъ свою голову,—  
Говоритъ Садко богачамъ купцамъ,—  
Вы кладите же свой товаръ въ закладъ,—  
„Золотыхъ тѣхъ рыбъ я поймаю вамъ.“

На такой закладъ трое вызвались,  
Бились съ Садкою на весь свой товаръ.  
И связалъ Садко неводъ шелковый,—  
И поймалъ трехъ рыбъ, золотыхъ какъ жаръ.

И забралъ Садко у купцовъ товаръ,  
Сталъ въ Новгородѣ Садко торгъ вести;  
Нажилъ онъ казны, что и смѣты нѣтъ,—  
И въ Новгородѣ Садко сталъ въ чести.

## II.

Распахнувъ шубу мѣха куньяго,  
Разъ идетъ Садко по Новгороду;  
Входитъ на площадь онъ торговую,  
Сталъ, на площади, гладить бороду.

Заломивъ шапку соболиную,  
Предъ купцами онъ похваляется:  
„Богачи, купцы Новгородскіе!  
Кто со мной казной потягается?

„На казну свою я въ Новгородѣ.  
Захочу, скуплю весь, что есть, товаръ,—  
До послѣдняго горшка битаго,—  
Будетъ Новгородъ, что пустой базаръ.

„На другой-то день въ Новѣгородѣ  
По пустымъ рядамъ буду я ходить,  
И у васъ, купцы Новгородскіе,  
Будетъ нечего мнѣ тогда купить.“

Богачи, купцы Новгородскіе,  
На слова Садки подивилися,  
Въ похвальбѣ ему поперечили.  
На большой закладъ съ нимъ побилися,—

Что не скупить онъ весь, что есть, товаръ,—  
Безъ товару имъ не бывать, купцамъ.  
И не быть тому въ Новѣгородѣ,  
Чтобъ ходилъ Садко по пустымъ рядамъ.

Садко утромъ всталъ, призываетъ слугъ,  
Одѣляетъ ихъ золотой казной,  
Посылаетъ ихъ по Новгороду,  
Чтобъ скупить товаръ весь, гдѣ есть какой.

Разославши всѣхъ, Садко самъ пошелъ;  
Сыплетъ золотомъ, по рядамъ идетъ,  
Закупаетъ все чисто-на-чисто,  
Закупаетъ все, что метлой мететь.

Время къ вечеру, и въ Новгородѣ  
Ничего купить не осталось,—  
И по улицамъ Новагорода  
Кой-какая дрянь лишь валялася.

На другой же день Садко утромъ всталъ.  
По Новгороду посмотрѣть пошелъ,—  
А товару въ немъ вдвое прежняго;  
Все опять скупилъ, что метлой подмёлъ.

Вотъ на третій день Садко утромъ всталъ,  
По Новгороду посмотрѣть идетъ,  
А товару въ немъ понакладено  
Втрое прежняго,—Садку зло беретъ.

Призадумался Садко, видитъ онъ.  
Что приходится свой закладъ пробить,  
Что Новгороду не бывать пустымъ,  
Что товары въ немъ не повыкупить.

И пошелъ Садко прямо на площадь,  
Предъ купцами онъ свою шапку снялъ,  
Поклонился имъ низко-на-низко,  
Поклонившись, Садко такъ сказалъ:

„Богачи, купцы Новгородскіе!  
Похвалился я, что казной богатъ;  
Нѣтъ, не я богатъ, богатъ Новгородъ,—  
Получайте вы отъ меня закладъ!“

За слова свои похвастливья  
Выдавалъ Садко имъ закладъ большой,  
Отсыпалъ Садко богачамъ купцамъ  
Ровно тридцать мѣръ золотой казной.

---

## II.

Садко у морскаго царя.

---

### I.

**Б**детъ Садко-купецъ на своихъ корабляхъ  
По широкому, синему морю;  
Расходилась вдругъ буря на синихъ волнахъ  
Ко великому Садкину горю.

Ходить буря, реветъ, корабли на бокъ гнетъ,  
Паруса рветъ на мелкія части,  
За волною волна въ синемъ морѣ встаетъ  
И трещать корабельныя снасти.

Струсилъ Садко-купецъ предъ бѣдою такой,  
И поникъ головою въ кручинѣ:  
Не придется, знать, Новгородъ видѣть родной,  
А придется погибнуть въ пучинѣ.

Говоритъ онъ дружинѣ своей удалой:  
„Много лѣтъ мы по морю ходили,  
А морскому царю дани мы никакой  
За проходъ кораблей не платили.

„Знать, за это на насъ разсердясь, царь морской  
Причинить хочетъ злое намъ горе.  
Вы берите боченокъ съ казной золотой  
И бросайте его въ сине море“.

И дружина боченокъ съ казной золотой  
Въ волны синяго моря кидаетъ...  
Волны, пѣнясь, кипятъ надъ морской глубиной,  
Корабли, точно щепки, швыряетъ...

Видитъ Садко, что море все больше бурлитъ,  
Все сильнѣй и сильнѣе клокочетъ,  
И дружинѣ своей удалой говорить:  
„Видно, царь головы данью хочетъ!

„Такъ давайте же, братцы, кидать жеребья—  
Кому жертвою быть синю морю;  
Если вашъ, то быть вамъ, если мой—буду я,  
И кидайте меня—не поспорю.“

Всѣ берутъ жеребья, Садкѣ въ шапку кладутъ;  
Садко въ море съ своимъ ихъ кидаетъ.  
Жеребья всей дружины не тонуть—плывутъ,  
Только Садкинъ ко дну упадаетъ.

„Выпалъ жеребій мой морю жертвою быть,  
Заплатить дань своей головою;  
Безъ меня къ Новгороду, братцы, вамъ плыть,  
Увидаться съ сторонкой родною.

„Посадите меня на дубовой доскѣ,  
Дайте гусли мои золотыя;  
На дубовой доскѣ, и съ гуслими въ рукѣ  
Опустите на волны морскія.“

На дубовой доскѣ посадили его  
И на синее море спустили;  
Не взялъ Садко съ собою добра ничего,  
Съ нимъ однѣ его гусельки были.

И затихла вдругъ буря на синихъ волнахъ,  
Улеглася морская пучина.  
И безъ Садки-купца на его корабляхъ  
Понеслася по мѣрю дружина.

## II.

На морской глубинѣ, въ свѣтломъ царскомъ дворцѣ,  
Ходятъ рыбы-киты и дельфины  
И сѣдые усы у царя на лицѣ  
Очищаютъ отъ грязи и тины.

Съ неба солнца лучи свѣтятъ въ царскій дворецъ,  
Зажигаютъ огни-изумруды;  
Вотъ въ палаты царя входитъ Садко-купецъ,  
За плечомъ у него звонкогуды.

„А! здорово, дружище! давно тебя ждемъ.“—  
Молвилъ Садкѣ морской царь, зѣвая,  
Ротъ широко раскрывъ и зубчатымъ жезломъ  
Прочь придворныхъ своихъ отгоняя.

„Много лѣтъ ты возилъ на своихъ корабляхъ  
Нашимъ моремъ безъ дани богатство,—  
Такъ за это потѣшь ты игрой на гусяхъ  
Нашу царскую милость въ пріятство“.

Садко кудри съ лица прочь рукою отвелъ,  
Взялъ онъ гусли свои звонкогуды,  
И придворныхъ царя смѣлымъ взглядомъ обвелъ  
И подумалъ себѣ: „да не худы!“

„Ладно!—молвилъ царю,—я потѣшить не прочь  
Вашу царскую милость игрою “  
И хватилъ по струнамъ во всю русскую мочь—  
Моря гладъ заходила волною.

Царь ладонями уши закрылъ и кричить:  
„Что за чортъ за игра за такая?  
Она царскій нашъ слухъ намъ совсѣмъ оглушить;  
Эта штука для насъ, братья, плохая!“

Садко руку отвелъ—замираетъ струна,  
Звуки тихіе чуть издавая;  
Надъ морской глубиной улеглася волна,  
Передъ солнцемъ горя и сверкая.

Точно муха, кружась, зацѣпляетъ струну,  
Точно мошки, жужжа, гдѣ-то вьются,  
Точно капли дождя тихо бьютъ о волну,  
Звуки стройные, чудные льются.



Точно кто-то, рыдая, глубоко скорбитъ  
О потерянномъ счастьѣ когда-то,<sup>1</sup>  
Точно тихая рѣчь чья-то грустно звучить  
О погибшей любви безъ возврата.

И подъ звуки игры у морского царя  
Голова наклонилась сѣдая;  
Хороша, какъ по-утру на небѣ заря,  
Загрустилась царица морская.

Ей припомнился Новгородъ вольный, родной.  
Ея дѣвичья вышка-свѣтлица,  
Что стояла надъ Волховомъ, быстрой рѣкой,  
И рыдаетъ морская царица.

Загубилъ ея вѣкъ—золотые деньки  
Сынъ боярскій, свѣнчавшись съ другою;  
Она бросилась въ Волховъ-рѣку отъ тоски.  
Да и стала царицей морскою.

И придворные всѣ, ротъ разинувъ, ревуть.  
Точно горе какое стряслося,  
И изъ рыбьихъ ихъ глазъ слезы льются, текутъ:  
Всласть въ первѣй имъ поплакать пришлось.

Садко дернулъ плечомъ и кудрями потрянулъ—  
И забѣгали пальцы быстрѣ,  
И отъ струнъ побѣждалъ одуряющій гулъ,  
Звуки льются живѣй и живѣе.

Точно дождикъ шумить, точно скачетъ волна,  
Ударясь о берегъ скалистый,  
Зазвенѣла морская кругомъ глубина,—  
Понеслись гоготанье и свисты.

Ошалѣлъ царь морской, головою трясетъ.  
Плечи сами собой такъ и ходятъ,  
И руками вертитъ, и ногами толчетъ,  
И, моргая, глазами повѣдять.

Скачетъ царь водяной, ходитъ фертномъ кругомъ  
И полой своей шубы онъ машетъ,—  
По хрустальнымъ палатамъ вертится व्यюномъ,  
Присѣдаетъ и съ присвитомъ пляшетъ.

Садко день проигралъ, проигралъ и другой,—  
Звуки прыгаютъ, скачутъ, дробятся;  
Все сильнѣй и сильнѣй пляшетъ царь водяной,  
Такъ-что началъ дворецъ весь шататься.

Надъ морской глубиной вѣлны, пѣнясь, кипятъ  
И, свистя, другъ на друга несутся,  
И трещать корабли, мачты въ воду летятъ,  
Крики, стоны кругомъ раздаются.

Корабельщики всѣ предъ бѣдою такой  
Затужились о ждущей ихъ долѣ,  
Что придется погибнуть имъ въ глуби морской,  
И взмолились святому Николѣ.

### III.

Два дня Садко игралъ и играетъ еще,  
На щекахъ разгорѣлся румянецъ...  
Кто-то Садку рукой тихо дергъ за плечо....  
Глядь—стоитъ передъ нимъ сѣдой старецъ.

„Перестань на звончатыхъ ты гусляхъ играть“,—  
Говоритъ ему старецъ сурово:  
„Не честнѣ православной душѣ потѣшать,  
Непригоже—царя водяного.“

—Не моя, старче, власть на морской глубинѣ,—  
Я въ водѣ здѣсь слуга подневольный,  
И, играя, грущу о родной сторонѣ,  
Человѣкъ Новагорода вольный.

Не охотой попалъ на морское я дно,  
Съ водянымъ мнѣ не радость возиться;  
Я и самъ пересталъ бы играть ужъ давно,  
Да вѣдь какъ отъ игры мнѣ отбиться?—

„А ты вырви колки изъ гуслей золотыхъ,  
Зашвырни ты ихъ въ море далече,  
Возьми, струны порви и скажи: нѣтъ другихъ,  
На чемъ стану играть, человѣче?

„Будетъ царь водяной тебя въ морѣ женить,  
Будетъ дочекъ давать тебѣ въ жены,—  
Не бери, а то въ морѣ останешься жить,  
Не увидишь свѣтъ вольный, крещеный.

„Не прельщайся ты, Садко, морской красотой,  
Хороши царя дочки на славу;  
У царя водяного возьми ты женой  
Некрасивую дѣвку Чернаву.

„И когда, послѣ свадьбы, отправишься спать  
Со своей молодою женою,  
Ты не смѣй ее, Садко, ласкать, обнимать,  
Не цѣлуй—захлебнешься волною.

„А когда спать ты ляжешь въ палатахъ царя,  
Отъ жены молодой отвернешься,  
И какъ только по-утру займется заря,  
Въ Новѣгородѣ вольномъ проснешься.“

Старецъ сталъ невидимъ,—Садко струны рванулъ,—  
На гусяхъ точно струнъ не бывало,  
И замолкъ подъ водою рокошующій гуль,  
И въ палатахъ царя тихо стало.

Пересталъ царь морской и скакать, и плясать,  
Говорить такъ онъ Садкѣ съ грозою:  
—Что-жъ ты, Садко, умолкъ, или насъ потѣшать  
Не желаешь ты больше игрою?

„Я бы тѣшить не прочь,—да вѣдь какъ же мнѣ быть,  
На губахъ наиграешь немного...  
Царь, порвались всѣ струны—другихъ захватить  
Не пришло мнѣ въ умишко убогой“.

—Дѣлать нечего, вижу, вина не твоя,  
А хотѣлось еще поплясать бы.—  
Ужъ утѣшилъ бы всѣхъ своей пляскою я,  
А особенно въ день твоей свадьбы.

„За игру твою, Садко, хочу наградить.  
За большую услугу такую:  
Я хочу тебя, Садко, на дочкѣ женить,  
Изъ царевенъ облюбишь какую.

—„Нѣтъ ужъ, батюшка-царь, не изволь награждать,—  
Награжденье твое—мнѣ кручина,  
Мнѣ царевна морская женой неподстать,—  
Я простой Новгородскій людина.

„Для простого людина мнѣ честь велика—  
Взять женою царевну морскую.  
Подопью иногда, раззудится рука—  
Ни за что твою дочку отдую.

„За царевною нуженъ великій уходъ,  
Обувать, одѣвать—нужны слуги,  
А для этого скуденъ мой будетъ доходъ.—  
Не возьму твою дочку въ супруги.

„Царь, мнѣ надо жену вотъ такую бы взять,  
Чтобы съ ногъ сапоги мнѣ снимала,  
Какъ побью иногда, чтобы стала молчать,  
Говорить предо мной не дерзала.

„Чтобы дѣлала то, что ей дѣлать велю,  
Моему бѣ не перечила праву;  
Дай ты въ жены мнѣ лучше прислугу твою,  
Некрасивую дѣвку Чернаву.“

И женилъ его царь на Чернавѣ рябой,  
На нечесаной дѣвкѣ, косматой;  
Сорокъ бочекъ казны за Чернавой женой  
Далъ въ приданое царь тароватый.

Послѣ свадьбы легъ Садко въ палатахъ царя,  
Отъ жены молодой отвернулся,  
И, какъ только поутру зажглася заря,  
Въ Новѣгородѣ вольномъ проснулся,—

И надъ Волховомъ, быстрой рѣкою, стоитъ,  
Недалеко отъ дома родного,  
И предъ нимъ сорокъ бочекъ съ казною лежитъ,  
Награжденіе царя водяного.

Вотъ и Садки суда принесли по волнамъ.  
Удивленіе дружинѣ—загадка,  
Что за чудо такое? не вѣрятъ глазамъ,—  
Какъ ни въ чемъ не бывалъ, стоитъ Садко.



## БОГАТЫРСКАЯ ЖЕНА

---

### 1.

**К**нязь Владиміръ стольно-кіевскій  
Созывалъ на пиръ гостей.  
Вѣрныхъ слугъ своихъ—дружинниковъ,  
Удалыхъ богатырей.

Звалъ ихъ явства ѣсть сахарныя,  
Пить медвяныя питья;  
И сходились гости званые,  
И бояре, и князья.

Много было ими выпито  
Искрометнаго вина;  
То и дѣло осушались  
Чаши полныя до дна.

Обходилъ дружину храбрую  
Съ хмѣльной брагой турій рогъ;  
Только хмѣль гостей Владиміра  
Подъ столы свалить не могъ.

Вотъ, какъ въ пѣлсыта наѣлися  
И въ полпьяна напились,  
Гости начали прихвастывать,  
Похваляться принялись.

Кто хвалился силой крѣпкою,  
Кто несмѣтною казною,  
Кто своей утѣхой сладкою—  
Богатырскою женой,

Кто товарами заморскими.  
Кто испытаннымъ конемъ...  
Лишь Данило призадумался,  
Наклонившись надъ столомъ.

На пиру великокняжескомъ  
Онъ не хвалится ничѣмъ;  
И насмѣшливо дружинники  
Шепчуть: „Глухъ онъ, али нѣтъ?“

„Ты почтѣ, скажи, задумался?  
Князь Данилѣ говорить:  
Взоръ твой ясный темной думою,  
Словно облакомъ, покрытъ.

„Али нѣтъ казны и силушки  
У тебя Данило-свѣтъ?  
Платье-ль цвѣтное изношено?  
Аль жены-утѣхи нѣтъ?“



Встрепенулся свѣтъ-Денисьевичъ,  
Молвя князю: „Всѣмъ богатъ;  
А своей я темной думушкѣ,  
Добрый княже, самъ не радъ.

„На твоёмъ пиру на княжескомъ  
Собесѣдникъ я плохой;  
И тебѣ я, княже, кланяюсь:  
Отпусти меня домой.

„Отчего, я самъ не вѣдаю,  
Грусть взяла меня теперь!..“  
Всталъ Данило,—князю-солнышку  
Билъ челомъ,—и вышелъ въ дверь...

## II.

И дружинѣ молвилъ ласково  
Князь Владиміръ, поклонясь:  
„Всѣ вы, други, переженены,  
Не женатъ лишь я, вашъ князь.

„Между вами обездоленнымъ  
Я хожу холостякомъ:  
Помогите же, товарищи,  
Мнѣ въ несчастіи такомъ.

„Приищите мнѣ невѣстушку,  
Чтобы ласкова была,  
И смышлёна въ книжной грамотѣ,  
И румяна, и бѣла.

„Чтобъ женой была мнѣ доброю,  
Доброй матушкою вамъ;  
Чтобъ не стыдно государыней  
Звать её богатырямъ.“

Князь умолкъ,—и призадумались  
Всѣ его богатыри:  
Сватомъ быть для князя стольнаго  
Трудно, что ни говори!

Лишь Миташа не задумался:  
„На примѣтъ есть одна,—  
Молвилъ онъ,—лебедка бѣлая,  
Богатырская жена.

„То жена Данилы славнаго.  
Ужъ куда какъ хороша  
Василиса свѣтъ-Микулишна  
Раскрасавица-душа!

„Ясны очи соколиныя,  
Брови соболя чернѣй;  
Въ цѣломъ городѣ Черниговѣ  
Василисы нѣтъ умнѣй.

„Не уступить мужу книжному  
Въ русской грамотѣ она,  
И пѣтью-четью церковному  
Хорошо обучена.“

Съ грознымъ гнѣвомъ на Путятича  
Князь Владиміръ поглядѣлъ:  
„Съ пьяну, что ль, заговорился ты,  
Али въ петлю захотѣлъ?

„Развѣ я лишился разума?  
Развѣ звѣрь я, али тать?  
Отъ живаго мужа можно ли  
Мнѣ жену насильно взять?“

Не сробѣлъ Миташа; вкрадчиво  
Князю молвилъ онъ въ отвѣтъ:  
„Князь! Данило ходитъ пѣдъ Богомъ,—  
Нынче живъ, а завтра нѣтъ.

„Коль слова мои не пѣ сердцу,  
То казнить меня вели;  
Только прежде поохотиться  
Въ лѣсѣ Денисьича пошли.

„Въ темныхъ дебряхъ, пѣдъ Черниговомъ,  
Звѣря тѣма, а лову нѣтъ:  
Прикажи поймать Денисьичу  
Злова тура на обѣдъ.

„На охотѣ все случается:  
Съ буйнымъ звѣремъ труденъ бой,  
И не взять его охотнику,  
Княже, силою одной.“

Пѡнялъ князь Владиміръ-Кіевскій  
Смысль лукавыхъ этихъ словъ,—  
И писать къ Данилѣ грамоту  
Онъ призвалъ своихъ писцовъ.

Тѣ писцы писали витязю,  
Чтобы онъ въ лѣсахъ густыхъ  
Ради князя поохотился  
На звѣрей и птицъ лѣсныхъ.

Поискалъ бы тура дикаго,  
Съ поля взялъ его живымъ.  
И отправилъ князь Путятича  
Съ этой грамотой посломъ.

### III.

Въ свѣтломъ теремѣ Даниловомъ,  
Призадумавшись, одна  
У окна сидитъ красавица,  
Богатырская жена.

Мужъ уѣхалъ поохотиться  
Въ боръ Черниговскій чѣмъ-свѣтъ;  
Вотъ ужъ время близко къ вечеру,  
А Денисьича все нѣтъ.

Скучно ей одной безъ милаго:  
Грусть-тоска ее томить...  
Вдругъ услышала: у терема  
Раздается стукъ копытъ.

Гость нежданный и непрошенный  
У Даниловыхъ воротъ,  
Привязавъ коня усталаго,  
Скоро къ терему идетъ.

Не спросился слугъ невѣжливый  
Володиміровъ посоль:  
Онъ въ свѣтлицу бездокладочно  
Съ княжей грамотой вошелъ.

Василиса гнѣвно встрѣтила  
Неучтиваго посла,  
И неладнымъ смѣрдомъ княжескимъ,  
Разсердившись, назвала.

А Путятичъ молвилъ, дѣ земли  
Василисѣ поклонясь:  
„Не гнѣвися, государыня,  
Что вошелъ я, не спросясь.

„Не своей сюда охотою  
Я приѣхалъ: князь велѣлъ;  
Въ теремъ твой безъ воли княжеской  
Я войти бы не посмѣлъ.

„Къ твоему Данилѣ грамоту  
Князь велѣлъ мнѣ отвезти:  
Получи; а за невѣжливость,  
Государыня, прости“.

Василиса закручинилась,  
Прочитавъ княждѣй приказъ:  
Побѣлѣли щеки алая,  
Слезы хлынули изъ глазъ.

Поняла она изъ грамоты,  
Что недоброе въ ней есть,  
Что замыслилъ князь Денисьича  
Злою хитростью извѣсть.

Кличетъ слугъ къ себѣ Микулишна  
И велитъ сѣдлатъ коня.  
„Снаряжайте, слуги вѣрные,  
Къ мужу въ поле вы меня!

„Дайте платьѣ молодецкое  
Принесите лукъ тугой!  
Сердце чуетъ горе лютое,  
И дрожитъ передъ бѣдой“...

И катились слезы горькія  
Крупнымъ градомъ по лицу.  
Слуги вѣрные ретиваго  
Привели коня къ крыльцу.

На коня она садилася,  
Взявъ колчанъ каленыхъ стрѣлъ,  
И едва земли касаяся,  
Конь, какъ вихорь, полетѣлъ.

#### IV.

Надъ собой бѣды не вѣдая,  
Рыщетъ въ полѣ богатырь.  
Быстрый конь Данилу пѣ полю  
Быстро носить въ даль и въ ширь.

Настрѣлялъ съ утра Денисьевичъ  
Много дичи луговой;  
Онъ охотой не натѣшится,  
Не спѣшитъ къ женѣ домой.

Вдругъ онъ видитъ: отъ Чернигова  
Не орелъ къ нему летитъ,—  
Мчится вихремъ добрый мѣлодецъ,  
Подъ конемъ земля дрожитъ.

Закричалъ Данило мѣлодцу,  
Мечъ поднявъ надъ головой:  
„Стой, удалый добрый мѣлодецъ!  
Говори, ты кто такой?

„Если другъ, то побратаемся,  
Поведемъ любовно рѣчь;  
Если не другъ, потягаемся  
У кого тяжеле мечъ“.

Говоритъ пріѣзжій мѣлодецъ,  
Шапку снявъ съ густыхъ кудрей:  
„Не узналъ ты, свѣтъ Денисьевичъ,  
Молодой жены своей!

„Знать, не долго намъ понѣжиться  
И въ любви пожить съ тобой.  
Перестань охотой тѣшиться,  
Поѣзжай скорѣй домой!“

Тутъ прочла ему Микулишна  
Володиміровъ ярлыкъ;  
Но Данило въ хитрый умыселъ  
Князя стольнаго не вникъ.

Отвѣчаетъ онъ съ усмѣшкою  
Молодой своей женѣ:  
„Вижу я, тебѣ кручинушка  
Померещилась во снѣ.

„Гдѣ же видано и слыхано,  
Чтобы князь богатыря  
За любовь и службу вѣрную  
Извести задумалъ зря?

„Лучше въ теремѣ хозяйничай,  
Знай домашній обиходъ,  
И словами неразумными  
Не пугай меня впередъ.

„Я на тура поохотиться  
Радъ для князя всей душой;  
Только мало стрѣлъ осталось,—  
А запасныхъ нѣтъ со мной.



„Привези колчанъ мнѣ маленькій,  
А большаго не бери:  
Много стрѣлъ ловцу не надобно  
Мѣтко бьютъ богатыри!“

Говорить она: „Со стрѣлами  
Я большой колчанъ взяла.  
Не сердись, нужна при случаѣ  
Въ полѣ лишняя стрѣла.

„Чуетъ горе сердце вѣщее,  
Ты словамъ моимъ повѣрь:  
Туръ не страшенъ для охотника,—  
Человѣкъ страшнѣй, чѣмъ звѣрь“...

Съ грустью тяжкою Микулишна  
Крѣпко мужа обняла,  
И вернулася къ Чернигову,  
Путь слезами полила.

## V.

Рыщетъ витязь день до вечера  
По лугамъ и по лѣсамъ:  
Звѣря-тура круторогаго  
Ищетъ онъ и тамъ и сямъ:

Въ буеракахъ и кустарникахъ,  
Въ чащахъ дикихъ и густыхъ...  
Вотъ ужъ день склонился къ вечеру  
И дремучій лѣсъ затихъ.

Но не слышно по окружности  
Рева турьяго нигдѣ...  
Шепчетъ витязь опечаленный:  
Надо жъ быть такой бѣдѣ!

Рыщетъ пѣ лѣсу Денисьевичъ,—  
Какъ на грѣхъ удачи нѣтъ!  
Не привезть и нынче витязю  
Дичь на княжескій обѣдъ!

Снова день склонился къ вечеру,  
Нѣтъ въ лѣсу души живой,  
Только рысь порою быстрая  
Промелкнетъ вдали стрѣлой.

Только вѣроны зловѣщіе  
Съ крикомъ носятся вверху,  
Громко каркая надъ витяземъ:  
Быть невзгодѣ! быть грѣху!

Только холодомъ кладбищенскимъ  
Вдругъ повѣетъ нетопырь...  
Ночи сумрачнѣй, подъ дерево  
Легъ могучій богатырь.

Шею вытянувъ упругую,  
Конь дыханіемъ своимъ  
Грѣетъ добраго хозяина  
И печально ржетъ надъ нимъ.

„Что ты льнешь ко мнѣ, ласкаешься,  
Мой товарищъ боевой?  
Говорить ему Денисьевичъ:—  
Что поникъ ты головой?

„Что своимъ дыханьемъ огненнымъ  
Жгешь ты мнѣ лице и грудь?  
Иль боишься звѣря лютаго?  
Или чуешь что нибудь?“...

Конь трясетъ косматой гривой  
И копытомъ въ землю бьетъ,  
Точно хочетъ что-то вымолвить,—  
Только словъ не достаетъ.

Лишь блеснулъ на небѣ розовый  
Лучъ зари, предвѣстникъ дня,  
Всталъ Данило съ ложа жесткаго,  
Сѣлъ на добраго коня.

Ѣдетъ онъ изъ лѣса темнаго  
Въ поле счастья попытать...  
Чу... вдали, тамъ, что-то слышится:  
Не идетъ ли съ юга рать?

Мать сыра-земля колыхается  
И дремучій боръ дрожитъ;  
Словно громъ гремитъ раскатистый,—  
Раздается стукъ копытъ.

Сталь Данило за кустарникомъ,  
Видитъ: съ южной стороны  
Грозно движутся два всадника,  
Будто двѣ большихъ копны.

Что-то будетъ, что-то станется?...  
Сердце ёкнуло въ груди...  
Видно, пасть въ борьбѣ Денисьичу  
Съ тѣмъ, кто ѣдетъ впереди.

Скачетъ конь подъ нимъ, играючи,  
Блещетъ золотомъ шоломъ...  
И узналъ Данило съ горестью  
Брата названнаго въ немъ...

Онъ одѣтъ въ колчугу крѣпкую;  
Тяжела его рука;  
И на смертный бой Денисьича  
Онъ зоветъ издалека.

Словно соколъ съ чернымъ ворономъ,  
Близкой смерти вѣщуномъ,  
Онъ съ Алёшею Поповичемъ  
Мчится по полю вдвоемъ...

Дрогнувъ, слѣзъ съ коня Денисьевичъ...  
Сердце сжала злая боль...  
Онъ съ Добрынею Никитичемъ  
Побратался для того ль?..

„Видно, князю я ненадобень!—  
Говорить онъ самъ себѣ:—  
Но по волѣ князя стольнаго  
Не погибну я въ борьбѣ.

„Кровью брата и товарища  
Я земли не обагрю,  
Для потѣхи княжей совѣстно  
Въ бой вступать богатырю.

„Не убить Добрынѣ мѣлодца  
Въ поединкѣ роковымъ!“—  
И воткнулъ копье злачёное  
Въ землю онъ тупымъ концомъ.

Сбросилъ съ плечъ dospѣхи твердые,  
Грудью палъ на остріё,—  
И пробило молодецкую  
Грудь злачёное копье.

Мать сыра-земля зардѣлася,  
Теплой кровью полита,—  
И душа Данилы чистая  
Вышла въ алыя уста.

И когда борцы подѣхали  
Вызывать его на бой,—  
Только трупъ одинъ безжизненный  
Увидали предъ собой.

## VI.

Что за праздникъ въ стольномъ Кіевѣ?  
Князь съ дружиной удалой  
На помолвку собираются  
Къ Василисѣ молодой.

Многоцѣнную, жемчужную  
Онъ везетъ невѣстѣ нить...  
Хочетъ сердце неподкупное  
Ожерельями купить.

Веселъ князь Владиміръ-Кіевскій:  
Витязь преданный его  
На лугу, въ травѣ некошенной,  
Спитъ, не слышитъ ничего.

Праздно вокругъ него валяются  
Стрѣлы, мечъ, и крѣпкій щитъ,—  
Добрый конь безсмѣннымъ сторожемъ  
Надъ хозяиномъ стоитъ.

Шею гордую, косматую  
Опустилъ онъ грустно ницъ,  
И отъ трупа грознымъ ржаніемъ  
Отгоняетъ хищныхъ птицъ.

Василиса убивается  
Въ свѣтлой горницѣ своей:  
Не видать ей мужа милаго,  
Не слышать его рѣчей!

А Владиміръ по дороженькѣ  
На ретивомъ скакунѣ,  
Впереди своихъ дружинниковъ,  
Мчится къ будущей женѣ.

Грудь высокая волнуется,  
Въ жилахъ кровь ключемъ кипить,  
Къ голубымъ очамъ красавицы  
Дума пылая летитъ...

Что стучить-гремятъ въ Черниговѣ?  
Что вздымаетъ пыль столбомъ?  
Поѣздъ свадебный Владиміра  
Къ Василисѣ ѣдетъ въ домъ.

И, предчувствуя недоброе,  
Слуги въ страхѣ къ ней сошлись,—  
Говорятъ ей: „Государыня!  
Въ платье мужа нарядись!

Изъ конюшни мужней лучшаго  
Скакуна себѣ бери!  
За тобой идутъ изъ Кіева  
Князь и всѣ богатыри“.—

Отвѣчаетъ имъ красавица:  
„Мнѣ не надобно коня,  
Не хочу, чтобъ слуги вѣрные  
Пострадали за меня.

„Передъ княземъ неповинна я,  
Передъ Богомъ я чиста.  
Принимайте жъ князя съ почестью,  
Отворяйте ворота“.

Слезы вытерла горючія  
Богатырская жена  
И велѣла платья лучшія  
Принести къ себѣ она.

Освѣжила въ мыльнѣ чистою  
Ключевой водой лице,  
И встрѣчать гостей непрошенныхъ  
Смѣло вышла на крыльцо.

Словно дня сіяньемъ ласковымъ  
Небо пышно разсвѣло,  
Словно утромъ рано нѣ-небо  
Солнце ясное взошло.

То не зорюшка румянится,  
То не солнышко блеститъ;  
Василиса свѣтъ-Микулишна  
На крыльцѣ рѣзномъ стоитъ.

Тихо, словно очарованный,  
Подошелъ Владиміръ къ ней,  
И не можетъ отъ красавицы  
Оторвать своихъ очей;



И не можетъ ей разумное  
Слово вымолвить въ привѣтъ...  
Изойди всю землю русскую,—  
Въ ней красы подобной нѣтъ!

Низко князю поклонилася  
Богатырская жена,  
И въ дверяхъ остановилася,  
Молчалива и скромна.

Что жъ въ душѣ у ней таилось,  
Князь того не угадалъ,—  
И въ уста еѣ сахарныя  
Горяче поцѣловаль.

И промолвилъ онъ Микулишнѣ:  
„Твой супругъ въ лугахъ погибъ.  
На охотѣ трудной до-смерти  
Дикій туръ его зашибъ.

„Не вернуть намъ къ жизни мертваго,—  
Не роняй же горькихъ слезъ;  
Я колечко обручальное  
Молодой вдовѣ привезъ.

„Жить не-слѣдъ тебѣ вдовицею,  
Вѣкъ въ кручинѣ горевать,  
Красоту свою и молодость  
Погубить тебѣ не-стать.

„Будь женою мнѣ и матушкой  
Для моихъ богатырей,  
Одѣвайся въ подвѣчное  
Платье свѣтлое скорѣй.

„Въ путь-дорогу мы отправимся,—  
Поѣздъ свадебный готовъ“.  
Василиса волѣ княжеской  
Покорилася безъ словъ,—

Нарядилась въ платье цвѣтное  
И покрылася фатой,  
И въ рукавъ широкой спрятала  
Ножъ отточенный, складной.

## VII.

Ѣдетъ князь съ невѣстой милою,  
Въ стольный городъ свой спѣша;  
Все сильнѣй въ немъ кровь волнуется,  
И горитъ его душа.

Но не весело дружинники  
Молча слѣдуютъ за нимъ;  
Опустилъ Добрыня голову,  
Тяжкой думою томимъ.

Шепчетъ онъ: „Владиміръ-Солнышко!  
Въ дѣлѣ зломъ не быть добру!  
Не подумавши, затѣяли  
Мы неладную игру.

„Все мнѣ братній трупъ мерещится,  
Что неприбранный лежитъ,  
Рана страшная, какъ грозное  
Око на небо глядитъ.

„Извели мы ясна-сокола,  
Онъ попался въ нашу сѣть;  
Но едва ли бѣлой лебедью  
Намъ удастся завладѣть.“

Молча ѣдутъ князь съ невѣстою...  
Слышно ржанье въ сторонѣ:  
Это конь Даниловъ вѣсточку  
Подаетъ его женѣ.

Василиса встрепонулася,  
Придержала скакуна,  
И Владиміру, ласкаючись,  
Тихо молвила она:

„Въ чистомъ полѣ ржанье слышится,  
Въ небѣ вѣроны кричатъ...  
Князь Владиміръ! Я отправлюся  
Въ ту сторонку наугадъ.

„Видно, тамъ мой мужъ валяется,—  
Отпусти меня къ нему,  
Я въ послѣдній разъ убитого  
Мужа крѣпко обниму.

„Вдоволь я надъ нимъ наплачуся,  
Трупъ слезами орошу;  
Если жъ съ мужемъ не прощуся я,—  
Передъ Богомъ согрѣшу.“

Потемнѣлъ Владиміръ-Солнышко,  
Свѣтлыхъ думъ пропалъ и слѣдъ...  
Отказать невѣстѣ—совѣстно,  
Отпустить—охоты нѣтъ.

Голова на грудь склонилася,  
Шевельнулась совѣсть въ немъ,—  
И на просьбу Василисину  
Согласился онъ съ трудомъ.

Въ провожатые Микулиши  
Далъ онъ двухъ богатырей,—  
И помчалася красавица  
Вѣтра вольнаго быстрѣй.

### VIII.

Вотъ, въ долину, за кустарникомъ,  
Трупъ лежитъ въ травѣ густой,  
Точно дерево разбитое  
Безпощадною грозой.

Въ беспорядкѣ кудри черныя  
Опустились надъ челомъ;  
Истекаетъ кровью алою  
Грудь, пробитая копьемъ.

Измѣнила смерть холодная  
Красоту его лица,  
И раскинуты безсильныя  
Руки мощнаго бойца...

И, спрыгнувъ съ коня ретиваго,  
Точно первый снѣгъ бѣла,  
Безъ рыданій, къ мужу мертвому  
Василиса подошла.

И, упавъ на грудь Данилову,  
Горемычная вдова  
Громко вскрикнула: „Злодѣями  
Ты убить, а я жива!

„Для чего жъ мнѣ жизнь оставлена,  
Если нѣтъ тебя со мной?  
Не грѣшно ли мнѣ, не стыдно ли  
Быть Владиміра женой!

„И не лучше ль злему пѣловцу  
Мнѣ отдать и жизнь и честь,  
Чѣмъ съ убійцей мужа милаго  
Цѣлый вѣкъ въ слезахъ провести?

„Нѣтъ, не лечь на ложе брачное  
Опозоренной вдовѣ,  
И не быть съ дружиной княжеской  
И съ Добрынею въ родствѣ;

„Не носить уборы цѣнные,  
Жемчуги и янтари...  
Подойдите и послушайте  
Вы меня, богатыри!

„Вы скажите князю стольному,  
Чтобъ валяться не далъ намъ  
Въ полѣ онъ безъ погребенія,  
На съѣденіе звѣрямъ.

„Прикажите, други, плотникамъ  
Сколотить намъ гробъ большой,  
Чтобъ не тѣсно было милому  
Спать со мной въ землѣ сырой“.

Такъ сказала имъ Микулишна—  
И пробила грудь ножемъ;  
Изъ глубокой раны хлынула  
Кровь горячая ручьемъ.

На груди супруга милаго  
Умерла его жена,—  
Жизнь безъ слезъ она оставила,  
До конца ему вѣрна.

## IX.

Грѣзень князь Владиміръ-Кіевскій  
Возвратился въ городъ свой  
Не съ красавицей-княгиней,  
А съ глубокою тоской.

Не съ весельемъ князя встрѣтили  
Горожане у воротъ,—  
Пусты улицы широкіе,  
Точно вымеръ весь народъ.

Надъ богатымъ, славнымъ Кіевомъ  
Тишь могильная стоитъ;  
Лишь по улицамъ, въ безмолвіи,  
Раздается стукъ копытъ.

Грѣзень князь вошелъ въ хоромины;  
Молча слуги вслѣдъ идутъ;  
И, велѣлъ имъ князь Путятича  
Привести къ себѣ на судъ.

И, дрожа отъ страха смертнаго,  
Сталъ Путятичъ у дверей...  
Не для пира-столованія  
Князь созвалъ богатырей.

Знать, прошла пора веселая  
Шумныхъ княжескихъ потѣхъ,—  
Смотрятъ сумрачно дружинники,  
Стольный князь суровѣй всѣхъ.

Съ гнѣвомъ молвилъ онъ Путятичу:  
„Какъ намъ быть съ тобою, свать?  
Ѣздилъ въ даль я за невѣстою,  
А вернулся не женатъ.

„Ты затѣялъ дѣло хитрое,  
Да пропалъ задаромъ трудъ:  
Идутъ слуги въ Кіевъ съ ношею,  
Двухъ покойниковъ несутъ.

„Погубилъ слугу я вѣрнаго—  
И остался холостой.  
Видно, князю не приходится  
Володать чужой женой.

„И не должно князю слушаться  
Злыхъ совѣтниковъ своихъ:  
Злой слуга змѣи опаснѣе,  
На худое дѣло лихъ.

„Мнѣ же рѣчь твоя понравилась;  
Эта рѣчь была грѣшна,—  
И не смыть теперь мнѣ съ совѣсти  
Вѣковѣчнаго пятна.

„Князь Владиміръ стольно-Кіевскій  
Щедрымъ слылъ до этихъ поръ...  
Чѣмъ же мнѣ тебя пожаловать,  
Наградить за мой позоръ?

„Всѣ дѣла твои лукавыя..  
И совѣты были злы,—  
И за то, Миташа, жалую  
Я тебя котломъ смолы“.



## ВАСИЛЬКО.

### I.

Василько видѣлъ страшный сонъ,  
Остановившись на ночлегѣ.  
Ему приснилось, будто онъ  
Въ глухомъ лѣсу, въ худой телегѣ  
Лежить закованъ, недвижимъ,  
И воронъ каркаетъ надъ нимъ,  
И слышенъ стукъ мечей о брони,  
И ржутъ испуганные кони.

Василька ищетъ Володаръ,  
И громко кличетъ: „Братъ, за нами!“  
И хочетъ князь, какъ было встарь,  
Тряхнуть могучими руками,—  
Но крѣпко скованы онѣ;  
И хочетъ крикнуть онъ во снѣ,—  
Но вмѣсто крика стонъ раздался:  
Языкъ ему не покорялся.

Не могъ онъ стономъ заглушить  
Шумъ боя, крикъ злобщей птицы...  
Глаза онъ силился открыть—  
Не поднимаются рѣсницы...  
Въ нѣмомъ отчаяннѣ дрожа,  
Онъ слышитъ—лезвіемъ ножа  
Къ нему вдругъ кто-то прикоснулся,—  
И князь испуганный проснулся.

Прохлада яснаго утра  
Василька скоро освѣжила.  
Ужъ разсвѣло. Кругомъ шатра  
Бродили слуги. Слышно было,  
Какъ отрокъ борзаго коня  
Сѣдлалъ для князя; у огня  
Проворный поваръ суетился;  
Шумъ, говоръ въ станѣ разносился.

Князь поднималъ край шатра. Предъ нимъ  
Открылся Днѣпръ, залитый блескомъ,  
И нѣжилъ слухъ его своимъ  
Невозмутимо-ровнымъ плескомъ.  
Василько влѣво бросилъ взглядъ—  
Тамъ возвышался Кіевъ-градъ,—  
И сна дурное впечатлѣнье  
Разсѣялось въ одно мгновенье.

Верхушки Кіевскихъ церквей  
На солнцѣ ярко золотились,  
И отъ посада въ глубь полей  
Далеко нивы расходились;  
Вдали степей синѣла ширь,  
И Оеодосьевъ монастырь,  
Высокимъ тыномъ обнесенный,  
Вѣнчалъ собою холмъ зеленый.

Отраднo стало и свѣтло  
Въ душѣ Василька. Грудь дышала  
Спокойно. Утро принесло  
Ему съ собою думъ немало.  
Какъ львенокъ, вышедшій впервoй  
На ловъ, тряхнулъ онъ головой.  
Глаза его сверкали смѣло:  
Онъ замышлялъ большое дѣло.

На съѣздѣ въ Любечѣ князья  
Рѣшили: княженецкой власти  
Опоры нѣтъ, что воронья  
Мы Русь родную рвемъ на части.  
Пусть каждый отчиной своей  
Владѣтъ въ мирѣ съ этихъ дней,  
И да не будетъ ссоръ межъ нами...  
Мы братья,—намъ ли быть врагами?

Василько думаетъ: „Пойду  
Теперь я смѣло къ Теребовлю,  
И хитрымъ Ляхамъ на бѣду  
Зимой дружину приготовлю.  
Давно душа моя горитъ  
Взять землю ляхскую на щитъ,  
И Руси недруговъ лукавыхъ  
Похоронить въ глухихъ дубравахъ.

„Потомъ въ Дунай ладьи спущу  
И на Болгаръ грозой ударю,  
И ратной славы поищу  
Себѣ и брату Володарю;  
Сожгу ихъ села, и въ полѣнъ  
Возьму дѣтей, дѣвицъ, и женъ,  
И потоплю въ волнахъ Дуная  
Всю силу славнаго ихъ края.

„Потомъ за помощью приду  
Я къ Святополку съ Мономахомъ,  
И Половецкую орду  
Въ глухихъ степяхъ развѣю прахомъ. .  
Я дамъ родимой сторонѣ  
Покой, хотя пришлось бы мнѣ  
Лечь головой въ борьбѣ кровавой“...  
Такъ думалъ правнукъ Ярослава.

Такъ онъ задумывалъ одно,—  
Но у Давыда съ Святополкомъ  
Другое было рѣшено  
На ихъ совѣтѣ тихомолкомъ.  
„Василько,—думалъ князь Давыдъ,—  
Мое добро себѣ рачить.  
Покуда родъ его не вымеръ,  
За мной не крѣпокъ Володимеръ.

„Возьми его,—онъ вѣрогъ злой,  
Не родичъ намъ,—шепталъ онъ брату,—  
Ужели хочешь Кіевъ свой  
Отдать ему, какъ супостату?  
Въ крови потопить и въ слезахъ  
Онъ нашу землю. Мономахъ  
Его пособникъ произволу,  
Съ нимъ за одно куетъ крамолу.

„Какъ звѣри лютые, придутъ  
Они съ наемной силой вражьей,  
Владимеръ Галицскій возьмутъ,  
Отнимутъ столъ великокняжій.  
Нѣтъ правды, вѣрь мнѣ, въ ихъ сердцахъ!  
И дикій Половецъ и Ляхъ  
На Русь пойдутъ за ними слѣдомъ.  
Иль замыслъ ихъ тебѣ не вѣдомъ?

„О томъ, что мыслить князь-изгой,  
Мои дозналися бояре,  
Онъ запалитъ костеръ большой—  
И намъ, братья, сгннуть въ томъ пожарѣ.  
Возьми жъ его, пока онъ тутъ;  
Напрасенъ будетъ послѣ трудъ:  
Мѣшать намъ плохо волку въ ловлѣ,  
Когда онъ будетъ въ Теробовлѣ.

„Самъ Богъ намъ съ властью далъ уставъ —  
Блюсти отъ зла свою державу.“  
И внялъ великій князь, сказавъ:  
„Да будетъ такъ! Когда жъ неправо  
Ты молвишь,—Богъ тебѣ судья.  
Намъ не простятъ того князя,—  
Противу насъ найдутъ улики,—  
И будетъ то намъ въ стыдъ великій.“

И князь на Рудицы послалъ  
Василька звать на имянины.  
Тамъ не далеко отъ забралъ  
И Кіевскихъ бойницъ, съ дружиной  
Передвигаясь въ городъ свой,  
Сталъ станомъ княжичъ удалой,  
Про то не вѣдая, что вскорѣ  
Его постигнетъ злое горе.

## II.

Звонятъ къ обѣднѣ. Стольный градъ  
Проснулся. Ясень день холодный.  
Въ стану Васильковомъ скрипятъ  
Телеги съ рухлядью походной.  
Трясетъ серебряной уздой  
И стремянами конь княжой,  
Передъ княжимъ шатромъ закрытымъ,  
Храпитъ и въ землю бьетъ копытомъ.

Кормиличъ княжичій, старикъ,  
Торопитъ въ путь дружину съ княземъ.  
„Намъ впереди походъ великъ,—  
Какъ разъ обозъ въ грязи увязимъ.  
Пойдемъ-ко, князь! Того и жди,  
Польютъ осенніе дожди,  
И стой тогда въ болотной тинѣ!  
Вели-ко станъ снимаетъ дружинѣ!“

Василько вышелъ изъ шатра,  
Чтобъ нарядить, уладить сборы,  
Проститься съ берегомъ Днѣпра,  
Взглянуть на Кіевскія горы.  
Быть можетъ, долго не видать  
Тѣхъ мѣстъ, гдѣ вѣры благодать  
Надъ тёмной Русью просіяла,  
Гдѣ Русь крещенье воспріяла.

И грустно сердце сжалось въ немъ,  
Какъ будто чуя скорбь и горе,  
И вспомнилъ княжичъ о быломъ  
И о княжой недавней ссорѣ.  
„Мнѣ, можетъ,—думалъ онъ,—сулить  
Судьба въ грядущемъ рядъ обидъ,  
Отъ близкихъ родичей истому,  
И вмѣсто славы—паполому.

„Въ худое время мы живемъ,  
За распри другъ на друга ропшемъ;  
Радѣть всякій о своемъ,  
А о землѣ, наслѣдѣ общемъ,  
Никто не хочетъ пожалѣть,  
Отдавъ ее врагамъ на снѣдъ.  
Мы, вмѣсто мира, устроенья,  
Заводимъ ссоры да смятенья.

„Великій прадѣдъ Ярославъ!  
Берегъ ты землю отъ печали,  
Храня отеческій уставъ,—  
И наши вѣроги молчали.  
Могучъ, какъ древле царь Давидъ,  
Ты громкой славой былъ покрытъ;  
Но время тихое минуло—  
И Русь въ крамолахъ потонула.“

Такъ Ростиславичъ размышлялъ  
О распрѣ—княжеской заразѣ,  
А передъ нимъ уже стоялъ  
Посолъ отъ Кіевскаго князя,—  
И молвилъ, низко поклонясь:  
„Зоветь тебя на праздникъ князь  
И просить въ Кіевъ, господине,  
Для именинъ пріѣхать нынѣ.“

„Мнѣ дома быть пора давно,—  
Князь отвѣчалъ,—гулять не время:  
Рать будетъ дома неравно,  
Да и другихъ заботъ берема.  
Коль призванъ править князь землей,  
Ему гостить въ землѣ чужой  
Не слѣдъ: въ семьѣ владыка нуженъ,—  
Скажи: теперь я недосуженъ.“

Ушелъ гонецъ; но вслѣдъ за нимъ  
Великій князь прислалъ другаго:  
„Хоть на денекъ приди къ роднымъ,—  
Съ гонцомъ княжое было слово,—  
Объ этомъ я прошу, любя.“  
Давыдъ прибавилъ отъ себя:  
„Пожалуй въ Кіевъ нынче, брате!  
Куда спѣшишь? Не слышно рати!

„Отказъ твой сѣмя къ распрѣ дастъ.  
Ужели хочешь новой ссоры?  
На злое дѣло князь гораздъ,  
И въ немъ вражда созрѣетъ скоро,—  
Изъ друга сдѣлаться врагомъ  
Ему не диво,—знай о томъ.  
Коль не пріѣдешь къ Святополку,  
Не будетъ въ сѣздѣ нашемъ толку.“

Василько вымолвилъ: „Аминь!  
О ссорѣ мнѣ и думать больно“.  
Онъ станъ отправилъ на Волинь,  
И самъ поѣхалъ въ Кіевъ стольный.  
Торопитъ онъ и бьетъ коня;  
Но конь, уздечкою звеня,  
Идетъ неспѣшно и лѣниво,  
Храпитъ потряхивая гривой.

Безпечно ѣдетъ князь впередъ.  
На-встрѣчу отрокъ приближенный  
Спѣшитъ отъ Кіевскихъ воротъ  
Къ нему, печальный и смущенный,—  
Онъ сталъ передъ нимъ и говоритъ:  
„Не ѣзди, князь! Бѣда грозитъ!  
Вернись—иль быть грѣху да брани!  
Тебя возьмутъ,—вернись заранѣ!

„Не ѣзди: Кіевъ—западня,  
Повѣрь моей правдивой рѣчи.  
Верни ретиваго коня,—  
Твоя дружина недалече.  
И ты, какъ дома, будешь съ ней.  
Уйди подальше отъ князей,—  
Они лишатъ тебя удѣла,  
Въ нихъ мысль ехидная созрѣла.“

„За что жъ князя меня возьмутъ?  
Спросилъ Василько удивленный,—  
Не вѣрю я, нѣтъ правды тутъ,—  
Схватить нельзя же беззаконно?  
Я Святополка не боюсь:  
Не для того со мной союзъ  
Скрѣпилъ онъ крестнымъ цѣлованьемъ,  
Чтобъ встрѣтить гостя злодѣяньемъ.



„Ходилъ я всюду напрямикъ,—  
Зачѣмъ назадъ мнѣ возвращаться?  
Я въ битвахъ взросъ и не привыкъ  
Отъ юныхъ лѣтъ враговъ бояться“.  
Такъ Ростиславичъ отвѣчалъ,  
И путь свой въ Кіевъ продолжалъ:  
Былъ княжичъ чистъ и прямъ душою,  
Не знался съ хитростью людскою.

Спокоенъ въ Кіевъ вѣхалъ онъ,  
И у хороминъ княженецкихъ  
Остановился. Окруженъ  
Толпой дружинниковъ и дѣтскихъ,  
Выходитъ къ гостю на крыльцо  
Великій князь; его лице  
Омрачено; съ улыбкой странной  
Онъ молвилъ: „здраслуй, гость желанный!“

И ввелъ его онъ въ тотъ покой,  
Гдѣ князь Давыдъ, потупя очи,  
Поникнувъ хитрой головой,  
Сидѣлъ, темнѣй осенней ночи.  
Увидѣвъ гостя, вздрогнулъ онъ,  
И на привѣтливый поклонъ  
И рѣчи князя молодова  
Не можетъ вымолвить ни слова.

Василько веселъ и не ждетъ  
Грозы; а громъ надъ головою,  
И скоро часъ бѣды придетъ.  
Великій князь кривитъ душою,  
Кривитъ предъ нимъ, а князь Давыдъ,  
Нѣмой, какъ рыба, внизъ глядитъ.  
Ждутъ слуги взгляда, и готовы  
Для Ростиславича оковы.

### III.

Прошло съ тѣхъ поръ четыре дня.  
Въ мѣстечкѣ Вздвиженъе тревога;  
И шумъ, и смѣрдовъ бѣготня  
Въ избѣ священника убогой.  
Толпа Давыдовыхъ людей  
Тѣснится около дверей,  
И двое слугъ несутъ въ ворота  
Въ ковры завернутое что-то.

То князь Василько. Но зачѣмъ  
Въ такомъ печальномъ онъ нарядѣ  
Лежитъ безъ чувствъ, безсиленъ, нѣмъ?  
Въ глухую ночь, вчера, въ Бѣлградѣ,  
Онъ былъ злодѣйски ослѣпленъ.  
Недавній сбылся князя сонъ!  
Полуживой, онъ дышетъ еле...  
Давыдъ достигъ желанной цѣли.

Народомъ полонъ ветхій срубъ;  
Скрипятъ гнилыя половицы;  
На лавкѣ князь лежитъ, какъ трупъ...  
Лице порѣзано; зеницы  
Изъ впадинъ вырваны глазныхъ,  
И страшно кровь чернѣетъ въ нихъ;  
Разбита грудь его, и тѣло  
Изнемогло и посинѣло.

Сняла съ Василька попадья  
Рубаху, кровью залитую,  
И говоритъ: „Какой судья  
Тебѣ назначилъ казнъ такую!  
Али такъ много грѣшенъ ты,  
Что ни очей, ни красоты  
Не пощадили?... Вепрь не станетъ  
Такъ мучить, туръ такъ не изранить!

„Давно на свѣтѣ я живу,  
Годамъ и счетъ-то потеряла;  
Но ни во снѣ, ни на яву  
Такой я казни не видала.  
Худое времячко пришло:  
Рвуть людямъ очи, въ братьяхъ зло,—  
Знать нѣту въ мірѣ Божья страху!“  
И стала мыть она рубаху.

И слезы горькія свои  
На полотно она роняла.  
Отъ плача старой попадьи  
Очнулся князь... Не могъ сначала  
Припомнить онъ: что было съ нимъ?  
И лютой жаждою томимъ,  
Онъ простоналъ. Тотъ стонъ услыша,  
Хозяйкѣ стража шепчетъ: „Тише!“

Надъ нимъ нагнулась попадья:  
Ея почувствовавъ дыханье,  
Василько вымолвилъ: „Гдѣ я?“  
И заглушивъ въ себѣ рыданья,  
Она, качая головой,  
Сказала: „Въ Вздвигеньѣ, родной!“  
И грудь его, съ печалью тяжской,  
Покрыла вымытой рубашкой.

Рукою грудь ощупалъ онъ  
И черезъ силу приподнялся,—  
Блѣднѣетъ стража: страшный стонъ  
И вопль княжой въ избѣ раздался.  
Рыдая, онъ къ скамьѣ приникъ,  
И проходили въ этотъ мигъ  
Передъ духовными очами  
Слѣпца видѣнія рядами.

Припомнилъ онъ, честнѣй какъ крестъ  
На сѣздѣ братья цѣловали:  
Надежды свѣтлыя на сѣздѣ  
Они великій возлагали.  
И вотъ—нарушенъ земскій миръ!  
На страшный, вновь кровавый пиръ,  
Для казни, прежнихъ казней злѣйшей,  
Призвалъ Василька князь старѣйшій.

Припомнилъ онъ, какъ безъ причинъ  
Онъ схваченъ былъ по волѣ братской;  
Какъ на глазахъ его Торчинъ  
Точилъ свой ножъ въ избѣ бѣлградской.  
Заранѣ свѣтъ померклъ въ очахъ....  
Какъ дикій барсъ лѣсной въ сѣтяхъ,  
Боролся княжичъ съ сильной стражей,  
Но не осилилъ злобы княжей.

Не могъ онъ выдержать борьбы...  
Васильку на полъ повалили  
Немилосердые рабы,  
И грудь доской ему сдавили;  
Усѣлись конюхи на ней,—  
Взмахнулъ ножомъ Торчинъ-злѣдѣй,—  
Несчастный вскрикнулъ и рванулся—  
И теплой кровью захлебнулся...

И Божій міръ для князя сталъ  
Безмолвно-глухъ, какъ склепъ огромный;  
Безъ чувствъ и памяти, онъ спалъ  
Какъ трупъ, подъ ризой смерти темной;  
Но былъ недологъ этотъ сонъ!  
О! для чего проснулся онъ,  
Зачѣмъ вернулося сознанье  
Къ нему для новаго страданья!...

Весь ужасъ участи своей  
Теперь лишь понялъ князь несчастный:  
Сознанье это смерти злѣй—  
И князь зоветъ ее напрасно,  
И съ громкимъ воплемъ говорить:  
„Кто свѣтъ очей мнѣ возвратитъ?  
О, пусть Господь воздастъ Давыду  
За кровь, за муку, за обиду!“...

И участь горькую кляня,  
Припалъ Василько къ изголовью.  
„Зачѣмъ снимали вы съ меня  
Рубашку, залитую кровью,—  
Передъ Всевышнимъ судіей  
Предсталъ бы я въ рубашкѣ той—  
И кровь Ему бъ заговорила  
Звончѣе трубъ, слышнѣе била!“

Лишь передъ утромъ князь затихъ.  
Въ избушкѣ ветхой было жутко;  
Едва мерцалъ, дымясь, ночникъ;  
Въ сѣняхъ дремали слуги чутко;  
Храпѣли кони у крыльца;  
И попадая у ногъ слѣпца,  
Очей усталыхъ не смыкая,  
Сидѣла точно мать родная.

Въ его разстроенномъ умѣ  
Не разсвѣтало; сердце ныло  
Какъ въ замуравленной тюрьмѣ,  
Въ груди темно и пусто было.  
Его надеждъ блестящихъ рядъ,  
Все, чѣмъ досель онъ былъ богатъ,  
Все было отнято съ очами,  
И въ грязь затоптано врагами.

И не видалъ несчастный князь,  
На жесткомъ ложѣ плача глухо,  
Какъ вскорѣ стража поднялась,  
Какъ ставень вынула старуха,  
И солнца лучъ блеснулъ въ окно.  
До гроба было суждено  
Ему нести страданья цѣпи  
И въ мірѣ жить, какъ въ темномъ склепѣ.

#### IV.

Неудержимая летитъ  
Повсюду вѣсть о дѣлѣ черномъ.  
Для всѣхъ чудовищемъ Давыдъ  
Сталъ ненавистнымъ и позорнымъ.  
Въ стѣнахъ хоромъ и тѣсныхъ хатъ  
Гремятъ проклятья, какъ набатъ,—  
Клянутъ князя, бояре, смерды  
Давыдовъ судъ немилосердый.

Какъ въ бурю грозная волна,  
Вѣсть о злодѣйствѣ небываломъ  
Всѣмъ одинаково страшна—  
И старикамъ, и дѣтямъ малымъ.  
Молва стоустая донестъ  
Спѣшитъ нерадостную вѣсть  
До Перемышля на Волыни  
И до Васильковой княгини.

Досель счастливая, она  
Въ расплохъ застигнута бѣдою,  
И вѣстью той поражена,  
Какъ лебедь мѣткою стрѣлою.  
Ядъ горя въ грудь ея проникъ,  
И свѣтлой радости родникъ  
Изсякъ въ душѣ. Заполонила  
Ее тоска,—ей все постыло.

Ея Василько ослѣпленъ!  
Какъ съ этимъ горемъ примириться?...  
Бѣжить отъ глазъ княгини сонъ;  
Когда жъ заснетъ,—то мужъ ей снится:  
Блестить на князѣ молодомъ  
Съ высокимъ яловцемъ шеломъ,  
И цареградская кольчуга  
Съ крестомъ надѣта на супруга.

Въ рукѣ Васильковой копье;  
Глаза, какъ уголья сверкаютъ;  
Когда жъ онъ взглянетъ на нее—  
Она, голубка, такъ и таетъ;  
На сына взглянетъ—и вздохнетъ,  
И на губахъ его мелькнетъ  
Улыбка ласки и привѣта,—  
И любо ей примѣтить это.

И снятся ей былые дни,  
Дни невозвратнаго веселья...  
Прошли-промчались они!  
Княгиню скорбь крушить, какъ зелье.  
Ея супругъ—слѣпецъ, въ плѣну!...  
Кто защититъ его жену?  
Кто приголубитъ крошку-сына?  
Съ кѣмъ въ бой пойдетъ его дружина?

Едва ль его освободятъ  
Его дружинники, бояре.  
Но развѣ умеръ старшій братъ?  
Иль воевъ нѣтъ у Володаря,  
Давно испытанныхъ въ бояхъ?  
Иль не встанетъ Мономахъ,  
Всегдашній врагъ дѣяній темныхъ,  
Противу братьевъ вѣроломныхъ?

И одолѣть не въ силахъ гнѣвъ,  
Услыша вѣсть о новомъ горѣ,  
Владиміръ вспрянулъ, точно левъ,  
И шлетъ гонца къ Олегу вскорѣ.  
„Доколѣ намъ коснѣть во злѣ?  
Онъ пишетъ.—Всей родной землѣ  
Грозить бѣда,—судите сами:  
Давыдъ повергнулъ ножъ межъ нами.

„Коль не исправимъ зла того  
И не упрочимъ миръ желанный,  
То братъ на брата своего  
Возстанетъ въ злобѣ окаянной;  
Въ крови потопится земля:  
Селенья наши и поля  
Возьмутъ враги, разрушатъ грады,  
И сгинутъ въ распряхъ наши чада.

„Раздорамъ надо быть концу,—  
Давно мы ими Русь безславимъ.  
Придите, братья, къ Городцу,—  
Скорѣ вмѣстѣ зло исправимъ,  
Стоять за правду вы клялись.“  
И княжьи счеты улеглись  
Передъ бѣдою этой новой,  
Изчезъ въ нихъ духъ вражды суровой.

И Святославичи пришли,  
Спѣша исправить злое дѣло,  
Туда, гдѣ грозный стражъ земли  
Уже стоялъ съ дружиной смѣлой.  
Къ борьбѣ нешуточной готовъ,  
Отправилъ въ Кіевъ онъ пословъ  
Съ такою рѣчью къ Святополку:  
„Зачѣмъ затѣялъ онъ размолвку?



„Зачѣмъ нарушилъ клятву онъ—  
Не изнурять земли враждою?  
За что Василько ослѣпленъ.  
Давыду выданъ головою?  
Когда вина была на немъ,  
Зачѣмъ судилъ своимъ судомъ?  
Объ этомъ братьямъ далъ бы вѣсти,  
Мы разсудить съумѣли бѣ вмѣстѣ.“

„Не я слѣпилъ его—Давыдъ,—  
Князь Святополкъ на то отвѣтилъ,—  
Великій грѣхъ на немъ лежитъ:  
Онъ сѣсть на столъ Давыдовъ мѣтилъ.  
Хотѣлъ со мной затѣять рать.—  
И столъ, и жизнь мою отнять—  
И съ Мономахомъ заедино  
Взять Туровъ, Пинскъ и Погорину.

„Не самъ о томъ дознался я,—  
Мнѣ обо всемъ Давыдъ повѣдалъ.  
За то ль винять меня князя.  
Что я Василькѣ воли не далъ?  
Вины своей не признаю  
Предъ ними. Голову свою  
Сложить мнѣ не было охоты.  
Пускай съ Давыдомъ сводятъ счеты.“

—Увѣришь братьевъ ты наврядъ,—  
Сказали посланные мужи.—  
Что не тобой Василько взять:  
Ты взялъ,—вина твоя наружѣ.  
И разошлись до утра,  
Чтобъ съ новымъ днемъ по льду Днѣпра  
Подъ стольный Кіевъ перебраться  
И съ княземъ въ полѣ посчитаться.

Не захотѣвъ пропасть въ бою,  
Великій князь, объятый страхомъ,  
Жалѣя голову свою,  
Тогда бѣжать задумалъ къ Ляхамъ,  
И мать русскихъ городовъ,  
Онъ, Кіевъ кинуть былъ готовъ;  
Но не пустили Кіевляне  
Его, бояся большей брани.

Нѣтъ, не успѣетъ Мономахъ  
Достигнуть утромъ переправы:  
Чѣмъ свѣтъ весь Кіевъ на ногахъ;  
Но не воздвигнуть величавый  
Стягъ Святополка у воротъ,  
Дружина княжья не зоветъ  
Смущенныхъ гражданъ къ оборонѣ,  
И не стучать мечи и брони.

Великій князь, земли глава,  
Бойтся пасть въ бою открытомъ,  
И Всеволожская вдова  
Идетъ съ отцомъ-митрополитомъ  
Въ станъ Мономаха; весь народъ,  
Сопровождая крестный ходъ,  
Усердно молится иконамъ,  
И пѣлонъ городъ краснымъ звономъ.

Передъ Владиміромъ склонясь,  
Сказала старая княгиня:  
„Будь милосердъ, родной мой князь!  
Къ тебѣ пришли мы съ просьбой нынѣ.  
Князь! покажи намъ милость въ явь  
И новой скорби не прибавь  
Въ правдивомъ гнѣвѣ къ нашимъ болямъ,—  
Тебя о томъ мы слезно молимъ.

„Земли защитникъ ты, не врагъ,  
Не Половчинъ, не Тѣрчинъ ярый!“  
Заплакалъ горько Мономахъ,  
Услыша вопль княгини старой.  
И говоритъ онъ братьямъ рѣчь:  
„Ужель намъ землю не беречь?  
Её отцы трудомъ стяжали,  
А мы терзать въ раздорахъ стали!

„Какъ сынъ, Василько мной любимъ.—  
Но обреку ль бѣдамъ и мщенью  
Людей невинныхъ передъ нимъ  
И не причастныхъ преступленью?  
Пусть Богъ воздастъ его врагамъ  
По ихъ неправеднымъ дѣламъ;  
Но мы невинныхъ не осудимъ.“  
И далъ онъ миръ землѣ и людямъ.

## V.

Волынъ въ тревогѣ: снова рать,  
И духъ вражды опять повѣялъ;  
Князь Володаръ заставилъ сжать  
Давыда то, что онъ посѣялъ.  
Василько имъ освобождень;  
За ослѣпленье и полѣнъ,  
За муки всѣ отмстить заклятымъ  
Своимъ врагамъ идетъ онъ съ братомъ.

Уже не въ силахъ Мономахъ  
Остановить кровопролитъ,  
И пробудилъ Давыда страхъ,  
Какъ громъ, отъ сладкаго забытья.  
Его совѣтники бѣгутъ;  
Но братья требуютъ на судъ  
Ихъ, виноватыхъ въ грозной брани,  
И ставятъ висѣлицы въ станѣ.

И долженъ выдать ихъ Давыдъ,  
И долженъ самъ понести безчестье.  
Слѣпецъ разгнѣванный грозитъ  
И Святополку страшной местию.  
Ставь съ Володаремъ на Рожнѣ,  
Предать разгрому и войнѣ  
Безъ сожалѣнья и пощады  
Онъ хочетъ княжескіе грады.

Въ душѣ Василька ночи тѣнь.  
И этотъ мракъ, какъ смерть, ужасенъ.  
А Божій міръ такъ свѣтелъ, день  
Весенній радостенъ и ясенъ;  
Деревья въ зелень убраны;  
Тепло... но вѣянье весны  
Грудь Ростиславича не грѣетъ:  
Въ ней скорби ледъ, въ ней злоба зрѣетъ.

Лучъ солнца ласково скользитъ  
По золоченому оплечью,—  
Не видитъ солнца князь; громить  
Онъ Святополка грозной рѣчью.  
„Вотъ чѣмъ мнѣ клялся стольный князь!“  
Воскликнулъ онъ, остановясь  
Передъ дружиной боевою,  
И поднялъ крестъ надъ головою.

„Онъ отнялъ свѣтъ моихъ очей.—  
Теперь отнять и душу хочетъ.  
И такъ я нищаго бѣднѣй!  
Я радъ бы плакать, но не точать  
Мои слѣпые очи слезъ,  
И грудь больную злѣе ось  
Терзаютъ страшные недуги...  
За жизнь мою постойте, други!“

Паль Святополковъ скоро стягъ.  
Великокняжая дружина  
Бѣжить, разбитая во прахъ.  
Покрыта павшими равнина,  
Гдѣ совершенъ упорный бой;  
Но не ликуетъ князь слѣпой,  
Побѣды славной слыша звуки,  
А говорить, поднявши руки:

„Отъ вѣрныхъ ратниковъ моихъ  
Бѣгутъ и пѣшіе, и кмети  
Уже не первый разъ; для нихъ,  
Какъ пиръ, утѣшны битвы эти.  
А я, несчастный, слыша громъ,  
Могу лишь въ воздухѣ мечемъ  
Махать, грозя врагамъ безвредно.  
Меня не тѣшитъ крикъ побѣдный.

„На свѣтѣ горько жить слѣпцу.  
Что мнѣ въ моей ненужной силѣ,  
Коль не могу лицомъ къ лицу  
Съ врагомъ сойтись?—Лишь въ могилѣ,  
Когда придетъ моя пора,  
Увижу ясный свѣтъ утра  
Я послѣ долгой, страшной ночи.  
И только смерть вернетъ мнѣ очи!..“

~~~~~

КАНУТЬ ВЕЛИКІЙ.

Задумчивъ и скучень гуляетъ Кануть
По берегу моря со свитой;
Тяжелыя мысли Канута гнетуть,
Видѣнья прошедшаго грозно встаютъ
Въ душѣ его, скорбью убитой.

Онъ властью другихъ превзошелъ королей,
Далѣко гремитъ его слава;
И много обширныхъ земель и морей
Имѣетъ Кануть подъ рукою своей,—
Но многое дѣбывъ неправо.

Онъ грозный властитель и храбрый боецъ,—
Его не пугаетъ измѣна,
Незыблемъ его королевскій вѣнецъ;
Но многою кровью свой мечъ-кладенецъ
Омылъ онъ, суровый сынъ Свена.

Тоска его сердце немолчно грызеть,—
Могучій, онъ царствовалъ славно;
Но властью своею угнеталъ онъ народъ,
Но кровь неповинныхъ къ Тому вопіетъ,
Кого онъ узналъ лишь недавно.

На вѣкъ онъ отрекся отъ вѣры отцовъ,
Язычника грозный наслѣдникъ,
И нѣтъ въ немъ жестокости прежнихъ слѣдовъ;
Не тщетно завѣтъ благодатный Христовъ
Ему возвѣстилъ проповѣдникъ!

Когда онъ крестился во имя Отца,
И Сына, и Духа Святова,—
Свершилося въ тайнѣ прозрѣнье слѣпца:
Его озарило Судьи и Творца
Святое, великое слово.

Гладь синяго моря тиха и свѣтла,
Вечерней зарею алѣетъ;
Но смутенъ властитель, въ душѣ его мгла,
Ему королевская власть не мила,
Былое надъ нимъ тяготѣетъ.

Придворные видятъ, что надо развлечь
Упорную скуку владыки,
И бремя печали съ Канута совлечь:
И вотъ начинаютъ хвалебную рѣчь:
„Что грустенъ, король нашъ великій?

„Что значить твой скучный и сумрачный видъ?
Ты счастливъ, король величавый!
Всѣ царства земныя возьмешь ты на щитъ!
Весь міръ золотыми лучами покрытъ,
Тебя озаряющей славы!

„И въ мирное время, и въ грозной борьбѣ
Величье твое неизмѣнно.
Ты сталъ повелителемъ самой судьбѣ.
Весь сѣверъ подъ властью твоею. Тебѣ
Нѣтъ равнаго въ цѣлой вселенной!“

Но къ льстивымъ рѣчамъ равнодушенъ Кануть,
Утѣхи онъ въ нихъ не находитъ.
Къ ногамъ его синія волны бѣгутъ
И пѣной морскою его обдаютъ.
Все ближе къ волнамъ онъ подходитъ.

„Глядите, глядите!—льстецы говорятъ,—
Какъ волны морскія покорно
Ложатся къ ногамъ повелителя въ рядъ.
Глядите! и волны съ Канута хотятъ
Смыть тѣнь его грусти упорной!

„Дивимся мы власти его и уму.
Кто въ мірѣ такъ силенъ и славенъ?
Онъ въ жизни своей покорялся кому?
Но даже стихіи покорны ему...
Онъ Богъ, онъ Создателю равенъ!“

Тогда обратился властитель къ лъстецамъ,
И молвилъ имъ грустно и строго:
„Не Богу ль я равень, по вашимъ словамъ?...
Возможно ль утихнутъ шумящимъ волнамъ
По волю могущаго Бога?“

Въ смущеніи свита стоитъ передъ нимъ.
Придворные шепчутъ тревожно:
„Отвѣтитъ намъ должно, отвѣтомъ своимъ,
Быть можетъ, мы грусть короля уладимъ.“
И всѣ восклицають: „Возможно!“

И волны воздать тебѣ славу и честь
Со страхомъ должны непритворнымъ!“
Противна Кануту безстыдная лесь!
И царское кресло на берегъ принесть
Велитъ онъ смущеннымъ придворнымъ.

На мѣстѣ, куда достигаетъ приливъ,
Онъ кресло велитъ имъ поставить.
Поставлено кресло. Онъ сѣлъ, молчаливъ.
Лъстецамъ онъ докажетъ, ихъ лесь пострамивъ,
Что съ небомъ опасно лукавить.

И вотъ, обратившись къ шумящимъ волнамъ,
Кануть говоритъ имъ: „Я знаю,
Что вы покоряетесь Божьимъ словамъ.
Смиритесь! Я двигаться далѣ вамъ
На берегъ морской запрещаю!“

Сидитъ неподвижно могучій Кануть;
Придворные жмутся въ тревогѣ;
А волны морскія растутъ и растутъ,
Одна за другою на берегъ ползутъ,
И лижутъ Канутовы ноги.

Холодныя брызги въ придворныхъ летятъ.
Одежда ихъ пѣной покрыта,
Шумящія волны имъ смертью грозятъ...
И прочь отъ Канута со страхомъ назадъ
Бѣжитъ пострамленная свита!

Ихъ гонитъ суровый, ревущій прибой,
Опасность льстецовъ испугала.
Кануть поднялся, упираясь ногой,—
И кресло его набѣжавшей волной
Въ открытое море умчало.

Все громче реветъ и бушуетъ вода,
И мечутся волны сердито.
Нельзя уже съ ними бороться!—Тогда
Король отступилъ—и подходитъ туда,
Гдѣ въ страхѣ столпилася свита.

„Теперь вы скажите,—Кануть говоритъ,—
Мнѣ, вѣрные слуги,—великъ ли
Король вашъ божественный?“... Свита молчитъ:
Терзаетъ льстецовъ опозоренныхъ стыдъ,—
Они головами поникли.

Страхъ близкой опалы уста заковалъ
Имъ, гнѣвомъ владыки убитымъ.
„Языкъ вашъ лукавый меня приравниалъ
Къ Тому, кто мнѣ силу и власть даровалъ.“—
Сурово король говоритъ имъ.

„Надъ нами святая небесъ благодать,
Дано намъ Создателемъ много;
Но знайте: движенъемъ стихій управлять,
И море въ границахъ его удержать—
Во власти единого Бога!“



КАЗНЬ СТЕНЬКИ РАЗИНА.

Точно море, въ часъ прибоя,
Площадь красная гудитъ.
Что за говоръ? что тамъ противъ
Мѣста лобнаго стоитъ?

Плаха черная далёко
Отъ себя бросаетъ тѣнь...
Нѣтъ ни облачка на небѣ....
Блещутъ главы.... Ясенъ день.

Ярко съ неба свѣтитъ солнце
На кремлевскіе зубцы,
И вокругъ высокой плахи
Въ два ряда стоятъ стрѣльцы.

Вотъ толпа заколыхалась,—
Проложилъ дорогу кнутъ:
Той дороженькой на площадь
Стеньку Разина ведутъ.

Съ головы казацкой сбриты
Кудри черные, какъ смоль;
Но лица не измѣнили
Казни страхъ и пытки боль.

Такъ же мрачно и сурово,
Какъ и прежде, смотритъ онъ,—
Передъ нимъ былое время
Возстаетъ, какъ яркій сонъ:

Дона тихаго приволье,
Волги-матушки просторъ,
Гдѣ съ судовъ большихъ и малыхъ
Бралъ онъ съ вольницей поборъ:

Какъ онъ силою казацкой
Рыскалъ вихоремъ степнымъ,
И кичливое боярство
Трепетало предъ нимъ.

Душить злоба удалаго,
Жгетъ огнемъ и давитъ грудь,—
Но тяжелые колодки
Съ ногъ не въ силахъ онъ смахнуть.

Съ болью тяжкою оставилъ
Въ это утро онъ тюрьму:
Жаль не жизни, а свободы.
Жалко волюшки ему.

Не придется Стенькѣ кликнуть
Кличъ казацкой голытьбѣ,
И призвать ее на помощь
Съ Дона тихаго къ себѣ.

Не удастся съ этой силой
Силу ратную потряхнуть,—
Воеводъ, бояръ московскихъ
Въ три погибели согнуть.

„Какъ подъ городомъ Симбирскомъ,—
(Думу думаетъ Степанъ)—
Рать казацкая побита,
Не побить лишь атаманъ.

„Знать, ужъ долюшка такая,
Что не палъ казакъ въ бою,
И сберегъ для черной плахи
Буйну голову свою.

„Знать, ужъ долюшка такая,
Что на Донъ казакъ бѣжалъ,
На родной своей сторонкѣ
Во поиманье попалъ.

„Не больна мнѣ та обида,
Та истома не горька,
Что московскіе бояре
Заковали казака,

„Что на помостѣ высокомъ
Поплачусь я головой
За разгульные потѣхи
Съ разудалой голытьбой.

„Нѣтъ, мнѣ та больна обида,
Мнѣ горька истома та,
Что измѣнною неправдой
Голова моя взята!

„Вотъ, сейчасъ на смертной плахѣ
Срубятъ голову мою,
И казацкой алой кровью
Черный помостъ я полью....

„Ой, ты Донъ ли мой родимый!
Волга-матушка-рѣка!
Помяните добрымъ словомъ
Атамана казака!“... .

Вотъ и помостъ передъ Стенькой...
Разинъ бровью не повель,
И на верхъ онъ, по ступенямъ,
Бодрой поступью взошелъ.

Поклонился онъ народу,
Помолился на соборъ....
И палачъ, въ рубахѣ красной,
Высоко взмахнулъ топоръ....

„Ты прости, народъ крещеный!
Ты прости-прощай, Москва!“...
И скатилась съ плечъ казацкихъ
Удалая голова.

~~~~~

## П Р А В Ё Ж Ъ.

---

Зимній день. Въ холодномъ блескѣ  
Солнце тусклое встаетъ.  
На широкомъ перекрёсткѣ  
Собрался толпой народъ.

У можайскаго Николы  
Церковь взломана, грабежъ  
Учиненъ на много тысячъ;  
Ждутъ, назначенъ тутъ правёжъ.

Ужъ палачъ широкоплечій  
Ходитъ съ плетью, дѣла ждетъ.  
Вотъ, гремя желѣзной цѣпью,  
Добрый молодецъ идетъ.

Подошелъ, потрянуль кудрями,  
Бойко вышелъ напередъ,  
Къ палачу подходитъ смѣло,—  
Бровь надъ глазомъ не моргнетъ.



Шубу прочь, долой рубаху,  
На кобылу малый легъ...  
И палачъ стянулъ ремнями  
Тѣло крѣпко поперегъ.

Сносить молддець удары,—  
Изъ-подъ плети кровь ручьемъ...  
—Эхъ, напрасно погибаю,—  
Не виновенъ въ дѣлѣ томъ!

Не виновенъ,—церкви Божьей  
Я не грабилъ никогда...  
Вдругъ народъ заволновался:  
„Ѣдетъ, Ѣдетъ царь сюда!“

Подъѣзжаетъ царь и крикнулъ:  
„Эй, палачъ, остановись!  
Отстегни ремни кобылы...  
Ну, дружище, поднимись!

„Разскажи-ка, въ чемъ виновенъ,—  
Да чтобъ правды не таить!  
Виноватъ,—терпи за дѣло:  
Не виновенъ,—что и бить!“

—За грабѣжъ я церкви Божьей  
Бить плетями осужденъ:  
Но я церкви, царь, не грабилъ,  
Хоть душа изъ тѣла вонъ!

У можайскаго Николы  
Церковь взломана не мной,—  
А грабители съ добычей  
Забралися въ лѣсъ густой:

Деньги кучками расклали...  
Я дубинушку схватилъ—  
И грабителей церковныхъ  
Всѣхъ дубинушкой побилъ.

„Исполать тебѣ, дѣтина!  
Молвилъ царь ему въ отвѣтъ.--  
А цѣла ль твоя добыча?  
Ты сберегъ ее, иль нѣтъ?“

—Царь, вели нести на плаху  
Мнѣ головушку мою!  
Денегъ нѣтъ,—передъ тобою  
Правды я не утаю.

Мнѣ добычу эту было  
Тяжело тащить въ мѣшкѣ;  
Видно, врагъ попуталъ,—деньги  
Всѣ я прѣпилъ въ кабацкѣ!

~~~~~

У Д А Л О Й.

Передъ воеводу
Съ грозными очами
Молодецъ удамый
Приведенъ слугами.

Онъ для всѣхъ проѣзжихъ
Страшной былъ грозою:
Грабилъ по дорогамъ
Смѣлою рукою.

Долго воевода
Взять его старался;
Наконецъ, удамый
Молодецъ попался.

Передъ воеводу
Съ грозными очами
Приведенъ онъ, скованъ
Крѣпкими цѣпями.

Плисовая куртка
Съ плечь его свалилась;
Надъ высокой грудью
Буйная склонилась.

По груди изъ раны
Кровь течетъ струею;
Знать, что не дешевой
Куплень онъ цѣною.

Грозно удалому
Молвилъ воевода:
„Сказывай, какого,
Молодецъ, ты рода?

„Мать, отецъ кто были,
Что тебя вскормили,
Удальству, разбою
Рано научили?

„Говори, сознайся
Ты передо мною:
Много ли удалыхъ
Грабило съ тобою?

„Говори мнѣ прямо,
Говори открыто,
Гдѣ твое богатство,
Спрятано, зарыто?“

Передъ воеводой
Съ грозными очами
Молодецъ удалый
Вдругъ встряхнулъ кудрями.

Смѣло онъ рукою
Кудри расправляетъ.
Воеводѣ бойкой
Рѣчью отвѣчаетъ:

„Темный лѣсъ—отецъ мой,
Ночь—мнѣ мать родная,—
Удальству учила
Воля дорогая.

„У меня удалыхъ
Было только трое,
Что мнѣ помогали
Въ грабежѣ, разбоѣ.

„Первый мой удалый—
Ножъ остроточеный,
А второй—тяжелый
Мой кистень гранёный.

„Третій мой удалый
Пѣ полю гуляетъ:
Онъ ѣздою быстрой
Вѣтеръ обгоняетъ.

„Съ ними я въ глухую
Ночку потѣшался,—
Смѣло по дорогамъ
Грабилъ, не боялся.

„Гдѣ жъ мое богатство
Спрятано, хранится,—
Этого тебѣ ужъ,
Видно, не добиться!“

Грозно воевода
Засверкалъ очами,
И зоветъ онъ громко
Стражу съ палачами.

Два столба дубовыхъ
Имъ велитъ поставить,
Да покрѣпче петлю
Изъ пеньки исправить.

Сдѣлано, готово;
Стража ждетъ и ходить;
И къ столбамъ дубовымъ
Молодца подводить.

Молодецъ не вздрогнетъ.
Не промолвитъ слова.
Грозный воевода
Спрашиваетъ снова:

„Слушай же меня ты,
Молодецъ удалый:
Гдѣ твое богатство?
Разскажи, пожалуй.

„Вѣрь ты мнѣ, клянуся
Здѣсь, при всемъ народѣ.—
Дамъ тебѣ я волю,
Будешь на свободѣ.

„Если хочешь воли,
Разскажи, не мѣшкай!“
И промолвилъ громко
Молодецъ съ усмѣшкой:

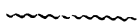
„Разсказать не трудно.
Слушай, да не кайся,
И моимъ завѣтнымъ
Кладомъ разживайся!

„Все мое богатство,—
Можно побожиться.—
Въ теремѣ высокомъ
У тебя хранится.

„Ты сердечной тайны
Женниной не знаешь,
И мое богатство
Крѣпко берегаешь.

„Ты ходилъ въ походы,
Воевалъ съ врагами,—
Я съ твоей женою
Пировалъ ночами. .

„Весело я съ нею
Проводилъ тѣ ночи,
Цѣловалъ уста ей,
Цѣловалъ ей очи“...



ВЪ ОСТРОГЪ.

(изъ поэмы „Бѣглый“).

Угрюма камера замкнутая острога,
Какъ звѣря дикаго огромная берлога.
Нависшій потолокъ, и стѣны, и углы
Покрываютъ сыростью и плѣсенью, какъ мазью;
Кирпичный полъ межъ наръ залѣпленъ склизкой грязью. ..
Немолчный гамъ стоитъ; бряцаютъ кандалы;
Пропитанъ воздухъ весь прогорклой смѣсью чада
Съ испариною тѣлъ и гнили; тамъ и тутъ
Дымятся ночники вонючіе... Какъ стадо,
Здѣсь запертъ до утра острожный, буйный людъ...

Здѣсь запертъ страшный звѣрь, стоустый, стоголовый.
Нѣтъ свѣта и любви въ душѣ его суровой,—
Въ ней злоба на людей, въ ней царство вѣчной тьмы.
Какъ волкъ подстрѣленный, въ намордникѣ желѣзномъ,
Рычитъ острожный людъ, желаньемъ безполезнымъ
Томимый—погулять подальше отъ тюрьмы,—
На волѣ рыскать вновь... Неужли въ этомъ звѣрѣ
Ничѣмъ не скажется погибшій человѣкъ!
Неужли отъ себя, вступивши въ эти двери.
Все человѣчное на вѣки онъ отсѣкъ!...

Снаружи ночь глядитъ сквозь крѣпкія рѣшетки...
Вотъ староста въ углу, добывъ запретной водки,
Съ любителей-кутиль, какъ жидъ, собираетъ дань...
Вотъ на другомъ концѣ закопошилась нара,—
Раздался рѣзкій звукъ кулачнаго удара,
Крикъ многихъ голосовъ, и яростная брань.
И въ этой кутерьмѣ, надъ этимъ страшнымъ гамомъ
Вдругъ пѣсня поднялась высдо, какъ волна...
Послушаемъ ее,—вѣдь мы привыкли къ драмамъ,—
Быть можетъ, что нибудь расскажетъ намъ она.

П ѣ с н я.

Ты шуми, шуми, дубравушка,
Грусть-кручину заглуши!
Только въ бурю сердцу весело,
Не томить тоска души.

Ты не пой мнѣ, пташка, пѣсенку
Объ родимой сторонѣ;
Только пѣсни вѣтра буйнаго
Любо ночью слушать мнѣ.

Пусть зовутъ меня разбойникомъ,—
Я людей губить не могъ...
Не разбой, а бѣдность лютая
Привела меня въ острогъ.

Посадили дѣбра мѡлодца,
Чтобъ не краль, не вороваль,
У прохожихъ на дороженькѣ
Кошельковъ не отнималь.

Изъ тюрьмы глухой я вырвался,
И скитаюся въ лѣсахъ;
Но и здѣсь я въ злой неволюшкѣ,
Хоть живу и не въ стѣнахъ.

Я скрываюсь, воспоминаючи
Про голубушку-жену.
Сердце кровью обливается,
Жизнь и долю я клянѹ.

Терпитъ муку, горемычная...
Но еще того страшнѣй
Вспоминать мнѣ мать родимую
И покинутыхъ дѣтей.

Я пойду ль въ село родимое—
Сыщутъ вора на домѣ.
Скрутятъ руки молодецкія,
Отведутъ меня въ тюрьму.

Для чего бѣжалъ-бродяжничалъ
Мнѣ велятъ держать отвѣтъ...
Свѣтъ великъ, да что мнѣ радости?
Въ немъ бродягѣ мѣста нѣтъ.

Пѣвецъ осторожный смолкъ; но пѣсни этой звуки,
Въ замкнутой камерѣ напомнивъ о разлукѣ
Съ родимой стороной, о свѣтлыхъ дняхъ былыхъ,
О вольной-волюшкѣ, о рощахъ и дубровахъ,—
Отозвались въ сердцахъ острожниковъ суровыхъ,
И, смолкнувъ въ тишинѣ, носились долго въ нихъ.
И этотъ буйный звѣрь, который бѣсновался
За нѣсколько минутъ, затихъ и присмирѣлъ:
Какъ слабое дитя, онъ чувству покорялся
И заглушить его не могъ, и не хотѣлъ.

А тотъ, кто пѣсню пѣлъ, бѣжавшій изъ Сибири
Бродяга, былъ одинъ, казалось, въ цѣломъ мірѣ.
Не слыша ничего, задумчиво поникъ.
Онъ русой головой, и внизъ глядѣлъ угрюмо...
Какая въ этотъ мигъ его томила дума?
Что колыхнуло въ немъ заглохшихъ чувствъ родникъ?
Отъ скуки и тоски запѣлъ ли онъ случайно,
Иль горе тайное высказывалъ свое?...
Прошедшее его покрыто было тайной,
Онъ отъ чужихъ людей сберечь умѣлъ её.

Не выдалъ онъ себя ни словомъ, ни намекомъ,
Но мыслью жилъ всегда въ быломъ своемъ, далекомъ;
Суровый и скупой на лишнія слова,
Онъ душу открывалъ товарищамъ немногимъ,
Наединѣ грустилъ, и къ судьямъ нашимъ строгимъ

Являлся простакомъ, не помнящимъ родства.
Осторожный людъ любилъ несчастнаго собрата,
Хотя никто не зналъ чтѣ онъ въ душѣ своей
Заботливо таилъ; но, мнилось, что когда-то
Бродяга этотъ былъ не лишній межъ людей.

Быть можетъ, онъ носилъ немало преступленій
На совѣсти своей... Порой ложились тѣни
На блѣдное лицо, и взоръ сверкалъ огнемъ...
Кто примѣчалъ за нимъ въ тѣ рѣдкія мгновенья,
Тотъ чувствовалъ тогда и страхъ, и сожалѣнье...
Вѣдь этотъ человѣкъ, худой, съ высокимъ лбомъ,
Отрекся отъ всего, что дорого и любо,
Что мило для людей,—отъ родины святой,
Отъ имени, семьи,—и, все отвергнувъ грубо,
Онъ сталъ между живыхъ могилою нѣмой...

А вечеръ между тѣмъ мучительно тянулся.
Осторожный людъ отъ думъ тяжелыхъ встрепенулся,—
Какъ будто сожалѣлъ о слабости своей,
О томъ, что жизни ходъ, суровый и обычный,
Нарушилъ тишиной и грустью непривычной,—
Такая тишина для совѣсти страшнѣй
Допросовъ и суда... Не лучше ль буйнымъ смѣхомъ
Тотъ голосъ искренній и грустный заглушить,
Который прогремѣлъ въ душѣ преступной эхомъ,—
И сразу оборвалъ ненужныхъ мыслей нить!...

И снова крикъ, и брань, и хохоть... Настроенъе
Минутное прошло... Лучъ свѣта на мгновенье
Блестнулъ изъ темныхъ тучъ надъ бездною—и потухъ...
Блудящій огонекъ пронесся мимолѣтомъ
Надъ сумрачнымъ гнилымъ, заброшеннымъ болотомъ,—
И скрылся... Громкій крикъ немолчно рѣжетъ слухъ.
Тотъ глупой остротой, другой нахальной сплетней
Спѣшатъ себя развлечьъ, стараясь объ одномъ,
Чтобъ время какъ-нибудь тянулось незамѣтнѣй...
И такъ проходить жизнь острожныхъ день за днемъ!...



ПТИЧКА И СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧЪ.

(Изъ сказокъ Андерсена).

~~~~~  
За крѣпкой, желѣзной рѣшеткой,  
Въ холодныхъ и тѣсныхъ стѣнахъ,  
Лежить на истлѣвшей соломѣ  
Угрюмый преступникъ въ цѣпяхъ.

Вотъ лучъ заходящаго солнца,  
Играя, упалъ на окно.  
Вѣдь солнце лучи разсыпаетъ  
На злыхъ и на добрыхъ равнѣ.

Играющій лучъ въ казематѣ  
И стѣны, и полъ золотить.  
На лучъ съ отвращеньемъ и злобой  
Угрюмый преступникъ глядитъ.

Вотъ птичка къ окну прилетѣла  
И съ пѣснею сѣла за нимъ.  
Вѣдь птичка-пѣвунья щебечетъ  
Равнѣ и хорошимъ и злымъ.

Сидитъ на рѣшѣткѣ желѣзной  
Она, и щебечеть: квивить!  
Вертитъ миловидной головкой  
И глазками чудно блестить.

И крылышки чистить и холить,  
Встряхнется, на мигъ отдохнетъ—  
И перышки снова топорщить  
На грудкѣ, и снова поетъ.

И, глазъ не спуская, на птичку  
Угрюмый преступникъ глядитъ.  
По-прежнему руки и ноги  
Желѣзная цѣпь тяготить ..

Но легче на сердцѣ; свѣтлѣетъ  
Лице,—злыя думы бѣгутъ,—  
И новыя мысли и чувства  
Въ душѣ одичалой растутъ.

Ему самому непонятны  
Тѣ мысли и чувства,—они  
Лучу золотистому солнца  
И нѣжнымъ фіалкамъ сродни,—

Тѣмъ нѣжнымъ, душистымъ фіалкамъ,  
Что въ дни благодатной весны  
Ростутъ и цвѣтутъ у подножья  
Высокой тюремной стѣны.



Чу! звуки роговъ... Это трубятъ  
Стрѣлки на валу крѣпостномъ.  
Какой отголосокъ стозвучный  
Прошелъ, прокатился кругомъ!

Испуганно птичка спорхнула  
Съ рѣшетки и скрылась изъ глазъ.  
И солнечный лучъ поблѣднѣвшій  
Въ тюремномъ окошкѣ погасъ.—

Погасъ—и въ тюрьмѣ потемнѣло,  
И снова, суровъ и угрюмъ,  
Преступникъ лежитъ одиноко,  
Подъ гнетомъ вернувшихся думъ ..

А все-таки доброе дѣло,  
Что птичка пропѣла ему,  
Что солнце къ нему заронило  
Лучъ свѣта въ глухую тюрьму.



## Н Е М О Ч Ь.

---

### I.

**З**атужился, запечалился  
Мужъ-Терентій, сокрушается,  
Ходить взадъ-впередъ по горенкѣ  
Да кручиной убивается.

У Терентья, мужа старого,  
Злое горе приключилося:  
У жены его, красавицы,  
Злая немочь расходилась.

Началась она съ головушки,  
Ко бѣлымъ грудямъ ударилась,  
Разлилась по всѣмъ суставчикамъ...  
Бралъ онъ знѣхарку—не справилась.

И поили бабу травами,  
И въ горячей банѣ парили,  
И съ угля водою прыскали,  
Да злой немочи не сбавили.

Немочь знай надъ бабой тѣшится,  
Неподатная, упорная;  
Знать, что немочь та не прїшлая,  
А людьми наговорная....

П.

Хороша жена Терентьева:  
Заглядишься, залюбуешься,  
Немочь злую ея видючи,  
Разгрустишься, растоскуешься.

Вотъ лежитъ она въ постелюшкѣ,  
Грудь высоко поднимается,  
И ея густая кдсынька  
По подушкѣ разсыпается.

Жаромъ пышутъ щеки бѣлыя,  
И подъ длинными рѣсницами  
Очи черныя красавицы  
Блещутъ яркими зарницами.

Руки полныя раскинуты,  
Одѣяло съ груди сбилося,  
Прочь съ плеча рубашка съѣхала  
И полгруды обнажилось.

„Охъ, Терентій-мужъ, Даниловичъ,  
Тяжело мнѣ, нѣту моченьки!  
Говоритъ она, вздыхаючи,  
На него уставя оченьки.

„Ты сходи-ка въ ту сторонушку,  
Гдѣ игрой гусяры славятся;  
Пусть меня потѣшатъ пѣснями,—  
Можетъ, немочь и убавится.“

Молодой женѣ Даниловичъ  
Не перечить, собирается;  
Взявши шапку, за гусярами  
Въ дальній городъ отправляется.

### III.

Ходить мужъ-Терентій городомъ,  
Выбивается изъ моченьки,  
А гусяровъ не видать нигдѣ...  
Время близко темной ноченьки.

Еле двигаетъ Даниловичъ  
Свои ноженьки усталыя;  
Вотъ ему на встрѣчу съ гусями  
Идутъ мѣлодцы удалые.

Идутъ мѣлодцы удалые,  
На гусяхъ своихъ играючи,  
Звонкой пѣснею, потѣшною  
Людей честной позабавляючи.

Поклонился имъ Даниловичъ:  
„Ой вы, ой, гусяры brave!  
Причинили мнѣ невзгодушку  
Люди злые и лукавые.“

„Помогите мнѣ въ кручинушкѣ,  
Что неожиданная случилася:  
У жены моей, красавицы,  
Злая немочь расходилася.“

Разсказалъ имъ все Даниловичъ,  
Какъ и что съ женой случается,  
Какъ она въ постелѣ мечется.  
Какъ огнемъ вся разгорается.

—Да, печаль твоя великая.  
Сокрушеньице немалое!...  
Что жъ, мы немочь бабью вылѣчимъ,—  
Дѣло это намъ бывалое.

Полѣзай въ мѣшокъ холстиновый  
И лежи въ немъ безъ движенія;  
Коль не хочешь—не прогнѣвайся,—  
Не возьмемся за лѣченіе.

Мы пойдемъ въ твои хоромины,  
Словно съ ношею тяжелою,  
Потѣшать твою хозяйшку  
Пляской бойкою, веселою.

Свой мѣшокъ подъ лавку бережно  
Сложимъ мы, какъ рухлядь мягкую;  
Станемъ пѣть, а ты смиренхонько  
Притаись—лежи подъ лавкою.

Трудно будетъ мужу корчиться,—  
Да за то жена поправится,  
Отъ своей мудрёной немочи  
Навсегда она избавится.

#### IV.

Подъ окномъ жены Терентьевой  
Ходятъ молодцы, играючи,  
Мужа стараго, Данилыча,  
На плечахъ въ мѣшкѣ таскаючи.

Ихъ игру жена Терентьева  
Услыхала, поднимается,  
И къ окну она изъ спальни  
Скоро-на-скоро бросается.

„Ой вы, молодцы удалые!  
Вы, гусяры поученые!  
Ваши пѣсенки потѣшныя!  
Ваши гусли золочёныя!

„Вы Терентья не видали ли,  
Не видали ли немилаго,  
Мужа стараго, Данилыча,  
Пса смердящаго, постылаго?“

—Не тужи, жена Терентьева,  
Что ты старому досталася,—  
Не тужи, вернулась волюшка:  
Ты одна-одной осталася.

Твой Терентій-мужъ, Даниловичъ,  
Въ чистомъ полѣ подъ ракитою,  
Межъ колючаго репейника,  
Съ головой лежитъ пробитою...

Надъ сѣдой его головушкой  
Черный воронъ увивается,  
Да вокругъ его пушистая  
Ковыль-травонька качается...

V.

Молода жена съ гусярами  
Пѣсней, пляской забавляется;  
А Терентій-мужъ подъ лавкою  
Чуть въ мѣшкѣ не задыхается.

Ходитъ баба вдоль по горенкѣ,  
Полъ подоломъ подметаючи,  
Мужа стараго, Данилыча,  
Проклинаючи, ругаючи.

„Ужъ ты старый песь, Даниловичъ,  
Спи ты въ полѣ подъ ракитою!  
Я потѣшусь, молодешенька,  
Вспомню молодость забытую!

„Спи ты,—тѣло твое старое  
Въ чистомъ полѣ пусть валяется,  
Пусть оно дождями мочится,  
Да песками засыпается.

„Загубилъ мою ты молодость,  
Свѣта-волюшки лишаючи,  
За дверями, подъ запорами  
Красоту мою скрываючи..“

—„Эй, ты слышишь ли, Даниловичъ.  
Какъ жена здѣсь разгулялася.  
Какъ ей весело да радостно,  
Что ей волюшка досталася?

„Надъ твоей она надъ старостью,  
Мужъ немилый, издѣвается...“  
И не вытерпѣлъ Даниловичъ,—  
Изъ-подъ лавки поднимается.

Молода жена Терентьева  
Побѣлѣла, зашаталася;  
А изъ спаленки красавицы  
Стѣнкой немочь пробиралася.

Мигъ одинъ—и немочь скрылася...  
Не поймаетъ вольну пташечку!  
Только видѣлъ мужъ, Даниловичъ.  
Кумачевую рубашечку...





## ШВЕЙКА.

---

Умирая въ больницѣ, тревожно  
Шепчетъ швейка въ предсмертномъ бреду:  
„Я терпѣла, насколько возможно,  
Я безъ жалобъ сносила нужду.  
Не встрѣчала я въ жизни отрады,  
Много видѣла горькихъ обидъ;  
Дерзко жгли меня наглые взгляды  
Безрасудныхъ, пустыхъ волокитъ.  
И хотѣлось уйти мнѣ на волю,  
И хотѣлось мнѣ бросить иглу,—  
И рвалась я къ родимому полю,  
Къ моему дорогому селу.  
Но держала судьба-лиходѣйка  
Меня крѣпко въ желѣзныхъ когтяхъ.  
Я, несчастная, жалкая швейка,  
Въ неустанномъ трудѣ и слезахъ,  
Въ горькихъ думахъ и тяжелой печали  
Свой безрадостный вѣкъ провела.

За любовь мою деньги давали,—  
Я за деньги любить не могла;  
Билась съ горькой нуждой, но развратомъ  
Не пятнала я чистой души,  
И, трудясь черезъ силу, богатымъ  
Продавала свой трудъ за гроши...  
Но любви мое сердце просило,—  
Горячо я и честно любила...  
Оба были мы съ нимъ бѣдняки,  
Насъ обоихъ сломила чахотка...  
Видно, бѣдный въ любви не находка!  
Видно, бѣдныхъ любить не съ руки!...  
Я мучительной смерти не трушу.  
Скоро жизни счастливой лучи  
Озарятъ истомленную душу  
Приходите тогда, богачи!  
Приходите, любуйтесь смѣло  
Ранней смертью дѣвичей красоты  
Бѣлизной бездыханнаго тѣла,  
Густотой темнорусой косы!“

~~~~~

Ф И Р Д У С И.

(ИЗЪ АНДЕРСЕНА).

Среди высокихъ пальмъ, верблюды издалёка
Дорогой тянутся; они нагружены
Дарами щедраго властителя страны,
Несутъ богатый грузъ сокровищей востока.

Властитель этотъ даръ назначилъ для того,
Кто не искалъ награды и жилъ среди лишений,
Кто сталъ отрадою народа своего
И славой родины... Онъ найденъ, этотъ геній,

Великій человекъ, кто низкой клеветой
И завистью людской отправленъ былъ въ изгнанье.
Вотъ бѣдный городокъ: измученный нуждой,
Изгнанникъ здѣсь нашелъ пріютъ и состраданье.

Но что тамъ впереди?—Изъ городскихъ воротъ
Покойника несутъ на встрѣчу каравана.
Покойникъ тотъ убогъ; за нимъ неидетъ народъ;
Онъ въ жизни не имѣлъ ни золота, ни сана.

То былъ холодный трупъ великаго пѣвца,
Умершаго въ нуждѣ, изгнаньи и печали,—
То самъ Фирдуси былъ, котораго искали...
Тернистый славы путь прошелъ онъ до конца!

к о н е ц ъ.

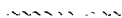
I

ПЕРЕЧЕНЬ

СТИХОТВОРЕНІЙ И. З. СУРИКОВА

ВЪ ХРОНОЛОГИЧЕСКОМЪ ПОРЯДКѢ

1863—1880.



II

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

СТИХОТВОРЕНІЙ, ВОШЕДШИХЪ ВЪ ЭТО ИЗДАНИЕ.





СТИХОТВОРЕНІЯ П. З. СУРИКОВА ВЪ ХРОНОЛОГИЧЕСКОМЪ ПОРЯДКѢ.

1863.		Стр.
Что удалый молодецъ (пѣсня)		25
Часовой		147
Изъ бѣдной жизни		181
Удалой		362
1864.		
Въ зеленомъ саду соловушка (пѣсня)		21
Утро въ деревнѣ		128
Покойница		174
Тихо тощая лошадка		179
1865.		
Ахъ, нужда ли ты, нужда (пѣсня)		7
Что шумишь качаясь (пѣсня)		15
Солнце утомилось		123
Занялася заря		110
Морозъ		144
Въ степи		206
Могла		209
1866.		
Эхъ, ты, доля, эхъ, ты, доля (пѣсня)		5
Дѣтство		229
Гдѣ ты, моя юность		67
У могилы матери		62
Осень; дождикъ ведромъ		164
Ночью		140
Въ воздухѣ смолкаетъ		126
Ты какъ утро весны		143
1867.		
Голова ли ты, головушка (пѣсня)		23
Сиротой я росла (пѣсня)		13
Думы		213
Верба		190
Вдова		215
Дѣти		281

1868.		Стр.
День я хлѣба не пекла (пѣсня)		11
День вечерѣеть, облака		125
За окномъ скрипитъ береза.		187
На дворѣ бушуетъ вѣтеръ		69
Тихая постелька.		282
У могилы друга		91

1869.		
Шумъ и гамъ въ кабацѣ (пѣсня)		9
Во чистомъ полѣ калина (пѣсня)		44
Въ огородѣ, возлѣ броду (пѣсня)		41
Помнишь были годы		95
Громъ отгремѣлъ, прошла гроза		122
Засвѣтилась вдали, загорѣлась заря.		121
Въ заревѣ огнистомъ.		124
Грезы		132
Отъ деревьевъ тѣни		94
Не проси отъ меня.		55
Вдемъ лѣсомъ и насъ		161
Ночь тиха, садъ объять полутьмою		142
И снится мнѣ, что подъ горою.		217
На покосѣ I (см. Косари)		140

1870.		
Я ли въ полѣ да не травушка была (пѣсня)		19
На горѣ калина (пѣсня)		46
Заря занимается, солнце садится.		127
Смерть		188
Заключенный		218
На покосѣ II (см. Косари)		150

1871.		
Что не рѣченка (пѣсня)		17
Жди, вернусь я изъ похода (пѣсня)		42
Что не жгучая крапивушка (пѣсня)		20
Бѣдность, ты, бѣдность (пѣсня)		8
Ярко солнце свѣтитъ		130
Когда съ тобою встрѣтятся снова.		75
Степь		203
Сиротка.		284
Чумацкія дѣти		221
Косарь.		155
Садко въ Новѣгородѣ		287

1872.		
Нѣтъ мнѣ радости-веселья (пѣсня)		43
Идетъ дѣвица сиротка (пѣсня)		48
Встало утро, сыплеть на цвѣты росой.		120
И вотъ опять пришла весна		76

	Стр.
Горе.	263
Темна, темна моя дорога	82
Пройдетъ и ночь, пройдетъ и день	173
Правежъ.	359
Садко у морского царя	292

1873.

Въ полѣ.	135
Немочь.	377
Швейка.	384

1874.

Сонъ и пробужденіе	102
По дорогѣ.	89
Весна	233
Въ ночномъ	223
Лѣтомъ	237
Кануть Великій.	349
Птичка и солнечный лучъ	374
Фирдусъ.	386

1875.

Покой и трудъ	99
Мнѣ доставались не легко	56
Во тьмѣ	80
Жизнь.	78
Что грустно мнѣ	112
Одиночество.	83
Въ телегѣ тряской и убогой.	186
Всюду блескъ, куда ни взглянемъ.	70
Вставай, товарищъ мой!	93
Труженикъ.	166
На мосту.	65
Покойникъ.	171
Слеза косаря	152
Весной	134
Я въ тѣсной могилѣ лежу одиноко	115
Богатырская жена	302

1876.

Не грусти, что листья (пѣсня)	28
Если бѣ легкой птицы (пѣсня)	26
Ой, дубинушка, ты ухни (пѣсня)	29
Наши пѣсни	50
Какъ въ сумерки легко дышать на берегу.	98
Я, весь измученный тяжелою работою	84
Я отворилъ окно. Осенняя прохлада	85
Тишь и мракъ... Закрыты ставни	73

	Стр.
У пруда	245
На рѣкѣ	240
Зимой	275
Цвѣты	157
За городомъ	87
Василько	328

1877.

Хорошо тому да весело (пѣсня)	33
Въ чистомъ полѣ, при дорогѣ (пѣсня).	38
Сговорилися батюшка съ матушкою.	35
Черствѣетъ сердце, меркнетъ умъ	57
Трующемуся брату	170
Гдѣ вы, пѣсни свѣтлой доли.	96
Весной всего милѣй мнѣ жаворонокъ звонкій	131
Вотъ село. Давно знакомы	164
Кладь	250
Казнь Стеньки Разина.	355
Въ острогѣ	368

1878.

Въ полѣ гладкая дорога (пѣсня)	37
Шли коровы изъ дубровы (пѣсня).	39
Честъ ли вамъ, поэты-братья	61
На одрѣ	110
Вотъ и степь съ своей красою.	201
Погоняй, ямщикъ, скорѣе.	105
Надъ широкой степью	194
Загорѣлась надъ степью заря.	193
Догорѣла румяная зорька вдали	192
Не корите, други	58
На чужбинѣ	106
Прости	107
Истрадался душой и измучился я	109
Въ тихомъ сумракѣ лампада	273

1879.

Что ты такъ не весель (пѣсня).	49
Поэту.	169
Умирающая дѣвушка.	185
Нашла коса на камень	277
Пѣсня-быль	196
Въ Украинѣ	204
Дѣдъ Климы	266
Когда разстанусь я съ землей	144

1880.

Зима.	271
---------------	-----

II.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.

	Стр.
Ахъ, нужда ли ты, нужда	7
Богатырская жена.	302
Бѣдность, ты, бѣдность	8
Василько	328
Вдова	215
Верба	190
Весна	233
Весной.	134
Весной всего милѣй мнѣ жаворонокъ звонкій	131
Вотъ и степь съ своей красою.	201
Вотъ село. Давно знакомы.	164
Во тѣмъ	80
Во чистомъ полѣ калина	44
Вставай, товарищъ мой! Пора!	93
Встало утро, сыплеть на цвѣты росю.	120
Всюду блескъ, куда ни взглянемъ.	70
Въ воздухѣ смолкаетъ	126
Въ заревѣ огнистомъ.	124
Въ зеленомъ саду соловушка.	21
Въ ночномъ	223
Въ огородѣ, возлѣ броду.	41
Въ острогѣ.	368
Въ полѣ.	135
Въ полѣ гладкая дорога	37
Въ степи.	206
Въ телегѣ тряской и убогой.	186
Въ тихомъ сумракѣ лампада	273
Въ украинѣ	204
Въ чистомъ полѣ, при дорогѣ.	38
Гдѣ вы, пѣсни свѣтлой доли.	96
Гдѣ ты, моя юность	67
Голова ли ты, головушка	23

	Стр.
Грезы	132
Громъ отгремѣлъ, прошла гроза	122
Горе	263
Д ень вечерѣть, облака	125
День я хлѣба не пскла	11
Догорѣла румяная зорька вдали	192
Думы	213
Дѣлъ Климъ	266
Дѣти	281
Дѣтство	229
Е сли бь легкой птицы	26
Ж ди, вернусь я изъ похода	42
Жизнь	78
З а городомъ	87
Загорѣлась надъ стенью заря	193
Заклученный	218
Занялася заря	119
За окномъ скрипитъ береза	187
Заря занимается, солнце садится	127
Засвѣтилась вдали, загорѣлась заря	121
Зима	271
Зимой	275
И вотъ опять пришла весна	76
Идетъ дѣвица сиротка	48
Истрадался душой и измучился я	109
Изъ бѣдной жизни	181
И снится мнѣ, что подъ горою	217
К азнь Стеньки Разина	355
Какъ въ сумерки легко дышать на берегу	98
Капуть Великій	349
Кладъ	250
Когда съ тобою встрѣтятся снова	75
Когда разстанусь я съ землей	144
Косари	149
Косарь	155
Л ѣтомъ	237
М нѣ доставались не легко	56
Могила	209
Морозъ	144

	Стр.
На горѣ калина	46
На дворѣ бушуетъ вѣтеръ	69
Надъ широкой степью	104
На мосту	65
На одрѣ	110
На рѣкѣ	240
На чужбинѣ	106
Наши пѣсни	59
Нашла коса на камень	277
Не грусти, что листья	28
Не корите, други	58
Немочь	377
Не проси отъ меня	55
Ночь тиха, садъ объять полутьмою	142
Ночью	140
Нѣтъ мнѣ радости веселья	43
Одиночество	83
Осень дождикъ ведромъ	164
Отъ деревьесъ тѣни	94
Ой, дубинушка, ты ухни	29
Погоняй, ямщикъ, скорѣе	105
По дорогѣ	89
Покойникъ	171
Покой и трудъ	99
Покойница	174
Помнишь были годы	95
Поэту	169
Правежъ	359
Прости	107
Пройдетъ и ночь, пройдетъ и день	173
Птичка и солнечный лучъ	374
Пѣсня-быль	106
Садко	287
Сговорилися батюшка съ матушкою	35
Сиротка	284
Сиротой я росла	13
Слеза косаря	152
Смерть	188
Солнце утомилось	123
Сонъ и пробужденіе	102
Степь	203
Темна, темна моя дорога	82

	Стр.
Тихая постелька.	282
Тихо тощая лошадка	179
Тишь и мракъ... Закрыты ставни	73
Трудящемуся брату	170
Труженикъ	166
Ты какъ утро весны	143
У далой	362
Умирающая дѣвушка.	185
У могилы друга	91
У могилы матери	62
У пруда	245
Утро въ деревнѣ	128
Ф ирдуси.	386
Х орошо тому да весело	33
Ц вѣты.	157
Ч асовой.	147
Черствѣть сердце, меркнетъ умъ	57
Честь ли вамъ, поэты-братья	61
Что грустно мнѣ	112
Что не жгучая крапивушка	20
Что не рѣченька	17
Что ты такъ не весель	49
Что удалый молодецъ	25
Что шумишь качаясь	15
Чумацкія дѣти	221
Ш вейка.	384
Шли коровы изъ дубровы.	39
Шумъ и гамъ въ кабацѣ	9
Ѣ демъ лѣсомъ и насъ	161
Э хъ, ты, доля, эхъ, ты, доля.	5
Я , весь измученный тяжелою работой	84
Я въ тѣсной могилѣ лежу одиноко	115
Я ли въ полѣ да не травушка была	19
Я отворилъ окно. Осенняя прохлада	85
Ярко солнце свѣтитъ	130



ОГЛАВЛЕНИЕ.

И. З. Суриковъ (біографическій очеркъ) Н. А. Соловьева-Несмѣлова I—СХС.

ПИСЬМА И. З. СУРИКОВА КЪ РАЗНЫМЪ ЛИЦАМЪ.

	Стр.
Къ И. Г. Воронину (1872—1874 гг.)	3
Къ Н. А. С—ву (1875—1879 гг.)	21
Къ А. Н. Я.... (1875—1877 гг.)	41
Къ Н. Н. (1878—1880 гг.)	47
Къ И. И. Б—ву (1878—1880 гг.)	55
Къ С. Д. Д—ву (1879 г.)	74

П Ъ С Н И.

I.

Эхъ ты, доля, эхъ ты, доля	5
Ахъ, нужда ли ты, нужда	7
Бѣдность, ты, бѣдность	8
Шумъ и гамъ въ кабацѣ	9
День я хлѣба не пекла	11
Сиротой я росла	13
Что шумишь, качаясь	15
Что не рѣченька	17
Я ли въ полѣ да не травушка была	19
Что не жгучая крапивушка	20
Въ зеленомъ саду соловушка	21
Голова ли ты головушка	23
Что удалый молодецъ	25
Если бѣ легкой птицы	26
Не грусти, что листься	28
Ой, дубинушка, ты ухни	29

Хорошо тому да весело	33
Сговорилися батюшка съ матушкою	35
Въ полѣ гладкая дорога	37
Въ чистомъ полѣ, при дорогѣ	38
Шли коровы изъ дубровы	39
Въ огородѣ, возлѣ броду.	41
Жди, вернусь я изъ похода	42
Нѣтъ мнѣ радости, веселья.	43
Въ чистомъ полѣ калина.	44
На горѣ калина	46
Идетъ дѣвица-сиротка.	48
Что ты такъ не весель.	49

ЛИРИЧЕСКІЯ СТИХОТВОРЕНІЯ.

I.

Не проси отъ меня.	55
Мнѣ доставались не легко	56
Черствѣетъ сердце, меркнетъ умъ	57
Не корите, други	58
Наши пѣсни	59
Честь ли вамъ, поэты-братья	61
У могилы матери.	62
На мосту	65
Гдѣ ты, моя юность	67
На дворѣ бушуешь вѣтеръ	69
Всюду блескъ, куда ни взглянемъ.	70
Тишь и мракъ....Закрѣты ставни.	73
Когда съ тобою встрѣтѣся снова	75
И вотъ опять пришла весна	76
Жизнь.	78
Во тьмѣ.	80
Темна, темна моя дорога.	82
Одиночество.	83
Я, весь измученный тяжелою работою	84
Я отворилъ окно. Осенняя прохлада	85
За городомъ.	87
По дорогѣ.	89
У могилы друга	91
Вставай, товарищъ мой!.. Пора	93
Отъ деревьевъ тѣни	94

	Стр.
Помнишь—были годы	95
Гдѣ вы, пѣсни свѣтлой доли	96
Какъ въ сумерки легко дышать на берегу	98
Покой и трудъ	99
Сонъ и пробужденіе	102
Погоняй, ямщикъ, скорѣе	105
На чужбинѣ	106
Прости	107
Изстрадался душой и измучился я	109
На одрѣ	110
Что грустно мнѣ	112
Когда разстанусь я съ землей	114
Я въ тѣсной могилѣ лежу одиноко	115

II.

Занялася заря	119
Встало утро, сыплеть на цвѣты росю	120
Засвѣтилась вдали, загорѣлась заря	121
Громъ отгремѣлъ, прошла гроза	122
Солнце утомилась	123
Въ заревѣ огнистомъ	124
День вечерѣеть, облака	125
Въ воздухѣ смолкаетъ	126
Заря занимается, солнце садится	127
Утро въ деревнѣ	128
Ярко солнце свѣтитъ	130
Весной всего милѣй мнѣ жаворонокъ звонкій	131
Грезы	132
Весной	134
Въ полѣ	135
Ночью	140
Ночь тиха, садъ объять полутьмою	142
Ты, какъ утро весны	143
Морозъ	144
Часовой	147
Косари	149
Слеза косаря	152
Косарь	155
Цвѣты	157
Вдемъ лѣсомъ, и насъ	161
Вотъ село. Давно знакомы	162
Осень... Дождикъ ведромъ	164
Труженикъ	165
Поэту	169

	Стр.
Трудящемуся брату	170
Покойникъ	171
Пройдетъ и ночь, пройдетъ и день	173
Покойница	174
Тихо тощая лошадка	179
Изъ бѣдной жизни	181
Умирающая дѣвушка	185
Въ телегѣ тряской и убогой	186
За окномъ скрипитъ береза	187
Смерть	188
Верба	190
Догорѣла румяная зорка вдали	192
Загорѣлась надъ степью заря	193
Надъ широкой степью	194
Пѣсня—быль	196
Вотъ и степь съ своей красою	201
Степь	203
Въ Украинѣ	204
Въ степи	206
Могила	209

III.

Думы	213
Вдова	215
И снится мнѣ, что подъ горою	217
Заключенный	218
Чумацкія дѣти	221

IV.

Дѣтство	229
Весна	233
Въ ночномъ	235
Лѣтомъ	237
На рѣкѣ	240
У пруда	245
Кладъ	250
Горе	263
Дѣль Клинь	266
Зима	271
Въ тихомъ сумракѣ лампада	273
Зимой	275
Нашла коса на камень	277
Дѣти	281
Тихая постелька	282
Сиротка	284

Былины, сказанія, поэмы.

Садко I) Садко въ Новгородѣ	287
II) Садко у морскаго царя	292
Богатырская жена	302
Висилько	328
Кануть Великій	349
Казнь Стеньки Разина	355
Правежъ	359
Удалой	362
Въ острогѣ	368
Птичка и солнечный лучъ	374
Немочь	377
Швейка	384
Фирдуси	386

Въ началѣ книги прилагаются—портретъ И. З. Сурикова, его факсимиле; а въ концѣ біографическаго очерка помѣщенъ фотографическій снимокъ памятника, находящагося на могилѣ покойнаго поэта.

Замѣченныя опечатки,

вкравшіяся въ нѣкоторые экземпляры книги.

Страница	Строка	Напечатано:	Слѣдуетъ читать:
LXX	24	Сорокасвятителей	Сорокамучениковъ
CXLIV	26	пи, тающихся	питающихся
CXC	27	мянутя	мятутся
25	19	читаемъ	читаетъ
—	27	работою	работаю
102	4	обробѣль	оробѣль
110	11	злой кошель	злой кашель
169	5	признанью	приванью
170	11	признанью	привзанью





